

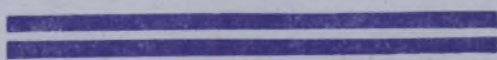
Н О В Ы Й
М И Р

|| 6 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1981 ||

6



1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДЕНЬ ПОЭЗИИ — Владимир Цыбин. Агния Барто, Константин Ваншенкин. Расул Гамзатов (перевел с аварского Яков Козловский), Алим Кешоков (перевел с кабардинского Яков Козловский), Расул Рза (перевел с азербайджанского Р. Бухараев), Какимбек Салыков (перевел с казахского Владимир Туркин), А. Межиров, Алексей Заряцкий (перевел с белорусского Петр Кошель), Сергей Мнацакяян, Владимир Михановский, Бабкен Карапетян (перевел с армянского Л. Озеров), Павло Мовчан (перевели с украинского Ю. Ряшенцев и А. Кушнер)	3
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Лето в Бабакуме	20
А. КАШТАНОВ — Коробейники, повесть	32
ФЕДОР КАМАНИН — Литературные встречи, главы из книги. Публикация Г. Ф. Аграновской-Каманиной	84
ЧАРЛЬЗ СНОУ — Лакировка, роман. Продолжение. Перевели с английского И. Гурова и О. Крутерская	125
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ — Тибетские циклы	198
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. КАПТО — Стратегия человека	216
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМА А. ТВАРДОВСКОГО Б. ИРИНИНУ. Публикация Е. Я. Бурштын и Р. М. Романовой	226
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
РОМАН НАШИХ ДНЕЙ — Александр Овчаренко. Новый уровень художественного мышления; Михаил Пархоменко. Масштабность взгляда	231
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	254
В. Барлас. Летопись оживает, — Н. Покровский. В поисках истины.	

(См. на обороте).

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

258

Лев Давыдов. Нечерноземье — в дороге.— **Григорий Резниченко.** За чертой привычного.— **В. Ляшенко.** Неторными тропами.

КОРОТКО О КНИГАХ: Николай Воронов.— Владимир Рынкевич.

Семинар по философии. Рассказы и повести. ♦ Л. Гладковская.— Е. А. Краснощекова. Художественный мир Всеволода Иванова. ♦ Сергей Островой.— Иосиф Ржавский. Азбука свинца. Книга стихов. ♦ Ю. Смелков.— Ю. Смирнов-Несвицкий. Еще одна жизнь. ♦ Р. Баландин.— В. К. Лукашев, К. И. Лукашев. Научные основы охраны окружающей среды. ♦ Э. Кузьмина.— Сергей Львов. Книга о книге

267

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ДЕНЬ ПОЭЗИИ



ВЛАДИМИР ЦЫБИН

Камни земли

А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни,
вбитые в мостовые,
вытертые веками?
А что, если камни встанут, суровые камни века,
вмурованное в камень вдруг раствердеет эхо?
А что, если камни встанут, снег раздвигая мятый,
серые камни улиц,
белые камни статуй?
А что, если с места тяжело сдвинутся камни эти,
вместо зеленых кленов —
камни одни на свете?
Синие — верстовые,
черные — в обелиске,
камни — портреты павших, камни — убитых списки,
камни — надгробий глыбы и мостовых камня,
камни вершин замерзших, в которые встыло время,
камни — мостов опоры, камни — веков кресало,
ручьи их точили звонко
и море, гудя, тесало..
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни?
Все сущее на планете
в небытие вдруг канет,
листва упадет на землю,
и смех свой забудут дети,
когда бы заговорили камни немые эти!
Слова б пересохли в горле,
рассыпалась тишь бы цветью,
и дрожь сама побежала б по моему столетью.
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни?
И ветры бы прослезились,
что облик их высекали,
поземка бы в землю вжалась,
птицы в зенит бы встали,
когда б на моей планете камни заговорили!
Лишь, словно глухонемые, в липком бы мху молчали
опознанные другими
камни над палачами.
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни,
а что, если их разбудит
вечной земли дыханье?..

Баллада о школьной сумке

Помню, как мальцом еще
 зеленым,
 чтобы чем-нибудь помочь семье,
 был я письмоношцем,
 почтальноном,
 главным человеком на селе.
 И носил я письма, недовольный
 тем, что мне хлопот на целый
 день,
 в довоенной серой сумке
 школьной:
 через все плечо мое — ремень.
 Подходил к воротам я с
 оглядкой,
 сам себя за все готов извести.
 Кто с кусочком хлеба,
 кто с оладкой
 выходили: «На, возьми за весть».
 Выходила бабка Ляпуниха
 и письмо залетное брала.
 «От невестки!» — говорил я тихо.
 «Я от сына весточку ждала...»
 А потом под строгую диктовку
 в сколькй раз писал, присев к
 окну,
 сыну на безвестную Сосновку,
 на давно ушедшую войну.
 А Сергей-сапожник безотрадно,
 прихитряясь, приглашал на чай:
 «Потерял письмо мое... да ладно,
 ты его по памяти читай».
 И читал я мертвую бумагу
 от давно убитого Кузьмы...
 А ночами, только я прилягу,
 головой коснусь тепла,
 из тьмы
 сумки школьной письма выходили,
 чтобы разговаривать со мной,
 то меня жалели, то корили
 вести — я их помнил до одной.
 «Почему от имени живого
 ты писал?..»
 И я кричал во сне.
 Мать кляла за это домового:
 «Чтоб его убили на войне!»
 Засуху пророчила погода.
 И себе, своей душе в запас
 письма я писал почти два года —
 я тогда кончал четвертый класс...

Учитель

Я вглядываюсь в будничные лица,
 и чей-то взгляд встает передо мной,
 и по сердцу восторженно струится
 тишь, что старее вечности самой.
 В него вроднится взгляд мой поневоле,
 закаменеет там мой смертный дух,
 и, вещая, словно сиротство вдовье,
 неизреченность перельется в слух.
 Глядишь в глаза, в текучее их жженье,
 в глаза давно предсказанных эпох,
 и чувствуешь — слились даль и мгновенье,
 пророчество забытое и вздох.
 «Учитель!» — сердце высказать готово,
 как вечный снег,
 без отзыва он пусть.
 Но, исторгая боль свою из слова,
 ищу его и опознать страшусь.

Мои уроны

Не предчувствуя вроде урона,
 все же взят я заботами в плен,
 все мне кажется: снова я дома,
 где привыкли не ждать перемен.
 Вобрала моей совести почва
 горечь лет, что не знают конца.
 Оттого забываю нарочно,
 что ни матери в нем, ни отца...
 Вот стоит предо мной он,
 щелястый,
 вновь побеленный, словно в
 дыму,
 но, как прежде, на радостях
 «Здравствуй!»
 не сумею сказать я ему.
 И во власти неловкой заминки
 я недвижно застыл пред дверьми,
 словно это пришел на поминки
 и себя самого,
 и семьи.
 Все мне кажется — снова негромко
 окликает былая беда:
 продан дом, околела буренка,
 разлетелась семья кто куда,

и фамилия наша забыта,
и степенная память прошла,
как и песнь, что была знаменита
среди улочек смиренных села.
Не спеша думы дальше я выю,
счет веду отчужденных потерь
и не знаю,

как с этою явью
примириться, стерпеться теперь.
Но в пчелином заботливом гуде
гаснет синь, в сердце грусть
шевелия.
Дом чужой. Незнакомые люди.
Но все та же родная земля.

Исход века

В миг, когда души сомненья
и печаль всего милей,
отыщу я сновиденья
на дне памяти моей.
Я скажу им:
«Покажите
хоть кусочек того дня,
той, давно минувшей жизни.
Грусти — грусть
и мне — меня...»
Ослепленный вспышкой
сильной,
вижу белый день стерильный,
в беспросветно-белой мгле,
день без тени на земле...
Окружен плешивой песью,
все же прежний,
все ж не злой,
отыщу любовь, как песню,
на дне юности былой.

Сердце вздрогнет вдруг сурово:
«Где ты столько лет была?»
«Там была, где нету слова,
эха нет,
а только мгла».
В окнах — клейкие потеки,
расползаются потемки,
тлеет, словно головня,
на земле остаток дня.
Спрягав боль свою и горечь,
даже если отлегло,
отыщу я мамин голос
на дне детства моего.
Жизнь, завязанную в узел,
не развяжешь без тщеты,
лишь бы сердце не контузил.
Годы старятся, не ты.
Миг меж ночью и зарею,
новолунье над землею,
века трудного исход,
тот, что по судьбе идет...

* * *

...На сладостной границе яви
с пустой, дремотной головой
проснулись мы. Часы стояли.
И день струился неживой.
И в сердце тайная забота:
«Неужто это снова жизнь?»
С бессмертным телом космолета,
живые с мертвым
вновь слились.
Что нам земля теперь, что слава!
И самый молодой из нас
сказал раздумчиво и браво:
«Неужто живы мы сейчас?»
Не растворясь в пространстве
вечном,
вручив судьбу свою рулю,
свечением бескровным, млечным
струились мы по кораблю.

Сквозь алюминиевые створы
щемящим отзвуком земли,
светясь, летели метеоры,
как будто ангелы, вдали...
Там, за вселенной, за пределом,
на той, на страшной стороне,
лучами став,
расставшись с телом,
в частицу вжат, огонь — в огне,
несешься ты, осколок мига,
себя земного странненький блик
из тела трепетного мира,
в живых остался твой двойник.
Ты все забыл среди размаха
миров, творимых в мертвой мгле,
и только сладкий трепет страха
тебе напомнит о земле...

Свиток

Увидишь раз и сохранишь
скончанье праведное лета,
безвольную златую тишь
мемориального рассвета.
В его сухой простор войдешь,
и вспять отступит дня граница,
настылая на росах дрожь
в тебя прохладно проструится.

И ты глядишь — глаза навскид —
и веришь: все, что есть в избытке,
когда-нибудь и повторишь
в грядущем ты, вскрывая свитки.
Велит уже сейчас счиста
оно прожить всю жизнь мятежно,
покамест мира красота
вращается в сердце безнадежно.

Старые души

Слышал я, что бродят в серый час
по воде, по воздуху, по суше,
скрытые навек от наших глаз,
старые потерянные души.
Не уйти отсюда далеко,
где они без возраста и цели
в перекале мира моего
много раз горели, не сгорели.
В них ни разу думы не вошли;

без печалей — сущие калеки.
И на зов потерянной земли
больше не откликнутся вовеки.
Между мертвой гранью и живой
ищут, ищут хоть какую долю,
хоть беды, хоть слез,
хоть стужи злой,
чтобы только слышать время
болью...

* * *

В больнице умер инвалид,
и три солдатские медали
за то, что не был он убит,
теперь в ногах его лежали.
Чист пиджачишко и чиста
на нем рубашка; галстук —
криво.
Так обрядила медсестра
его для смерти суетливо.
Под плач привычный двух
старух

прощался этот мир с солдатом,
и тополиный влажный пух
накрыл его как маскхалатом.
Один. Давно в земле жена.
А дети? Кто их знает — дети.
Она еще жива, война,
с тех пор так и идет на свете.
И так не смог никто из нас
припомнить, воскресить слезою,
что он в прощальный строгий час
любил забытою душою...

АГНИЯ БАРТО

Взаимонепонимание

Он проводил меня домой,
Живу я близко — метров двести,
И притворилась я хромой,
Чтоб мы подольше были вместе.

Сказала я: «Сегодня все мы
Под впечатлением поэмы.
Тебе понравилась «Полтава»?
Глубокий образ — Кочубей!»

Я ковыляла еле-еле,
Чтоб мы на лавочку присели.

А он ответил: «Мне направо,
Бегу проведать голубей.
Ты дохромаешь и сама...»
Я от него сойду с ума!

Сказала я: «Мне так приятней». Но он не понял, хоть убей!
Заговорил про голубей
И про устройство голубятни.

Мне с таким неучем
Говорить не о чем!

Горькая шутка

Говорят, что на планете
Есть какой-то антимир
И философ Кантемир
Обсуждал проблемы эти.

Просит бабушка у внука:
«Помоги открыть сундук,
Помоги!»
«А ты безрука?» —
Отвечает антивнук.

Мысли он вынашивал,
Но неясно до поры —
Есть ли где-нибудь миры,
Кроме нашего?

Курят антипионеры,
Топчут клумбы во дворах,
Обещают: «Примем меры!»
И дерутся в пух и прах.

У меня свои сужденья —
Размышляла целый день я
И решила, что на свете
Появились антидети.

Я боюсь, что антидети,
Появившись на планете,
Все сады и все дворы
Превратят в антимирры.

Антимир? Кому он нужен?
К счастью, он не обнаружен,

Людям нужен светлый мир,
Так считал и Кантемир.

Цитата

Послушайте! — еще меня любите
За то, что я умру.

Марина Цветаева.

Двум дочерям сказал родитель
Однажды поутру:
«Послушайте! — еще меня
любите

«Устал? Опять не спишь ночами.
Ты принимай побольше капель»;
Переглянулись: возраст папин...

За то, что я умру».

«Нет, это попросту цитата, —
Отец сказал в ответ. —
Цветаева писала так когда-то...
Ей было двадцать лет».

И без особенной печали
Пожали дочери плечами.

Неожиданность

Бывало, в детстве
С ним вдвоем
Сидим на дереве,
Поем...
Над нами —
Небо синее...

К нему я вызван
На прием
По комсомольской
Линии.

Не узнаю лица его,
Оно непроницаемо.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Мадонна на вокзале

Мадонна в раннем мире первозданном,
Задумчивая, ждущая давно —
С младенцем на руках и с чемоданом
У ног. Мы знаем это полотно.
Пока пред нею в храпе или в давке
Идет одна из неизменных пьес,
Она сидит на деревянной лавке
С рельефною резьбою «МПС».
Она сидит с людьми чужими рядом,
Нейлоновою блузкой шелестя,
Она глядит спокойным юным взглядом
И кормит грудью малое дитя.
А над вокзальным застекленным сводом,
В той вышине, где все им нипочем,
Снежинки вьются редким хороводом,
Пронизанные солнечным лучом.

Электричество

Электричество копится в нас,
И при каждом движении резком
Нам одежда привычная враз
Отвечает таинственным треском.
Через голову свитер тяну.
Мышцы близкому отдыху рады.
И опять — на секунду одну —
В полутьме возникают разряды.
В руку женщина гребень взяла
И расчесывать волосы села.

О как искорка эта светла,
Что под гребнем видна то и дело!
В мире людям хватает забот.
Мне приятель сказал ненароком:
От стальных его новых зубов
Жжет язык притаившимся током.
Все на свете случается в срок.
Отмахнуться — затея пустая.
Электричество копится впрок,
Как усталость, всю жизнь нарастая.

Чтение

Что за привычка — читаешь
 Сразу же несколько книг.
 Эту небрежно листаешь,
 В ту основательно вник.
 В третьей дошел до середины
 И отложил навсегда.
 Строго не будем судимы.
 Это никак не беда.

Или все тянешь и тянешь
 И понимаешь ясней,
 Что вспоминается та лишь,
 Давняя, схожая с ней.
 Новую вот на неделе
 Взял — и четыре строки
 Необъяснимо задели,
 Как задевают стихи.

РАСУА ГАМЗАТОВ

Говори на пленительной мове

Не колышется лист в тишине,
 Ветер в степь улетел, куролеса.
 Это ты говоришь со мной, Леся.
 Или музыка слышится мне?
 В языке моем сабельный лязг
 Пронизал почти каждое слово
 И полна упоительных ласк
 Не твоя ль златоустая мовза?
 Ты со мною на ней говори,
 Завораживай снова и снова,
 Хоть из каждых пяти только три
 Понимаю украинских слова.

Но зачем к переводу хитро
 Прибегать по сегодняшней моде?
 Золотое теряет перо
 Слово-птица в ином переводе.
 Начинаю весь свет забывать,
 Ты затмила его не собой ли?
 Как черны твои брови соболями
 Звездны очи и празднична статья!
 Отзываться тебе до зари
 Стану каждою капелькой крови,
 Только лаской меня одари,
 Говори на пленительной мове.

Достойная чета

Куда ни глянешь, все бело кругом
 Давно, как ветры с севера подули.
 Два, возраста моих пред очагом
 Присели в древнекаменном ауле.
 То молодости буйные лета,
 То зрелости неветренные годы,
 И пламенем, исполненным свободы,
 Любуется достойная чета.
 Стучится в двери ветер, как гонец,
 От очага сладчайшим тянет дымом,
 Как будто бы с наследником отец
 Сидят вдвоем в раздумье молчаливом.
 Не надо им ни хлеба, ни вина,
 И сабли их — в ножнах по рукояти,
 А души всем желают благодати,
 И милосердья каждая полна.
 Минувшие и нынешние дни
 Пред очагом сошлись, огня не застя,
 Мне бесконечно дороги они,
 И пусть в их честь вам не изменит счастье.

* *

В тревоге и надежде
 Моя звучит мольба:
 В трех милостях, как прежде,
 Не откажи, судьба.
 Пусть над моей тропкою,
 Как я к тому привык,

Светясь, затмит собою
 Все звезды женский лик.
 И там, где мир как шаль
 Безумствовать горазд,
 Пусть мне старик бывалый
 Благой совет подаст.

И, как судило время,
Над горною грядой

Пусть подает мне стремя
Преемник молодой.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

АЛИМ КЕШОКОВ

На дамасском базаре

Гудел, не боясь солнцепека,
Как улей, дамасский базар,
Где мне с бородою пророка
Предстал за работой гончар.
Привычно из пламенной глины
Он сед, как вершина в снегу,
Лепил для продажи кувшины
На мокром гончарном кругу.
Базар торговался, не пряча
Страстей, как от века привык,
Но, цену кувшинам назнача,
Не шел на уступки старик.

И крытый глазурью лиловой,
Давно обожженный в огне,
Снял с полки кувшин я не новый,
Спросил старика о цене.
Старик отвечал мне: «Он редок,
Рожденный под сабельный язг,
Когда-то с Кавказа мой предок
Привез его в город Дамаск.
Вином он не будет уважен,
Доживший до многих морщин,
Но ты извини: не продажен
Бесценный, как память, кувшин».

Вехи судьбы

Станица — Терек — за водой — невеста — черкес на том берегу — она назначает ему свидание... берут его в плен... побег девушки с черкесом.

А. Пушкин, «Русская девушка и черкес» (план).

Где отзывались хребты
Лихой пальбе в минувшем веке,
Не сам ли Пушкин с высоты
В моей судьбе расставил вехи?
Звенели тихо удила,
Вилась вдоль Терека граница,
Казачья за рекой станица
Видна отчетливо была.
Невеста — гурия небес —
Шла по воду, а друг сердечный
Ждал с нетерпением — черкес —
Ее на стороне заречной.
Свиданье тайное она
Ему любовно назначала:
«Ты жди меня, когда луна
Взойдет над гребнем перевала».
Ночному сумраку взамен
Пылала киноварь над лесом.

Ах, был не я ли тем черкесом
И не меня ли брали в плен?
Не я ль, куда разговор
Шел об условиях обмена,
Бежал с казачкою из плена
К вершинам соплеменных гор?
Она наперекор родне
Меня отчаянно любила.
Бежав, станице изменила,
Чтоб жить в черкесской стороне.
У судеб всех своя излука.
На тыщу верст был звон стремян,
Когда засватал дочь Темрюка
Российский грозный царь Иван.
И, не потрафив царедворцам,
Поэт вблизи кавказских рек
Благословил казачки с горцем
Любви исполненный побег.

Перевел с кабардинского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

РАСУЛ РЗА

Увертюра к циклу «Краски»

Цвета:

Зеленый, желтый, черный, белый, алый.

Спектр опыта души — и небывалой
тоски и счастья жгучего.

Мечта

таит свой цвет во времени. В оттенке

есть тайный смысл — цветная суть события.
 Кому ж принадлежала честь открытия,
 кто первым пал под властью озаренья,
 что черный — траур,
 желтый — неприязнь
 и праздник — алый?
 Чье там настроенье,
 в искусство возведя житейский опыт,
 окрашивало чувства в цвет реальный?
 Вот раздвоенье алого — и кровь,
 и дорогой рубин в оправе перстня.
 Вот черный — траур, ненависть, любовь.
 Вот белый — слепота и сонмы радуг...
 Вдруг
 увидишь лист не в зелени весенней —
 в осеннем багреце,
 но, впрочем, лист
 всегда един — и только наше зренье
 воспринимает увяданья цвет.
 Цвета проносятся сквозь наши души
 как теплые, прохладные ветра,
 окрашивая цветовую гаммой
 слова и песни,
 голоса и память...
 Но каждый цвет пребудет тем, что есть,
 коль не захочешь в нем увидеть сути,
 гармонии тонов, полутонов —
 пленительной мелодики соцветий...
 Есть цвет у боли, радости, надежды.
 Раскрой же многоцветные страницы —
 и оживут в глазах твоих цвета
 борьбы и жизни, ненависти, счастья,
 души и человеческой судьбы.

Записная книжка

Привычна мне, как стены кабинета,
 пар чая в час рабочего рассвета,
 как синие чинары Геокчая,
 как боли сердца, книжка записная,
 клеенчатый зеленый переплет.
 Освобождаясь от пустых забот,
 формальностей, от устарелых правил,
 я самое заветное оставил
 на сокровенной белизне ее.
 Она — мой друг, забвение мое.
 Без пустозвонства, сплетен, хвастовства,
 без горького лукавства, без обмана,
 она, тайник любви и мастерства,
 со мною пребывает постоянно.
 Люблю ее. Моих раздумий свод,
 клеенчатый зеленый переплет.

Перевел с азербайджанского Р. БУХАРАЕВ.

КАКИМБЕК САЛЫКОВ

* * *

Не тронь мелодии родные,
 «Не пой, красавица, при мне...».
 Итак, я болен ностальгией

По той аульской стороне.
 Итак, грущу сыновним взором
 О глади лебединых вод,

Где юрты водят по озерам
 Свой неподвижный хоровод,
 Итак, грущу по колыханью —
 По зелени — ковыльных трав...
 Итак, дышу, в свое дыханье
 Всех птичьих песен не вобрал.
 И запахом кумыса свежим
 Я не наполнил грудь свою,
 И смех женгей¹ не слышен

нежный,

Смех, что звучит в родном краю.
 Не довелось следить мне

взглядом,

Как летом в утреннюю рань

С оглядкой пробежала рядом
 Медносеркающая лань.
 Осталось лишь воспоминанье,
 Лишь только вспоминанье,
 Как я за той бегущей ланью
 Когда-то наблюдал давно...
 Не тронь мелодии родные,
 «Не пой, красавица, при мне...».
 Итак, я болен ностальгией
 По той аульской стороне.
 Не пой, красавица, а смолкни
 И тишиною увлеку...
 Избавь меня хоть ненадолго
 От ностальгической тоски.

* * *

Теплом весны повеяло-подуло,
 Но лед блестит, не уступив весне.
 Березки, как девчата из аула,
 Столпились и судачат обо мне.
 «Женился! Выбрал в жены городскую!» —
 Все шепчет осуждающе одна.
 А мне отрадно. И душа ликует,
 Что все же помнит обо мне она.

* * *

Извечно к солнцу тянется подсолнух.
 Ему светлее солнца света нет.
 А для сердец восторженно-влюбленных
 Куда как лучше лунный полусвет.
 В миг откровенья каждый лишний — лишний.
 При свете солнца шепот оборви.
 А ночью шепот — преданный сподвижник
 И покровитель тайнства любви.

Перевел с казахского ВЛАДИМИР ТУРКИН.

А. МЕЖИРОВ

* * *

Из равновесья диких сил...

Баратынский.

Он завтракает в пять стаканом чая
 И дремлет в зимней темноте, читая
 Без пропусков, но и без увлеченья
 При свете, недостаточном для чтения.
 Зима. И если погасить ночник,
 Снег, бьющий в стекла, осветит полнее
 Предел огромной комнаты в траншее
 Арбата и незастекленных книг.
 А за окошком — города и веси
 Теперь уже в последнем равновесье
 Недиких сил. И лютый приступ голода
 Блокированного, больного города
 На берегу. И лютая тоска
 По той зиме. И зимняя Москва.

¹ Женгей — жена старшего брата.

Поют в его дому сверчки запечные,
 Что суждено ему на веки вечные,
 К несчастью,—завлитчастью. Ну и что ж.
 Быть может, номера у нас и ложные,
 Но все же мы работаем без лонжы,
 Упал — пропал, костей не соберешь.
 Так размышляет он. И тем не менее
 Сомнительное самоутешение.

* * *

Убывает время. Ах, убывает...
 Что же ты сетуешь? Бог с тобой.
 Оно не то чтобы убывает,
 А из этого списка переносит в другой.
 И я не то чтобы слишком болею,
 Не то чтоб усталость доканывает меня —
 А всё юбилеи стоят, юбилеи,
 Юбилейные какие-то времена.
 Столы все содвинуты. Море разливанное.
 На одну колодку набиты десятки моих речей.
 Сегодня юбилей Петра, а завтра Ивана,
 А послезавтра... Просто не помню чей.
 Между тем юбилея еще не выдал;
 Порог полувека не перешагнул
 Наш сизокрылый кумир, всечеловеческий идол,
 Но уже издалёка доносится грозный гул.
 Убывает время... Что горевать о пропаже,
 Если ты никого не наказывал и, почти не ропща, терпел,
 Если кое-что успевал, успевая даже
 Ничего не делать... Так что же теперь?..
 Что теперь я делаю? Я выступаю
 На юбилеях сверстников и однополчан моих
 И носом клюю в президиумах, дремлю, засыпаю.
 Засыпаю

покудова

лишь на миг.

Из Вольтера

Я позицию выбрал такую,	Чужды мне ваши крайние взгляды,
На которой держаться нельзя,	Радикальные мысли чужды.
И с нее кое-как атакую	Но я отдал бы все что угодно,
Вас, мои дорогие друзья.	Все, что взял у небес и земли,
Кое-как атакую преграды	Чтобы вы совершенно свободно
Между нами встающей вражды.	Выражать эти взгляды могли.

АЛЕКСЕЙ ЗАРИЦКИЙ

Осенью сорок первого

С надеждой и укором

Отступаем опять. Бьет огонь пулеметный.
 Городок весь в пожарищах, дышит огнем.
 Очень хочется пить. Мы вбежали в добротный,
 Потемневший от времени дом.
 А в прихожей толпа — инвалиды в халатах:
 Бледноватые лица, дрожь старческих рук.

Здесь лекарств и махорки устойчивый запах
 И на лицах смятение, испуг.
 Молодые, с оружием, мы замолчали,
 И тоскливой и длинной минута была.
 А глаза стариков поражали печалью,
 В них тревога, и боль, и надежда жила.
 Тихий дом, здесь ни стоны, ни громкого звука,
 Здесь на цыпочках нынче гуляет беда...
 Звонко бьется из крана прохладная струйка,
 Но твой плеск бередит мою душу, вода.
 Ты, водица, соленою стала, как слезы,
 Горький запах полыни во вкусе твоём.
 Я под градом свинца пил тебя из Березы,
 Из Днепра под неистовый пушечный гром,
 Отчий край покидая, родительский дом...
 Напились и наполнили доверху фляги.
 Но, набравши воды, не забрали беду.
 Как тоскливо глядят нам вослед бедолаги.
 Мы пошли. Что тут скажешь? Иду.
 Оглянулся невольно уже у порога,
 Вижу вновь — сколько старческих выцветших глаз
 С потаенной надеждой, с немою тревогой
 И с укором, почудилось, смотрит на нас.
 Мы сквозь сумрак прихожей к дверям проберемся,
 И опять — пулеметные трели и дым.
 Как мне хочется крикнуть: «Еще мы вернемся
 И тебя, городок, возвратим!»

На последнем рубеже

На опушке дымятся подбитые танки.
 Остывают орудия. Бой вдруг затих.
 Мы в лесу придорожном на ясной полянке
 Схоронили друзей боевых.
 И калина, как в трауре, ветви склонила.
 За листком с неохотой такую листок,
 Покружившись тоскливо над братской могилой,
 На холодный ложится песок.
 Бой затих. Лес молчит. Стрекотанье сорочье
 Донесется — и вновь немота тишины.
 Ах, как горько калина расплакаться хочет,
 В ней сиротские слезы слышны.
 А места здесь такие — заблудишься даже:
 Рядом озимь, а дальше синенют боры.
 Это сосны и ели стоят будто стража,
 Сторожа Подмосковье с далекой поры.
 Тут и пойма, и роща, и луг, и опушка
 Словно старого друга зовут отдохнуть.
 Тут негромкая Нара, такая речушка,
 Хитро вьется, как наши Вилейка и Друть.
 Но усталое сердце тревожно забьется,
 Лишь взгляну я туда, где восходит заря:
 Там осталась Москва, мне все чаще сдается,
 Что глядит вслед она сквозь туман сентябрь...
 Не дала нам судьба никакой передышки:
 За спиною, за черным простором полей —
 Институт, где читал я ученые книжки...
 Площадь Красная... Кремль... Мавзолей...
 Ах, как тут на опушке алеет калина,

Может быть, только день ей осталось стоять.
Аж две тысячи верст от меня до Берлина,
От Москвы до меня только семьдесят пять...

Перевел с белорусского ПЕТР КОШЕЛЬ.

СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН

* * *

Веет высокогорье, не ведая меры,
духом трав и овец — и прозренья пронзит,
что отсель открывались всевышние сферы,
где кричат небеса и рыдает гранит...
Выйдет старец в косматой овечьей папахе,
и о чем он гортанную речь заведет
так, что ухо протянет и вздрогнет во мраке
любопытный всезнайка — ночной небосвод?
О судьбе поколений? О красном смещенье
черных звезд? О трагических тайнах ядра?
И невнятных речей роковое значенье
прознобит до утра и проймет до нутра.

Сквозняк

По горло сыты стихами мы,
попортили вдоволь рифм
над лаком письменного стола,
подобного полынье,
а ну-ка локти, мой дорогой,
от дерева оторви —
пора попробовать не пером,
но голосом песню спеть,
не надо музыки, черт возьми,
достаточно сквозняка,
пустое тело его звучит

от форточки до дверей,
умом проследуй за ним туда,
где пылью над мостовой
витают в сумерках золотых
его моментальный след,
как дрожь по коже —
идет сквозняк
по розовому белью,
что поразвесили на дворе
от тополя до окон,
он продолжает свой путь ночной
по серому пустырю,
тайком ощупывая ворон
на вырубленных ветвях,
ползет на брюхе из проходных,
и тычется в тупики,
и поворачивается вспять,
обшаривая чердак,
метет по времени сквозняком
прекрасная эта тьма,
сквозняк — пружина ночных небес

и мускул тугих пространств,
он обволакивает на миг
предмет ли, любую тень
и принимает форму вещей,
как сумерки и вода,
бормочет, вздрагивает, шуршит
на разные голоса,
свистит — особенно в тростниках
у пригородной реки,
втекает в каждый подъезд
сквозняк,
затем вытекает вон
и, вновь присвистывая, потом
сквозь форточку ползет в окно,
потом подкрадывается к столу
и приподнимает лист
твоих заметок ночных, но ты
на этом закрой тетрадь,
надеясь, что жизнь твоя и судьба
в отличие от сквозняка
не растекаются по углам,
не свищут по проходным,
не принимают форму иных
предметов, судеб, вещей,
и голосом говорят своим,
кручинятся — о своем
и независимо от всего
имеют удачу быть
на людях, в песне, в больших
снегах
собою — и только так!

* * *

Не забыть ожидания залы
на огромных вокзалах страны,
здесь бездонными смотрят глазами,

здесь воистину люди равны,
 ибо ждут, а какие надежды,
 вещи, возрасты и имена,
 дата смерти и время отъезда —
 не касается это меня...
 Это каждого личное дело —
 да не сунемся в чьи-то дела
 под гудение общей метели,
 что в окне непроглядно-бела!
 Чадно, горько, дымится махорка,
 чемоданы, тюки и узлы...
 Это правда о жизни — и только! —
 где измучены, заспанны, злы.
 Ждут курьерского, что ли, состава.
 Черный уголь, белок фонарей,
 и такого же точно состава
 жизнь на тесной планете моей —
 черно-белая... Крик паровоза,
 грязь и проза товарных путей,
 чахлый вид станционной березы
 и немислимый визг скоростей.
 А когда, как архангел, диспетчер
 объявлял об экспрессах ночных,
 в дверь вокзальную люди, как в вечность,
 тускользали — как не было их!..
 И столкнуться придется едва ли,
 верно, и не припомнится нам,
 как в транзитных ночах ночевали,
 неизвестные по именам...
 Ты зубришь поездов расписание,
 а в кармане просрочен билет,
 жизнь тесна, словно зал ожидания,
 из которого выхода нет...
 Жизнь темна от любви и страданья
 на разъездах стремительных лет,
 и щемит, как ночное свиданье, —
 но откуда же бьет этот свет?..

Тайна

Любой человек — несказанная тайна,
 но только немногим дано до конца
 раскрыться отчаянно, необычайно
 и в полную меру живого лица...
 А все остальные, что пели и плакали
 под этими звездами тысячи лет,
 неужто они ничего не оставили —
 и в безднах истории стерся их след?

ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ

Из поэмы «Русское слово»

Сосна из девятнадцатого века пронзила наст.
 Мигнуло зорьки ледяное веко, и хрустнул пласт,
 И отзвук потревоженный сочится на стык веков,
 И до погоста дальнего змеится неровный шов.
 А после вечер зимний пал на плаху, и день угас,
 Рванувши косо на груди рубаху в свой смертный час.
 И двадцать первый век уже маячит, и даль жива.

За перевалом мир поет и плачет — слова, слова!..
 Не мог бы он без слов ни петь, ни плакать, себя познав, —
 Пустыни сушь, Нечерноземья слякоть, раздолье трав.
 Бессмертья символ — дерево живое передо мной.
 И борода — безудержная хвоя — течет рекой.
 Лицо аскета, резкие морщины, в снегу кора.
 И тени от ветвей, как старость, длинны и ночь сыра.
 Жизнь перелить в слова совсем не просто... Пусть гаснет
 твердь —
 Не обожжет дыхание погоста, отступит смерть.
 Спасибо, Даль! Сумел ты мир огромный, борясь с судьбой,
 Собрать за жизнь в словарь четырехтомный, словарь живой.
 Живут, не знаясь с радостью и злобой, векам под стать...
 Слов колдовское бытие попробуй предугадать!
 Вечнозеленых слов родные звуки, неброских слов!
 Они в себя вобрали столько муки из тьмы годов,
 Они круты, раздумчивы, упрямы, в них пот и труд.
 Двуручных сабель радужные шрамы на них цветут.
 Вовеки славен подвиг человека, что поднял пласт...
 Сосна из девятнадцатого века пробила наст.

Век звучит то нежно, то сурово.
 Слово... Что ж оно такое — Слово?
 Слово — это чувства целина,
 Слово — и проклятье и приветы,
 Позже скажут — радиоволна,
 Что связует все сердца планеты.
 Слово — это древнее сказанье,
 Слово — народившаяся новь,
 Слово — счастье, Слово — обещанье,
 Слово — жизнь, и вера, и любовь.
 Слово — это дружная беседа,
 Нелицеприятный разговор,
 Ободренье, окрик и укор,
 Слово — над безумием победа,
 В страхе перед ним пасует стража...
 Слово может бить точней Лепажа,
 Яростно, в упор, наверняка
 Заклеймив подонка на века.

На виски ложится седина...
 Тяжек труд. Когда досуг-то будет?
 А когда меня-то и не будет —
 Говорит пословица одна.
 Словарем одним душа полна.

Близится, шумит девятый вал.
 Холмик на Ваганьковом маячит...
 Бытие твое Словарь означает —
 Труд, который Пушкин завещал.
 Черное... Балтийское... Кадетский...
 Питер, Оренбург — поди сочти!
 Листик первый — почерк полудетский,
 На последнем — старческий почти.
 Новгородским трактом в мгlistом поле
 Первое словечко записал...
 Дело сделал — и ушел без боли.
 Вырастай же, передсмертный вал!
 Ветер по ночам хрипит натужно...
 Но, пока душа еще жива,

Пишет он последние Слова
 На листках, нарезанных как нужно.
 Растерял он долгие года
 По морям да по пустыням снега.
 Только цель, далекая как Вега,
 Озаряла дни его всегда!
 Долго длится дорассветный сон,
 Но не для него его отрада.
 Уголок запущенного сада
 Пресненскою лужей отражен.

Окружает вяжущая тень.
 Ты уже не в кресле, а в кровати
 В неизменном с поясом халате.
 Вот и подоспел последний день.
 Меркнет свечка — или свет в глазах?
 Промелькнуло смутное виденье:
 Вихрей разъяренных разговенье,
 Бури оренбургской дуновенье
 Гонит степью заунывный прах...
 Тот уральский вечер волоокий
 В даль неодолимую зовет.
 Подпирая хрупкий небосвод,
 Ты стоишь сосною одинокой...
 Одеревеневшая рука...
 Ветки-пальцы, чую, онемели.
 Проползают долгие века
 В крутоверти пасмурной метели.
 До свиданья, родина, Россия,
 До свиданья, Пресня и Москва,
 До свиданья, Русские Слова,—
 Каждое ты открывал впервые,
 Будто бы просторы новых стран,
 Лик материка, грозой омытый,
 Будто бы хирург — тайник сокрытый,
 Будто остров в море — Магеллан.
 Собралась вокруг его семья.
 Не грустите на грядущей тризне!
 «До свиданья, добрые друзья,
 Вам я оставляю дело жизни.
 Всю-то жизнь записывал слова,
 В них, пожалуй, все мое добро.
 Взять хочу — и не могу — перо:
 Ветвь-рука опущена, мертва.
 Слово записать я не могу.
 Что же, так и помереть в долгу?»
 Трещины-морщины по коре.
 Оплывает в изголовье свечка,
 Словно там, на Мойке, в январе...
 «Дочь,— прошу я,— запиши словечко!»

БАБКЕН КАРАПЕТЯН

Выйти бы на нивы

Выйти бы на нивы дивного Ширака,
 И топтать широкий травяной ковер,
 И рвануться к свету, и уйти от мрака,
 И впивать глазами весь земной простор,
 Выйти бы на нивы дивного Ширака.
 Перед взором старца, взором Арагаца

Нивы, эти нивы ластятся вдали,
 Словно дни далекой юности мне снятся,
 Краски изначальной милой мне земли —
 Перед взором старца, взором Арагаца.
 Первые порывы детства не забыты,
 Сказки и побаски, песни от души,
 Как былые годы громко ни зови ты,
 Как воспоминанья ты ни вороши,
 Радости и боли за туманом скрыты.
 Но люблю те годы свежести начальной.
 Дикие соцветья, камни на юру
 Наполняли сердце думой беспечальной,
 Чистой красотой, даже ввечеру
 Мне сияет утро прелестью начальной.
 Выйти бы на нивы дивного Ширака
 Юношей беспечным, в блеске озорства,
 И рвануться к свету, и уйти от мрака,
 И слышать, как звонко свищет синева,
 Озаряя нивы дивного Ширака.

Мосты

Вот он, мой последний мост
 (Может статься, не последний?)
 В зимний полдень, в полдень
 летний,
 Как он прочен, как он прост!
 Да, беспечен был я в дни
 Беспечального начала.
 Из грядущего огни
 Молодость моя встречала.
 Все мне было нипочем.
 Рушил всякие преграды.
 Друг? Заботился о нем.
 Враг? Не знал к нему пощады.
 Я шагал по большаку —
 Так подсказывала совесть.

Прочитал я на веку
 Удивительную повесть,
 Повесть жизни, повесть дней,
 Разделенных со страной,
 Честно я прошел по ней
 Путь-дорогу в жизнь длиною.
 Ноша жизни мне легка,
 Потому что вижу ясно
 Цель — она во всем прекрасна,
 Хоть не так еще близка.
 Вот он, мой последний мост
 (Может статься, не последний?)
 В знойный полдень, в полдень
 летний,
 Как он прочен, как он прост!

Перевел с армянского Л. ОЗЕРОВ.

ПАВЛО МОВЧАН

Крик в пространстве

На просторе дивном, диком
 слово выручит одно.
 Мир разъят на части криком:
 там светло, а здесь темно.
 Что собой являет вечность
 и каких страстей полна?
 Бренных будней
 быстротечность,
 праздность праздников она?..
 Жажда, радость утоленья —
 сразу, медленным глотком.
 Только в памяти явленье
 полной бочки с черпаком.
 В нас извечно чувство жажды.
 Неизбывен этот клич —
 вечность силой взять однажды,
 суть бессмертия постичь.

Сладость мига! Почему же
 так мгновенна власть минут?
 Пчелы мед холодный в души
 точно в соты понесут.
 Нас вобрат в себя стремится
 мир зрачками звезд, луны.
 Для чего-то наши лица
 мглой криниц сохранены.
 Ежедневно, ежечасно
 лучезарно и темно
 растворяемся согласно
 мы — в пространстве, в нас —
 оно.
 Лишь одно непреходяще:
 все таков, каким возник,
 луч, из тела исходящий,
 майской плоти светлый крик.

Перевел с украинского Ю. РЯШЕНЦЕВ.

* * *

Вечность обрекает имя на забвенье,
 кажется: сквозь слово прорастает гленье;
 под рукой молчат гранитные скрижали,
 гладенькие, словно слов они не знали.
 Ржавчина берет надгробные распятия
 в цепкие свои смертельные объятия.
 А откуда, кто он, под крестом лежащий,
 знает только ветер, в кроне шелестящий...
 Песенка пастушья тоньше паутины,
 горькая свистулька, паузы, запинки.
 Пастушок под вербой в даль глядит сырую,
 он пасет на небе птицу золотую,
 и ему нет дела, что под небом бледным
 раздувают трубы пламя вздохом медным,
 что железо вянет и слабеет камень.
 Паутина песни реет над веками.

Взгляд

<p>Взгляну направо — голос скрипки расслышу горестный и гибкий и различу, как тень по следу в степи бредет за скрипачом, он в три струны ведет беседу, вздымая скрипку над плечом, он словно проволоку тянет по увядающей стерне и сердце жалобой ранит, и туча сохнет в стороне. Взгляну налево — блещет речка,</p>	<p>вода завязана в узлы, и язык сверкает, словно свечка, среди глубоководной мглы. Какой покой! Речная темень мерцает — взгляд не отвести, и перекрученное время теперь никак не расплести. А впереди передо мною снег волокнистый замелькал и непроглядной пеленою пространство мглистое заткал.</p>
--	---

Перевел с украинского А. КУШНЕР.



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

ЛЕТО В БАББАКУМЕ

1

Об Англии у нас печатают очень много. Не со всем, что пишется, можно согласиться, начиная с мелких бытовых подробностей и до больших выводов. Мудрый Стендаль сказал в своей книге о путешествии по Франции замечательные слова: можно десятки лет прожить в Париже и ничего не знать о Франции. Можно несколько лет прожить в Лондоне в узком социальном кругу и не иметь правильного суждения об английском народе и английских традиционных обычаях.

Я помню превосходные очерки Овчинникова об Англии и Японии, но есть и другие попытки отразить английскую жизнь, с которыми трудно согласиться. Это и заставляет меня взяться за перо и поделиться с читателями кое-какими воспоминаниями.

Лет пятьдесят назад мой старый друг, покойная ныне армянская коммунистка Флора Варданын, рассказала мне о замечательном эпизоде ее молодости, уже тогда бывшей для нее далеким прошлым. Этот рассказ, который она берегла в своей памяти до самой смерти, был первым моим знакомством с тем традиционным явлением, какое впоследствии удалось наблюдать и в жизни, — с английским гостеприимством.

Флора, стоявшая близко к тогдашней семье Степана Шаумяна и его окружению, была одной из первых армянских девушек, пожелавших продолжить свое образование и поступить в университет. Для того времени — да еще в городах Закавказья, да еще армянке — это было почти несбыточное желание. В России не было пути в университеты для девушек. Заменявшие их Высшие женские курсы еще только-только открывались (Герье в Москве, Бестужевские в Петербурге). Словом, ей нужно было попасть за границу. И она не в пример тем, кто стремился в швейцарские университеты, выбрала Англию. Подготовилась по языку. Обратилась за помощью к существовавшим тогда армянским благотворительным обществам и к окружению Шаумяна. Ей помогли, дали на первый год необходимые средства... И Флора, армянка из патриархальной армянской семьи, где бабушки еще носили повязки вокруг рта как обет молчания в присутствии чужих мужчин (я еще видела таких бабушек, когда впервые попала в Армению), одна, самостоятельно, переплыв на пароходе Ла-Манш, ступила на землю Англии.

Вот она в Лондоне — капиталистическом центре всего тогдашнего мира, городе угля и железа, дыма и знаменитых туманов, городе

кебов и бобби, совсем не похожих на тогдашних царских городовых. Ей мечталось о дворцовых старинных зданиях Оксфорда и Кембриджа в зеленой Англии, но лондонские армянские семьи, давно англозировавшиеся, с фамилиями, звучащими на английский лад (опять вспоминаю, как сдружилась позднее с английским коммунистом Фрэнком Эпгремьяном вместо Абрамьяна!), не советовали ей и мечтать о старинных университетах, имевших и женские колледжи — образование в них стоило невозможно дорого, — недоступных и для огромного большинства англичан. Тогда Флора написала письмо просто по адресу: Лондон, такому-то. Этот «такой-то» был знаменитый, известный по переводам во всем мире, читавшийся, что называется, всасос и нашей учащейся молодежью и прогрессивной интеллигенцией философ-автодидакт Герберт Спенсер.

Великий для своей эпохи писатель получил письмо и тотчас на него ответил. Флора берегла это письмо, пока оно не истерлось и не превратилось от частого чтения в бахрому, — я уже не застала это письмо даже и в бахромчатом виде. Но Флора знала его наизусть.

Герберт Спенсер писал незнакомой армянской девушке из далекой России, что от души одобряет ее желание учиться. Советовал ей немедленно подать заявление в Лондонский университет, куда он от себя напишет рекомендацию. А так как сейчас на две недели университет будет закрыт по случаю рождественских каникул, он предлагает ей провести это время за городом, в поместье у его близких друзей, где ее радушно примут и ознакомят с английскими обычаями, а также помогут лучше овладеть языком. И он приложил подробный адрес, куда надо было поехать, с указанием поездов, пересадок, часов и станций...

И Флора все выполнила — подала заявление, поехала по адресу. Здесь при рассказе лицо ее принимало удивительное выражение пережитого праздника — дети так вспоминают свою первую елку. Видно было, что хозяйка не самые богатые в деревне или в округе, дом не «мэнор», хозяин не лорд, не баронет, вообще титулы не упоминались ею. Но было много веселых, радушных людей, не различишь вначале, кто хозяйка, кто гости, был большой заснеженный парк, ледяной каток, в конюшне верховые лошади, для женщин дамские седла, на которых сидят боком, чему она едва научилась; было катанье с гор, лыжи. Елка в большом зале, а вокруг нее — танцы, игры в шарады, в шахматы, и каждый чувствовал себя на свободе, без принуждения, выбирал, что ему нравилось. Флоре нравилась библиотека, альбомы со старыми гравюрами, нравилось разговаривать с теми, кто был гораздо старше и охотно отвечал на вопросы; нравилось, что задолго до завтрака в спальню приносят горячий крепкий чай — без всего, только чай, — и она его выпивала до того, как одеться. Сперва ей не понравилось умываться из таза и без крана, проточной воды. Но за две недели она так привыкла к этому бережному отношению к воде, что потом и дома его переняла. За завтраком каждый выбирал что хотел — всегда были овсяная каша, тосты (поджаренные и еще теплые ломти белого хлеба), масло, молоко, ветчина и яйца («бекон энд эггс»), маленькие жареные рыбки, почки в соусе, мармелад (джем), чай или кофе — кому что хотелось, но английский чай она полюбила. И она привыкла к тому, что перед самым сном, перед тем как подняться по лестнице наверх в спальню, хозяйка у самой лестницы вручала каждому гостю и члену семьи стакан какого-то душистого питья на ночь, чуть пахнувшего мятой. «Как жаль, что я не спросила рецепта этого питья», — неизменно добавляла Флора к концу рассказа. И вот что было важно в ее рассказе: за две недели она многое узнала об английском народе и об английских обычаях, об истории Англии, истории той части Англии, где было это поместье, о политическом строе, системе выборов и

парламент — словом, обогатила себя конкретными знаниями о стране, где ей предстояло учиться. Никто ей не расхваливал свою родину, не говорил, что она лучшая в мире, и вот что особенно поразило ее в английском языке: «Удивительным мне знаете что показалось, и я вначале все делала ошибки. У нас говорят «моя страна», «в нашей стране», а у англичан «моя» и «наша» в применении к их собственной стране как-то не принято говорить, но только так: in this (в этой) country (стране)».

Могут возразить мне, что ведь это было бог весть когда и хоть не «мэнор», не лорды и леди, но, во всяком случае, люди, видно, зажиточные, помещики, среднее дворянство, «джентри». Я не спорю. Просто привела рассказ старой коммунистки, о котором нынешняя армянская молодежь, может быть, и не знает. Флора Варданян в первые годы установления советской власти в Армении много работала в учреждениях, ведавших сиротгельмами, бездомными детьми, оставшимися после временного господства дашнаков без крова и родителей в полуразрушенных дашнаками деревнях.

Но перехожу от этих строк из далекого прошлого к совсем недавнему прошлому, пятидесятым и шестидесятым годам нашего времени, когда мне самой впервые довелось увидеть меловые скалы Дувра и гофрированные, как гармошка, словно сцепленные друг с другом, бесконечные жилые дома старой английской городской архитектуры.

2

До революции мы с сестрой успели объездить и пешком обойти почти всю среднюю Европу. Но в Англию мне удалось попасть, как я уже сказала, только при советской власти. Послом нашим в Лондоне был тогда товарищ Малик, и в первый же день моего посещения посольства он мне вручил драгоценный подарок: самое последнее английское издание путеводителя по Англии, толстый том, снабженный иллюстрациями и объемистыми статьями. Начало его, неожиданное, остроумное и очень умное, я до сих пор помню:

«Англия в прошлом всегда отличалась свежестью своих пищевых продуктов и полным неумением их вкусно приготовить; в настоящее время продукты питания потеряли у нас свою свежесть, а вкусно готовить их мы так и не научились».

Это хорошо, невольно думает читатель, вместо зазнайства других путеводителей, где только и читаешь о процветании и превосходстве!

В английском выставочном павильоне на Брюссельской всемирной выставке было как раз наоборот: во всем Англия объявлялась первооткрывательницей — от бутербродов, изобретенных каким-то лордом, который не любил мешкать с едой и сразу заворачивал мясо в хлеб, и до атомной станции (что, кстати, было не совсем справедливо хронологически!). Но остроумный путеводитель сразу расположил меня в тот первый приезд к Англии, к ее изучению, к характеру ее народа.

Что касается кулинарии, то заранее скажу — меня никто в Англии не угощал, ни у кого на званых обедах я не была, нигде, ни у клерков, ни у лордов, не гостила (кроме как у писательницы Наоми Митчисон, но то было в Шотландии, где и нравы и народ другие), а из своих впечатлений от еды и питья вынесла только одно: для меня было вкусно в Англии то, что подешевле, и это самое дешевое мне казалось самым вкусным — рыба с жареной картошкой («фиш энд чипс»), шиллинг за порцию, да еще стакан пива в придачу. Эта еда подавалась во множестве английских ресторанчиков, или харчевен (кстати, мне подумалось: «харчевня» — слово бедняцкое, от

единого корня «харч», «харчо»), где каждое воскресенье в двенадцать часов дня я обедала вместе с тысячами труженников Лондона, приехавших передохнуть от лондонского тумана в недалекий (час езды поездом) курорт Брайтон. Там от вокзала к морю шла прямая улица с такими харчевнями по обе ее стороны... Приятно вспоминать в глубокой старости, сколько у меня было тогда смелости, самостоятельности, здравого смысла, как неутомимы были мои ноги, как вглядывались зоркие глаза в каждую мелочь быта, как не уставал мозг воспринимать и воспринятое анализировать, сравнивать, обобщать.

Хочется сказать молодежи: не теряйте время, свои самые восприимчивые годы на пустые удовольствия! На карты, выпивки, застолье, рестораны, бары, болтовню — на все, что зовется времяпрепровождением. Время уносит (препровождает) их, как бегущая вода уносит мусор, ничего не оставляя для памяти.

Никто не приглашал меня к столу, но зато я сама угощала гостей. Вот как это было в первый раз. Темы, привлекавшие меня в ту пору, были — средняя и начальная школа в Англии, положение преподавателей начальных школ, их личный и школьный быт. В Лондоне, сколько помню, было тогда Общество англо-советской дружбы, и мне помогли познакомиться с известным марксистом А. Ротштейном (он сейчас президент этого общества) и его приветливой пожилой сестрой. А та, в свою очередь, познакомила с одной из учительниц начальной школы самого бедного и грязного предместья Лондона, кажется, Уайтчепеля. Знакомые по Москве англичане, работавшие у нас переводчиками, предостерегали меня: только не обращайтесь, что вы увидите в Англии страну Диккенса! Русские всегда ищут там Диккенса. Диккенс — архаизм, давным-давно изжитый! Но несмотря на все эти предостережения, может быть, потому, что я пребывала не в верхах английского общества, а в самых бедных кварталах лондонского населения и впивалась глазами и слуховым своим аппаратом в жизнь бедняцкой улицы, в ее движение, как большой реки с берегами тротуаров по обе стороны, — я всюду вдруг находила черты и черточки неумиряющего Диккенса.

Уайтчепель! Да, наверное, он и раньше был таким — Лаймхауз, китайцами населенный дом, у которого было якобы небезопасно останавливаться — и теперь, как тогда, — я не воспринимала их ни через свое социальное положение, ни через книги, ни через детективы, а просто как жительница этих улиц, возможная, воображаемая, чем-то духовно-душевно принадлежащая к этому миру. Безбоязненно, по-свойски — совсем так, как это было со мной в арабских кварталах рабочего Гренобля во Франции, в неаполитанских портовых переулках нищеты и грязи и на знаменитой улице в Марселе, где когда-то впервые прозвучала «Марсельеза» Руже де Лилиа и куда сейчас ходить «приличной публике» не положено.

Во многом это чувство со-причастности к самому бедному человечеству, к тем, кто в пролетарском гимне называется «ничем» («Кто был ничем, тот станет всем»), воспитывается многократным чтением таких бессмертных авторов, как Диккенс. Чтение Диккенса пропитывает постепенно впечатлительную душу читателя великим, очень, очень важным для человека и человечества умением *с о с т р а д а т ь*. Оно благотворно. С ним легче и прекрасней жизнь. Оно сильней всякой формы сочувствия, жалости. Оно не имеет в себе ни капли чего-то оскорбительного для другого человека.

Сострадание — это умение на короткое или долгое время перевоплощаться в чужую судьбу и чужие условия жизни и войти в душевное состояние другого человека, как если бы они вдруг сделались твоими собственными. Так случилось со мной, когда я позвала нескольких англичанок в гости, на угощение.

— Вы хотите увидеть, как мы живем, познакомиться и поговорить с несколькими учительницами из разных начальных школ? — начала свою речь пришедшая ко мне англичанка-учительница. — Так это лучше сделать у меня на квартире, а не здесь, в гостинице... Человек пять-шесть я созову, больше у меня и не поместится. И никакого угощения не надо!

Но я запротестовала — угощение обязательно нужно, чтоб легче разговориться, проще себя почувствовать... Вынула из сумочки фунт стерлингов — хватит на печенье и чай? У моей новой знакомой даже зрочки расширились — хватит, конечно. И в положенный час она зашла за мной, уже принарядившись в воскресный костюм. Мы шли около часа; кое-где проехали в двухэтажном автобусе. Улицы становились все уже, исчезали местами тротуары. И вот высокий для старой Англии четырехэтажный дом, облупившаяся штукатурка, узкий вход, темная лестница, пронизывающий запах аммиака. Возможно, и сейчас оно так. И так было при Диккенсе. Таких домов немало в «милой старой Англии». Они приносят хороший доход их владельцам. Это жилище для бедноты, улей из множества однокомнатных помещений с кухонькой — без всяких удобств. У многих нет даже воды — надо ходить за ней к общему уличному крану, так, по крайней мере, мне рассказали. Но вот что я видела сама: каждый этаж выходил на площадку входными дверями нескольких отдельных квартирок. И на каждой площадке была для них одна общая уборная. Они-то и пахли на всю лестницу аммиаком. У моей новой знакомой в однокомнатной квартирке была занавесочка, отделявшая кровать от большого стола. Вокруг него уже сидели шесть разного возраста женщин с очень интеллигентными настороженными лицами. На маленькой плитке кипел чайник. Хозяйка обнесла нас блюдом с тонко нарезанным кексом.

Постепенно все мы, представившись друг другу и назвав свои профессии, разговорились. И я жадно записывала многое новое для себя. Среди учительниц были две коммунистки. Они допускались городским начальством к преподаванию, но повышение, звание директора школы было для них недоступно. И какое-либо упущение, которое могло сойти с рук учительнице-некоммунистке, для этих последних могло оказаться роковым.

— А все-таки нам легче — мы в коллективе, — сейчас же добавила одна из коммунисток. И улыбнулась.

Улыбка ее была для меня чем-то вроде открытия, многое помешало мне в этой улыбке: и желание не подчеркивать профессиональную разницу между учительницами, более благополучное положение беспартийных; и классовую солидарность; и чуть-чуть гордости за принадлежность к коммунистической партии.

Мне рассказали о состоянии самих школ. Их старые здания не ремонтируются, плохо отапливаются, инвентарь изношен и почти не заменяется новым. Каждое улучшение, самое маленькое, надо выпрашивать месяцами. Иногда разбитые оконные стекла сами педагоги заклеивают бумагой. В некоторых школах нет элементарных удобств, дети бегают на двор.

— В нашей школе, — сказала одна из учительниц, — нет даже угла для раздевалки, дети валят одежду в кучу, не хватает вешалок. Нужда острая в учебниках, книгах, тетрадях, в кипяченой воде для ребят. Пишем десятки жалоб, без конца ходим к начальству, хочешь от всей души помочь детям, душу вкладываешь в преподавание — но что мы можем... Но самое страшное — угроза увольнения, закрытия школы хотя бы на время с прекращением жалования.

И тут моя хозяйка вдруг как-то неожиданно для меня обвела глазами свою крохотную квартирку...

Увольнение. Прекращение жалованья. Каждый месяц с железной точностью наступает срок уплаты из этого жалованья за жилье миллионеру, хозяину этих ужасных лачуг. А если нет — чем уплатить? Не помогут никакие мольбы и просьбы, опять — словно страничка из Диккенса, из «Крошки Доррит». И во взгляде, каким хозяйка обвела свои бедные стены, опять мелькнуло для меня нечто вроде открытия — любовь! Хозяйка любила эти бедные стены, она держалась за них, они сохраняли ее бытие, отделяли от чужого внешнего мира, от холода, тумана, ветра, слякоти, безвыходности, бездомности...

Я представила себе в этом одном взгляде весь ужас капитализма. И рядом с видением беспомощности, безнадежности, безвыходности уволенного человека, лишившегося крыши над головой (улицу, улицу, путь в никуда, без опоры и без надежды), я вдруг увидела нашего советского жителя удобных новых квартир с санузлом и, главное, без всякого забытого нами, невозможного в нашем строе чувства обреченности. Сколько из нас непрерывно ворчит на то, на се, «отняли на полдня горячую воду», «свет потух на два часа», и сколько таких ворчунов не платят за квартиру месяц-другой, а то и полгода, и никто, никакой хозяин (хозяев нет, хозяин — государство) не смеет их выгнать на улицу... Совсем другое самочувствие, другой внутренний строй отношения к внешнему миру и сам этот внешний мир — какой он другой. Словно в капле воды отразился весь солнечный спектр — отразилась для меня пропасть, отделяющая мир капитализма от мира социализма.

Устроив эту встречу, я хотела послушать, научиться, узнать, как живут мои «гости», но по мере нашей беседы гостям говорить было все меньше охоты. Они тоже хотели послушать меня, узнать, как обстоит у нас в Советском Союзе со школами для начального образования, с положением педагогов этих школ, условиями их быта, жалованьем, жильем, помогают ли и как профсоюзы работникам просвещения, какова роль государства в ремонте, открытии и закрытии школ, роль частной помощи, благотворительности, попечительства, что такое шефство над школами у нас, принято ли давать учителям-мужчинам более высокое жалованье, чем учительницам, — словом, множество было вопросов... К стыду моему, я оказалась не очень-то подготовленной к ним. И передо мной невольно всплывали наши дорогие, великолепные рекламные издания для заграницы о наших дорогих, великолепных предметах показа тем, кто там, за рубежом, кто о нас думает бог весть что; какие мы «бедненькие», «замухрышние», «серые», — а мы вот, в красочных рекламах, в блестящем оформлении, такие же, как и вы. И смутное чувство недовольства этой рекламой, что-то вроде впечатления от нее «и мы как вы». «и мы не хуже» заставили меня с какой-то тоской вспомнить время, когда наши великие социалистические октябрьские дипломаты Карахан, Чичерин выезжали «туда» в обычных пиджаках, гордо рекламируя именно то, что мы другие и у нас не так, как у вас... Но это между словом, главное же было в чувстве неизвестности или недоходчивости до незажиточных слоев населения ультракапиталистических стран именно хребтовой пропаганды по основанному нашему строя, ставшим для нас столь привычными, что мы сами начинаем, живя в них, забывать их, как забываешь воздух, которым дышишь.

Словом, опять же возвращаясь к нити рассказа, они хотели получить от меня как из первых рук сведения о том невиданном, незнакомом, новом, что создает социалистический строй на нашей земле, а я хотела увидеть своими глазами так называемые язвы чужого строя и видела их ярче и лучше, чем они реальность моего собственного мира.

— Трудно нам увидеть все это своими глазами, — сказала на мои речи самая пожилая из учительниц. — Ведь уж очень пышно приезжают ваши делегации в Англию — в каких только гостиницах не останавливаются, чего только не покупают... Один из ваших, рабочий по званию, сказал мне: «Уж очень дешев у вас шоколад, я для детей десять плиток взял на вокзале из автомата, только шесть пенсов штука!» А шесть пенсов для нас — это не пустяк, — добавила она со вздохом.

Не знаю, сумела ли я хоть отчасти показать моим гостям светлую сторону наших собственных прав при социализме, но картину вопиющего бесправия личности при капитализме они показали мне ярко, доказательно, реально. Нет права на труд, отнят труд — потеряна его оплата, нет оплаты — нечем заплатить за жилье и хозяин имеет право тотчас выгнать вас на улицу. Государству нет дела до вас, государство охраняет право собственника, личность хозяина, до человеческой личности («права человека»!) ему нет никакого дела, для него существует лишь право частной собственности и личность собственника. Подобно капле воды, отразившей весь солнечный спектр, открылась для меня в этой встрече огромная пропасть, отделяющая капитализм от социализма. И самым сильным впечатлением оказалась для меня как для писателя, живущего образами и так называемой психологией, любовь и ужас, мелькнувшие во взгляде у моей главной гостьи, каким обвела она стены своего убогого жилища: любовь к этим стенам и ужас при мысли об их потере...



Ленин уважал английский рабочий класс, ходил на их митинги по старым церквям, где эти митинги устраивались. К рабочему классу у нас, советских командированных, во избежание дипломатических осложнений ходу не было. Но мне хотелось пожить среди населения — тех, кто, как мои гости-учительницы, тяжелым и не очень прочным трудом добывает свой кусок хлеба.

В Англии есть в Девоне очень дорогой и нарядный курорт Торки (пишется Торкэй, произносится Торки). По вечерам, если смотреть на него с моря, он кажется россыпью блестящих драгоценных камней. Но с двух сторон его окружают — не знаю, как правильней назвать их, — дачные поселки, слабо освещенные по ночам, с дешевыми пансионатами и отелями, где можно очень недорого провести свой месячный отдых, со своей гаммой развлечений, о которых скажу после, но с теми же дарами природы — мягким морским воздухом, солнцем, купаньем, загораньем на пляжах...

Я попросила знакомого работника АПН устроить меня в этой полосе Девона, подешевле, на две недели жизни, для которой скопила «собственные», неподотчетные деньги от положенного мне по командировке расхода на питание. Товарищ из АПН позвонил куда-то, заглядывая в книгу с летними объявлениями и сообщил:

— Собирайтесь, едем в Девон! Закажал вам дешевую комнату в местечке Баббакум! — Он произнес это странное название не совсем свободно: оно было ново для него самого.

Ехали мы по зеленой Англии из дымного Лондона с остановками, с выпрыгиваниями из старой советской машины на интересных местах, и я на деле узнавала древнюю фантастику этого необыкновенного острова, в любой своей точке отдаленного от моря и океана не больше чем на сто с лишним километров. Вся прелесть шекспировских полей и лесов с их волшебствами — аккуратно растущими в кружок травами, странными каменными плитами различных археологических названий, дольменами, о которых мы в школе учили,

столбами, каменными, сложенными из гигантских плит жилищами доисторического человека, — но интересней их эти воистину непонятные кружки трав среди ровной поверхности, покрытой обычной однородной травой, — среди нее вдруг, словно феи танцевали ночью, нельзя описать словами, можно только нарисовать эти странные зеленые колечки, словно их посадил садовник. Как, в самом деле? Каким образом? Ветер — круговым дуновением? Змеи — ползком? Я попробовала было рукой выправить их и смешать с растущей вокруг обычной травой, но они были упруги, лежали крепко, будто разбросанные тяжелые веночки... И спутник остановил мою руку: не надо! Какое-то суеверие возникало от видения этих непостижимых игралищ природы и доисторических остатков чудовищно далеких времен... Мы проехали эффектный курорт Бат, забрели далеко в сторону, чтоб снова для меня повидать темные скалы Лендс-Энда — конца страны, последней точки английского острова, за которой грозно урчал и гремел океан, бросая на берег седое кружево взметенных волн. Словом, до Баббакума изрядно поколесили, пользуясь случаем, по этой южной части Англии, покуда не окунулись в мягкий, влажный, ласковый воздух Девона (графство Девоншир) и впереди не засинело спокойное бирюзовое море.

А прямо на утесе над этой тихой бирюзой возник остроконечный профиль отеля. Мы приехали на мое летнее жительство — в Баббакум.

Среди всех форм добывать себе хлеб насущный в Англии (а может быть, и в других капиталистических странах) есть один вид бизнеса: эксплуатация жилых зданий. Собрал человек нужную сумму и снимает подходящий дом весь целиком для сезонного использования, чтоб заработать за этот сезон больше, чем выплаченные деньги. Ну, например, для гостиницы, пансионата, театра, а через год или сезон, глядишь, в здании уже другой хозяин, другая труппа актеров, другой предприниматель. Мой отель, где мне по телефону отвели самую дешевую комнату, был как будто результатом такого односезонного бизнеса.

Навстречу нам вышли сами хозяева — муж и жена — с озабоченными лицами, как у начинающих дела, быть может, совсем для них нового. За все две недели я ни разу не видела, чтоб кто-то был у них в услужении, помогал им вести этот двадцатикомнатный корабль по трудному обслуживанию постояльцев, их кормлению, уборке комнат, мытью посуды, получению нужных продуктов. Не видела я и такого обычного гостиничного инвентаря, как печатные рекламные местности, стопки продаваемых или раздаваемых газет, всякого рода сувениров для продажи. В крохотном садике ни разу не сушилось белье, не играли ребята: было ясно, что мои хозяева — молодожены, детей еще нет, трудятся они зверски. Не сразу все это открылось мне. Но вот мы здороваемся и я вижу в глазах у моей хозяйки явственный испуг и разочарование. В крохотную чердачную комнатку, самую дешевую, перед нами вела довольно неудобная зигзагообразная лесенка на третий этаж, под чердаком, и когда мой спутник понес по этой лестнице наверх мой неуклюжий чемодан, молодожены переглянулись. Испуг — чего? Разочарование — в чем? Их взгляд говорил мне совсем неожиданно: старушка... ей трудно будет... а других комнат, пониже, нет, все заняты, и они ведь дорогие... — взгляд скользнул, прежде чем встретиться с другим, по моим седым волосам. Я была семидесятилетней «старушкой», но я за год до этого получила значок альпиниста первой степени и чувствовала себя в те годы отнюдь не старой... Чтоб убедить их, взяла да и побежала за своим спутником, отлично знавшим мою резвость. Вот в таком ключе и началось и прошло мое двухнедельное лето в Баббакуме.

Знакомый апээнонец уехал, обещав через две недели доставить меня обратно в Лондон. А я по привычке составила расписание, повесила его в своей подчердачной комнатке на стене, перед трехногим, крепко приставленным к окну столиком, вынула блокнот, собственную московскую чернильницу, собственные лиловые чернила, школьную ручку, которой пишу постоянно, и стала жить. Просто жить, как дома, по всегдашнему расписанию: в восемь часов не евши, не пивши встать и за стол, где уже положены блокноты мои и лондонский дневник, писчая бумага, разрезанная в длину пополам, столбиками, замечательный фаберовский клей в золотистой пластмассовой бутылочке с голубой крышкой,— словом, как всегда и всюду. В десять утра хозяйка, деликатно постучав, приносила мне английский завтрак (пишу «английский», потому что он резко отличается от европейского континентального, только односложный — кофе, масло, джем, бриоши или слоеные подковки). На подносе чистенько и аппетитно лежали две копченые рыбки, кусочек масла со слезой — от свежести, — ломтики хлеба, глубокая тарелка с овсянкой или кукурузными хлопьями, маленькая бутылочка, еще запечатанная, с молоком, иногда неизменные ветчина с яйцом... Половину я откладывала на ужин, а кофе (ну какой в Англии кофе! одно название) выпивала. И всякий раз очень красивая бумажная салфеточка, чтобы накрывать оставшуюся пищу. За окно, прямо на крышу, ставить тарелку нельзя было — прилетали птички, садились рядышком и, повертев головками, тотчас склевывали.

До двенадцати я работала. Это не была основная работа, а только подготовительная: переводить с сокращенных, только мне понятных заметок из блокнота и дневниковых записей в особую тетрадь, где материал превращался в своего рода полуфабрикат. Творческое превращение его в художественный очерк совершалось только дома, в своих четырех стенах. А здесь как бы заполнялась для него копилка памяти, чтоб ничто не пропало из безостановочного конвейера времени, этого льющегося потока жизни... И все-таки многое из моих заготовок так и соскальзывало с конвейера, не успевая воплотиться...

А после двенадцати меня отрывал от работы аромат ленча. Остальные постояльцы собирались в обширную столовую на веранде, далеко и невидимо для меня. Хозяйка кормила их очень вкусно, судя по этому запаху... Я надевала свой легонкий плащ или закидывала его через плечо, спускалась с палочкой для дальних прогулок вниз, в садик, а из садика в переулок, откуда можно было избрать любое направление, печатаемое по четырем сторонам карты большими латинскими буквами, — юг, восток, север, запад... Весь мир, неведомый, еще только познаваемый, находка за находкой. Человеческое счастье! По крайней мере познание всегда было величайшим счастьем для меня... даже сейчас, в девяносто три года, когда я лишилась зрения...

Если вы относитесь к любой точке земного шара, где вам удается быть, с любовью, она, эта точка нашей планеты, отвечает вам своей открытостью. Вы шагаете по дороге, а земля, все, что растет на ней, что построено и налажено для вас, бежит вам навстречу. Наша планета — огромный магнит, и не только руки ваши способны источать биотоки: дышит и посылает свое дыхание все, что растет, развивается, дышит вместе с потоками времени, нельзя не получить их здоровое дыхание, выходя на дальние прогулки. Я уже знала, что за моим отелем есть улица Баббакума — с лавочками, жилыми домиками, разными нехитрыми, но необходимыми для жителей учреждениями. Первым моим знакомством на этой улочке была прачечная — уголок общественного быта. Вошла в нее — и никого не увидела. Стояли какие-то станки, столы, на них длинные ящики,

но ни служащего, ни хозяина, ни посетителя. Я начала звать громко, кто тут есть,— никто не отозвался. Начала разглядывать станки, но мало что поняла. В ящиках был ряд коробок с мыльным порошком, только вынуть их было невозможно. Вошли первые посетители— женщина и мальчик. Увидя меня, женщина улыбнулась, положила на стул свой сверток, вынула кошелек с тяжелыми английскими медяками (до реформы) и принялась действовать. Вынутый медяк она сунула в щелку на ящике, и тотчас, звякнув,— откатилась крышка ровно настолько, чтоб выбросить вверх одну коробку мыльного порошка и снова захлопнуться. Потом она так же угостила своим медяком другую щелку в большом автомате, и тот открыл свою пасть, куда она ссыпала порошок, а потом аккуратно выложила туда из свертка свое белье. Пасть закрылась, зажурчала струйка воды, автомат начал перестирывать, кружить, мять, мягко жевать и выплевывать в льющейся воде выстиранное белье... А женщина, увидя, что нет ничего со мной и я только стою и смотрю, стала показывать мне дощечки на автоматах, где было написано, сколько положить денег, до какого веса можно вложить белье, где мойка, где сушилка... А вот на вопрос, где же хозяин или заведующий, она только плечами пожала: зачем? Прачечная была автоматом, чисто и точно работала сама и не нуждалась в присмотре. Только поздно вечером приходил кто-то, чтобы собрать заработанные ею деньги. Это было хорошо и удобно— малая техника общего пользования в девонской деревушке... Прогулка моя длилась почти длинный летний день за вычетом короткого обеда в открытом кафе— чашки томатного супа и булочки. Практически я узнала все, что мне нужно,— где достать газету, купить хлеб и молоко, лекарство, марки, опустить письмо, какие породы собак имеются у жителей, куда ведут указатели на развилках этой улицы...

Домой я приходила усталая, спать ложилась еще засветло, чтоб не жечь зря лампочку, и всегда заставала своих хозяев усталыми до изнеможения, но все так же зверски работающими— убирающими, моющими, выносящими мусор, подметающими лестницы и дорожки в саду. Я успевала до полной темноты все-таки записать в блокнот кое-какие свои наблюдения, а главное— внести на отдельный лист всякие выписки из прочитанной местной газетки, какие и где имеются рекомендуемые для осмотра достопримечательности.

Как правило, на первом месте были музеи. Если в Торки тоскующим по летним развлечениям курортов Континента (с большой буквы!) можно было отвести душу (до некоторой степени), то в этих малюсеньких приморских местечках Девона летние развлечения были другого порядка, близкие к нашим. Все музеи, памятные места, чудеса природы я изучила постепенно, шагая со своей палочкой по указанным маршрутам. Очень хорош был музей старой английской деревни в отведенной для этого роще. Таких деревень-музеев на природе, где вы знакомитесь с далеким прошлым страны, с ее кустарными промыслами, ее старинным рабочим инвентарем— прялками, веретенами, ткацкими станками, люльками для взбивания масла, всякой керамической ручной промышленности, тканями, кружевами и т. д.,— много по всей Европе, есть они и у нас и у чехов по соседству с нами, а в ГДР довелось мне увидеть даже «личный» такой музей, собранный самим стариком крестьянином, пенсионером,— избу старого немецкого типа, до революции. Один за другим сносил он туда, в эту почти развалину, купленную им за собственные гроши, отремонтированную собственными руками, старинные, вышедшие из употребления предметы утвари, инструменты, мебель. И сам создатель этого музея встречал вас на пороге и показывал, рассказывал, описывал наизусть уже знакомую «биографию» созданной им достопримечательности... В Девоне все это было системати-

зированной, проще, может быть, обширней территориально. Куда бы я в Англии ни ездила, я всегда позволяла себе заглядывать в такие культурные памятники, покупать открытки с их видами, краткой аннотацией — лазила не без страха в знаменитую пещеру Кента, ездила в дома Стивенсона, Бернса в Шотландии, словом, всюду, где только могла и позволял мой кошелек, вплоть до вымышленной квартиры Шерлока Холмса на лондонской Бейкер-стрит...

Возможно, я тут повторяла маршруты наших туристских поездов. Но по опыту знаю: прочное и более глубокое знание надо получать индивидуально, завоевывать самой. Тогда оно шире входит в вашу образовательную память. Кстати, записалась даже в общество диккенсианцев «The Dickensian» и несколько лет поддерживала свое членство, посылая через наш Союз писателей членские взносы и получая очень интересные тонкие журнальчики этого общества. Мне было интересно знать (и оплачивать это знание из своих командировочных на еду) эту культурную жизнь простых английских людей, создаваемую большей частью на малые личные пожертвования из частного, но не очень объемистого благотворительного кармана. Иногда у этой частной благотворительности попадалась мне и очень забавная, но непонятная сторона. Так, гостя несколько дней в Шотландии у писательницы Наоми Митчисон, я наткнулась в саду на нечто вроде почтового ящика с надписью: «Жертвуйте на сохранение знаменитых шотландских парков» — и положила в его отверстие фунтовую бумажку. К моему изумлению (с одним фунтом я положила и свою визитную карточку), в течение всего года мне посылали в Москву из Эдинбурга великолепнейшие издания со множеством цветных иллюстраций шотландских замков и пейзажей — так много и так часто, что количество их далеко превысило стоимость одного фунта...

Но вернемся к Баббакуму. Осмотрев и обойдя все и вся, что можно было обойти и осмотреть вокруг моего отеля, я выбрала для своего послерабочего отдыха только одно: спуск к совсем крошечным бухточкам на побережье. Одни из них были неблагоустроены и безлюдны, другие посещались людьми. В одну, снабженную лестницей и креслами-лежанками, я стала спускаться для отдыха, чаще всего после полудня. В ней был буфет, где можно было заказать себе чай и оплатить кресло-лежанку. Обычно я собирала на крошечном берегу бухточки очень интересные камушки, не полудрагоценные, как у нас в Коктебеле (халцедоны, агаты, сердолики), а простые голыши, но расписанные морем самыми замысловатыми рисунками. Вокруг меня на лежанках отдыхали жители Баббакума, а может, и других мест. В положенное время из буфета приносился поднос с английским чаем, бутербродами и паем — английским плоским пирожком с яблоком. Я кончала с чаем, относила поднос в буфет, расплачивалась за чай и лежанку и, вернувшись к ней на бережок, еще раз задремывала, прежде чем отнести буфетчице и свое кресло... На пять-шесть минут... и вдруг, поклевав носом, заснула крепчайшим сладким сном....

Меня разбудило ощущение какого-то скрипа подо мной, полозя кресла-лежанки тихонько ползли вверх. Нет, их тащили, тащили сильно по камушкам, а в ноги — в подошвы моих утруженных, хоженых-перехоженых туфель — как будто подкатывалось что-то. Прилив! Пожилой англичанин тащил мою лежанку наверх, к буфету, а нас догоняла серая, лоснящаяся змеиным блеском, гладкая вода прилива — водяное дыхание, точнее выдох, далекого океана. Как я могла забыть эту особенность английских побережий! Тем более сама ведь переводила о ней в «Лунном камне» Уилки Коллинза... Устыдившись, что меня тащит пожилой человек, я неуклюже выкарабкалась из кресла, сама помогла дотащить его до лестницы и начала свое очень плохо произносимое, не то с «т», не то с «ф» или с ка

кой-то середкой между этими буквами «фэнк ю, фэнк ю» — спасибо, спасибо,— а пожилой англичанин улыбнулся. Достал из кармана свернутую газету, порылся в грудном кармашке, вытащил оттуда карандаш, а с белого поля газеты оторвал краешек и, пристроив его на ладони, написал что-то. Но я глядела (уж наверное, вытаращив глаза) не на этот клочок неотступно, словно одаренная чем-то очень праздничным, а на буквы названия газеты — это было тогдашнее название органа английской компартии «Дейли уоркер». Был ли этот пожилой англичанин коммунистом, я не знаю — не узнала тогда,— но он читал «Дейли уоркер». Он написал мне на отрывке газетного поля: tide rising (прилив) — с такого-то до такого часа, falling (отлив) — с такого до такого.

Долго потом я берегла, как берегут талисман, этот мягкий клочок бумаги. Трудно объяснить, с каким чувством я шагала всю дорогу до Баббакума. Мне казалось — иду по нашей проселочной дороге под Москвой. Есть же такое слово «человечество». Оно — из таких людей, думающих о будущем.

Вернувшись в свою крохотную комнатку, засела за дневник. Теснилось так много мыслей в голове, хотелось записать их, но я поставила перед собой на белом листе дневника только два слова: «Помнить: человечество» — и закрыла тетрадку.

Это был мой последний день в Баббакуме.

3 февраля 1981.



А. КАШТАНОВ

★

КОРОБЕЙНИКИ

Повесть

Глава первая

Блондинка в красном дождевике села около телефона: «Можно от вас позвонить?» Сидела, скрестив полные ноги, крупная, ухоженная, такие в толпе первыми бросаются в глаза. Звонила по разным номерам: «Да! Я здесь! Сегодня приехала!» — нежно улыбалась, уверенная, что сообщает людям радость. Она просила помаду и крем, японский зонтик, растворимый кофе, какие-то билеты. Договорившись с одним, прощалась и набирала следующий номер. Каждое слово предназначалось не только собеседнику, но и работающим в комнате женщинам и заодно Юшкову и Радевичу. Этим уже просто автоматически, как зрителям мужского пола, прочим же для пользы дела демонстрировались связи. Женщины, копавшиеся в своих бумагах, скорее всего не замечали снабженческую ее удачу: мало ли приезжих изо дня в день трется в их кабинете и все пытаются произвести впечатление в надежде получить запчастки. Радевич старался не смотреть на блондинку, ерзал на стуле, вытащил пачку «Примы» из пиджака, и его тут же выгнали курить в коридор.

Юшков вышел следом. Они с Радевичем уже получили все запчастки на заводе, и осталось только здесь, в отделе кооперации, раздобыть резиновые сальники. Блондинка тоже приехала за сальниками, и Юшков ревниво следил, дадут ей или тоже откажут.

Радевич курил около сварной железной лестницы. «Ну и баба! Скажи, а?» — «Что ж теряешься?» — «Куда мне! Это уж тебе вот...» Блондинка вышла вместе с кладовщицей, обе в черных халатах. Одарила мужчин коротким взглядом и стала спускаться вниз, осторожно нащупывая ногой ступеньки, словно шла в темноте. Кладовщица тяжело переваливалась на отечных ногах. Юшков подождал, пока перестала греметь под ними лестница. «Похоже, дали ей сальники». «Она свое возьмет!» Хорошо Радевичу было восхищаться этим, понадеявшись, что Юшков все для него сделает.

Сюда всегда посылали Юшкова. Сколько он работал на автобазе, все эти пять лет посылали на завод только его. Он всю жизнь прожил в этом городе, институт окончил, здесь его знали и он всех знал, кому ж было ехать, как не ему. С пустыми руками не возвращался, привозил любой дефицит. И уговаривать его не приходилось: сам рад был вырваться на несколько дней, повидаться с матерью и друзьями.

Теперь автобазе придется обходиться без него. За запчастками будет ездить Радевич. Сальники — последнее, что Юшков делал для них. В кармане у него со вчерашнего дня лежала трудовая книжка

с записью: «Уволен по собственному желанию». Его ждали в институте, через несколько часов он должен был стать научным сотрудником. Он вернулся домой.

Женский голос из невидимого динамика назвал номер машины Радевича, приказал убрать ее с погрузочной площадки. Радевич не услышал. Ему в голову не пришло, что по здешнему радио могут обращаться к нему. Юшков сказал: «Тебя зовут». — «Чего?» — «Ук-рала твою колымагу. Разберут на запчасти и тебе же их сдадут». Голос в динамике повторил свое. Радевич засуетился, побежал вниз.

Юшков спустился следом. Моросил дождь, мокли контейнеры вдоль железнодорожной ветки, стояли на платформах готовые к отправке автомобили. Десятки путей, переплетаясь, уходили под мост и дальше, к литейным цехам, невидимым отсюда. Завод был большой. Юшков и сам не знал, сколько его приятелей, школьных и институтских, работало здесь.

Он прошел по эстакаде вдоль складов, толкнул стальную дверь склада резины. Так и есть. В проходе между стеллажами кладовщица держала перед собой на вытянутых руках холщовый мешок, блондинка бросала в него черные кольца сальников. Губы шевелились: считала. «Молодцы», — сказал Юшков. Она сбилась со счета, сморщила лоб и тут же улыбнулась с той же, что и у телефона, нежностью: «Уметь надо».

Радевич отогнал в сторону свой тягач с прицепом, заглушил двигатель. «Пойдем, познакомлю с начальством», — сказал ему Юшков.

Заместителем начальника отдела был его институтский приятель Саня Чеблаков. Он сидел в кабинете спиной к мутному от дождя и пыли окну. Юшков и Радевич уже были у него сегодня, но попали за минуту до оперативки и, кроме дела, ни о чем еще не поговорили. Юшков сел за стол. «Что ж делать с сальниками, Саня? Нам ни одного не дали». — «Сальников нет». — «А если я найду?» — «Неужели я тебе не дал бы, если бы были?» — «Ну а если я найду?» — «Найди, спасибо скажу. Директор их найти не может». — «Что директор, тут такие блондинки ходят». — «Какие блондинки?» — «Из Клецка. Из Клецка она, кажется, а, Степаныч?» — «Из Клецка», — подтвердил Радевич, приподнимаясь. Он сидел на стуле у двери. «Ей дали? — нахмурился Чеблаков. — Я их за такие дела накажу. — Он щелкнул тумблером на своем пульте, снял трубку, продолжая оправдываться перед Юшковым. — Я их накажу... Алло! Почему выдали сальники Клецку?! Ну так я последний раз предупреждаю!.. Только по моему указанию! — Бросил трубку, сказал Юшкову: — Охламоны. Завтра будут тебе сальники. Сегодня никак».

Юшков, обернувшись, тронул Радевича за локоть. «Теперь к вам будет ездить вот этот товарищ. Прошу любить и жаловать». «Сфотографировал», — заверил Чеблаков и показал на свой лоб: мол, не беспокойтесь, образ запечатлен навечно.

Странно было видеть его хозяином такого кабинета. В институте он вроде бы ничем не отличался. Отличался Юшков. Юшков подрабатывал на такси в ночную смену и стал самостоятельным тогда, когда друзья, Валера Филин и Саня Чеблаков, еще зависели полностью от родителей. И позже, когда Юшков приезжал к ним уже начальником автоколонны, холостым парнем с деньгами, не растраченными в маленьком районном городке, а они, Чеблаков и Филин, были здесь начинающими инженерами, молодыми отцами, с превеликим трудом выкраивающими ради встречи час-другой от домашних хлопот, оба привыкли, что именно Юшков из троих, как говорится, заказывал музыку.

«Значит, ты уже насовсем, старик? — сказал Чеблаков. — Ну, давно пора... Валеру видел?» — «Когда? Мы только матери чемоданы закинули и носимся с утра за запчастями. Человек вот к ночи хотел дома быть». — «Ничего, по магазинам ходит. — Чеблаков подмигнул

Радевичу, и тот вежливо поерзал на стуле.— В институт звонил?» — «Никак вот не выберусь. Позвони». Юшков сказал номер телефона. Чеблаков опять щелкнул тумблером, покрутил диск и сунул трубку Юшкову. «Сейчас заседание кафедры», — сказал строгий женский голос. «Когда оно кончится?» — «Через час».

«Ты, старик, везучий», — сказал Чеблаков.— Годика через три — кандидат, там, глядишь, здороваться с нами перестанешь. Мы тут будем тупеть, ты будешь умнеть». — «Вот и сравняемся». — «Скромность всегда украшала наши лучшие научные кадры. — Чеблаков загрустил. Открывающаяся перед Юшковым перспектива расстроила его.— Когда меня отсюда попрут за сальники, возьмешь к себе аспирантом. Буду твой портфель носить».

Он знал, что его не попрут. Юшков тоже это знал: «Пока не поперли, просьба к тебе...»

Чеблаков нацелил ручку на перекидной календарь, приготовился записывать. Юшков усмехнулся. Чеблаков убрал ручку. «Надо до завтра куда-нибудь поставить машину». Радевич оживился, закивал. Чеблаков сказал: «Ставьте куда хотите. Скажете: Чеблаков разрешил. Вон новый склад шин пустует».

Простились. «Надо бы, старик, отметить твое возвращение». «Когда на работу устроюсь», — сказал Юшков.

Дождь все моросил. Радевич поднял воротник пиджака. Плащ его был в кабине, но он не шел за ним, ждал, что скажет Юшков. Тот спросил: «Ты куда сейчас?» — «Гостиницу перво-наперво забить бы». — «Брось, переночуешь у меня». — «Чего стесняться, все одно не за свой счет». — «Вольному воля. Не устройшься — ждем с матерью в гости. Раскладушка тебе гарантирована. А то давай сразу». — «Не, я попытаюсь... Дома когда будешь? Я в смысле моего чемоданчика». — «Вечером буду...» — «Ага. Ну, значит, пока». По тому, как мешкал Радевич, тянул, а потом внезапно заторопился и исчез, Юшков понял, что Радевич надеялся провести день вместе и, может быть, не очень и стремился в гостиницу, а ждал, что его уговорят.

До института надо было добираться двумя автобусами. Заседание кафедры еще не кончилось. В пустой аудитории напротив сидел парень в тяжелых очках, вытянул длинные ноги в проход между столами. Юшков кивнул ему и тоже сел — так, чтобы видеть, когда начнут выходить из двери. Он помнил парня. Тот окончил институт двумя-тремя годами раньше, фамилия его была Буряк. Парень, похоже, не узнал Юшкова или же не захотел узнать, и Юшков не стал напоминать. Из-за стеклянной двери через коридор слабо доносились голоса. Изнутри стекло было закрыто калькой.

Юшков был здесь три недели назад. Тогда он тоже приезжал на завод по делам автобазы, и кто-то из однокурсников в одном механическом цехе сказал, что в институте срочно ищут человека. «А ты что ж не идешь?» — спросил Юшков. Однокурсник работал мастером. Он сказал: «Меня не возьмут».

На кафедре тогда разговаривал с Юшковым Шумский. Юшкова он помнил студентом и даже сделал вид, будто припоминает его дипломную работу. Он сказал: «Только учтите, нам нужен не просто человек с вашим практическим опытом, а ученый с вашим практическим опытом. Мы заинтересованы, чтобы вы быстро сделали диссертацию. Это обязательно. Условия мы создадим, но и от вас будем требовать. Не спешить у нас нельзя». Шумский, разумеется, знал, что каждый, кто приходит сюда, надеется на диссертацию, ради нее идет на невысокий оклад; прощальная фраза была попыткой заинтересовать, соблазнить Юшкова, и потому Юшков понял, что он здесь нужен. Прощаясь, Шумский спросил: «Сколько вам надо, чтобы уволиться с автобазы?.. Почему три недели? По закону — не больше двух... Ну хорошо. Если передумаете — дайте знать сразу, а то потеряем три

недели, а время не терпит. С пропиской у вас как?» «У меня мать пенсионерка, она здесь живет», — сказал Юшков. «Ну, тогда все в порядке».

Ждать оставалось недолго. Буряк шумно переменял позу и спросил неожиданно: «Тебя, я слышал, куда-то в районную автобазу направляли?» Открытие, что его неузнавание было нарочитым, не расположило Юшкова к откровенности. «Было дело». — «А сейчас где?» — «Сейчас нигде». — «Сюда устраиваешься?».

Юшков нехотя кивнул. «А я на рессорном», — сказал Буряк. — Три года подряд невыполнение плана. Завод рассчитан на двести тысяч, даем триста пятьдесят. А план растет...» То, что казалось угрюмостью, было у него, видимо, простой усталостью. «Расширяться заводу некуда. Надеялись на одну институтскую разработку — ничего у них не выходит. И, наверное, никогда не выйдет. В прошлом году одного директора сняли, сейчас снимают второго. Начальника техотдела сняли, главного сняли. Остальные сами бегут: фонд зарплаты зарезан, премий нет, сидеть же на голых окладах неуютно и неприлично. А новых людей, понятно, не заманишь. Кто на такое пойдет? Вот ты уволился, свободен сейчас. Пойдешь ты к нам?» Спросил как бы между прочим, но ждал ответа. Юшков пожал плечами, усмехнулся. «Между прочим, зря смеешься», — сказал Буряк. — Уговаривать не хочу. Сам понимаю: умный человек не пойдет. А тут умные как раз не нужны. Тут нужны другие».

За стеклянной дверью появилась тень человека. Кто-то, взявшись за ручку и приоткрыв дверь, продолжал говорить. Прибавились еще тени, дверь распахнулась, и стали выходить люди. Разговаривая друг с другом, они прошли мимо. Буряка окликнули, и он исчез. Юшков заглянул в дверь. Шумский разговаривал с худой женщиной в брючном костюме, недовольно оглянувшись, когда она уставилась через его плечо на Юшкова. Наверно, разговор был не для посторонних.

«Здравствуйте», — сказал Юшков. Шумский, собираясь с мыслями и словно бы с трудом узнавая, протянул: «А-а... Подождите меня в аудитории напротив. Я скоро».

Юшков вернулся в аудиторию.

Прошло полчаса. Наконец дверь хлопнула. «Черт-те чем приходится заниматься», — сказал Шумский. — «Какая-то мышьяная возня... Извините уж». Подошел к окну, постоял, сел за один из столов не слишком близко к Юшкову. «Да... Вам разве ничего не говорили?»

Юшков покачал головой. Сразу стало горько во рту.

«Я не очень в курсе... черт, день сегодня какой-то неудачный», — пожаловался Шумский и вздохнул. — Тут у нас черт-те что... Вроде и работать некому и лишних много... Вы, надеюсь, на автобазе не уволились?» — «Уволился». — «Это хуже». Шумский потерев ухо, потер ладонью щеку. В дверь заглянул румяный, с седым пушком вокруг розовой лысины преподаватель гидравлики, увидел Юшкова, заулыбался: «А-а, молодой человек, с приездом! Рад за вас, рад за вас!» Натолкнулся на взгляд Шумского, смешался, помахал рукой и исчез.

«Короче, такое дело, брат», — решил Шумский. — «Ничего у нас с тобой не получается. Я сдаюсь. Я тут ничего больше не могу. Остается только извиниться. Ну, извини, брат». — «Так», — сказал Юшков. — «А дальше что?» — «Ничего, брат, может, тебе и лучше, — махнул рукой Шумский. — Такого, как ты, всюду с руками оторвут!» — «Где?» — «Да хоть где! — Шумский оживился, обрадованный, что самое неприятное для него кончилось. — Тут у меня в кемпинге приятель работает. Знаешь, сколько там на станции техобслуживания имеют? Ни одному профессору столько не снится! Туда еще потруднее устроиться, чем к нам! Где-то у меня его телефон...» — «Что тут случилось?» — спросил Юшков. — «Кого-то взяли вместо меня?» — «Да кого

брать... Отняли единицу, и дело с концом... Пробивали, пробивали единицу... Знаешь, как у нас делается... Лаборантом ты ведь не пойдешь?» — «Лаборантом?» — «Числиться лаборантом, а работать научным сотрудником». — «Пойду». — «Э-э... Я тебе по-дружески не советую... Оклад для молодой девчонки...» — «Берите лаборантом».

Шумский шарил по карманам пиджака, нашел записную книжку, полистал ее и сунул на место.

«Все это очень непросто, брат... Божь, ничего не выйдет... Знаешь что? Поговори с завкафедрой. Даже не надо упоминать, что уволился с автобазы. Ему до этого нет дела. Просто приди и спроси: «Нет ли у вас работы?» На меня, разумеется, ссылаться не нужно, он таких советчиков, как я, не любит. Просто приди и спроси.— Шумский поднялся.— Ну, брат, еще раз извини». Потом Юшков видел его в вестибюле около длинного гардеробного прилавка. Тот надевал плащ и старательно отворачивался, боясь, что Юшков опять подойдет к нему.

Юшков медленно прошел две автобусные остановки, решил было позвонить Сане Чеблакову или Валере Филину, но тут остановился автобус, он вскочил в него и поехал домой.

У них был Радевич. Они с матерью сидели рядышком на диване, смотрели телевизор. На журнальном столике стояли чайные чашки. Мать обрадованно подхватилась, заспешила на кухню: «Какой ты молодец! Никак не заставлю Николая Степановича пообедать! Сейчас будем все вместе... Слышишь? Это «Анна Каренина», старая запись! Я сейчас рассказывала Николаю Степановичу, какой это был спектакль до войны! В записи, по-моему, не самый удачный...»

Радевич затравленно смотрел на Юшкова. Порцию духовной пищи, которую он получил сегодня, ему было не переварить. Юшков спросил: «Ты давно здесь?» «Да все время... Как зашел за чемоданчиком...»

Их квартира называлась полуторкой. Название сохранилось с тех послевоенных времен, когда поставили у заводской стены несколько маленьких двухэтажных домов, положивших начало заводскому поселку, который потом слился с городом и стал Заводским районом. Дома были добротные, даже с кое-какой простенькой лепкой над дверьми. Стены в три кирпича, высокие потолки — долгое время эти квартиры считались роскошными. В комнате был темный тупичок, отделенный занавеской от остального пространства. В этом тупичке стояли кровать матери и тумбочка с книгами и лекарствами. Ночью занавеску раздвигали, чтобы матери было легче дышать.

Она ничего не спросила про институт, это ей было неинтересно. Главное, что сын наконец будет рядом. Принесла и поставила три рюмки и начатую бутылку водки из холодильника. Радевич смерил молниеносным взглядом, там было граммов сто пятьдесят. Видимо, это облегчило ему задачу, над которой он бился последние часы. Шмыгнул в прихожую к своей авоське, зашуршал газетой, вытаскивая бутылки. Юшков удержал его руку: «Не надо». — «А как же...» — «Обойдешься».

Мать внесла супницу (последний сохранившийся предмет сервиза, подаренного ей на свадьбу), выключила телевизор, позвала за стол: «Наливай, Юрочка. Мне каплю».

Радевич взял рюмку, удивился: «Она холодная! Горло простудить можно.— Грел в ладони.— Ну за хозяйшку...» «За вас обоих,— благодумствовала мать.— Юрочка ведь вполне мог остаться в городе. В том же институте. Сколько вон ребят из деревень в городе остались, а ему всегда нужно где потруднее».

Для кого она это говорила? Для Радевича? Чтобы он посочувствовал ее Юрочке, прожившему пять лет там, где Радевич и все его

близкие живут всю жизнь? Забытое раздражение на материнскую болтовню поднималось, как поднимается температура.

В окно были видны окна бесконечного — вверх, вправо и влево — двенадцатизэтажного дома. Они уже зажигались в сером сыром воздухе. После ужина Радевич засобирался. Мать уговаривала его остаться: «Зачем в гостиницу, когда у нас диван пустует!» «Ну так ведь там уже деньги плачены...» Юшков пошел провожать.

Дождь кончился. Соседний дом двенадцатью своими этажами придавил их узкую двухэтажную улицу, выводящую на широкий проспект. «Мать у тебя культурная женщина, ничего не скажешь». — «Завтра помогу тебе с сальниками. Да и потом будешь приезжать — всегда звони... Начальником автоколонны теперь, наверно, Сергея сделают». — «Раньше думали Тимошенко».

Тимошенко уволился полгода назад. Неприятно задетый Юшков возразил: «Как же? Когда это — раньше? Я сам месяц назад не знал, что уволюсь». — «Ну...» — «Я не знал, а вы знали?» — «Так ведь уволился же вот». Возразить было нечего.

Утром Юшков разыскал Радевича на заводе. Тот, оказывается, обманул: никакого номера в гостинице не достал, спал в кабине своего тягача, укрывшись тряпьем. «Ты зачем это из меня скота делаешь?» — оскорбился Юшков. Радевич молча улыбался. Они получили сальники, простились, и Радевич уехал. Его машина с автобазовским номером развернулась среди контейнеров, разминувшись с сорокатым «БелАЗом» и свернула на заводскую аллею. Юшков помнил наизусть все автобазовские номера, и теперь их следовало забыть.

Было неожиданное и непривычное чувство свободы. Впервые в жизни он не знал, что ему делать, и оттого казалось, что может случиться все, даже самое невероятное. Шла мимо блондинка из Клецка, лукаво и нежно улыбнулась: «Получили сальники?» «Получил», — сказал он. Она сказала: «Вот видите, а вы волновались. Никогда не надо волноваться». Глаза ее смеялись, ноздри и полные губы дрожали от избытка жизни. Чувствовать себя жертвой и беречь обиду не хотелось. Сидя в кабинете Чеблакова, о вчерашней встрече с Шумским он рассказывал как о забавном анекдоте. «Ну деятели, — сказал Чеблаков. — И куда ты теперь?» Юшков ответил: «Все к лучшему, Саня». «Не пойму, чему ты радуешься», — подозрительно сказал Чеблаков. Позвонили Валере Филину, чтобы вместе пообедать. Чеблаков вспомнил: «Да, имей в виду: Валера бороду отпустил. А то скажут потом, что не предупредил человека...»

Борода очень изменила Валеру. Стоял около столовой невысокий ладный мужичок из детской сказки, широколицый, с русой, почти рыжей шелковистой бородой, щурил глаза, и этот прищур и всегдашняя простецкая улыбка стали из-за бороды по-мужицки лукавыми. Юшков пощупал. «Где такую отхватил? Ни в чем себе не отказываешь». — «Сама выросла, — оправдался Валера. — Бесплатно». — «Как работка?» — «Собакам сено косим». Юшков спросил: «Жена, детишки?» — «Заимей — узнаешь». Филин ухмылялся. Иначе разговаривать друг с другом они не умели. Пробовали — не получалось. Без ухмылочек все выходило фальшиво и неловко. Они выстояли очередь, получили обеды, и за столиком Юшков поинтересовался: «Возьмете к себе конструктором?» Филин работал в конструкторском отделе. Он сказал: «А что? Иди к нам». — «Коса у вас лишняя появилась?» — «Какая коса?» — «Которой сено собакам косите». Филин ухмыльнулся, прищурившись. Чеблаков крикнул: «Ну, старик, у тебя все в бороду ушло, как в ботву. Поздно ему с ноля начинать конструктором». «Вообще-то, — легко согласился Филин, — это верно». Многого ждать от него не приходилось. И все же хорошо было сидеть с друзьями. «В автобазу какую-нибудь не хочешь?» — спросил Чеблаков. Юшков отмахнулся: хватит с него автобазы. Рассказал: Буряк зовет на рес-

сорный. Чеблаков удивился: «Ну и наглец! Они сейчас, конечно, кого угодно возьмут. Вот пусть кто угодно и идет. Нет, старик, завод не лучше автобазы, а уж рессорный... Одну глупость ты в жизни сделал, и хватит. Спешить не надо. Что-нибудь придумаем, старик». «Ты считаешь, я со сберкнижкой приехал? — усмехнулся Юшков. — У меня только трудовая, других пока нет». Настроение у него испортилось.

Он проводил Филина к конструкторскому корпусу. Семизэтажная стеклянная коробка стояла в конце главной заводской аллеи. Небрежно спросил: «Как там у вас Хохлова?» — «Вроде ничего». — «Замуж снова не вышла?» — «Да нет вроде». Филин не скрытничал. Просто не соображал, что кого-то может интересовать то, что неинтересно ему. Доска его стояла в длинном, во всю длину здания, конструкторском зале. Впереди за белыми досками виднелся черный свитер Ляли Хохловой. Ляля сидела на стуле перед своим чертежом, и было похоже, она знает, что Юшков за ее спиной, и ждет, когда он подойдет. Закинув ногу на ногу, покачивала белое сабо, удерживая его на кончике пальца. Юшков подошел вместе с Филиным. Ляля смотрела, задумавшись, на свой чертеж, подняла глаза и посмотрела так же, как только что на чертеж, будто не видя. Юшков поздоровался, она молча кивнула. Лицо у нее было невыразительное, малоподвижное, но приятное и спокойное. Спросила, когда он приехал, и тут же отвела глаза, опасаясь выразить слишком большой интерес. Сказала, что пора бы уже быть теплу. Говорила она медленно.

Помолчав, Юшков спросил: «Телефон у тебя не изменился?» Она кивнула. Раскачала ногой сабо, оно слетело, она нащупала и снова поддела его. У нее были красивые ноги, и ей часто говорили об этом.

Юшков поехал в институт. Знал, что только потеряет там время, но именно время ему сейчас некуда было девать. Заведующий кафедрой посочувствовал, даже записал номер телефона на настольном календаре и обещал позвонить, если появится место.

Дома пришлось съесть второй обед — мать расстаралась. Сел около телефона, полистал записную книжку, но звонить никому не стал: не то было настроение. Прилег на тахту и заснул. Проснулся поздним вечером. Мать сидела в темноте, боялась разбудить его светом или звуком телевизора. Он сказал, что прогуляется, и вышел на улицу. Не задумываясь о цели, он шел туда, где было светлее — сначала к проспекту, а потом к светящемуся брусу гостиницы. Огни двух проспектов сливались перед ней. Из ресторана на первом этаже слышалась музыка. На ступенях под бетонным козырьком стояли девушки, некоторые поглядывали на Юшкова. Перед витринами закрытого универмага гуляли молодые парочки. Проспект от автозавода, пересекаясь с другим проспектом, уходил под мост. Юшков постоял на мосту, глядел на летящие под ноги фары. Единственное, что он мог придумать сейчас, это пойти к Ляле. Она жила неподалеку в пятиэтажном панельном доме. Тут за мостом все улицы были из таких одинаковых, цементного цвета домов, целый район.

Увидев Юшкова перед дверью, Ляля сказала шепотом: «Ты с ума сошел. У нас все спят. Подожди, я выйду». Она вышла в светлом пальто, села на скамейку у подъезда. Ни удивления, ни радости Юшков не заметил. Не увидел удивления и когда рассказал о разговоре с Шумским. Ляля держала руки в карманах пальто, ногу закинула на ногу и — видимо, это было ее привычкой — покачивала сабо одним пальцем. Повернувшись к Юшкову, слушала сосредоточенно и серьезно и вдруг перебила: «Ой, прости, я немного прослушала». Оказалось, не слышала почти ничего.

«И что же ты собираешься делать?» — спросила и осторожно поглядела: может быть, он уже говорил, а она и это прослушала? «Пойду конструктором, — сказал он. — К вам с Валерой». «Только не конструктором». Она приняла его слова всерьез. Он спросил: «По-

чему?» Объяснять она не любила. Считала, что ее и без объяснений должны понимать. Подумала, робко сказала: «Поздно тебе уже к нам».

Он понимал: у конструкторов категории, они присваиваются от стажа, как звания военным за выслугу лет. Начинать ему сейчас сначала — значит, сразу записаться в недоросли. «Мы с Валерой сейчас получаем по сто двадцать пять, меньше почти любого рабочего, а ты даже это только через пять лет получишь», — сказала Ляля. Он спросил: «Советуешь мастером в цех?» — «Нет, только не в цех». — «Куда ж тогда?» — «Конечно, в науку».

Он усмехнулся. Она покраснела, сообразив, что сказала не то, и рассердилась: «Они же тебе обещали, должны же они что-то сделать, ты же уволился из-за них!» Рядом с ее серьезностью обычное человеческое чувство юмора выглядело неприличной, чуть ли не порочной привычкой. «Тебе не холодно?» — спросил Юшков.

Подозрительно покосилась на него: не понимать ли это в том смысле, что пора расходиться? На всякий случай сказала: «Прохладно... Как узнаю, что в институте, позвоню тебе». Поднялась. Непохоже было, что она позвонит. Помедлили. Каждый ждал, что скажет другой. Юшков простился.

На третьем курсе была какая-то вечеринка, сидели за столом, кто-то рассмешил Лялю, и Юшков, разговаривавший с ее соседом, в какое-то мгновение ее не узнал. Увлеченный разговором, он видел ее боковым зрением, не думал о ней в ту минуту и вдруг заметил, какая красивая девушка сидит близко, и как хорошо смеется, и как блестят ее глаза, и какое лицо живое, необычное, и тут же с удивлением сообразил: это же Ляля Хохлова! Ту незнакомую Лялю Хохлову, которая, может быть, жила всего мгновение, созданная игрой света и тени, может быть, даже привиделась, — эту Лялю с тех пор он видел всегда. Какое бы ни было выражение лица у Хохловой, для Юшкова в нем навсегда осталось от того мгновения что-то, что видел он один и не видели другие. И странно, в тот же вечер Ляля это почувствовала. Внимательно присматривалась к Юшкову, когда их глаза встречались, взглядом спрашивала: что? Они оба уже чувствовали присутствие и внимание друг друга, понимание этого связывало их, создавало напряжение, которое усиливалось с каждой встречей. В молчаливости и медлительности Ляли Юшков стал видеть особую глубину. Он недоумевал: как же другие этого не замечают? Один парень как-то сказал: «Лялька Хохлова? Она же дура несусветная!»

То, что возникло между ними, осталось невысказанным и вместе с тем как бы уже прожитым, но особая неловкость сохранилась и в компаниях странным образом продолжала связывать их. Потом Ляля вышла замуж и разошлась через месяц после свадьбы.

Прошло несколько дней, и погода изменилась. По утрам было тепло, днем припекало. Раскручивались, выпрямлялись листья деревьев, теряли младенческую нежную клейкость. Юшков выходил из дома рано, когда еще чувствовалась бодрящая свежесть. Он стоял в учрежденческих очередях, объяснялся в кабинетах, ждал кого-то перед дверьми с табличками, кого-то ловил в коридорах («Не вы ли товарищ Смирновский, мне сказали обратиться к Смирновскому, я прописываюсь к матери, она пенсионер...»). Он находил старых приятелей в заводских цехах, на станциях техобслуживания, в конструкторских бюро и автобусных парках, с одним обедал в механизированной столовой, где на хромированных стойках грелись подносы с едой, с другим пил пиво в дощатом павильончике у автобазы, курил в прохладных полутемных холлах с мягкими креслами и на ошкуренном бревне возле врытой в землю бочки из-под солидола и вросшего в хлам ржавого автомобильного кузова («Тут тебе, старик, любую тачку сделают не хуже новой, но они гребут, старик, ох как они гребут, а ты за сто двадцать начальник над ними, а у них прямой контакт с частнич-

ками...»); залезал на галереи прославленного сборочного цеха, видел, как плывут под ним автомобильные двигатели и кабины, выстраиваясь, как корабли на рейде, у портов и причалов главного конвейера («Приписок и фиктивных нарядов у нас нет, это верно, но если я рабочему двести пятьдесят не обеспечу, он от меня уйдет, так что смотри сам, что лучше...»), бродил по улицам, приторно пахла в скверах сирень, насыщалась зеленью, теряла солнечные, желтые оттенки листва, молодой, яркой травой затягивало рассыпанный по газонам черный торф, в автобусном парке старый приятель в конторке с автомобильными сиденьями вместо кресел сказал ему: «Работать всюду можно», но ни одна работа ему не нравилась. Чем ближе узнавал он, тем труднее было выбрать и решиться.

Пришло время, он уже готов был согласиться на что угодно, лишь бы кончилась неопределенность. Однако, как нарочно, стоило ему согласиться, тут же оказывалось, что работы нет: либо вчера место заняли, либо только через месяц оно освободится, либо оно есть, но с зарплатой перерасход. Был Юшков у заместителя директора завода, тот долго уговаривал мастером в цех, видимо, нужны были ему мастера, а прощаясь, сказал: «Жаль вас отпускать, зайдите через неделю, что-нибудь еще подберу. Есть у меня для вас место, но там живой человек сидит». Словно люди на заводе делились для него на живых и неживых.

Чеблаков сказал, что ходить к кадровикам не надо, если будет что-нибудь стоящее, он, Чеблаков, узнает об этом раньше кадровиков. На следующее утро позвонил Юшкову: «Знаешь, где Комитет стандартов? В десять моя Валентина ждет тебя.— И назвал номер комнаты и этаж.— Фирма неплохая и Валька там не последний человек».

За год или два, что Юшков ее не видел, жена Чеблакова Валя расплнела и превратилась в солидную тетку. Она привела его в просторную и почти пустую комнату, одна стена которой была из сплошного стекла. За стеклом с высоты птичьего полета открывался новый микрорайон, белым клином врезающийся в зеленую округлость холма. Кроме Вали, в комнате был моложавый мужчина лет пятидесяти, с очень яркими, будто накрашенными губами. Все сели в кресла. Валя откинулась назад, положив руки на подлокотники и поджав под сиденье полные ноги, отчего они казались еще полнее. Оставалось двадцать минут до какого-то совещания. Коротая время, говорили о солинии грибов, о маринадах, мужчина оказался сведущим, знал, сколько чего надо добавлять в рассол, а Валя говорила, что она все делает иначе, и спорила. Чувствовалось, что мужчина побаивается ее и заискивает. Звонил телефон. Валя отвечала резко и коротко: «Есть стандарт, читайте... Значит, не умеете читать... Не знаю. Научитесь читать. Все». Потом позвонил, видимо, большой начальник. Она подбралась, слушала, порываясь возразить — очевидно, ее в чем-то упрекали,— и, сникнув, пообещала: «Хорошо, Виктор Сергеевич, я разберусь. Сфотографировала». Они с мужем пользовались одним словарем. Положив трубку, Валя сказала: «На рессорном совсем обнагтели. Чуть что — звонят председателю. Минутя всех. Скоро прямо в Москву будут звонить». Юшков вспомнил Буряка. Мужчина продолжал спорить о маринаде. Вале надоело, и, сердито отвернувшись от него, она сказала: «Ну, не знаю». Они ждали начальника. Он не пришел на совещание, и Валя сказала, что вечером позвонит Юшкову домой.

Этот кабинет со стеклянной стеной, это новое здание в шестнадцать этажей, фотографии которого печатались на почтовых конвертах и появлялись в сводках погоды телепрограммы «Время», огромный лифт с зеркальными стенами, стайки хорошо одетых девушек, которые входили и выходили из этого лифта, не прерывая разговора, но успевая, однако, оглядеть себя в зеркалах,— все это Юш-

ков примерял к себе, как примерял бы, сбросив автобазовскую замасленную спецовку, модный и красивый костюм. В этой новой одежде он нравился себе, пожалуй, больше, чем в аспирантском синем халате, в полутемных лабораториях института, среди потенциметров и осциллографов, вытасненных из гнезд и поставленных на ободранные письменные столы в путанице электропроводов. В коврах и полированном дереве, поглощающих звуки, в красивых светильниках, смягчающих свет, была та продуманность, пожалуй, даже уважение к человеку, которые всегда подкупают людей.

«Работа здесь неплохая,— сказала однокурсница, которая столкнулась с Юшковым в коридоре и притащила завтракать в кафе для сотрудников.— Но платят мало. Мне все обещают добавить десятку и никак не добавят. Вот и сейчас наметилось было, затеяли пару перестановочек, да Валька Чеблакова опять кого-то берет». «Она меня берет»,— сказал Юшков. Однокурсница засмеялась: «Ну, если тебя, так пускай уж. Вальку вообще здесь терпеть не могут. Баба темная, а рука у неё где-то есть большая. Ты меня не выдавай ей, Юра. Кстати, выглядишь ты неплохо, я бы даже сказала, в тебе что-то такое появилось».

Она была первой красавицей в институте, да и здесь, наверно, тоже и, чувствовалось, привыкла, что ее оценками мужчины дорожат. Поддаваясь ее доброжелательности, Юшков сказал: «Я, кажется, не пойду сюда». «Это из-за моей десятки? Глупости,— сказала она.— Долго же тебе придется работу искать, если будешь таким шепетильным. При чем тут ты? Захотят добавить — всегда найдут возможность, не захотят — ничего не поможет. Только вот для тебя ли это? Контора — она контора и есть, а тебе, по-моему, надо живое дело искать, где можно как-то проявить себя. Сюда надо перебираться поближе к пенсии». Он подумал, что она права.

Валя позвонила вечером, как и обещала, и сказала, что надо потерпеть день-два. Она считала, все будет в порядке. Начальника сегодня не было, но решает не начальник, а моложавый губастый мужчина, которому Юшков понравился. «Как я мог понравиться, когда рта не раскрыл, а вы говорили только о грибах?» — спросил Юшков. Валя сказала: «Человек сразу виден. Да и мое слово ведь тоже что-нибудь значит здесь, правда? Ну ладно, Юшков, пока. Будут новости, я тебе позвоню». Покровительственный ее тон покорибил, но это была плата за ее труд.

Два дня Юшков ждал, на третий позвонил Чеблакову на работу. «Я как раз хотел тебе звонить,— сказал тот. Он говорил медленно, то ли собираясь с мыслями, то ли решаясь на что-то, и наконец решился.— Можешь сейчас ко мне прийти? Чем скорее. Я тогда заказываю пропуск для тебя.— Он снова как бы поколебался и добавил:— Если я тут при тебе буду одному человеку глупости говорить, не слишком удивляйся и не спеши поправлять. Ну жду, старик».

В кабинете Чеблакова стоял, уже взявшись за ручку двери и собираясь выходить, невзрачный сутулый человек в мятом костюме, лицо на заводе известное, начальник отдела снабжения Лебедев. Выпустив ручку двери, чтобы пропустить Юшкова, он продолжал разговор, в котором что-то просил для кого-то, а Чеблаков отказывал. «Слушай, старик, подтверди.— Чеблаков ловко включил в разговор Юшкова.— Есть у меня сальники? Если даже Юшков не нашел — значит, действительно нет! Он из меня душу вытаскил за сальники! Вот это снабженец, не то что ваши! Слушай, Юшков, вот человек ищет себе заместителя. Бросай все к черту, вдвоем вы горы свернете! Петр Никодимыч, хватайте его, такой случай раз в жизни бывает, век будете меня благодарить!» Он продолжал в том же духе. Юшков и Лебедев переглянулись, и Юшков не заметил в коротком взгляде Лебедева ни особого интереса к себе, ни даже обычной любознательности. Лебедев ушел, и он спросил: «Как я понял, с Комитетом стан-

дартов ничего не вышло?» — «Да черта лысого тебе стандарты, что тебе там светит, старик? А тут реальный шанс». — «И чем занимается заместитель?». Чеблаков загнулся. «Заместителем, старик... не пойми превратно... тебя не возьмут. Не потому что ты там, скажем, хуже, чем какой-нибудь Чеблаков, но тебя еще должны узнать. Я ему толкую про заместителя, чтобы он тебя взял начальником сектора, но при этом считал бы себя в долгу перед тобой. Начальник сектора — это, поверь, неплохо для начала. Дальше все будет зависеть от тебя».

Они пообедали вместе, вернулись в кабинет, и Чеблаков продолжал уговаривать, а когда Юшков спросил прямо: «Ты советуешь?» — смешаяся, ушел от ответа и в конце концов сказал: «Ну, знаешь, я вовсе не хочу сказать, старик, что лучше этого нет ничего на свете. Но я лично тебе ничего лучшего предложить не могу». «Звони Лебедеву», — согласился Юшков. Чеблаков возразил: «А уж это нет, старик. Теперь следующее слово за ним. Разговор должен начать он сам». — «А если он не начнет?» — «Тогда поищем еще что-нибудь. Лебедев человек умный, но ум у него крестьянский. Если ему что-нибудь предлагают, он первым делом ищет подвоха. Знаешь мудрость: от добра добра не ищут. А человек ему нужен. Вот если бы ему тебя сосватал Хохлов...» — «Лялькин отец?» — «Лялькин отец ни много ни мало заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению. Это бог. Ему подчиняется мой начальник, ему подчиняется Лебедев, и я тебе скажу: если есть на заводе человек на своем месте, то это Хохлов. Он знает все. Я не удивлюсь, если он знает, сколько денег в моем кармане. И Лебедев не удивится, если Хохлов позвонит ему и спросит: «Нашел себе человека? Почему Юшкова не взял? Ну смотри, теперь за помощью не обращайся». И можешь не сомневаться, Лебедев кинется ко мне со всех ног за твоим телефоном, хоть я еще не слышал, чтобы на заводе, где работает тридцать тысяч человек, кого-то приглашали на работу по домашнему телефону. Кстати, как ты с Лялькой?» Юшков пожал плечами: «Никак». — «Мне кажется, было время, ты с ней...» — «Нет».

Чеблаков накрутил телефонный диск и сказал в трубку: «Филина мне, пожалуйста... Ну как, старик? Собакам сено косим? Неплохо ты, я тебе скажу, устроился!».

Глаза щурились. Разговоры с Филиным и у него всегда начинались повторением одних и тех же шуток, как шахматная партия, даже самая сложная, начинается с традиционных ходов. Это было и устраиванием на нужный тон, и чем-то вроде пароля: отзыв принят — значит, дружеская связь по-прежнему надежна. Посмеиваясь, Чеблаков разрабатывал постоянную тему, что Филин всегда устраивается лучше всех, и в том же тоне незаметно перешел к делу: «Тут у меня Юрка сидит. Есть для него отличная работа: начальником сектора качественных сталей... Тебе это не понять, ты запоминай, что старшие говорят... Это у Лебедева в отделе снабжения. Чем вы там с Лялькой Хохловой занимаетесь? Может она через своего отца это дело пробить? Пошевели своей бородой у нее над ухом. А то, понимаешь, — Чеблаков покосился на недовольного Юшкова, успокаивающе помахал рукой, — Юшков готов мастером или технологом в цех идти. Вытаскивай его потом всем миром оттуда. Вот пусть она бросает все и летит к отцу, пока Лебедев кого-нибудь не взял».

«Понимаешь, старик, — сказал он потом Юшкову, подумав, — на этой должности ты все-таки будешь виден. Это важно. Снабжение — это, конечно, не мозг промышленности, но это ее нервы».

Вечером позвонила Ляля. Трубку подняла мать. Она позвала Юшкова и ушла в кухню, прикрыв за собой дверь, показывая, что уважает его право на секреты. Ляля поздоровалась и притихла, ожидая, узнает он ее голос или не узнает. Он сказал: «Здравствуй, Ляля». — «Я хотела разузнать об институте, что там случилось, — сказала

она, чуть запынаясь.— И все никак не могу». — «Да ничего,— сказал он.— Дело прошлое. Не стоит». — «Ну почему. Интересно же.— Она помолчала и спросила: — Ты хочешь работать в отделе снабжения?» — «А где еще?» — спросил он. «Мне Валера говорил», — сказала она. Он сказал: «Да, хочу... Как ты живешь?» «Ничего». Она пыталась понять, знает ли он, что ее за него просили. Его тон сбил ее с толку. В конце концов он должен был сам просить за себя, а не действовать через Валеру. Понимая это, он все же не мог отделаться от тона ничего не подозревающего человека: «Как Валера?» «Что ему делается?» Она не сумела скрыть досаду: при чем тут Валера? Юшков сказал: «Привет ему. На днях заскочу к вам».

Он чувствовал себя скверно. Подавая ему ужин, мать небрежно поинтересовалась: «Ляля — это не та ли симпатичная девушка, на японку чуть-чуть похожа, с правильной такой формой головы?» То ли своими литературными способностями щеголяла, то ли еще чем-то. В детстве он слышал, как она похвасталась подруге: «Мне мой сын всегда все сам рассказывает, от меня у него секретов нет». «...кажется, Хохлова ее фамилия, я не путаю?» — «Да,— сказал он.— Не путаешь». — «Она не замужем?» — «Нет». — «И не была?» — «Не знаю». Мать заметила раздражение и обиделась.

Утром позвонил Чеблаков. «Только что звонил Лебедев,— сказал он.— Спрашивал про тебя. Сам понимаешь, говорит: сразу замом я его не могу взять, нужно время. А в деньгах, говорит, он почти не потеряет. Он — это, значит, ты. Так что иди к нему и меньше чем на максимальный оклад не соглашайся. И вообще держи себя так, будто тебе пообещали должность зама. Согласись на начсектора, но изобрази разочарование. С таким хитрецом, как Лебедев, нужно только так. А нам с Хохловой по бутылке коньяка поставишь».

При второй встрече Лебедев уже не казался мешковатым, сутулым и робким человеком. Может быть, дело было в том, что сидел он за своим столом и на своем месте. Вопросы задал только самые необходимые, а о будущей работе Юшкова не захотел говорить: «В курс дела успеете войти. У нас надо только одно — умение находить общий язык с людьми». Отдел снабжения занимал половину первого этажа в заводоуправлении. В коридор выходило несколько дверей, некоторые из них были раскрыты, за ними толпились снабженцы и непрерывно звонили телефоны. На одной двери висела табличка «Сектор качественных сталей». Юшков заглянул туда. Полная брюнетка кричала в телефонную трубку, придерживая ее плечом: «Подождите! У вас еще двадцать тонн есть! Подождите!» Она яростно листала пухлую конторскую книгу. В комнате было четыре письменных стола и шкафы, набитые папками. Юшков так и не узнал, в чем будет заключаться его работа.

Спустя два дня он получил паспорт с городской пропиской и постоянный автозаводской пропуск. Это было в пятницу. С того дня, как он приехал домой на машине Радевича, прошло чуть больше двух недель.

То, что Чеблаков называл «Юшков ставит по бутылке коньяка мне и Ляле», решили провести на даче, которая, опять же, была не дачей, а домом Валиных родителей в полчасе езды от города. За маленькой деревенькой начиналось проточное озеро, крытая толем банька стояла на его берегу, и Юшков с Филиным не раз приезжали париться в ней. И вот в субботу они приехали в Лялей и женой Валеры, Наташей. За ночь нагнали тучи, и с утра шел холодный дождь. Во дворе Валя в пластиковой накидке полоскала в корыте детское. Под накидкой было выцветшее ситцевое платье, лопнувшее под мышками, а голову с накрученными на бигуди волосами прикрывал полиэтиленовый мешок. Чеблаков уже затопил баньку и позвал парней

туда: «Бабы без нас обойдутся». Они таскали воду, резали веники в березовой роще, промокли и продрогли, и оттого предвкушение бани становилось еще сладостней. Было хорошо втроем заниматься делом, словно бы вернулись времена студенческой холостой жизни. Прибегала Валя, звала помогать по дому, сердилась — работы у нее было много. Чеблаков возражал, подмигивая друзьям: «У нас тоже много работы, мы же не зовем вас помогать. Небось как париться, сами прибежите». Посоветавшись — надо, мол, помочь, все равно не отвяжутся, — послали к женщинам Юшкова как человека независимого, которого меньше будут пилить. И посоветовали: «Ты там разбей пару тарелок, они тебя сами прогонят». Сопротивление женщинам было необходимой частью ритуала, без которого удовольствие было бы неполным.

И вот они, продрогшие и перемазанные сажей, парились. Жар окутывал их, заполняя легкие, обжигал изнутри нос, как горячие лучи проходил сквозь тела. Плясали веники, гнали раскаленный воздух, и так же, как жжет сильный мороз, непривычный жар воспринимался телом как холод, будто в ознобе становилась гусиной кожа.

Чувствуя одурь, близкую к беспамятству, к обмороку, слыша только тяжелое буханье сердца, они выбрались под дождь и бросились в холодное озеро. Словно бы сквозь огонь упали в темную прокладу воды, едва успев ощутить ожог.

Вышли из воды малиново-красные, ступая по холодной траве непослушными ногами. И началось все сначала: опять блаженная истома, жар и березовый дух, потом одурь и оглушительный стук в висках, и снова холодное озеро, уже не обжигающее — кожа перестала чувствовать. Опять шипела вода на камнях. Пили в предбаннике сладкий чай из термоса, и возвращались силы.

Пришел тесть Чеблакова, худой молчаливый человек со страдальческими складками у губ. Язва желудка не позволяла ему париться, и ему приятно было посидеть рядом в прокопченном предбаннике, радуясь наслаждению других. Чеблаков открыл дверь, выпуская последний жар. Тесть вымылся вместе с ними. Пока он одевался в предбаннике, они сидели на крыльце оглушенные, безразличные ко всему, ничего не чувствуя. Дождь кончился. Над озером появилась полоска чистого неба, расширилась, ее сносило к западу. Покой уставшего тела казался душевным покоем: что есть, то и ладно, как ни будет, все будет хорошо.

Их ждали. Женщины отказались от бани. Хозяйки уже приготовили обед, накрыли стол, и теперь все их помыслы были о том, чтобы ничего не остыло и ничего не подгорело. Наташа и Ляля скучала, но не подавали виду. Они возились с малышом, а он, неблагодарно отвергая всякие заискивания и заигрывания, рвался к матери. Был он толстый и гладкий. Мать Вали возилась у печи, прогнала дочь: «Садись со всеми, я сама подам». Валя плюхнулась на стул, сказала: «Ну, умотали меня. С места не встану. — Отпихнула от колен малыша. — Иди к отцу, надоел».

Она переоделась в вязаную красную кофту и черные штаны в обтяжку, а бигуди забыла снять. Сидела, подпирая голову полной рукой, и мечтательно смотрела на сына. Чеблаков держал его на колене, кормил кашей из своей тарелки и приговаривал: «Не смотри на тетю Наташу, а то подавишься, дядя Валера вот не слушал, смотрел...»

Банная краснота еще не сошла с Филина, борода на красном лице казалась белой. Он ждал, что скажут о нем. «...дядя Валера вот... Мама! — крикнул Чеблаков в кухню. — Идите же за стол! Мы не пьем без вас!» Она, польщенная, появилась с миской вареной курятины: «Вот еще куру... куда ее тут...» — «Садитесь, садитесь, мама. Видим куру. Сфотографировали»: — «Садись, старуха», — подтолкнул к ней табурет муж. Она села, застенчиво держала рюмку, пока он наливал ей. Юшков сидел рядом с Лялей. Она старалась всем улы-

баться. «...дядя Валера вот не слушал, смотрел...» «Не томи,— сказала Наташа.— Что там дальше-то было?» Ей не нравилось, что друзья всегда потешаются над ее мужем, а он лишь ухмыляется и щурится в ответ. Она сидела между ним и хозяином, выше их ростом, худая, настороженно повернув голову к Чеблакову. Острый нос торчал из-за свесившихся на лицо прямых волос. Чеблаков сказал: «Спроси у Валеры, что дальше было». — «Не поняла, что я должна спросить у Валеры?» — «Ну что, гости дорогие,— решил хозяин.— Как говорится, дай бог не последнюю».

Ляля храбро выпила и оцепенела: в рюмке был крепкий самогон. «Ешьте скорее»,— сказала ей хозяйка. Хозяин, гордый своим самогоном, окинул всех коротким лукавым взглядом, привычно ожидая почтительного изумления.

«Теперь давайте Юркин коньяк,— сказал Чеблаков.— То есть не Юркин, а мой и Лялин. Да, Ляля? Где наш с тобой коньяк?» — «Всякие шампанские и коньяки,— Валя взяла с тарелки соленый огурец, откусила половину,— это все муть. Пить так пить». — «Ладно работать под простую,— сказал Чеблаков.— Ты и есть простая». — «Да». — «Сними бигуди».

Она потрогала голову, засмеялась: «Господи, я и забыла». «Только не за столом»,— сказал Чеблаков. Юшков заметил, что Валя побаивается мужа. «Ешьте еще,— шепнула ему хозяйка.— Вот кура». Она поглядывала на Лялю, робая перед ней меньше, чем перед друзьями. «А Леночка что же не ест? Не нравится?» «Все очень вкусно, я ем»,— бормотала Ляля, краснея.

Чем больше пили, тем откровеннее поглядывали на нее и Юшкова. Пошли тосты с намеками, что вот пора бы Юшкову взять пример с друзей, неужели ж девушек нет хороших, да что тут далеко ходить... или он никому не нравится?.. Наташа вступилась: «Оставьте Юшкова в покое. Вы ему уже сосватали работу, так хоть тут не мешайтесь». «Чем тебе его работа не нравится?» — спросил Чеблаков. Она сказала: «Оставь. Уж я-то знаю, что говорю». Она работала у Лебедева. Посмотрела на часы: «Валера, нам пора». Филин глянул тоскливо. Он надеялся ночевать здесь. Собственно, все на это рассчитывали. Чеблаков взмолился: «Не дури, Наталья». — «Тебе хорошо,— заметила она, поднимаясь.— А нам еще электричкой и автобусом». — «Почему тебе всегда хуже всех?» — в сердцах развел руками Чеблаков. Она передразнила, тоже развела руками: мол, самой хотелось бы это узнать. Юшков хмыкнул. Она ему нравилась. Поднялись все. Досадуя на Наташу, каждый старался сказать что-нибудь хорошее Ляле. Валя чмокнула ее в щеку.

В город они вернулись в двенадцатом часу ночи. Юшков провожал Лялю. Она молчала дорогой, что-то решая про себя. Не останавливаясь, чтобы проститься, вошла в свой подъезд. Юшков вошел следом. Она поднялась по лестнице, сказала шепотом: «Тихо, у нас уже спят».

Открыв дверь в темную прихожую, пошла вперед. Юшков прикрыл за собой дверь и оказался в полной темноте. Услышал шепот, сделал шаг и споткнулся о туфли Ляли. Сделал еще два шага.

Свет уличных огней обозначил окно. Ляля включила торшер. Она ходила по комнате в чулках. Туфли остались в прихожей. Комната была маленькая. Тахта, книжная полка с проигрывателем и кресло занимали все ее пространство. Ляля села на тахту под лампу торшера. Каштановые ее разлетающиеся волосы блестели около самой лампы, казались золотистыми. Лицо в тени едва виднелось. Юшков сел рядом, обнял. Ляля отворачивалась. Руки ее лежали на коленях, и она не знала, куда их девать. Они ей мешали. Она сделала попытку высвободиться, умоляюще посмотрела, пытаясь подсказать взглядом что-то очень для нее важное. Он потянул свет и по ее движению почувствовал, что мешающее ей препятствие исчезло...

Был час ночи — время позднее для заводского района. Стекло книжной полки слабо поблескивало, отражая свет на лицо Ляли. Это лицо стало скорбным и задумчивым. Вот глаза оживились мыслью, встретились с глазами Юшкова, и тут же Ляля отвернулась. И опять как будто забыла о нем. Потом дотронулась до его руки, шепнула: «Тебе надо уходить?» Он замялся, и она сказала: «Еще три минутки».

В прихожей ощупью отыскала туфли, вышла в чулках на лестничную клетку, всунула в туфли ноги. Вышли на улицу. Палисадник перед домом, разросшийся в человеческий рост, шумел на ветру. Пахло литейной гарью. Ляля обняла Юшкова, сказала: «Холодно», прижалась и застыла. Ему было неудобно так стоять. Она заметила это, фыркнула, оттолкнула его и ушла в подъезд.

Воскресенье они провели вместе. Хохловы уехали на дачу, квартира осталась пустой. Окна ее выходили на юг. Ляля затянула их шторами. Солнечные лучи пробивались в щель между шторой и рамой и отражались от стекол книжной полки.

Она могла замереть, прижавшись к Юшкову, и молчать часами. Или же, боясь, что наскучила ему, принималась развлекать. Вытащила фотоальбом. Мама, папа, сестренка Татка... Ему не было смешно. Видимо, у нее был сложившийся за многие годы свой собственный сценарий счастья, который она торопилась осуществить. Сценарий этот составлялся не в расчете на Юшкова, и некоторые его детали Юшкову мало соответствовали. Обнаруживая это, она, такая обычно невозмутимая и спокойная, пугалась и сердилась на Юшкова. Поставив на проигрыватель пластинку и увидев, что Юшкова музыка не взволновала, она настораживалась. Когда Юшков купил бутылку вина и нес ее в руке, не сообразив спрятать в сумку Ляли, она вдруг рассердилась: «Так и будешь нести как флаг?»

Наверно, при каждом отступлении она пугалась, не угрожает ли оно всему сценарию, а убедившись, что не угрожает, смирялась с ним и переставала замечать. Мелочей для нее не существовало, все было одинаково важно.

Иногда, впрочем очень редко, она ошибалась и читала не свой, а чей-то другой сценарий. Тогда она спрашивала: «Ты меня любишь?» — или: «О чем ты сейчас думаешь?» — пыталась быть непохожей на себя, но это она не умела.

Когда она спросила Юшкова, о чем он сейчас думает, он, к удивлению своему, заметил, что думает в эту минуту о толстой брюнетке, которая лихорадочно листала двумя руками пухлую конторскую книгу, прижимая плечом к уху телефонную трубку. С понедельника эта брюнетка становилась его подчиненной. Незнание предстоящего дела его не пугало. Он был уверен, что справится с ним, и ждал его. Без дела его настроение зависело от любой мелочи, было изменчиво и неуправляемо. Цепочка неудач, мелких неприятностей и ошибок теперь должна была кончиться, поскольку кончилось положение, которое их вызывало.

Оказалось, его на заводе ждали. Едва он появился в понедельник утром, Лебедев повел его к Хохлову. За большим столом сидел крепкий, полнокровный человек. Густые брови срослись, как у Ляли. Заместитель директора не выказал особого любопытства к человеку, которому помог по просьбе дочери. Спросил, чем Юшков занимался прежде, и сказал Лебедеву: «Опыта снабженческого, конечно, мало. Не знаю, Петр Никодимович, решайте сами». Металлургический комбинат задолжал им десять вагонов хромистой стали. Юшков должен был поехать на комбинат и привезти эти вагоны. Лебедев сказал: «Мне рекомендовали Юрия Михайловича как спящего человека. Больше посылать некого». Он явно давал понять, что Юшкова ему

навязали. Хохлов промолчал, и Лебедеву пришлось все-таки взять на себя часть ответственности: «Конечно, мы ему немножко поможем».

В кассе завода, кроме обычных командировочных денег, Юшков получил двести рублей по разным ведомостям. В одной из них была директорская премия за хорошую работу, в другой — шестьдесят рублей единовременной помощи. Просьбу об этой помощи продиктовала секретарша Хохлова, это и имел в виду Лебедев, обещая помочь. Прежде чем подписать просьбу, оторопевший Юшков помедлил: «Я обойдусь без этого». «Тогда идите объяснитесь к Хохлову», — рассердилась секретарша. Он подписал. Она позвонила какому-то Сергею Ивановичу, сказала, что сейчас к нему придет новый заводской работник Юшков, и объяснила Юшкову: «Это продуктовый возле аптеки. Я договорилась. Скажете там, что вы от Лебедева, и сделаете заказ». — «Какой заказ?» — «Кофе растворимый, я не знаю, какой там будет сегодня дефицит». — «Ого, — сказал он. — Дело у вас тут поставлено четко».

Она не поняла, что он просто пытается как-то бодриться. Увидела вместо этого насмешку и снова рассердилась: «Я, между прочим, для себя лично в этом магазине не могу попросить ничего».

Юшков решил было позвонить Чеблакову, а потом раздумал. Чеблаков сказал бы: «Ну, старик, это ведь все-таки не институт». Юшков знал, что нельзя начинать новую жизнь с поражения, и дал себе слово приехать из командировки победителем.

В магазине его провели в кабинет директора. Холеный крупный парень в замшевой куртке без лишних слов протянул написанный от руки список. «Что у вас обычно заказывают?» — спросил Юшков. Парень рассмеялся, развел руками: «Каждый заказывает, что ему нужно. Что нужно вам, я никак не могу знать». Поскольку повода для смеха Юшков не увидел, он понял, что молодой директор не любит заводских снабженцев и смотрит на них как на обирал. Он заказал банки растворимого кофе, наборы конфет и копченую колбасу. Сверток получился объемистый, зато от части денег он освободился. Заметив в списке боржом, воспользовался случаем и купил десять бутылок для матери.

Мать растрогалась. Мужу ее приятельницы сделали операцию на желудке, и врач посоветовал ему пить боржом. Мать тут же позволила приятельнице, похвастала, что ее Юрочка достал. Вся жизнь она гордилась и немного кокетничала своей непрактичностью и неумением «добывать» и вот точно так же готова была гордиться теперь практичностью сына. Он объяснил: «Случайно в магазине нарвался». Покупки заняли половину чемодана. Пришлось обманывать мать, будто все это кто-то просил его передать кому-то в Черепановске, куда он летел за сталью. Ничего другого мать не сумела бы понять, только бы испугалась. Чтобы порадовать ее, Юшков рассказал, что летит по системе «Сирена», вот, мол, какая у него теперь ответственная работа: по этой системе Аэрофлот оставляет броню на любой рейс.

Ляля он позвонил из автомата, и она поехала провожать его. Они нашли пустую скамейку у задней стены аэровокзала, слушали объявления о полетах и видели, как садится солнце за летным полем, от которого тянуло озерной свежестью. Розовые сумерки, красные сигнальные огни на фиолетовых тучах, разбегающиеся для взлета ревушие самолеты — все это не действовало на Лялю. Она сидела, покачивая, как обычно, сабо на кончике пальца, молчала, будто бы забыв, что Юшков рядом, но стоило ему повернуть к ней голову, и она мгновенно поднимала глаза, пытаясь то ли спросить, то ли подсказать что-то взглядом. Он даже не знал, надолго ли уезжает. Ему самому Лебедев объяснил так: «Последняя сталь должна уйти из Черепановска не позднее двадцатого июня. Сегодня четвертое. Справишься быстрее — тем лучше».

Ночь Юшков провел в Быкове и в полдень вылетел в Горск. От Горска до Черепановского металлургического комбината ходил рейсовый автобус. Зной уже отпустил, но пока автобус стоял на остановке, все пассажиры в его раскаленном салоне пропотели, как в парной бане. При движении в открытые окна задул ветерок. Донесло гарь мартеновских печей. По обе стороны дороги была степь, белый песок чередовался с солончаками, до самого горизонта не видно было ни одной трубы. Просто, наверное, гарью пропахла обивка автобусных сидений.

Глава вторая

Черепановск не отличался бы от других районных городков, если бы не гостиница. В пять этажей, с тремя фасадами на три улицы, с пилястрами и лепным карнизом под крышей, она поднималась над городом, как собор. Вертикальная вывеска «Металлург», нависающая над бульваром, относилась не к гостинице, а к ресторану на ее первом этаже. В холле было прохладно, тихо и чисто, в длинных коридорах лежали ковровые дорожки.

Место оказалось только в номере на четверых. Когда Юшков вошел туда, трое его соседей, сидя на двух кроватях, ужинали. Разложили на газете ломти хлеба, плавленые сырки и зеленый лук, а бутылку на всякий случай держали под кроватью.

Это была случайная компания. Один, в майке, мускулистый, крупный, ругал кого-то. Двое других вынужденно сочувствовали. Увидев Юшкова, ражий обвинитель досадливо замолчал. Зато один из сочувствующих, худой, юркий, в рубашке, которая вылезала из брюк, выскочил навстречу, словно старого знакомого увидел. Ему хотелось умиляться и плакать от радости, а приходилось сочувствовать утомительному чужому гневу. Появление Юшкова давало повод излить наконец избыток восторга, и худой обнимал и тащил нового соседа к кровати с закуской. Кроме того, он не был уверен, что пить в гостинице разрешается, испугался, когда Юшков открыл дверь, и возликовал, убедившись, что опасности нет. Третий, пухлый блондин, слегка осовел. Под серым пиджаком были желтая рубашка и красный галстук. Худой засуетился, отыскивая посуду для Юшкова. Блондин вытащил из-под кровати бутылку, долил свой стакан и протянул Юшкову — воспользовался случаем, чтобы не выпить свою долю. Юшков отвел стакан рукой: «Нет, ребята. Вы как хотите, а я не пью».

Ражий дядька в майке опустил кучерявую потную голову, ждал, пока затихнет суета. Он решил перетерпеть ее, не распылять свой гнев. «Я ему кажу, ты сколько тут днів? Я все разумию, тебе бильш надо, таким, як ты, всегда бильш других надо, ты только одно скажи: ты скільки тут днів?»

Они все приехали за сталью. Блондин прилетел утром из Горького. «Обвинитель» был из Киева и сидел тут уже несколько дней. Он жаловался, что получил резолюцию замдиректора, но появился какой-то гусь из Нижнего Тагила, и все пошло прахом. Худой, уже не улавливая смысл слов, а одну только интонацию, безнадежно махнул рукой: мол, что еще можно ждать от нижнетагильца? Киевлянин криво усмехнулся: «Разумна людына... шо й казаты, разумна людына... Кто дурнейший, пусть месяцами сидит, а он одному дал, другому дал, с третьим выпил — и два вагона хрома в кишени. Разумна...» — «Надо уметь, — шурился по-бабьи блондин, — а мы не умеем». — «От том и справа, что мы того не умиемо...» Блондин скучно кивал, осторожно взял с газеты хлебную корочку и стал жевать. Чувствовалось, киевлянин ему неинтересен, сам он гораздо опытнее и знает хорошо, что ему нужно здесь делать. «Люди сейчас стали не те», — сощурился он и глянул на Юшкова: трезвый слушатель мешал ему. Юшков переоделся в тренировочный костюм, взял полотенце.

Худой проводил его тоскующим взглядом. Вместе с Юшковым исчезла его надежда предаться умилению. Он уже утомился сочувствовать чужой обиде.

В душевой Юшков остывал под прохладными водяными струями. Его соседей по номеру, конечно, нельзя было назвать деловыми людьми, и все же он уже чувствовал какое-то их преимущество и начинал понимать, что взялся не за свое дело. Он взбодрил себя душем и спустился на первый этаж в ресторан.

Там сидели три или четыре человека. Гудели вентиляторы в кухне, пахло щами и жареным мясом. Коренастый, низенький дядька вошел вместе с ним, посоветовал: «У двери не садись, сквознячком тянет». Сели за один столик, и коренастый спросил без особого, впрочем, интереса: «Издали?» Юшков ответил и спросил: «А вы?» «Из Нижнего Тагила», — сказал коренастый. Соперник киевлянина выглядел скромно. Только вот большой и толстый нос в лиловых прожилках нарушал гармонию. Нижнетагилец разговаривал с Юшковым, а нос приплюхивался, поворачивался к буфету: кажется, пиво привезли. Нос мешал принимать его обладателя всерьез. Собеседник Юшкова не подозревал, что стал в некотором роде легендарным и молодой человек за его столиком, приехавший час назад, уже наслышан о нем как о самой знаменитой здесь фигуре. Спросил как равный равного: «За чем ты здесь?» — «За хромистой сталью». — «Хрома нет. Был один вагон, я его сегодня забрал... У меня сосед месяц и десять дней из-за хрома тут просидел. Херсонцев. И впустую». — «Так и уехал ни с чем?» — не поверил Юшков. Нижнетагилец повторил: «Месяц и десять дней впустую. Хромистую сталь они не умеют делать. Что ни плавка, то брак. Министерство навязало им заказы, а они к этому не готовы». — «Но вы вот получили вагон?» — «Я другое дело». — «Почему?» — «Каждая фирма имеет свои секреты».

Подошла официантка: «Обеды кончились. Есть яичница и гуляш». «Может быть, водку?» — предложил Юшков. Нижнетагилец усомнился: «Не жарко ли?» — «А мы немного», — сказал Юшков и попросил официантку: — Триста грамм». — «И пива две бутылочки», — сказал нижнетагилец и подмигнул официантке. Юшков вернулся к теме. «Значит, секреты?» — «Ты с чем приехал?» — «В смысле?» — «Ну не с пустыми же руками?» — «Ну есть кое-что...» — «Что у вас там может быть для них на автозаводе. Ничего у вас для них нет. Небось выписали шестьдесят рублей через завком, и считаешь, что хром у тебя в кармане». — «Какие шестьдесят рублей?» — будто бы не понял Юшков.

Нижнетагилец успел заметить смущение, понял, что угадал, усмехнулся. Официантка принесла ужин. Ресторан постепенно заполнялся людьми. Нижнетагилец сказал: «Коробейники». — «Почему коробейники?» — «Историю надо знать. Были такие. Осуществляли снабжение населения». Юшков ждал, когда сосед вернется к главной теме, но тот почувствовал его интерес и, набивая себе цену, важно молчал, хотя, наверно, это ему было нелегко. Юшков понимал, что торопиться нельзя.

Расплатились и вышли в холл.

В углу его стояло перед телевизором несколько кресел. Немолодые мужчина и женщина смотрели документальную передачу. Женщина была хорошо одета и казалась много интересней своего невзрачного соседа. Она вязала. Нижнетагилец показал на нее глазами и подмигнул Юшкову. Женщина, деля внимание между телевизором и вязанием, все же заметила подмигивание. Попавшись, нижнетагилец смутился и спросил: «Что будет? Свитер?» «Сыну свитер», — спокойно кивнула женщина. Мужчина, упираясь руками в подлокотники, а плешивой макушкой в спинку кресла, почти лежал в нем. «Что, Григорьевич, — сказал он нижнетагильцу, — я слышал, ты вагон хрома урвал?» — «Я же не сижу все дни перед телевизором, — ска-

зал нижнетагилец. — Я на комбинате околачиваюсь. — «Что без толку околачиваться. Тебе легче прожить», — сказал мужчина. Женщина тихо приказала: «Сядь. Ты совсем уже сполз». Он подтянулся, сел повыше и потрогал рукой ослабевший узел галстука. «Значит, домой теперь?» — спросила женщина нижнетагильца. «Не знаю, — сказал он. — Я скажу «домой», когда у меня будут номера вагонов. Когда я вот по этому телефону, — потрогал он красный аппарат на столике перед телевизором, — сообщу на завод номера вагонов, тогда я смогу сказать «домой». — «А я, наверно, как раз успею свитер довязать, — вздохнула женщина. — Пока свое получу». — «Не пойму вообще, зачем тебя посылают, — обидно засмеялся нижнетагилец. — Что ты здесь есть, что тебя нет». — «Это вы начальству моему подскажите», — улыбнулась женщина, подняла на нижнетагильца глаза и, к удивлению Юшкова, покраснела. Нижнетагилец подмигнул: «Надо будет подсказать».

Он пошел к лестнице. Мужчина в кресле крикнул ему: «Сейчас начнется футбол!» — «Посмотрю, как мой херсонец, — ответил нижнетагилец. — Не уехал ли. Обещал коньяк поставить, если хоть что-то получит. Месяц и десять дней впустую просидел». — «Я думаю, он уже уехал, — сказал мужчина в кресле. — Он тут звонил утром в Херсон. Отзывают». — «Значит, сегодня уедет», — засмеялся нижнетагилец и ушел.

«Вы садитесь», — сказала женщина Юшкову. Идти в номер не хотелось. Юшков сел. У женщины был мягкий южный выговор. «Я из Одессы. Дважды в год здесь по месяцу торчу, — сказала она и кивнула в сторону мужчины. — Вот Аркадий Семенович тоже каждый конец полугодия тут. Мы уже здесь как свои стали. В первый раз вам, конечно, будет трудно. Пока связи налажаются». — «Если вас тут за своих считают, — сказал Юшков, — что же вы так долго без стали сидите?» — «Не получается у них пока хромистая сталь. Как плавка, так брак. А на нет и суда нет». — «Но вот этому товарищу из Нижнего Тагила удалось?» — «Еще бы, — ревниво вмешался мужчина. — Он с нарядом на дефицитные электродвигатели. Он им электродвигатели, они ему сталь. Да и то один вагон получил, а ему надо два».

Похоже было, мужчина не столько Юшкову, сколько женщине хотел объяснить, что подвиги нижнетагильца преувеличены. Женщина возразила: «И с электродвигателями не у всякого получится». Она хотела защитить нижнетагильца, а получился как бы упрек Аркадию Семеновичу. Она поправилась: «Что говорить, если у нас их все равно нет. — И, недовольная собой, сказала, на мгновение став похожей на Лялю: — Все. Тихо. Сейчас не мешайте мне. Мне надо сосчитать петли». Юшков попытался понять, в чем тут было сходство с Лялей, но не смог. Женщина считала петли на связанном, а Аркадий Семенович стал произносить другие цифры в том же ритме: «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...» — сбил ее со счета, и они рассмеялись. Она сказала: «Аркадий, перестань», и он повеселел.

Спустился по лестнице нижнетагилец. Спросил, кто играет, и важно сказал, усаживаясь в кресло: «Посмотрим, чем они нас сегодня порадуют». — «Как сосед? — спросила женщина. — Уехал?» — «Уехал!» — захохотал нижнетагилец. Теперь, когда Юшков знал, что сила того в электродвигателях, нижнетагилец перестал его интересоваться. Они все здесь были соперниками, и в самом худшем положении был он, Юшков.

У барьера с табличкой «Администратор гостиницы» стояла стройная женщина в золотистом парике и в строгом синем костюме. Она разговаривала с администраторшей и отстранилась, давая Юшкову возможность подойти к барьеру. «Тут у вас товарищ из Херсона освободил койку в двухместном номере, — сказал Юшков. — Я хочу на его место». «А больше вы ничего не хотите?» — спросила администраторша. Юшков оскорбился: «Это вы у меня спрашиваете?» — «Я

уже выписала вам место. Что же, вам дважды в день постель будут менять?» — «Поля, — вмешалась женщина в парике, — удовлетвори просьбу товарища». — «Я еще не трогал вашей постели», — по инерции спорил Юшков, хоть видел, что администраторша переписывает его бланк. Женщина в парике прошла к кабинету около лестницы. Ее синий костюм был похож на форму стюардессы. У нее был вид школьной учительницы, которая идет между парт, поглядывая на шалунов. Аркадий Семенович, снова сползший в кресле так, что брюки задрались и оголились молочно-белые икры, мгновенно подобрался. И впрямь как ученик перед учительницей. На двери кабинета висела табличка «Директор».

«Что не смотришь футбол? — крикнул нижнетагилец Юшкову. — Садись сюда». — «Вы как? — спросил Юшков. — Не боитесь спать один в комнате?» — «Да знаешь, последние пять десятков лет как-то... А что?» — «Да решил вот составить вам компанию». Нижнетагилец хмыкнул и сказал: «Молодец. Остроумно пошутил. Молодец».

Дверь в кабинет директрисы осталась открытой. Она сидела за столом и позвала Юшкова: «Ну как, Юрий Михайлович, все в порядке? Заходите, пожалуйста, садитесь». Он сел в кресло. Свет в кабинете был ярче, чем в холле, проявилась сетка морщинок вокруг глаз и стало видно, что директрисе не меньше пятидесяти. Вздернутый носик и полные губы сохранили какую-то долю то ли детской капризности, то ли детской беспомощности. «Вы меня, конечно, извините, Юрий Михайлович, но в вашем городе живут не очень хорошие люди».

Этнографическое это наблюдение претендовало всего лишь на то, чтобы быть немедленно опровергнутым, и явно исключало самого Юшкова из числа не очень хороших людей. Поэтому он развел руками и улыбнулся. «Нет, я серьезно, Юрий Михайлович. — Она по-детски надула губы. — Месяц назад тут был ваш земляк, я просила его прислать мне пятнадцать баночек женьшеневого крема. Говорят, у вас в городе он свободен на прилавках лежит. Вроде интеллигентный мужчина был, клялся, что вышлет, как только домой вернется, и вот по сей день мне этот крем шлет». «Может быть, он умер?» — предположил Юшков. Она сказала: «Вы не похожи на толкача». — «Это моя первая командировка, — сказал Юшков. — Не знаю даже, с чего надо начинать». — «Да, люди тут по месяцу сидят. Скажите, ну разве это не безобразие?» — «Что же делать?» — в тон ей глубокомысленно сказал Юшков. Она вздохнула: «Да, от нас с вами это не зависит».

«От вас кое-что зависит, — осторожно сказал он. — Вы директор единственной в городе гостиницы. Наверняка руководство комбината идет к вам на поклон, когда хочет устроить получше какого-нибудь заслуженного гостя. Разве не так? Значит, и они вам не откажут в случае чего». «Вы преувеличиваете мои возможности, Юрий Михайлович. Многие так считают. Норовят подарок какой-нибудь сунуть... Я, конечно, человек грешный, но в этом чиста: не беру».

Лет десять назад она, наверно, еще пользовалась успехом. Поднялась, взяла сумочку, погасила в кабинете свет. Юшков проводил ее до выхода. Напротив было почтовое отделение. Он заказал там разговор с домом и попросил мать завтра же купить и выслать ему пятнадцать баночек женьшеневого крема.

Рядом с почтой был магазин. Водку в нем по вечерам не продавали, и Юшков купил бутылку вина. Эта покупка пришлась нижнетагильцу под настроение. «Херсонец много о себе мнил, Юра. Если бы он не был, между нами говоря, таким-эдаким, — нижнетагилец, сидя на своей кровати со стаканом в руке, сказал, каким именно был херсонец, — если бы он не был таким-эдаким, я бы ему, как нечего делать, помог. Я сюда как-никак кое-что привез. И пили бы мы сейчас с ним коньяк. Но он хотел права качать. Он по инстанциям ходил. Ну и выходил».

Он оказался разговорчивым, продолжал рассуждать уже лежа в темноте. Юшков спросил: «Директор гостиницы может что-нибудь сделать?» «Все может,— убежденно сказал нижнетагилец и тут же честно поправил себя: — Хотя... Вообще-то... ничего она не может. В хороший номер с телефоном тебя устроить в следующий раз — это да, а в смысле заказа... Она имеет дело с крупным начальством, а нашему брату лучше иметь дело с человеком поменьше. Начальство что-нибудь решит, а какой-нибудь бригадир на отгрузке Володя возьмет да перерешит...»

Он не подозревал, что предсказывает свою завтрашнюю судьбу. «С Володей я тебя завтра познакомлю. Но договориться с ним не пытайся. Будет клясться, что лучший твой друг, а завтра появится кто-нибудь еще — и он продаст тебя со всеми твоими инсинуациями». — «С чем?!» — «Со всеми потрохами продаст. Спи».

Утром они отправились на комбинат. Прошли квартал по трехэтажной улице Ленина, вышли к железнодорожному вокзалу и позавтракали в маленькой темной столовой, набитой галдящими мальчишками в форме ПТУ. За привокзальной площадью поднялись на железный мост, прошли по нему над путями и увидели комбинат. До горизонта стояли цехи маленькие и большие, длинные и квадратные, соединенные трубопроводами и асфальтовыми дорогами. Вокруг них шли цепочки деревьев, бетонные эстакады и изгороди из низкого кустарника. К каждому цеху подходили железнодорожные ветки, именно они да торчащие в разных местах то гроздьями, то поодиночке трубы и создавали основной рисунок открывшейся с моста картины. Спустившись вниз, Юшков и его сосед оказались на территории комбината.

Нижнетагилец с утра был вялым и неразговорчивым. Он подошел к длинному белому цеху, в торец которого упирались два железнодорожных пути. Толкнул калитку с надписью «Посторонним вход воспрещен». Здесь был конец производственной цепочки. Мостовые краны грузили в вагоны стальные листы, рельсы и штанги. Все это катилось сюда с другого конца цеха по дорожкам из стальных трубок. Солнечные лучи, падая сверху, казались балками стальной конструкции. В глубине сыпали искрами газовые резаки.

Бригадир Володя, черный и худой, в брезентовой куртке, надетой на майку, руководил погрузкой. Заметив нижнетагильца, он занервничал и попытался улизнуть, а когда увидел, что скрыться не удастся, набросился с руганью на крановщицу. В кабине крана под самой крышей она едва ли могла его слышать, а он стоял у штабеля штанг, задрал голову, и потрясал кулаком.

Нижнетагилец, оживившись, поймал его руку, заглядывая в глаза: «Что новенького?» Бригадир бдитительно зыркнул по белой рубашке, галстуку и отутюженному костюму Юшкова: не проверяющий ли какой? Юшков предложил сигарету. Купленная в Быкове пачка «Столичных» усилила подозрения бригадира: «Из Москвы будем?» «За хромом приехал, как и я», — отрекомендовал нижнетагилец. «Хрома нет и не будет», — сказал бригадир, теряя интерес к Юшкову.

Он все порывался уйти. Взгляд нижнетагильца стал беспокойным. «Номер вагона ты мне скажешь?» — «Какого вагона? — недовольно спросил бригадир. — Чего ты сюда ходишь? Ты в производственный отдел ходи». — «Постой, постой, — нижнетагилец всерьез встревожился. — Мой вагон вчера отправили?» — «А откуда я знаю? Помню я вас всех, что ли?»

Бригадир пошел вдоль стены к своей будке, маленький нижнетагилец засеменил рядом. «Ты шутики со мной шутишь? Отправили или нет?» — «А я говорю: не ходите здесь! Сюда посторонним вход запрещен! Ходите, работать мешаете, поэтому и чехарда получается». — «Какая чехарда?!» — «Я делаю то, что мне велит производственный

отдел. Идите туда». Бригадир скрылся в свою стеклянную будку. Нижнетагилец посмотрел на Юшкова, словно тот мог что-нибудь объяснить ему. «Понял?.. Кажется, увели мой вагон».

От отгрузки до производственного отдела было километра три до асфальтированным аллеям между корпусами. Нижнетагилец то срывался на бег, то, выдыхаясь, едва плелся. С седых волос лился пот. «Катали сталь на мой заказ, круг сто тридцать, рядом же стоял, ну что за народ...» — бормотал себе под нос, будто молился.

В комнатах производственного отдела мужчины обступали работающих за столами женщин, нависали над ними, и каждый пытался так или иначе втолковать свое. Женщинам приходилось не только отбиваться от мужчин, но и отвечать на телефонные звонки, они балдели в этом шуме и духоте, одна из них, полная и распаренная, кричала: «Товарищи, вам нечего тут делать, подождите в коридоре! Товарищи, имейте совесть, тут же нечем дышать! Лишние выйдите, товарищи!» Ее никто не слушал, и она сказала второй: «Сумасшедший дом какой-то».

Ту, вторую, Юшков, едва заглянув в комнату, заметил сразу, поскольку молодых женщин всегда замечал в толпе прежде других людей. Он не слышал ее голоса, но по лицу видел, что она терпеливо повторяет одно и то же мужчине, упирающемуся руками в ее стол, и одновременно слушает телефонную трубку. Прежде чем положить трубку, она убрала его со лба светлую прядку и в это время встретилась взглядом с Юшковым. На секунду задержала взгляд, что-то мелькнуло в ее лице, словно бы искорка узнавания, которая всегда показывала Юшкову, что этой женщине он может быть интересен. Он загадал, что если заказы автозавода ведет она, то у него все получится.

Нижнетагилец промчался к столу полной женщины: «Я не мальчик, понимаете! Что у вас тут делается?! Я же не могу сторожить всю ночь свою сталь!» «Товарищ, произошла ошибка...» Юшков показал светловолосой свои бумаги: «Это к вам?» «Да», — подняла она глаза от бумаги, задержала узнающий взгляд. Юшков встал в очередь к ее столу. Полная промакнула подбородок носовым платком, сказала: «Когда он уже кончится, этот день?» — и стала ругаться в трубку. Светловолосая вытянула шею в ее сторону, слушая разговор. «Тут человек у меня стоит, что я ему скажу? — объясняла в трубку полная. — Нет, уж лучше я его к вам pošлю. В конце концов нельзя так распускать бригадиров. — Положив трубку, сказала нижнетагильцу: — Идите к заместителю сортопрокатного». «Что вы меня гоняете?» — заревел он. Она пожала плечами. Взberoшенный нижнетагилец выскочил из комнаты, бормоча угрозы. Светловолосая спросила: «Опять Володя там коники выбрасывает?» — «Откатали Нижнему Тагилу круг сто тридцать, нужно было резать на шесть, он порезал на четыре». — «Кому?» — «Говорит, по ошибке. Вагон этот забрал москвич». — «Такой кот с усиками?» — «Ну. Ясное дело. За такие «ошибки»...» — «Ай, опять ему это сойдет».

Юшкову казалось, что, разговаривая, светловолосая краем глаза не упускает его из виду и некоторые ее слова и жесты рассчитаны на него. Перед ним еще оставался пухлый блондин в сером костюме и ярком галстуке, один из вчерашних его соседей. Тот держал в руке сверток и, когда подошла его очередь, положил сверток на бумаги и уперся двумя руками в стол, приблизив лицо к лицу светловолосой. «Еще раз здравствуйте, Ирина Сергеевна. Как поживаете?» «Спасибо», — сказала она. Он вытащил из пиджака шоколадку. «Это дочке». — «Это уже ни к чему, — нахмурилась Ирина Сергеевна, быстро взглянув на Юшкова. — Дочка уже большая». — «Уже в четвертом?» — «Пятый кончила». Ирина Сергеевна протянула руку за бумагами, торопила. Блондин приехал за простым углеродистым листом, она пообещала ему выдать лист через три-четыре дня. «Целую ручки», — сказал он на про-

щение. «Погодите,— окликнула она.— Заберите свой сверток».— «Ирина Сергеевна, как вам не стыдно...»— «Заберите немедленно сверток».— «Но вы меня обижаете...» — «Я вас не обижаю,— сказала она, покраснев,— но сейчас обижу». Он крикнул и, взяв сверток, покачал головой: «Ох, Ирина Сергеевна, что вы со мной делаете».

Рассерженная блондином, она протянула руку за бумагами Юшкова, сверила их со своими и сказала: «Да, задолжали мы вам ужасно. Шестьсот тонн. Просто ужасно». Взглянула на него, уже не узнавая. Юшков молчал. Она вздохнула: «Хромистой стали у нас нет. Будут делать плавку после двадцатого». «После двадцатого?» Этого Юшков не ожидал. До сих пор он представлял себе, что будет какая-то конкуренция между ним, нижнетагильцем, другими, он не знал, каким образом сможет победить, но надежда была. Двадцатое — это был тот крайний срок, который назвал Лебедев. После двадцатого он уже выбывал из игры. Он стал объяснять, почему ему нужно раньше, забыв, что все в очереди перед ним пускались в такие же объяснения к досаде всех остальных. Ирина Сергеевна вздохнула: «У нас очень плохо с хромом. Посмотрите вот». Разворачивала перед Юшковым разграфленный лист, словно секретную карту. «График составляет заместитель начальника производства. Вот видите — только после двадцатого. Я постараюсь, чтобы первый металл дали вам».

Разговор был окончен. Юшков сказал: «Я буду заходить к вам за новостями». «Конечно,— сказала Ирина Сергеевна, утешая.— Мало ли что бывает».

Он потолкался в коридоре, прислушиваясь к разговорам, и побрел на отгрузку.

Над комбинатом уже повис тяжелый зной, едкий от дыма цеховых труб, а в цехе гудели вентиляторы и было даже прохладно. Там, где грузились вагоны, нижнетагилец ругался с бригадиром. Изможденное лицо бригадира выражало страдание. Нижнетагилец матерился, а бригадир то трогал его за рукав, то бил себя в грудь: «Григорич... Ты веришь, что это нарочно? Да чтоб я сдох. Чтобы мои дети света не видели. Резчик перепутал! Да неужели ж я тебя бы обманывал? Да уж если на то пошло, мне вообще до фени, кому что достанется. Я делаю, что мне велят. Ну бывает же всякое! Резчика я накажу. Клянусь, накажу...»

Кто бы ни был виноват, нижнетагилец лишился вагона, который считал своим. Он брюзжал, пока они с Юшковым шли к мосту через железную дорогу. Покосился: «А у тебя что слышно?» — «Ничего не будет».— «Надо дать»,— веско сказал нижнетагилец. Юшков рассказал про сверток блондина. «Конечно, это непросто,— согласился нижнетагилец.— Надо уметь. Она тебе так даст, что останется только вещички в руки и домой: посылайте кого-нибудь другого». Сменяя только что высказанное мнение на прямо противоположное, он никогда не терял безапелляционности.

Они пообедали в той же столовой с мальчишками из ГПТУ, купили в ларьке стиральный порошок и вернулись в гостиницу. «С рубашками ты промахнулся,— сказал нижнетагилец.— Опытный человек никогда сюда светлые рубашки не берет. Не настаивайся». В номере повалился на кровать, хохотнул озорно: «Херсонец небось сейчас докладывает начальству о поездке. Или жене объясняет, что такое рентабельность. Очень хорошо эти вопросы сек».

Юшков пошел в умывальную стирать рубашки. Какой-то скуластый парень с узенькими черными усиками покуривал, сидя на подоконнике, и посоветовал: «Для таких мероприятий надо старушеницу какую-нибудь завести». Даже в расслабленной, небрежной позе его тело не теряло стройности и кошачьей хищной грации. «Это не ты вагон хромистой стали увел?» — спросил Юшков. Парень хмыкнул: «Мой сосед. Он уже сегодня смотался. Как там твой дед? Лежит с инфарктом?» — «Близко к тому».— «Гениальная

операция, а? Красиво задумано и чисто сработано. И всего-то мы влили в этого Володю один стакан коньяка. И сказали: на сегодня хватит, остальное получишь в Москве». — «Это может ему дорого стоить». — «Вывернется. И в конце концов с умными людьми за бутылкой сидел, новые анекдоты послушал».

Прошел в туалет тот мужчина, который вчера сидел перед телевизором, Аркадий Семенович. «Вот кто хорошо устроился», — сказал ему в спину парень. — «Ему о рубашках думать не надо». Юшков прополоскал рубашку и ушел в номер. Сосед спал. Нужно было что-то делать. Преодолевая безразличие, Юшков пошел в душ. Постоял под горячей струей, под ледяной, снова под горячей и снова под ледяной. Растерся. Стало веселее. У него начал складываться план: изучить комбинат с самого начала, с того места, где получается брак, с мартенов. Сойтись поближе с людьми, стать здесь своим человеком. Вдруг что-нибудь да откроется? Уехать он всегда успеет, а других идей у него нет.

В восемь сосед проснулся, и они пошли ужинать. Нижнетагилец взял инициативу в свои руки: «Кто сегодня заказывает, я или ты?» — «Давай я». — «Ладно. В другой раз я».

Около эстрады сидели принаряженный Аркадий Семенович и женщина из Одессы, которая вчера вязала в холле перед телевизором. Она была в шелковом платье с большой брошью на груди. Знакомый усатый парень сел за их столик. Ухмыляясь, наклонился к женщине, зашептал на ухо. Она сначала придвинула к нему голову, потом отстранилась и покраснела. Наверно, он рассказывал анекдоты. Аркадий Семенович стал смотреть в сторону, заинтересовавшись вдруг лепкой вокруг плафонов. Парень поманил рукой официантку, что-то заказал. Прыгнул на эстраду, поставил на радиолу пластинку, отрегулировал звук погромче. Пока он возился, Аркадий Семенович и одесситка сердито перецепывались между собой. И тут нижнетагилец сказал: «Хром есть». Юшков решил, что услышался. «Где?!» — «Хром есть. Четыре вагона. Но мне он не годится. Я его не беру». — «Почему?» — «Он не по ГОСТу. Завышен марганец».

Стараясь оставаться спокойным, Юшков спросил: «На много завышен?» «На двенадцать соток».

Тыча вилкой в бруски жареного картофеля, важно сопел: он, мол, не берет что попало. Снабженец, наверно, он был хороший, но металловедению его никто не научил. Лишние двенадцать соток марганца в этой стали, хоть и были отступлением от ГОСТа, ее не портили. Юшков боялся выдать себя. «Что ж этот бригадир не пытался всучить никому?» — «Что он пытался и что не пытался, мы с тобой знать не можем». — «А ты сам, — спросил Юшков, не заметив, что перешел на «ты», — так и будешь сидеть до конца месяца, пока хром не пойдет?» — «Против лома нет приема. У меня, кроме хрома, полно дел. Я тут еще только неделю, а уже две позиции сверх фондов выбил. У меня тут два десятка позиций».

Усатый парень около эстрады пригласил танцевать одесситку. Она отказалась. Он топтался перед ней, теряя апломб, а она мотала головой. Аркадий Семенович шлифовал пальцами свою рюмку. Теперь, когда появилась надежда и Юшков знал, что ему нужно будет делать завтра, все вокруг получило смысл. Он начинал действовать, а действие, как ток в проводнике, создавало вокруг себя поле с силами притяжения и отталкивания. И Юшкову азартно хотелось, чтобы женщина отказала наговатовому парню и чтобы парень почувствовал себя побежденным.

Утром он вышел из гостиницы, когда его сосед еще спал. Если они, эти четыре вагона, существовали в действительности, то никто теперь не должен был его опередить. В пустом коридоре заводоуправления уборщица таскала из двери в дверь швабру и ведра, по-

звякивала связкой ключей. Юшков встал около двери производственного отдела. Час спустя появилась полная женщина. Она распарилась уже с утра, тяжело дышала, льняное желтое платье потемнело под мышками. Следом сунулся было в комнату узбек из Ташкента. Она, обмахиваясь за своим столом веером из бланков, сказала ему: «На двери же написано! С восьми часов! Читать не умеете?» Было без пяти восемь. Юшков боялся, что эти четыре вагона может отдать кому-нибудь полная женщина. Ровно в восемь появилась Ирина Сергеевна. Она сразу почувствовала волнение Юшкова. Пропустила в комнату, подала стул, попросила: «Подождите, пожалуйста, я сейчас». Расположилась за своим столом, вытащила зеркальце, причесалась. Делала это так, словно причесывается по просьбе Юшкова и для его удовольствия. Таращась исподлобья в зеркальце, спросила по-приятельски: «Что у вас новенького?» «Посмотрите, пожалуйста,— попросил он.— У вас должна быть плавка с марганцем не по ГОСТу». Удивленно взглянула. Спрятала зеркальце, придвинула к себе аппарат. Набрала номер. «Слушай, Володя! У тебя есть четыре вагона хрома? Есть или нет?.. Ты на меня не ори! — Лицо ее вдруг стало некрасивым и грубым.— Ишь ты! Я тебе так поору, что больше не захочется! Мы документы на эти четыре вагона не оформляли!»

Документы не составляли — значит, металл еще никто не взял. «У меня с собой фирменные бланки,— сказал Юшков.— Я пишу расписку, что претензий по марганцу к вам не будет. Дайте нам в счет заказа».

«Выдай все на тридцать шестой заказ!» — крикнула Ирина Сергеевна в трубку. Это был заказ Юшкова. Положила трубку. Посмотрела с уважением: «Как вы узнали про эти вагоны?» — «Каждая фирма,— повторил Юшков мудрость нижнетагильца,— имеет свои секреты». — «Вам повезло», — улыбнулась поощрительно она. Юшков спросил: «Куда мне теперь?» «Вы в гостинице?» — спросила она. — «Родственниками еще не обзавелись? Позвоните мне из гостиницы утром, скажу вам номера вагонов».

Юшков помнил урок соседа. Из производственного отдела он побегал на отгрузку. Володя заполнял ведомость в своей будке. Он заметил Юшкова издали, когда тот пробирался к нему, балансируя на штабелях стали, но опустил голову к бумагам, словно бы не видел его. «Как тридцать шестой заказ?» — спросил Юшков. Пришлось повторить это трижды. Володя поднял голову: «Что тебе надо здесь? Видишь, я работаю?» «Вижу, как ты работаешь. Запомни, Володя,— сказал он,— эти четыре вагона — мои. С ними мудрить не пытайся. Так, как с Нижним Тагилом, второй раз не получится. Запомни: тридцать шестой заказ для тебя табу. Знаешь, что такое табу? Приходи завтра в триста двадцатый номер гостиницы, попробуем друг друга понять». Володя молчал, отводил глаза, будто не слышал. Может быть, испугался, а может быть, посмеивался, как это Юшков, начав с угроз, кончил приглашением.

Нижнетагилец лежал на кровати в тренировочном эластичном костюме. Животик его в этом костюме обрисовался так, словно под тканью был спрятан футбольный мяч. «Заболел, что ли?» — спросил Юшков.

«Так и раззад, этого я боялся», — сказал нижнетагилец. Медленно попробовал сесть, прислушиваясь к ощущениям, чтобы поймать боль раньше, чем она начнется. Это ему, естественно, не удалось, и, снова ругнувшись, он повалился на кровать. «Радикулит?» — «Миозит», — ответил нижнетагилец. — «Хрен редьки не слаще». — «Знаешь», — сказал Юшков, — я все-таки взял тот хром». — «Но там же марганец завышен». — «Рискнул. На поворотный кулак автомобиля стодится». — «Ну раз подошло, так хорошо», — сказал нижнетагилец. — «Мне

не подошло». По чувству облегчения, которое Юшков испытал, он понял, что это его все-таки мучило. Все-таки эти четыре вагона он словно из кармана у соседа вытянул.

«Вот когда лежу — ничего, — удивился нижнетагилец коварству болезни. — Вроде и здоров. А с тебя, конечно, причитается. Я один про эти вагоны знал». — «В другой раз отметим, — пообещал Юшков. — Я не забуду». — «Зачем откладывать? Жрать-то мне сегодня надо. Вот и сбегал бы в магазин. Что нам ресторан? Музыки мы ихней не слышали?» Нижнетагилец взволновал себя этими рассуждениями.

Пока Юшкова не было, он, однако же, остыл и успел осознать, что четыре вагона хрома упустил зря. Лежал мрачный, не глядел на Юшкова. «А ты, брат, на ходу подметки рвешь. Не мог мне подсказать, что двенадцать соток марганца сталь не портят?» — «Я думаю, тебе не годится. Я же не знаю, для чего тебе». — «На такую ответственную деталь, как автомобильный поворотный кулак, годится, а мне не годится?» — «А бог тебя знает, может, вы там, в Нижнем Тагиле, спутники делаете». — «Спутники, — буркнул нижнетагилец. — Сидел бы я тут с тобой». После ужина он подобрел и сказал почти умиротворенно: «А теперь это дело надо переспать». Ночью он постанывал и ругался, не давая Юшкову заснуть, а утром ушел на комбинат. Юшков спустился в холл и позвонил Ирине Сергеевне. Она продиктовала номера четырех вагонов. Пошутила: «Не знаю, как вы будете со мной рассчитывать». «Что-нибудь придумаем», — сказал он. Она тихонько рассмеялась, отчего его слова стали казаться двусмысленными ему самому. Эти четыре вагона явно прибавили ему весу в ее глазах. Он тут же заказал по междугородному автозаводу, Лебедева.

Ожидая разговора, видел сквозь стекло, как появилась на улице директриса, толкнула дверь и пошла по ковровой дорожке походкой учительницы, входящей в класс. Около администраторши томилась маленькая очередь с чемоданами и портфелями. Директриса кивком головы в золотистом парике поставила всем «примерно» ю поведение, подошла к Юшкову: «Утро доброе, Юрий Михайлович, разговор ждете? Все дела, дела? Вы уже четвертый день у нас живете и даже родственнику себе не завели». «Может быть, я как раз жене звоню», — попытался он попасть в тон, несколько озадаченный им. Она шуточно возмутилась: «Какие могут быть жены? У нас в гостинице все холостяки. Дома вы все женатые, в командировке все холостые!»

Звякнул аппарат. Междугородная соединила с Лебедевым. Юшков прочитал номера вагонов. Лебедев записал, сказал: «Что ж, Михалыч, начало есть. Когда остальные шесть будут?» Юшков помялся. Теперь эти вагоны не казались ему такой уж большой удачей и он не знал, как Лебедев отнесется к нарушению ГОСТа. «Петр Никодимович, в плавке завышен марганец». — «На сколько?» — «На двенадцать соток». — «Ну, ничего, — подумав, сказал Лебедев. — Кашу маслом не испортишь. — И повторил: — Последний вагон должен уйти от них не позже двадцатого. Действуй, Михалыч».

Директриса, проходя к своему кабинету, заметила: «Между прочим, ваша землячка, Юрий Михайлович, приехала». — «С автозавода?» — «Нет, с какого-то другого». — «Молодая?» — «Девочка. Хороша, Юрий Михайлович, хороша...» Замолчала, потому что «землячка» прошла мимо них к лестнице. Она была в трикотажной безрукавке и американских джинсах, вместо чемодана волокла сумку из джинсовой ткани с латинскими белыми буквами «Sport».

Следом за ней Юшков поднялся на третий этаж. Дверь 305-го номера была распахнута. Там лежал на кровати поверх покрывала усатый парень в брюках и свитере. Когда девушка проходила мимо, он присвистнул. Она от неожиданности остановилась и уставилась

на него. «Извините, девушка, — сказал он. — Совершенно не могу управлять эмоциями». Она хмыкнула и пошла дальше. Парень позвал Юшкова: «Юра, как дела?» Услышал где-то имя. Все ему было просто.

Он был из московского НИИ, внедрял в мартеновском цехе новые приборы. Установка, на которую ставились приборы, часто выходила из строя, и пока цех ее ремонтировал, парень валялся на гостиничной койке. «Наша система не терпит волюнтаризма. Если цех не торопится внедрять новое — значит, бесполезно стараться. Все должно идти как идет. А мне командировочные идут два шестьдесят в день, комната отдельная — в Москве живу в одной комнатухе с тещей, женой и пацаном, да и мамочка какая-нибудь нет-нет да и скрасит существование!»

Землячка прошла мимо двери с полотенцем через плечо. «Девушка! — остановил ее парень. — Женские душевые на четных этажах! Значит, надо либо подняться, либо опуститься». «Спасибо», — сказала она. Парень пояснил: «А то я первый раз ошибся, попал в женскую. Вы, кажется, из Москвы?» «Нет», — ответила девушка и, решив, что на первый раз информации довольно, ушла.

«Впервые слышу, что душевые здесь делаются по этажам», — сказал Юшков. Парень рассмеялся: «Я тоже. Какая разница? С ними надо по законам золотоискателей. Застолбить, как в Клондайке. Я на всякий случай ее застолбил. Теперь она положила на меня глаз. Ты заметил? У них очень инерционная психика, они долго движутся в направлении первоначального толчка... А чем еще здесь заниматься?» — «Диссертацию не пишешь? — спросил Юшков. — Как там у вас в НИИ с наукой?» — «Полгода назад минимум сдал. Думал, помру». — «Зачем же так — жизнью рисковать?» — «Все она же, наверно. Инерция».

Он получал удовольствие от своей ироничности. Для чего-то она была ему нужна. «Но, с другой стороны, нормальному человеку, кроме науки, другой дороги нет. Ситуация без выбора. Тебя-то как в снабженцы угораздило?» — «Хрустальная мечта детства», — сказал Юшков. — «Влияние прессы, литературы и киноискусства». — «Понятно. Оно, наверно, лучше, чем цеховым инженером. Не работал?» — «Пять лет на автобазе». — «Чего ж тебя, родимого, туда потянуло?» — «Распределение». — «Кто это сегодня ездит по распределению?» — «Кое-кто», — сказал Юшков, — оказывается, ездит». — «Ну, хорошо, два года, а ты — пять». — «Некого было вместо меня ставить». — «Ах, так ты автобазу спасал? — Тоненькие усики парня вздрогнули. — Молодец». «Это да», — ответил Юшков. — «Что есть, то есть. Ты в мартеновской плавке не разбираешься?» — «Зачем тебе?» — «Хочу изучить комбинат. Чтобы знать, что отвечать, когда говорят «нет»...» «Ты, наверно, все-таки немножко инициативный, да?» — спросил парень.

Юшков ушел на комбинат. Он впервые в жизни увидел мартеновский цех. Блуждал по темным и дымным закоулкам, сторонился вагонеток и электрокаров, шарахался от плывущих над головой ковшей с жидким металлом. Напряженное гудение вентиляторов передавалось поручням металлических лестниц. Он оказался в мире незнакомом, с запахом горячей серы, с лязгом и громоуханием, и все же было что-то похожее на возвращение в родные места, вспоминалось, казалось бы, безнадежно забытое из институтских конспектов и «Технологии металлов», то особое студенческое знание, которое за ночь надо было вставить в свой мозг, как кассету в магнитофон, и выбросить после экзамена, освобождая место для следующего. В этом чужом мире он не знал языка, но знал его грамматику. Тут не могло быть ничего лишнего, случайного и необязательного, и Юшков, продвигаясь среди незнакомой техники, помимо воли по

форме предметов и сочленений определял их назначение, по другим признакам получал представление о действующих силах, по третьим угадывал возраст и происхождение механизмов, уже и предвидел: вот тут должно быть то, а где-то там — то, и когда не совпадало, настораживался, останавливался, как зверь в лесу, почуявший незнакомый запах, а потом находил объяснение и двигался дальше. Это был его мир — мир металла. Он забрался на какую-то галерею и остановился: внизу под ним шла заливка. Мчался белый поток, ослепительный пар роился над желобом, и когда поплыл вмещающий в себя четыре вагона двухсотсорокатонный ковш, Юшков заулыбался, так это было красиво. Люди, работающие с огненным материалом, казались сверху маленькими и именно поэтому бесстрашными. Около Юшкова, не обращая на него внимания, остановились два высоких парня в сатиновых халатах поверх костюмов, в светлых рубашках с галстуками. Они рассуждали о какой-то машине, что-то у них «не вписывалось», что-то они собирались монтировать, и слушать их разговор было приятно. Один из них все же заметил Юшкова и, уходя, подмигнул: «Красиво?»

Вернувшись вечером в свой номер, Юшков увидел худую сутулую фигуру и только тогда вспомнил, что пригласил к себе бригадира Володю. Тот неспешно беседовал с нижнетагильцем. Нижнетагилец лежал животом вверх и рассказывал, как вылежал вчера свой миозит. Володя с достоинством кивал: мол, водка — первое лекарство, ему всегда было это известно. После мартеновского цеха Юшкову пришлось чистить костюм и вымыть изнутри туфли. Он переоделся, натянул кеды и сказал: «Пошли, ребята». Нижнетагилец стал приподниматься, и тут его схватило. Прикусив губу, он все-таки поднялся и пошел, стараясь не ругаться и не стонать, чтобы не скомпрометировать рассказ о своем чудесном исцелении. Кое-как он уселся за столик мрачный и злой, выключившись из разговора, — седая нахохлившаяся птица. Володя держался так, как и положено держаться скромному виновнику торжества. Не забывал, что главная фигура за столом — это он, и когда Юшков вслед за первой хотел налить ему вторую рюмку, прикрыл ее ладонью: «Не торопись. Не на поезд опаздываем». Но как он ни медлил, роковая концентрация все же накопилась в нем, и тогда он начал ругать всех подряд со странной страстностью. Однако, охаявая всех, льстил сидящим рядом: «Михалыч, Григорыч, вы — люди. У меня весь Союз...»

«У тебя весь Союз, — сказал Юшков. — Я в твои дела не лезу. Но тридцать шестой заказ ты не трогай». «Табу», — сказал Володя. «Знаешь, что такое табу?» — спросил Юшков. Володя ответил: «Отче наш, иже еси на небеси». — «Чего дурачка строишь? — прицепился вдруг к нему нижнетагилец. В нем давно колобродило. — Люди бога боялись. А ты чего боишься?» — «Я ничего не боюсь», — выставил грудь Володя. Нижнетагилец сказал: «Вот и я про то». — «Ладно уж», — сказал Юшков. — «Что было, то было». — «Чего ты вдруг на меня? — выяснял Володя отношения с нижнетагильцем. — Чего ты на меня?» — «Иди ты, — буркнул нижнетагилец, неосторожно повернувшись и дернувшись от боли. — З-зараза».

«Юра! Я только тебе скажу! Потому что ты человек! Юра, она водит вас всех за нос! Ирина — она кого хочешь проведет, ей не верь!» — «Вот же гад, — изумился нижнетагилец. — Уже к ней прицепился». — «Да ладно, — сказал Володя. — Мне до нее дела нет. Я другое знаю. Я знаю, что быть этого не может, чтобы до двадцатого мы не делали хром. Хром — это копейка для комбината, это премия, а Ирина, между прочим, такая...» Нижнетагилец мотнул головой, опять дернувшись: «Рассчитывайся, Юра. С него хватит». «Я закажу», — хорохорился Володя. «Хватит», — трезво повторил нижнетагилец.

В номере он, кряхтя, улегся на кровать. Помолчали в темноте. Страдания настроили нижнетагильца на философский лад, и он осмысливал свою жизнь: «Я еще ни разу с пустыми руками не возвращался. С пережогом — бывало, а с пустыми — никогда». «С каким пережогом?» Юшкову тоже не хотелось спать. «Тебе вот выписали, скажем, твои шесть червонцев, а ты в них не уложился, свои добавил. Это и называется с пережогом съездил. Херсонец за полтора месяца все просадил, жене телеграмму давал, она что-то ему сюда посылала. И что? С чем приехал, с тем уехал. У него подхода к людям не было. А каждый человек уважение любит. Ты его озолоти — он завтра тебя узнавать не захочет, но ты вечер с ним посиди — он в лепешку ради тебя расшибется. Херсонец за полтора месяца и не понюхал. Язва, говорит».

Помолчали. «Я бы на твоём месте Сергеевной бы подзаялся, — посоветовал нижнетагилец. — Женщина, можно сказать, в полном порядке. Когда бог ее создавал, дизайнеры, как говорится, в отпуске не были». «Она разведенная?» — осторожно спросил Юшков. «Говорят, вроде того. А насчет хрома, что он раньше пойдет, я и сам подумывал. Все ж таки это для них хорошая копейка». — «И что ты собираешься делать?» — «Посмотрим. Завтра к начальству пойду. У меня тут двадцать позиций».

К начальству он назавтра не пошел: не сумел встать с кровати. Принял таблетку аналгина и снова заснул. Стараясь не шуметь, Юшков вытащил из чемодана две банки растворимого кофе и два шоколадных набора и завернул все в газету. С этим свертком он появился в производственном отделе перед самым обеденным перерывом. Около Ирины Сергеевны стояли несколько человек. Юшков оказался за киевлянином. Тот только что побывал у начальства, получил ничего не значащую резолюцию и успел уверовать, что с ней добьется всего. Услышав, что металла нет, раскричался: «Я в райком пиду! Я в обком буду звонить! Це ж завод остановится! Пять тысяч людей!» Ирина Сергеевна отвечала тихо и вежливо, но лицо ее пошло красными пятнами. Она едва сдерживалась, волосы и брови стали светлее лица, как у Валеры Филина после бани. Киевлянин наконец с криком: «Дэ тут у вас телефон?» — выскочил из комнаты.

Ирина Сергеевна тяжело дышала. Сказала полной: «Посылают таких уж дебилов». «Очень, видно, им это нужно, — ответила полная. — Было б нужно, дебила бы не прислали». Ирина Сергеевна рассмеялась и успокоилась. Узнавание снова мелькнуло в ее глазах. Пожаловалась Юшкову как старому знакомому: «Вот видите, как у нас тут... Полина, уже обед?» «Ой, бегу». Полная подхватила, засобиралась. «Ничего нового у вас нет?» — спросил Юшков. Ирина Сергеевна покачала головой. Он сказал: «Мне кажется, не может быть, чтобы не было плавки раньше двадцатого». «Мне ничего не известно, честное слово, — сказала она. Вытащила из стола бутерброды. — Угощайтесь».

Полина вышла. Сверток теперь казался Юшкову пудовым. Он вспотел и, проклиная себя, замямлил: «Ирина Сергеевна, надеюсь, вы поймете это как надо... Вы меня чрезвычайно выручили с четырьмя вагонами... Я понимаю, это выглядит ужасно...» «Что у вас там?» — деловито спросила она.

Юшков опешил. Протянул сверток. В правой руке Ирины Сергеевны был надкусанный бутерброд с сыром. Она положила его на стол, развернула сверток. «Ох, вы великий искуситель. Против икры устояла бы... Теперь перейду с чая на кофе. А то от чая, говорят, портится цвет лица».

Он был благодарен ей за то, что все так получилось. Начал льстить. Сначала осторожно, потом, все больше и больше поощряемый ею, прибодрился. Ему казалось странным, что можно получить

удовольствие от лесты, в которую не веришь, зная, что она лесть, и зная, что она корыстна. Однако Ирина Сергеевна раскраснелась и похорошела. Вернулась с обеда Полина. «Ох, насмешили вы меня,— сказала Ирина Сергеевна.— Заходите к нам почаще. С вами не соскучишься». Полина посмотрела с любопытством. «Куда ж я от вас, интересно, денусь?» — сказал Юшков к удовольствию обеих женщин.

Пошел в мартеновский. Ему нравился этот цех. Толкнул калитку, оказался в прохладной полутьме. Вибрация гудящих вентиляторов передавалась стальным колоннам, а от них — бетонным стенам и чугунному полу. Напряженно вибрировало само здание, даже прохладный, с сернистым привкусом воздух внутри него дрожал. Это напряжение передавалось каждой клеточке Юшкова. Варился жидкий металл в печах, малиново светились щели вокруг заслонок. Гудело голубое пламя газовых горелок. С треском, будто сыпали горох или рвали шелк, падали белые потоки металла в огромный ковш, красными бликами отражались на кабинке крановщицы. Движения людей в брезентовых робах были медлительны, и Юшкову казалось, что здесь никогда не делают и не говорят ничего лишнего и необязательного. Не делать и не говорить необязательное — это казалось ему в ту минуту высшей мудростью и счастьем. Он увидел двух высоких инженеров в халатах, которых видел в прошлый раз. Один из них тоже запомнил его, кивнул: «Интересуетесь?» — «Ребята,— сказал он.— Я уже взял у вас сталь с высоким марганцем. Если не попадете в анализ по хрому, я тоже возьму. Прокаливаемость меня не волнует. Мне лишь бы твердость была». — «Если прокаливаемость не волнует, зачем тебе хромистая? Бери углеродистую...» Разговорились. Парень, часа полтора таскал Юшкова с участка на участок, показывая что к чему, оправдываясь, почему не получается хром. Как бы между прочим Юшков спросил: «Так когда у вас хром пойдет?» «Это не из-за тебя Ирина мне звонила?» — подозрительно спросил парень. «Когда?» «Да вот сразу после обеда».

Значит, все-таки позвонила узнать, когда будет плавка. Что-то толкнуло Юшкова не признаваться. «Нет, не из-за меня. А что?» «Ничего,— сказал парень.— Как она тебе?» Вопрос был не праздный. Парень смотрел подозрительно. «Симпатичная, по-моему», — осторожно сказал Юшков. Парень кивнул. Заметил удивление Юшкова, объяснил: «Мы с ней в институте вместе учились».

К концу смены Юшков вернулся в производственный отдел. Женщины собирались домой. Что-то их рассмешило, и, когда он вошел, обе пытались сдержать смех, раскраснелись от усилия, но не выдерживали, прыскали, отворачивались друг от друга. «Ой-ой-ой,— замахала руками Ирина Сергеевна.— Мы уже кончили работать.— И тут же сунула Юшкову сумочку.— Лучше сумку мою подержите». Полина улыбалась Юшкову лукаво, как сообщница, празднично возбужденная тем возбуждением, которое предполагала в нем. Ирина Сергеевна бегала по комнате, рассовывала по шкафам книги. Полина села к телефону, набирала номер, а Ирина Сергеевна, пробегая мимо («Ой, мы цветы сегодня не полили, завянут за воскресенье!»), каждый раз нажимала на рычаг. Полина притворно сердилась: «Ирка, перестань дурачиться». Ирина Сергеевна низким от сдерживаемого смеха голосом отвечала: «Сколько же можно звонить? —И, внезапно хлопнув стопкой бумаг по столу, крикнула: — Ты идешь или остаешься?» Полине стало неловко от такого взрыва чувств, она стыдливо стрельнула взглядом в Юшкова и сказала: «Со всем рехнулась девка».

Они прошли втроем до автобусной остановки. Полина попрощалась и свернула в сторону. Кренясь набок, подкатил переполненный автобус, задняя дверь его не открывалась, между створками

торчала пола мужского пиджака. «Пойдемте лучше пешком»,— сказала Ирина Сергеевна.

Вдоль тротуаров тянулись низкие заборы, в палисадниках отцветали яблони. Стояли у калиток скамеечки. На перекрестке торчала из асфальта водопроводная колонка. Навалившись животом на ее рычаг, голый загорелый мальчишка пускал воду. Тугая струя разбивалась на бетонном желобе, и в брызгах вспыхивала радуга.

«Понимаете, Юра, горящие заказы не только у меня, но и у Полины. У нее даже подруга из Одессы никак металл не получит. Хоть Полина ей обещала. Полина на все просто смотрит. А я так не могу. Понимаю ведь, что человек не свои деньги тратит, что завод по той или другой статье ему худо-бедно сотню выделяет. Но не могу. Неприятно. Да и не у всякого можно: возьмешь конфеты, а он потом шум поднимет. Или вдруг сорвется что-нибудь! Вон как по заказу Нижнего Тагила. А сейчас горящих заказов у Полины собралось больше, чем у меня. У меня три, включая ваш, у нее семь или восемь. Так что хромистая сталь, когда пойдет, может попасть к ней. Вы меня понимаете?»

Улица кончилась. Впереди росли кучкой несколько высоких берез. К одной из них была привязана белая коза. Вплотную за деревьями начинался обрыв к старице реки. За ним на другой стороне белели пятиэтажные дома микрорайона. «Там я живу»,— сказала Ирина Сергеевна. Она подошла к березам. «Устала чего-то сегодня. Давайте посидим». Сели на траву против солнца. Правее, в квартале от них был бетонный мост через старицу.

«Десять минут посидим, хорошо? Вы ведь не спешите? У меня гости сегодня. У дочери день рождения. Одиннадцать лет.— Покосилась, проверяя впечатление.— Вот я какая старая. Одиннадцать лет! Одна тяну, никто не помогает...» Обхватила колени руками, придерживая юбку. Отворачивалась от солнца. «...демобилизовали за пьянство. Устроился на комбинат, две недели поработал, бросил. Привык командовать... А деньги на одежду требует, одеваться хорошо любит, да еще чтоб бутылка каждый день была... Я его прогоню — через неделю назад... Сейчас он у матери в Свердловске... Почему я вам все рассказываю? — Она немножко играла, но не ему было ее в этом упрекать.— Может быть, потому, что вы первый человек, который захотел меня слушать...— Повернулась к нему.— Или вам тоже это все скучно, а?» Ждала ответа. Губы были очень близко. Поднялась. «Ох, пойдете, Юра».

Молча дошли до моста. Остановились. Облокотясь о перила, смотрели вниз. В луже плескались мальчишки. Наверно, там был ключ, мальчишки быстро замерзали в воде.

«...особенно вечером. Кажется, что внизу река. Как красиво...» Отсюда микрорайон был близко. Дома его стояли свободно, обдуваемые свежим степным ветром.

«Дайте мне сумку, Юра». — «Я донесу до дома». — «Ой, о чем вы говорите! Чтобы завтра все сплетничали? В нашем городе шагу нельзя ступить, чтобы не начались разговоры!»

Она взяла свою сумочку, но не уходила, стояла, загадочно поглядывала на него. «Какой вы, Юра, смешной. Сердитесь на меня?» Он сказал: «Нет». «Если бы вы знали, как мне надоело здесь...» Он молчал. «Надо бежать,— шепнула она.— Дочка ждет. Купила ей туфли — недовольна. Хотела ракетки для бадминтона. Туфли, говорит, ты мне и так бы купила. Ребенок... Так я пойду?» Он видел: она ждала чего-то. Но не догадывался чего. Спросил: «Значит, до понедельника?» — «Приходите, Юра, вечером. Или вы заняты?» — «Чем?!» — «Значит, часов в семь». Ирина Сергеевна назвала адрес, улыбнулась на прощание и пошла, помахивая сумочкой.

В холле гостиницы, как обычно, сидели перед телевизором одесситка и Аркадий Семенович. Одесситка вязала. Она была в легкой кофточке и удлиненной юбке. Она каждый день меняла наряды. Аркадий Семенович дремал. В почтовой ячейке лежало извещение: пришла бандероль от матери. Юшков тут же получил ее на почте. Кроме пятнадцати баночек крема, в ней оказалось письмо. Мать передавала привет тем его новым знакомым, которым понадобился крем. Юшков усмехнулся. Он подумал, что ему не хватает юмора, и от этой мысли стало спокойнее.

Директриса была одна в кабинете. «Юрий Михайлович, вы такой деловой и грустный, это никуда не годится. У нас так не положено». Он положил сверток на стол: «Это вам». Она, недоумевающая, дотронулась до бумаги и, начиная догадываться, побледнела. Развернула. Ахнула. Рассматривала белые пластмассовые баночки с коричневыми ободками потерянная и жалкая. Оказалось, она много слышала о женьшеневом креме, но никогда его не видела. Наверно, считала, что он возвращает молодость. Слишком сильные ее эмоции сдвинули смысл его поступка, и Юшкову стало стыдно. Она уже не была похожа ни на школьную учительницу, ни на стюардессу, а просто на пятидесятилетнюю усталую женщину в нелепом парике. Достала деньги. Юшков отказался: «Мне это ничего не стоило». «Как это?» Он черпал все из того же кладезя премудрости: «Каждая фирма имеет свои секреты». Но и директриса не могла взять крем, не зная, какой услугой ей придется платить за него. Взмолилась: «Юрий Михайлович, в какое положение вы меня ставите? Вернуть вам крем я не в силах, а взять просто так не могу». Он пожаловался: ему бы ее заботы. А что заботит его? Может быть, она поможет? Да нет... от нее это не зависит... он здесь пятый день и до сих пор не завел на комбинате ни одного полезного знакомства... «Прямых связей, Юрий Михайлович, у меня с комбинатом нет, кроме директора и главного инженера. Иногда, когда нужно кого-нибудь устроить получше, они обращаются ко мне с просьбами... Не скажу, что уверена в успехе, но могу попробовать...» Нижнетагилец уже объяснил ему, что директор и главный инженер заниматься простым снабженцем не будут. «Если вы, Юрий Михайлович, захотите перебраться в отдельный номер с телефоном и ванной, то, разумеется, в любой день...» В кабинет вошла какая-то женщина, и Юшков простился. Отдельный номер был ему не нужен.

Только у своей двери он вспомнил, что оставил соседа больным. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. «Живой?» — тихо спросил Юшков. «Нет», — сказал нижнетагилец. «Может, скорую помощь вызвать?» «Еще чего. В магазин пойдешь? Купи и мне чего-нибудь. И хорошо бы анальгин и горчичники. Потом рассчитаемся. Если не подохну».

Юшков посмотрел на часы и заторопился. В холле по-прежнему сидела неразлучная пара. Одесситка вязала, поглядывая на экран телевизора. «Вашего соседа не видно, Юра. Не заболел ли?» Юшков объяснил. Она посоветовала: «Надо горячим утюгом погладить». — «Это из-за того вагона, который у него перехватили, — предположил Аркадий Семенович. — На нервной почве». — «Миозит — болезнь простудного характера, — возразила одесситка. — Бегал где-то и вспотел. Все-таки возраст». — «Или выпил где-то и вспотел», — фыркнул Аркадий Семенович. «Не ехидничай», — спокойно сказала одесситка, и Аркадий Семенович замолчал.

В магазине Юшков раздобыл только хлеб и сыр, зато при нем привезли несколько ящиков пива, и он рассовал по карманам четыре бутылки. Пиво нижнетагилец оценил: «Лучше нет, чем запивать анальгин». — «Ухожу», — сказал Юшков. — «Приглашен на день рождения». — «Молодец», — сказал нижнетагилец уважительно. — «Придешь — расскажешь».

В начале восьмого Юшков позвонил у двери. Ирина Сергеевна была в нарядном платье. Успела сделать себе высокую сложную прическу. Именинница с двумя подружками смотрели в спальне телефильм. Ее вызвали, чтобы поздравить, и Юшков подарил ей конфеты и ракетки для бадминтона. Она посмотрела на мать: можно ли открыть коробку? Ирина Сергеевна кивнула: «Угости девочек».

Во второй комнате за накрытым столом сидели мужчина и женщина, оба крупные, она — вялая и некрасивая, он — живой, громкоголосый, даже с претензией на ухарство. Ирина Сергеевна узнала его. Мужчина назвал по фамилии: «Борзунов».

Что-то было в лице неудовлетворенное, истеричное, что вызывало опаску. «Автозавод? Знаю такую фирму. Собираюсь к вам в город на станкостроительный. Пригласит автозавод, буду и у вас». Барственный тон подсказал, откуда эта фамилия знакома. Юшков видел ее на документах. Борзунов был начальником производственного отдела. От него зависела судьба заказов.

Ирина Сергеевна командовала. Видно было, что она не привыкла полагаться на инициативу мужчин. Подкладывая закуску на тарелку Борзунова, говорила: «Это тебе можно» — или: «Это немножко тебе можно» — или: «Это тебе полезно»; он молодежато отвечал: «А-а, все можно». Жена Борзунова весь вечер молчала, но никого это не тяготило. Когда Юшков предлагал ей блюдо, она близоруко присматривалась, что там такое, и ни от чего не отказывалась. Пробовала, добросовестно прислушиваясь к своим ощущениям, словно ей предстояло официально все оценивать. Съели утку. Жена Борзунова поднялась. У нее болела голова. Ирина Сергеевна затащила ее на кухню, совала в пакетик пирог для сына. Та отказывалась, но Ирина Сергеевна не отпустила, пока не настояла на своем. Они жили в одном подъезде.

Юшков сел за пианино. За двенадцать лет после музыкальной школы он не играл и десяти раз. Пальцы что-то помнили, нащупали одну мелодию, другую, что-то простое из Генделя, что-то из Грига. Борзунов перебрался со стула на диван, сидел, раскинув руки. Усмешка на мужественном его лице оставалась неудовлетворенно-насмешливой, но это уж от него не зависело. Ирина Сергеевна освободила стол для кофе и присела. «Из-под палки Светка занимается. Просто не знаю, что с ней делать». «Полонез Огинского можешь? — просил Борзунов. — Та, та-ра-та, та-та, та-та...» С грехом пополам Юшков сыграл полонез и вальс из «Маскарада», начал подбирать мелодию новой песенки, Ирина Сергеевна тихонько запела, к ней громко присоединился Борзунов, и остаток вечера они пели. Юшков слышал в голосе Ирины Сергеевны нежность и благодарность. За весь вечер она ни разу не взглянула на него. После кофе он помог ей отнести на кухню посуду. В кухне было много разных крючков и полочек, все здесь было продумано. Юшкову казалось, что он любит Ирину Сергеевну. Он обнял ее. Она выскользнула, шепнула: «Ты с ума сошел» — и ушла в комнату. «Надо тебе еще одну дочку, Ириша, — сказал Борзунов. — Почаще сможем вот так за столом встречаться». «Ага. Дюжину еще, — кивнула Ирина Сергеевна и вздохнула, показывая, что и с одной ей тяжело. Прислушалась к звукам из спальни. — Что это? «Время» кончилось? Ох, надо уже ей спать. Мы с ней полночи возились».

Борзунов не пошевелился. Юшков решил, что ему пора уходить. Ирина Сергеевна проводила до лестницы. «Ох, утром отправлю Светку и целый день буду спать». И снова показалось: ждала чего-то. «До понедельника. Юра».

Он вошел в холл гостиницы в ту минуту, когда худой дядька, один из трех его бывших соседей, прощался с директрисой, умильно тряс ее руку. Как будто тот избыток восторга, который он в первый день пытался излить на Юшкова, он так и не сумел израсходовать.

и вот напоследок тратил его на директрису. «Большое вам спасибо, хозяйшкка... От всей души... Вы хороший человек... Как говорится, дай вам бог...» Он и Юшкову пожал руку: «Счастливо оставаться. Не бери до головы... Главное — здоровье... Уезжаю вот... Извини...» Помахал рукой из двери, увозя свой восторг нерастраченным. Юшков знал, что худому удалось получить пятую часть того, за чем его посылали.

«Юрий Михайлович, кажется, отступил сегодня от своего железного правила», — приятно удивилась директриса. Юшков начинал побаиваться ее. Кивнул: «Исправляюсь».

Нижнетагилец лежал. За день одиночества он истосковался. «А я уж думал, ты до утра наладился. Не вышло?» — «Я у Ирины был, — сказал Юшков. — Чудно. Наверно, всю ночь закуски готовила, а гостей — сосед с женой и я». — «Значит, из-за тебя старалась». — «Станный ты все-таки человек. Говорю же тебе, что нет». — «Ну не знаю. — Нижнетагильца это не волновало. — В конце концов тебе-то какая разница, что ей нужно? Пригласили тебя как люди. Видно же, культурный человек. Их ведь тоже можно понять. Работа у них какая? Цифры и цифры. Всю жизнь бумаги и цифры, мыслимо ли? Мозги на голой цифре пробуксовывают, сам знаешь. Совсем другое дело, когда живой человек к ним приходит. Тут уж тебе не цифра. Тут ты можешь осчастливить, а можешь и погубить, тут ты и свою власть чувствуешь и живой интерес имеешь... ч-черт». Он шевельнулся и замычал от боли.

Юшков вспомнил совет одесситки. «Может быть, утюгом тебя погладить?» — «Утюг — это в принципе неплохо. Ты хоть умеешь гладить?» — «Умею брюки и рубашку. Тебя, наверно, не труднее?» — «Надо через тряпку какую-нибудь». — «Ну, значит, как брюки».

В бытовке утюга не оказалось. Юшков постучал в 305-й номер. Усатый парень открыл. «Утюг не брал?» — спросил Юшков. Он видел за спиной парня край журнального столика. Тонкая женская рука с сигаретой потянулась к пепельнице на столике, забрала ее и исчезла. «Нет, — сказал парень и спросил женщину в комнате: — Утюг не у тебя? — Посоветовал Юшкову: — К одесситке загляни на четвертый. Кажется, она в четыреста втором. У нее должен быть». Все он знал. Полюбопытствовал: «Родственницу ждешь?» — «Соседа прихватило, — объяснил Юшков. — Надо поясницу погладить». — «Другое ему надо, — сказал парень. — Испытанное народное средство. А утюг — это уже почти химия. Антибиотик». В комнате прыснули.

Юшков поднялся на четвертый этаж и постучал в 402-й номер. Открыла одесситка в длинном шелковом халате, заколотом на груди стеклянной брошью. «Я кричу «открыто», вы не слышите. Проходите, Юра, садитесь чай с нами пить. У меня Аркадий Семенович в гостях».

Номер был одноместный. На столике стоял алюминиевый чайник с кипятивником, на тарелках лежали вареные сосиски. «Видите, как мы тут устроились». Постоянный спутник одесситки сидел на стуле, возвышаясь коленями над столиком. Здесь он казался значительнее, чем в холле или ресторане. Кивнул Юшкову. Рот его был занят сосиской. Прожевал, проглотил и сказал хозяйке: «Ты знаешь, я тебе скажу... совсем неплохие сосиски. Совсем неплохие. Честное слово. Жаль, мало взял». Юшков объяснил, что пришел за утюгом. «А вы сумеете погладить? — спросила она. — Может быть, мне?» — «Пойди к ним, — кивнул, словно бы отпуская, Аркадий Семенович и поделился с Юшковым: — Их хлебом не корми, дай за кем-нибудь поухаживать». — «Ну уж так уж я всегда рвусь, — сказала одесситка. — Ты уж меня перед Юрой выставишь».

Юшков получил утюг и вернулся в номер. Сосед дремал, открыл один глаз. «Готовься, — сказал Юшков. — Сейчас придет тебя гладить красивая женщина». «Землячка твоя?» — оживился нижнетаги-

лец. «Не совсем.— Юшков раздумывал, как ему повернуть соседа на живот, вытащил из-под его головы подушку.— Тут вот проблема, как тебя кантовать». — «Я сам,— отстранил рукой нижнетагилец.— Так кто придет?» — «Красивая женщина придет». — «Одесситка? На холеру она мне! — встревожился нижнетагилец.— Пусть своего Аркадия Семеновича гладит. Я ей не дамся». — «Поворачивайся давай». — «Только не лезь. Я сам.— Нижнетагилец, кряхтя, начал поворачиваться к стене. Вскрикнул и замер.— Э, подсунь подушку под поясницу. Та-ак...»

Стукнул в дверь и вошел парень из 305-го. «Ну как, еще дышишь?» Нижнетагилец рассвирепел: «Что вам тут, цирк?» Парень подошел к нему, уперся в плечо и ягодицу. «Спокойненько... Раз, два... главное, не волнова...» — «Отойди! — заорал нижнетагилец.— Михалыч! Убери его! Я сейчас... Нет, дальше не пойдет». — «Ну что ж,— сказал парень.— Если целиком не получится, придется разбирать его на части». Нижнетагилец лежал теперь лицом к стене и чередовал кряхтение с ругательствами. В дверь снова стукнули. Вошла землячка. В безрукавке и джинсах, высокая, узкая и плоская, она походила на нескладного школьника. «Я не помешаю?» «Ты опоздала»,— сказал парень. Кончики его усов трагически опустились. Девушка остолбенела: «Как опоздала?» — «Как опоздала... Не знаешь, как опаздывают? Опоздала. Все уже». — «Что... все?» — «Все. Отмучился». — «Вытащи подушку,— велел нижнетагилец Юшкову. Незаметно для всех он повернулся на живот.— Слушайте, братцы, проваливайте-ка вы уже по домам. На вечерние сеансы дети не допускаются». — «Мне кажется,— парень ничуть не смутился,— нас здесь не любят». — «Извините,— сказала землячка.— Выздоровливайте». Вышла, не показав, что оскорблена. Парень подмигнул и скрылся следом.

Однако успокоиться нижнетагильцу не дали. Едва Юшков включил утюг, появились одесситка и Аркадий Семенович. Нижнетагилец отвернулся к стене. Шея его и щека стали красными. А тут еще Юшков пошутил некстати: «Григорьич, регулятор ставить на шерсть?» Нижнетагилец взорвался: «Ты это, понимаешь, кончай!» — «Зачем же нервничать,— ласково сказала одесситка.— Сейчас мы вас полечим». — «Вы что, доктор?» — «Да, я доктор. Для вас я доктор». На это нижнетагилец не нашел что возразить. Аркадий Семенович вмешался в разговор: «Я по себе знаю, Григорьич...» Все, чего нижнетагилец не мог высказать женщине, он в полный голос выложил Аркадию Семеновичу. Лицо одесситки сразу стало брезгливо-холодным. Юшков сказал: «Товарищ, сами понимаете, за свои слова не отвечает. Ну а с утюгом я уж тут справлюсь».

Гости ушли. «Наряды каждый день меняет,— сказал нижнетагилец. Он чувствовал себя виноватым.— Дети взрослые, а она...» «Лежи тихо! — прикрикнул Юшков, массируя его утюгом.— Надоело». Нижнетагилец замолчал, не шевелился, только иногда, заводя руку за спину, показывал, куда направлять утюг. Потом кое-как повернулся на спину и замер. Юшков разделся и лег. Не спалось. Сосед тоже не мог заснуть, все вздыхал и тихонько ругался под нос. «Когда в следующий раз нарвешься на пиво, хватай, сколько сможешь унести,— подвел он наконец итог своим грустным размышлениям.— Оно мне как снотворное: Причем без рецепта».

Следующий день был выходным. Юшков несколько раз просыпался утром и, пугаясь предстоящей скуки, снова засыпал. Наконец в десять часов он сел в кровати. Сосед ожил. Снова по комнате в таинственной важности, молчаливый и сосредоточенный. Видимо, ему приснилось, что он стал деловым человеком. Гладил рубашку, сорвал утюгом пуговицу. Пуговица покати́лась по полу. Юшков подобрал ее и спросил: «Далеко собрался?» «В Горск»,— бросил ниж-

нетагилец все с той же таинственной важностью и сел пришивать пуговицу к рубашке.

Он выглядел таким деловым и трезвым, что Юшков фыркнул. Натянул брюки, вышел на балкон. Прошли внизу одесситка в широкополой шляпе и Аркадий Семенович. Появились усатый из 305-го номера и землячка в джинсах. Усатый увидел Юшкова и помахал ему. Девушка тоже заулыбалась и помахала. У нее были тонкие руки с большими кистями. «Искушаться не хотите?» Оказывается, где-то здесь было озеро.

Нижнетагилец драил туфли. Юшков спросил: «Ну а в Горске что?» — «Посмотрю». — «Что там смотреть?» — «Рынок посмотрю». Оставаться одному не хотелось. Они долго ждали автобуса, едва забрались в него и ехали в давке и духоте. Все полчаса дороги нижнетагилец ворчал на какого-то мальчишку, а когда за того вступились, переругался со всеми вокруг.

В Горске ничего интересного не увидели. Забрели в промтоварный ларек на окраине, нижнетагилец сказал: «Смотри, какие туфли. В таких вот дырах иногда можно нарваться на отличные вещи. Покажите, девушка».

Сонная тетка за прилавком, нисколько не обманутая его уверенным тоном, швырнула мятую коробку с женскими туфлями, а один из покупателей, глазевший на полки в мучительном раздумье, протиснулся поближе и стал наготове: может быть, и ему надо хватать, пока не поздно. Юшков увидел, что товар залежалый, и сказал этим. Нижнетагилец криво усмехнулся: «Много ты понимаешь... Девушка! Тридцать седьмой есть?»

Тридцать седьмой был. Нижнетагилец подумал и отступил с честью: «Черт, не помню точно размера, а так бы взял». Потолкались на рынке, заходили во все магазинчики, которые попадались на глаза, и ничего не купили. Пообедать тоже не смогли: в столовой нижнетагилец поскандалил из-за грязных вилок, потащил Юшкова в другую, но другая оказалась закрыта. Вернулись в Черепановск раздраженные, устали, а тут еще обнаружилось, что в гостинице нет холодной воды. Юшков повалился на кровать и сказал: «Зря я тебя вылечил. Лучше бы ты пластом лежал». «Да,— согласился нижнетагилец.— Тут ты не подумал».

Он вскоре захрапел. Юшков старался не раздражаться, но не мог. Поднялся и вышел на балкон. Внизу прошли поливочные машины, и запахло свежестью. То ли облака, то ли клочья мартеновского дыма тянулись с запада. Быстро темнело. Новый микрорайон, в котором жила Ирина Сергеевна, уже плохо различался в сумерках.

Он вспомнил, как она стояла у лестницы, загадочно поглядывая на него, ждала от него чего-то, а он молчал. Он опять, наверно, совершил глупость. Одну из тех, которые делает всю жизнь и при этом каждый раз говорит себе, что ошибся случайно, что ему не хватило опыта, чтобы поступить правильно, но, мол, теперь он уже научен и больше подобной ошибки не сделает. Однако ошибки повторяются, и постепенно становится ясно, что это не ошибки вовсе, а что-то неотделимое от него, Юшкова, присущее ему, от чего он никогда не сможет избавиться и что всегда будет определять его судьбу. Так что если не можешь сломать себя до конца, то лучше, наверно, и не пробовать, чтобы не терзаться одновременно и томлением по упущенному и виной.

Лучше признаться честно, что занялся не своим делом, и уйти. Есть рессорный завод, куда его звал Буряк. Может быть, туда еще не поздно. Командировку он доведет до конца и вернется победителем, однако впрямь Лебедеву в таких делах придется обходиться без него. Ирину Сергеевну ему видеть не надо: ничего хорошего из этого получиться не может.

Знакомый его в мартеновском цехе, высокий однокурсник Ирины Сергеевны, был заместителем начальника цеха. Звали его Игорем. В понедельник Юшков принес ему в кабинет завернутые в газету две банки растворимого кофе и положил на стол. «Что это?» — не понял Игорь. «Взятка». «Между прочим, мне ни разу в жизни еще не давали взятку». «Мне тоже», — сказал Юшков. Игорь полюбозытствовал, что в свертке, пожал плечами: «А за что?» «Ты что, кофе не любишь? Мне нужно знать, когда пойдет хромистая сталь». — «Понимаю. Побеждает тот, у кого лучше информация. Так это я тебе и без взятки сделаю». — «А вдруг забудешь?» Однокурсник Ирины Сергеевны небрежно поинтересовался: «Что ж ты с Ириной контакта не заведешь?» «Так не заводится». «Не заводится, говоришь? — Игорь не сумел скрыть своего удовольствия. — Со всеми она так сурово или только с тобой?» «Да что-то я не замечал особого к себе отношения». Юшков уже знал, чем он может порадовать Игоря.

Тот все-таки отстранил сверток: «Спрячь назад, пока никто не видел. Я против тебя ничего не имею, но вообще за такие номера...» — «А ты научись варить сталь», — сказал Юшков. — Тогда мне не придется ездить с подарками». — «Так, выходит, я виноват?» — «А кто, я?» — «Черт», — Игорь хмыкнул. — Не хотел бы я быть на твоём месте. Сколько тут банок, две? Беру с условием — за деньги». — «А вот это условие мне не подходит. Я за них не платил». — «На улице нашёл?» Юшков рассказал, как его снаряжали на заводе. Игорь изумился: «Скажи, как это делается!.. Но я беру только за деньги».

Он позвонил на следующий день вечером: в три часа утра ожидается первый ковш хромистой стали. Однако ни эта, ни две следующие плавки не получились. Прошла неделя. Наконец экспресс-анализ оказался в норме. Стоя на галерее, Юшков видел, как внизу под его ногами наполнялся ковш, вмещающий в себя четыре вагона стали. Теперь нельзя было терять ни минуты. Он побежал в производственный отдел.

Перед столом Ирины Сергеевны было несколько человек. Юшков встал в хвост очереди. Ирина Сергеевна разбиралась с пенсионного возраста человеком, какие-то цифры в их бумагах не сходились.

Нацепив очки, человек тыкал дрожащим пальцем в свои бумаги, пытался говорить, когда надо было слушать, и не понимал ничего, хоть вся очередь уже поняла и раздражалась оттого, что старик задерживает всех. «Товарищ», — сказал Юшков, — вы задерживаете. Там сейчас сталь разливают». Сказал он это, чтобы слышала Ирина Сергеевна. Она не повернула головы. Юшков топтался, поглядывая на часы. Из мартеновского цеха слитки попадут в блюминг, их откатают на другой профиль, и тогда уж ничего не сделаешь. «Тридцать шестой заказ, что вы нервничаете? — взглянула на него Ирина Сергеевна. — Вам откатают два вагона». — «Как два? В ковше четыре вагона!» — «Не могу я вам дать все». — «Но вы должны нам шесть вагонов до двадцатого! Сегодня уже восемнадцатое!» — «Я вам ничего не должна», — холодно сказала Ирина Сергеевна.

Зазвонил телефон, и она сняла трубку. Звонил Игорь. У него получился второй ковш. Среди разговора Ирина Сергеевна быстро взглянула на Юшкова и сказала: «Нет, не появлялся». Юшков даже не догадался, а почувствовал, что говорят о нем. «Да что уж ты так для него стараешься? — удивилась она, нажала на рычаг и, по-прежнему не поднимая головы, сказала: — Ты, я вижу, всюду успел». В очереди не поняли, к кому это относится. Набрала новый номер: «Сергей Митрофанович, можно зайти к вам с одним товарищем?» Вышла из-за стола, велела Юшкову: «Идите со мной».

Очередь покорно осталась ждать ее возвращения.

«Куда мы идем?» — спросил Юшков в коридоре. Она сказала: «Вам же нужно четыре вагона».

Перед кабинетом Борзунова стояла очередь. Замыкал ее громкоголосый киевлянин. Он уже не разглагольствовал, а жадно прислушивался к разговорам. Ирина Сергеевна провела Юшкова мимо очереди. Борзунов сказал: «А-а, кого я вижу!» Лицо против его воли оставалось насмешливым, и получалось, будто бы он произносил приветливые слова не всерьез, а лишь изображая человека, который произносил бы их всерьез. Однако был рад, усадил, болтал о пустяках. Ирина Сергеевна потрогала землю в цветочных горшках на подоконнике, упрекнула начальника: «Кто тут у тебя за цветами смотрит, скоро завянут». Занялась ими.

Приведя Юшкова, она тем самым сделала для него все, что было нужно. Больше от нее ничего не требовалось. «Что, Ириша, — сказал наконец Борзунов, — два вагона ему сделаем?»

Юшков стал объяснять про свои шесть вагонов. Борзунов засучал. Он ждал благодарности, а его опять уговаривали. Ирина Сергеевна обрывала желтые листья на цветах. Сказала, не оборачиваясь: «Я в цех звонила. У них второй ковш получился. Закладывают третий». «Четыре вагона сделаем, — решил Борзунов. — Остальное — как получится». Ирина Сергеевна тут же позвонила диспетчеру блюминга: «Один ковш на тридцать шестой заказ».

В коридоре Юшков сказал: «Осталось еще два вагона». — «Больше он не мог вам дать, — холодно ответила Ирина Сергеевна. — Если получится третий ковш, тогда видно будет». — «Я не понимаю этой арифметики, — сказал он. — Почему четыре, а не три и не пять?» «А почему вы капризничаете? — рассердилась она. — Я вам чем-нибудь обязана?» Он запнулся: «Простите. Спасибо вам». — «Игоря благодарите. Я не повела бы вас, если бы он не просил. Он бы первый попрекнул меня любимчиком». — «Когда будет известно о третьем ковше?» — «Звоните в конце дня».

Шагая под белым, как огнеупорный свод печи, обжигающим небом к сортопрокатному, Юшков вспоминал свой заискивающий голос и морщился. Вошел через стальную калитку в цех, в прохладу. Вентиляторы гнали освежающий воздух. В застекленной конторке Володя подписывал мятые, захватанные грязными руками сертификаты. «Пошел тридцать шестой заказ, — предупредил Юшков. — Давай, Володя, обойдемся на этот раз без неприятностей». Тот поднял голову как человек, которого вывели из глубокой сосредоточенности. Изможденное лицо изображало достоинство: «Если Володя сказал, он своему слову хозяин». Юшков едва удержался, чтобы не извиниться.

Рабочий день в производственном отделе кончался в четыре. Юшков пришел на несколько минут раньше. Перед столом Ирины Сергеевны стояли люди. Было несколько новых, приехавших после воскресенья. Ирина Сергеевна быстро взглянула, и он понял, что она ждала его и случилось что-то неожиданное и неприятное. В очереди тоже заметили, что она не в духе, никто не спорил с ней, и вскоре не осталось никого. Ирина Сергеевна подхватила сумочку и сказала: «Третий ковш не получился, но вас это пусть не волнует. Борзунов распорядился, чтобы вам выдали шесть вагонов». А он уже решил было, что отобрали его сталь. «Требуй у меня все что хочешь», — сказал он.

Она молчала. Вышли на улицу. «Только что дочка звонила. Просила скорее прийти. Муж приехал. Скандалит в квартире, крушит там все. Дочка к соседям убежала». «Может быть, мне поехать с тобой?» — предложил он. Она усмехнулась. Он попросил: «Дай мне твой телефон». Опять усмехнулась. Автобуса не было. Юшков остановил такси. Когда проезжали через мост, Ирина Сергеевна сказала: «Долго же ты собирался попросить телефон».

Она вышла около дома, а он вернулся в гостиницу.

Он выполнил задание. Кончались вынужденное безделье и порочная гостиничная скука, вместе с ними кончалось непонятное томление, которое всегда тревожит оседлых людей вне дома. Через день-два отправят его вагоны, он запишет их номера и уедет отсюда. Оставалось только ждать.

Гостиница опустылела, но, кроме нее, деться было некуда. Сосед лежал на кровати, спросил: «Сколько ковшей получилось, два или три?» — «Я слышал, три». — «Полтора, значит, тебе...» — «Почему мне?» — «Разве нет?» — удивился нижнетагилец. Юшков промолчал. «Мне какая разница? — сказал нижнетагилец. — Я не завистливый».

Утром Юшков проснулся с мыслями о доме и, удивившись им, вспомнил: последний день! Дежурная администраторша принесла телеграмму с завода: срочно требовался еще один заказ, углеродистый лист. Юшков отнес эту телеграмму Ирине Сергеевне. Она прочла, тут же позвонила диспетчеру, и дело было сделано. Киевлянин, которому только что отказали и который крутился в комнате между столами, не зная, что предпринять, кинулся к ней: «Вы ж мэнэ казала, шо этого листа нет! Почему мэнэ нет, а ему есть?» «Идите жаловаться, — отрезала Ирина Сергеевна. — У вас это хорошо получается». Он подвигал челюстями и ушел. «Правдоискатель», — сказал кто-то в очереди, подлаживаясь к Ирине Сергеевне.

Она спросила: «Когда едешь?» — «Когда будут номера вагонов». — «Значит, завтра. А я своих в Свердловск отправила». — «Значит, обошлось?» — «В общем». — «Буду сегодня следить за погрузкой, — сказал он. — Чтобы не получилось, как с Нижним Тагилом». Посмотрела, кивнула: «Так надежнее». Все было понятно.

В шесть утра кончилась погрузка. Юшков записал номера своих вагонов и вернулся в гостиницу.

Только начали просыпаться. Хлопали двери. Полуодетые люди сновали по коридорам с полотенцами. Нижнетагилец тоже уже проснулся, одевался. «Все, — сказал Юшков. — Вот вагоны. Сейчас закажу разговор с заводом». «Тут, кстати, тоже было не скучно, — отозвался нижнетагилец, — землячка твоя отличилась. Я, собственно, не видел. Вдруг среди ночи крик. Кроет этого усатого на чем свет стоит. Культурно кроет. Вроде «охламона», но культурно. Все спят уже, повскакали... Не «охламон», а... не «паразит»... красиво, в общем, как-то. Дежурная акт составила. Теперь на работу сообщат. Заимеет неприятностей по самую макушку».

Он ушел, а Юшков спустился в холл и заказал разговор с Лебедевым. Из кабинета директрисы слышался ее голос. Нотки были незнакомые, митинговые: «...если бы моя дочь, позабыв девичью скромность... моя обязанность как директора советской гостиницы...» Дверь кабинета распахнулась, землячка выскочила из нее и побежала вверх по лестнице. Вышла директриса. Лицо, блестящее от крема, пошло пятнами. Хотела крикнуть что-то вслед девушке, но увидела Юшкова и сдержалась. Села рядом в кресло, подобрала ноги, и лицо из гневного стало жалобным. «Видите, как у нас, Юрий Михайлович. Вот ваша землячка. Что она от меня плохого видела? Мне, между прочим, жалобы давно поступали...» — «Какие жалобы?» — «На соседа вашего из триста пятого. После двенадцати ночи включает свой транзистор, мешает людям спать. Танцевали они вдвоем, что ли. Я вчера заглянула просто предупредить. Очень корректно, вы ведь меня знаете, очень корректно попросила вечерами не шуметь. А вам, говорю, молодой девушке, надо не давать повода к ненужным разговорам. Ведь правда, я корректно сказала? А она мне, знаете, что в ответ? Вы, говорит...» Директриса дословно передала, что сказала о ней девушка, и всхлинула. «Ну, я, конечно, вышла из себя. Если со мной так, то и я так. Я говорю этому Маркушеву: все, терпение мое кончилось. Я вынуждена сообщить на вашу работу о ва-

шем аморальном поведении. Маркушев, вы знаете его, брюнет с усами,— он человек неглупый. Он сразу попытался уладить. А эта разошлась. Я в жизни своей столько грубостей в свой адрес не слышала...» Директриса перевела дыхание, успокаивая себя.

«Даже он и то был возмущен. Он говорит: я ее не звал, она сама пришла. Это я, говорит, могу на вас жалобу послать куда надо, что у вас тут такое творится. Можете себе представить, что это за девчонка, Юрий Михайлович, если уж Маркушев так о ней говорит. Вы бы видели, что с ней стало, когда он это сказал! Подонок!— кричит. Подонок! Люди сбежались... Я просто обязана сообщить обо всем ей на работу. Утром одумалась, как собачка ждала под моей дверью, пока я приду. Плачет, кается, только бы из гостиницы не выселили и на работу не сообщили. И тут же продолжает грубить!..»

Междугородная дала Лебедева. Директриса вздохнула и ушла к себе. Рассказав все Юшкову, она успокоилась. Юшков продиктовал Лебедеву номера вагонов. «Сегодня выезжаешь?» — спросил Лебедев. «Как билеты достану». «Ну ждем. Тут тебе еще одна командировка наклеивается». Юшков ожидал больше эмоций.

В холл спустились Аркадий Семенович и одесситка. «Как? — сказала она спутнику.— Ты шляпу не взял? Сейчас же вернись. Напечет». Он возражал, она настаивала: «Опять давление поднимется. Смотри, какие глаза красные». Стесняясь, он подмигнул Юшкову: мол, с женщинами лучше не спорить. Пошел за шляпой. Она присела в кресло, сказала, не глядя на Юшкова: «Господи, как надоело здесь. Вам долго еще?» — «Сегодня уезжаю». — «Вы молодец. Здесь все говорят об этом. И родственников себе не завели...— Она запнулась и, понизив голос, сказала: — Тут про меня, наверно, всякие гадости говорят. Это все глупость. Аркадий Семенович большой человек, за ним следить надо. Ему диета нужна, покой, ведь почти шестьдесят человеку... А такого ничего нет. У меня дети взрослые». Аркадий Семенович спускался по лестнице со шляпой в руке. «Успеха вам», — пожелал ей Юшков. Он поднялся на свой этаж. Однажды видел, как землячка открывала свой номер, и теперь постучался к ней. Никто не ответил. Толкнул — заперто. Он забарабанил сильнее. Она внезапно распахнула дверь, увидела его лицо и усмехнулась: «Чего вы испугались? Думали, повесилась?»

Она укладывала чемодан. «Куда это ты?» — спросил Юшков. «Ну их всех к черту. Домой». — «А командировка?» — «Гори она огнем. Все равно уйду с завода. Не по мне эта работа. Я тут всего посмотрелась». Она заплакала.

Директриса еще была у себя. «Как там землячки моей дела, Ольга Тимофеевна? — спросил Юшков.— Очень уж она переживает, что вас обидела. Я, говорит, всю жизнь ее благодарить буду». — «Обойдусь без ее благодарности». — «Вы в самом деле собираетесь писать на ее работу?» — «Обязана». — «Ольга Тимофеевна, вы же добрый человек». — «Да, но у моей доброты есть предел. Кроме того, я ничего не могу изменить. У меня есть докладная дежурной, я обязана отреагировать». — «Даже если я вас попрошу?» — «Докладная уже существует, что же я могу сделать, Юрий Михайлович?» — «Порвать ее». — «И совершить преступление? Вы зря защищаете эту девушку, Юрий Михайлович. Не знаю, какие чувства вами руководят, но вы... я уж буду откровенна с вами до конца... вы просто роняете себя в моих глазах». — «Как-то вы спрашивали меня, что можете для меня сделать. Сделайте это». Она пронзительно посмотрела, опустила глаза. «Хорошо. Только ради вас». Юшков понял, что теперь они квиты.

У него оставалось мало времени. По дороге на комбинат купил около вокзала букет тюльпанов. В комнате производственного отдела все уставились на букет. Ирина Сергеевна покраснела и засуети-

лась, отыскивая банку. От неловкости она снова перешла на «вы»: «Приезжайте к нам еще, всегда вам будем рады... Извините, если что не так...» И он тоже говорил ей «вы» и бормотал бессмыслицу. Когда потный и красный выскочил на крыльцо заводууправления, освобожденно вздохнул.

Остатки привезенных припасов завернул в газету, положил на кровать соседа и сел писать ему записку. Не успел кончить, как тот появился. Развернул сверток. «Зачем дефицитом бросаешься? Бутылку мы с тобой сейчас разопьем, а колбасу вези домой, она не портится». — «Пусть на память тебе будет». — «Так ее не есть, а на стену повесить?» — «Ты же говоришь, не портится?»

Открыли бутылку. «Это не простая, — объяснил Юшков. — Сувенирная. С какой-то травинкой внутри». Нижнетагилец поискал на этикетке цену, присвистнул: «Ничего себе травка. Наверно, очень полезная. Может, от сердца? Тогда мне как раз». — «От сердца тебе меньше пить надо». — «Ты думаешь, я любитель? Работа такая. На пенсию пойду, в рот не возьму». — «Бросай работу, другую ищи». — «А это уже не государственный подход. Кто-то должен. Работа у нас с тобой скромная, но людям необходимая». Он проводил Юшкова до аэропорта в Горск, и, пролетая над Волгой, Юшков еще думал о том, что нижнетагилец либо ждет сейчас автобус до Черепановска, либо трясется в нем, навязываясь с разговорами случайным попутчикам.

Глава третья

Двадцатого августа была свадьба. С ней задержались, потому что Лялина сестренка поступала в институт. По этой причине Хохловы все лето провели в городе и дача пустовала. Ляля и Юшков потихоньку обжили ее и после свадьбы перебрались туда совсем, уже привыкнув считать ее своим домом. Сухое и жаркое лето задержалось и в сентябре. Одно из окон оставляли на ночь открытым, листва старой яблони касалась рамы. Они все устроили по-своему, разобрали и вытащили в сад остовы кроватей, пружинные матрацы положили на пол и накрыли их ворсистым ковром. Засыпали сразу и одновременно, усталость мгновенно разъединяла их. На рассвете Юшков просыпался то ли от слабого течения прохлады, то ли от света, то ли от птичьего свиста. Пахло флоксами и яблоками. Перед глазами колыхалась зелено-голубая пена, в ней плыли желтые пятки. Взгляд фокусировался, зеленое и голубое оказывались листвою и небом в просветах между ветками, а пятки становились солнечными бликами в стекле.

Створка окна едва заметно качалась, и блики вспыхивали.

Никогда прежде Юшкову не требовалось для бодрости так мало сна. Он выходил в сад. До электрички оставалось полтора часа. Он ставил чайник на газовую плитку, вытаскивал из-под крыльца шланг и, направляя холодную струю под кусты жасмина и роз, смотрел, как темнела, напитывалась влагой земля, как появлялись на ней лужицы. Он двигался дальше. Границей между двумя дачными участками была узкая полоса малинника. Пальцы на стальном наконечнике шланга белели от холода. Он бросал шланг под какое-нибудь дерево и шел будить Лялю. В комнате казалось темно, и шум воды из шланга был похож на шум дождя. Как-то он застал Лялю лежащей на спине с открытыми глазами, натянувшей простыню до подбородка. Она сосредоточенно думала о чем-то. Он спросил о чем, и она сказала: «Я думаю, дождь идет или мне кажется?» И не поняла, отчего он рассмеялся.

С работы она шла к матери, набивала там сумку всякой едой, а он в это время был еще на заводе, и они встречались на вокзале. Когда он ездил в командировки, она ночевала у родителей.

Все командировки были похожи одна на другую: вначале он оказывался чужаком и дело представлялось безнадежным, его гоняли по цепочке от одного человека к другому, а потом Юшков внедрялся в цепочку, и она уже работала на него. Связи закреплялись, позднее он научился приводить их в движение, не выезжая с завода.

С Хохловым он разговаривал по-настоящему только однажды, после первой командировки. Заместитель директора сам захотел тогда выслушать новичка. Если и рассердился, то не подал виду. «Вам такие дела не нравятся? Мне тоже не нравятся. Но что вы предлагаете конкретно? Самый идеальный план не может предусмотреть все. Из-за чего у нас так с поворотным кулаком? В чертежах его заложили из простой углеродистой стали. Во всех нормативах стояла сталь сорок. А потом потребовалось уменьшить износ и пришлось перейти на хромистую сталь. Можно было это знать наперед? Виноват кто-нибудь? Да будь все точно по плану, мы с вами были бы не нужны. Работала бы вместо нас ЭВМ. И на будущее мой вам совет: деловой человек не о том должен думать, хороши или плохи обстоятельства, а о том, как эти обстоятельства использовать самым выгодным образом. И если вам что-то не нравится, что ж, ищите, предлагайте, пробуйте — не возбраняется. Сумеете без командировок обойтись — вам только спасибо скажут». — «Мы умасливаем виноватых, — сказал Юшков. — А должны бы применять санкции через Госарбитраж». — «Вы месяц работаете? — спросил Хохлов. — Даже меньше? Мой вам второй совет: присмотритесь пока». Он был прав. Прежде чем пробовать что-то, надо было лучше узнать дело.

Юшков собирался менять систему хранения сталей и после рабочего дня, когда оставалось время до электрички, бродил по заводской окраине, где около высокой кирпичной стены лежали штабеля штанг, тронутых ржавчиной, нагретых солнечными лучами. Тут было безлюдно и тихо. С белесого неба сыпалась гарь близкого литейного цеха. Над головой лениво дергался мостовой кран. Железнодорожная ветка кончалась тупиком, среди шпал и у стены кое-где торчали кустики полыни. Гарь покрывала их ржавым слоем, но стоило, сорвав бархатистый, с бурными головками стебелек, растереть его между ладонями, возникал горький запах степи и вспоминался обрыв над старицей в Черепановске.

Однажды в конце сентября Хохлов вызвал его к себе в кабинет. Юшков вошел и увидел Ирину Сергеевну. Около стола снисходительно улыбался Борзунов, как человек, знающий, что ему тут не могут не быть рады, и, как и прежде, после мгновенного удивления, какой тот высокий и красивый, возникло настороженное чувство: откуда в этом красивом лице неудовлетворенность и истеричность, удастся ли ему их сдерживать? Ирина Сергеевна тоже улыбалась. Она сидела достаточно далеко от мужчин, как подчиненная, допущенная к разговору старших.

Они приехали на соседний завод решать свои вопросы, там что-то им нужно было для комбината, какие-то приборы, и Хохлов тут же взялся устроить все их дела. На некоторое время улыбка Борзунова даже стала смущенной: уже одно то, что приехали сюда они с Ириной Сергеевной, а не те, кто занимался по должности приборами, говорило, что на помощь автозавода они рассчитывали заранее и, кроме того, смотрели на командировку свою как на маленький отдых. Им ничего не пришлось объяснять Хохлову, не пришлось просить, он сам все понимал. Тут же заказал два номера в гостинице, гостей увезли устраиваться, а все остальное он поручил Юшкову, велел принять гостей по высшему разряду. В помощь он отрядил свою служебную машину с водителем, средних лет женщиной Антониной Григорьевной, и, поскольку дело для Юшкова было новое, отрядил еще одного человека, в таких случаях, как он сказал, незаменимого. Человек этот, Анатолий

Витольдович Белан, был, как и Саня Чеблаков, заместителем начальника в отделе кооперации. Юшков его знал мало. Они стоворились по телефону, что им следует делать. Втайне гордясь своей незаменимостью и доверием начальства, Белан счел приличным пожаловаться: «Вот же жизнь, Юшков! Уже с кем пить вечером, и то начальство решает. Денег сколько у тебя?» «Сколько надо?» — спросил Юшков. Белан прикинул: «Четверо в «Туристе»... сотню готовь». Гости были не его, а Юшкова, стало быть, деньги должен был готовить Юшков, а от Белана требовался лишь талант потратить их как можно приятнее для гостей.

Прежде всего Юшков отправился искать Тамару. Так звали землячку, которая как-то забрела сюда в поисках работы. Это было в день свадьбы Юшкова. Тогда она повстречалась в коридоре и обрадовалась старому знакомому: «Мне просто не везет, Юрий Михайлович. Всюду требуются, требуются и требуются, а как я появляюсь, так никому ничего не надо». Она умудрилась уволиться со своего завода, не подыскав предварительно другой работы. Ее выселяли из прежнего общежития, и она теряла городскую прописку, но выглядела бодрой, не хуже, чем в Черепановске. Но и не лучше. Юшков представил ее длинную плоскую фигуру в отделе кадров, представил себя на месте кадровика и — все же это был день его свадьбы — сказал: «Иди к нам».

Он нашел ее у окна в конце коридора. Она курила вместе с Наташей Филиной. Спросила: «Гости из Черепановска пожаловали? Кто?» Он ответил. Она промолчала, только посмотрела вопросительно. Послушно поплелась за ним в комнату, села писать заявление на материальную помощь: «...в связи... в связи... в связи с чем, Юрий Михайлович? Я напишу: в связи с тем, что мне не везет в жизни». «Пиши: в связи с переездом на новую квартиру», — подсказал он. Написала, выразительно вздохнула и побежала собирать подписи на заявлении. Она ни в чем не отказывала, безропотно ездила в командировки и терпеливо сносила неприязнь женщин в секторе, потому что знала: Лебедев не хотел ее сюда брать и Юшкову пришлось уговаривать начальника.

Юшков позвонил Ляле, чтобы она не ждала его скоро и ночевала у родителей. Без четверти четыре он сидел в светлой служебной «Волге» рядом с Антониной Григорьевной. Она читала затрепанную библиотечную книгу, беспрестанно поправляя волосы на затылке, а он всматривался в людской поток, текущий из всех четырех дверей центральной проходной.

Влез в машину Белан. «Ну, рассказывай, Юра, подробно, с кем сегодня гуляем». Выслушал, спросил: «Эта Ирина Сергеевна — хорошенькая?» «Ничего», — сказал Юшков. Антонина Григорьевна не отрывалась от книги. Белан деловито поинтересовался: «Так ее функция чисто эстетическая? Или, может быть, взрыв безумной страсти, римские каникулы вдвоем?» — «Думаю, просто упростила взять с собой», — ответил Юшков. — «Они дружат семьями». — «Допустим. В любом случае ее интересуют только магазины», — решил Белан. — «Вот и пусть в них пасется, пока мы куда-нибудь съездим».

Они позвонили гостям из вестибюля гостиницы. Ожидая их, Юшков сидел на кожаном диванчике. Две сухощавые женщины рядом рассматривали замысловатые бронзовые барельефы на стенах и разговаривали по-немецки. Створки дверей, ведущих в ресторан, тоже были покрыты чеканной бронзой с ромбами рубинового стекла, вправленного в бронзовую решетку. Белан уточнил в ресторане, какой столик им оставлен, и прогуливался по ковровой дорожке, поглядывая на себя в зеркало. Светлые его волосы, прямые и длинные, за ушами и на висках сделали: лет ему было около сорока.

Вышли из лифта Борзунов и Ирина Сергеевна в платье с яркими цветами по черному полю. Юшков помнил ее в этом платье на дне рождения. Он знакомил гостей с Беланом. Они стояли посреди вести-

бюля, Борзунов, возвышаясь над всеми, говорил и смеялся громче, чем было необходимо, и немки посмотрели на него с затаенным женским любопытством; одна что-то уважительно сказала другой. Борзунов, как это и с Юшковым не раз случалось, видимо, примерил к себе бронзово-кожаный вестибюль и весь брус гостиницы как приятную обновку. Белан же, увидев нервную приподнятость гостя, был в затруднении. Его план — повезти того в директорскую сауну — проваливался. Сауна хороша была для компании спокойных мужиков, равных друг другу по положению и возрасту, чтобы, попарившись и поплавав в озере, выйти из холодной воды обновленными, как язычники после крещения, посидеть на берегу на траве, попить пива, посмеяться анекдотам, поспорить о футболе, отходя душой от всех забот.

Борзунову требовалось что-нибудь другое, театральная премьера с генералами в четвертом ряду партера, декада какого-нибудь национального искусства с ансамблем на сцене и банкетом за полночь, на худой конец гастроль Ленинградского мюзик-холла, а где их было взять Белану? Если б хоть Хохлова заманить в сауну, но ради одного Борзунова тот бы не поехал. Белан предложил для начала показать из машины город, рассчитывая в крайнем случае и в сауну заглянуть: она топилась, вдруг да завяжется дружба, интересные разговоры и появится вдохновение испытать себя стоградусным жаром и вольным духом. Ирина Сергеевна пожаловалась: ее, мол, в самолете так укачало, что машину она не вынесет. Белан широким жестом подарил ей четырехэтажное здание универмага тут же на площади за стеклянной стеной, отсчитал по своим часам: «Сейчас половина пятого, в восемь встречаемся на этом самом месте, у вас три с половиной часа. Юра будет таскать ваши свертки». Так все устроилось.

Толпа в дверях универмага прижала их друг к другу. Ирина Сергеевна схватила руку Юшкова, но эта же толпа и разъединила их, растекаясь вдоль прилавков. Вначале Ирина Сергеевна оглядывалась, проверяя, не потерялся ли Юшков, а потом ей уже некогда было оглядываться. Сосредоточенная, отрешенная от всего задумчивость появилась на лице, когда она трогала вещи и ярлыки с ценами, мысленно произносила приговор то оправдательный, то обвинительный и переклочала внимание на следующую вещь. Были вещи, которые отвергались с первого взгляда как недостойные размышлений; были вещи, которые заслуживали уважения, хоть она и не покупала их; были вещи сомнительные, к которым она потом возвращалась. Иногда Ирина Сергеевна совещалась с другими покупательницами, иногда у нее спрашивали совета, иногда она терпеливо ожидала, пока продавщица освободится и можно будет задать вопрос.

За отделами посуды, кухонных и прочих хозяйственных вещей шли отделы галантереи и парфюмерии, целый этаж женской одежды и обуви, белье, трикотаж, головные уборы, мужские и детские отделы — все было в этом универмаге, и ничего Ирина Сергеевна не миновала, иногда останавливалась задумчиво, решая, куда ей повернуть, иногда нечаянно попадала в поток людей и выбиралась из него, работая локтями. Пыталась пробиваться сквозь очереди, поднималась на носки, наваливаясь на чьи-нибудь плечи, чтобы разглядеть прилавки из-за множества голов, уже начиная уставать, уже плохо соображая, потная, мокрой ладонью отбрасывая светлые прядки с блестящего лба, вода глазами по сторонам, решая, стоять в этой очереди или спешить в следующую, куда только что привезли что-то, и вдруг вспоминала о Юшкове, испуганно озиралась и, обнаружив его, нагруженного свертками, неподалеку, виновато округляла глаза: еще немножко потерпи, я сейчас; но ему не скучно было следить за ее лицом, остающимся один на один с вещью, которую надо было оценить, признать своей или отвергнуть. Нужно было выполнить поручения жены Борзунова, задания подруг, а времени на все не хватало, и Юшков послушно становился в очередь или узнавал у продавщиц то, что интересовало Ирину Сер-

геёвну. Наконец с верхнего этажа они снова спустились на нижний, и поток людей выволоч их на площадь. Вечерний ветерок охладил и осушил кожу. Ирина Сергеевна пришла в себя и сказала: «Уф, с ума сойти. Я, наверно, на ведьму похожа». Он понял, что не забывал ее ни на день.

Они поднялись в лифте на четвертый этаж, втащили свертки в ее номер. Все в нем было отделано полированным деревом, кумачовая штора закрывала окно, слабо колыхалась. Ирина Сергеевна опустилась на кровать, скинула туфли, вздохнула и удивленно сказала: «Давно уже я столько не ходила... Неужели еще придется выйти сегодня отсюда? — Посмотрела на Юшкова, поправила пряжку. — Садись, Юра...»

Он не понял ее движения, сел рядом, обнял. Она, упиравшись руками в покрывало, повернула к нему голову, хотела что-то сказать и тут же увернулась от его губ. Он почувствовал сопротивление и неожиданную злость в ее голосе: «Пусти. Сейчас же пусти». Оба сели на кровати, молчали. Положение становилось глупым. «Нельзя же так, — наконец сказала Ирина Сергеевна, и неожиданными были ее злость и досада. — Ты... ты что же... ты думаешь, я в тебя влюблена?» Он молчал. Она сказала: «Видно, тебя еще жизнь не била». «Мне уйти?» — спросил он. Осеклась. Долгим движением провела ладонью по пурпурному покрывалу, разгоняя складки. «Нам же скоро в ресторан. Сейчас сколько? Семь уже есть?» «Без четверти». Он следил, как ее ладонь утюжком двигалась по складкам.

«Ты думаешь, я почему сюда приехала?.. Борзунов ведь не хотел меня брать. Жена его ревнует ко мне». — «Есть за что?» — «Ты спятил? Неужели я ему что-нибудь позволю? В нашем городишке-то!» Спихнулась — не про то говорит, — робко взглянула, не рассердился ли он. Спустила ноги с кровати. «Дурачок ты...»

В дверь постучали. Оба замерли, не шевелились, пока стук не прекратился. В половине восьмого Ирина Сергеевна, выглянув в коридор, убедилась, что он пуст, и Юшков спустился по лестнице вниз и разыскал Белана.

Тот свозил-таки Борзунова в сауну и был доволен. «И пар и погода — лучше не надо. Они там в песках, бедолаги, истосковались по нашей природе. Да я и сам чуть ли не это самое — утратив совесть, осовевши в доску. Лежишь в траве, тишина, вода у коряги плещется, облака над головой, сеном пахнет... Антонина чуть не силком вытащила нас оттуда. Он, правда, тип занудливый. Уже всю жизнь свою мне рассказал. Мы теперь лучшие друзья. Будет в гости ездить. А к спутнице своей он, точно, имеет соответствующую возрастную и положению платоническую любовь. — Белан покосился. — Замучила она тебя в универмаге? Я б на твоём месте на нее слишком много сил не тратил. Решает там все Борзунов. Она, правда, симпатичная, но симпатичных можно и поближе найти, а гостей мы с тобой должны довести до такой кондиции, чтобы больше тебе в Черепановск не ездить». Юшков следил за лифтом. Он хотел увидеть Ирину Сергеевну, когда она выйдет из лифта, пообедаст глазами вестибюль и заметит его. Он и увидел его — так, как хотел. Борзунов вел ее под руку, и она сказала: «До того в магазине набегалась, что, думала, подняться со стула не смогу».

Гостиничный ресторан считался лучшим в районе. Не из-за кухни, которой вообще не придавали значения, а потому, что горожане находили шикарными яркие, красные тона отделки и полумрак в зале. Маленький оркестр играл не слишком громко, и все-таки из-за него разговаривать за столиками было трудно. Начали с шампанского. Борзунов скоро захмелел. Он и Белан рассказывали анекдоты, наваливаясь на стол, чтобы слышала вся компания. Белан, казалась, развлекал гостей не по долгу, а потому что сам получал удовольствие от вечера, потому что ему нравилось тут и он нравился себе, и это и было в нем хорошо. Усталость Ирины Сергеевны куда только девалась. В рискованных местах она говорила: «Ну вас! Вы просто невозможны!» Борзу-

нов тотчас же сжимал ее руку: «Извини, Ириша». Она не следила, как дома, за его тарелкой: «Это тебе можно» — или: «Это тебе нельзя», — а позволяла ухаживать за собой и просила: «Немножко еще шампанского» — или: «Воды самую капельку», спрашивала, что означают незнакомые названия блюд в карте, и Борзунову лестно было показать себя знатоком. Белан тоже порывался объяснять, но на него Ирина Сергеевна внимания не обращала, а Борзунова слушала очень серьезно, смущая его немигающим взглядом широко открытых светлых глаз, а то вдруг медленно скашивала их на Юшкова, будто хотела что-то сказать ему. Улучив минуту — Борзунов хохотал над неприличным анекдотом Белана, тот скромно щурился, довольный эффектом, — Ирина Сергеевна легонько хлопнула по руке начальника и поднялась: «Ну вас. Юрий Михайлович, потанцуйте со мной, пусть они себе говорят что хотят».

Танцуя, она время от времени сжимала его руку. Он понимал и видел все. Понимал, как трудно ей делить внимание между ним и Борзуновым, дозировать свои взгляды и улыбки так, чтобы не вышло ни больше и ни меньше, чтобы Борзунов не получил бы права на надежду, но и не был бы обижен, чтобы не выглядеть ни слишком польщенной и счастливой, но и не слишком скупающей и неблагодарной. Понимал, что ей для самоуважения необходимо верить в его, Юшкова, чувства, потому что иначе превратится в муку этот, может быть, самый радостный за многие годы вечер. Он знал по себе, как нелегко сохранить эту способность радоваться. Поскольку сам он радоваться почти не умел, ничто не вызывало у него большего сочувствия, чем мужество этого рода, даже если оно и держалось на самообмане и позе, даже если оно и не мужеством было, а чем-то другим, о чем не хотелось догадываться. Поддерживая ее игру, он сказал: «Давай уйдем отсюда» — и она повела взглядом в сторону их столика: мол, хорошо бы, но как?..

Потом она танцевала с Борзуновым. Потом отказывалась танцевать, жаловалась, что очень устала. Борзунову показалось, что Юшков обойден его вниманием и обижен, и он, сгибаясь над столом, лил в бокалы водку и кричал, перекрывая оркестр: «Михалыч, давай с тобой!» «Э-э, без меня?!» — кричал Белан, а Борзунов отмахивался: «Без тебя! Я вот с Михалычем...» «Не выйдет без меня!» Ирина Сергеевна смелась: разошлись мужики. Ресторан закрывался. Белан уговаривал еще куда-то ехать, что-то обещал Борзунову: «...сейчас возьмем такси и вчетвером... гитара... ну что мы, только раздразились здесь... в дороге отоспитесь...» Борзунов размахивал руками и порывался кого-нибудь обнять, хотел бежать за такси, это уже было в вестибюле, и зеленые огоньки свободных машин горели совсем рядом за стеклянной стеной. Но тут Ирина Сергеевна заявила, что идет спать, и потянула Борзунова за рукав к лифту. Юшков знал заранее, что никуда они не поедут и так все и кончится. Они с Беланом тоже поднялись в лифте, проводили гостей в номера, попрощались, и Белан сказал: «Ну, Юра, теперь ты можешь забыть про Черепановск. Весь Союз оставят без стали, а тебя обеспечат».

В середине следующего дня Борзунов и Ирина Сергеевна улетели в Москву, так и не повидавшись с Юшковым.

Вечером Юшков и Ляля пошли посмотреть свое будущее жилье. В кооперативе неподалеку умерла одинокая женщина, освободилась однокомнатная квартира, и Лялина мать устроила так, что квартира досталась им. Ляля позвала с собой и Аллу Александровну.

Дом был панельный, пятиэтажный, как и все вокруг. У подъезда сидели бабки, проводили их взглядами. Бабки знали, что это идут посмотреть квартиру умершей соседки. Женщина, у которой по должности хранились ключи, открыла дверь на пятом этаже. В пустой чистой комнате стояли две табуретки, оставленные наследниками за ненадобностью, да торчал у подоконника наконечник телевизион-

ной антенны. Тот, кто вынес вещи, видимо, прибрал всюду и вымыл полы, квартира казалась новой. И тем заметнее был каждый отпечаток чужой жизни: гвозди вместо крючков, заглушка вместо одного из кранов. Полки в стенном шкафу были устланы номерами «Автозаводца» и чистыми бланками технической документации. Вот и все. Да две табуретки посреди комнаты, на которые, видимо, ставили гроб. «Тут ей все брат делал,— сказала женщина с ключами, заметив, что Юшков смотрит на заглушку.— Такой уж человек хороший. У нее за свет было недоплачено, так он доплатил». Алла Александровна вздыхала, говорила, как страшно, наверно, остаться вот так одной, и зачем, мол, тогда жить, и никто не вспомнит, кто-то даже радуется, что освободилась площадь... При ней можно было жить только ее эмоциями.

Она, конечно, увлеклась: тут хорошо бы это поставить, здесь это... Спыхватывалась: «Лялочка, вы не обижаетесь? Я ведь просто фантазирую. Все будет, как вы захотите...» Но стоило Ляле предложить что-нибудь, доказывала, что так будет плохо, и предлагала свое. И Ляля тотчас соглашалась.

Ужинали у тещи. Сидели все на кухне. Теща радовалась: устроила без очереди квартиру, внесла за нее деньги, договорилась о мебельном гарнитуре. Алла Александровна заметила: «Тяжело им будет отдавать такой долг». Теща смутилась: «Никто же не торопит, когда смогут, тогда отдадут, а нет, так и без них разберемся». «Конечно, они отдадут»,— сказала Алла Александровна, словно успокаивая сватьку, и всем стало неловко. Она все говорила правильно, и тягостное чувство, которое возникало от ее слов, никто, кроме сына, не ставил в вину ей. Все знали, что сама она отдает последнее, тратит на сына и невестку все, что может выкроить из учительской пенсии. Теща, уже чувствуя себя виноватой, сказала: «Ну, слава богу, что хоть своя крыша есть. В очереди-то лет пять можно было прождать». «Кто-то и ждет»,— ответила Алла Александровна.

Ее в этом доме побаивались. Когда обсуждалось, где устраивать свадьбу — гостей набиралось все-таки полсотни,— она сказала: «Может быть, не стоит так пышно? Соберемся, может быть, в семейном кругу?» «Почему же?» — насторожилась теща. Алла Александровна тонко улыбнулась: «Ну, все-таки... им уже по тридцать лет». Теща ей этого, конечно, не простила, при случае напомнила дочери, а Ляля сказала: «Ты что же, мама, думаешь, Алла Александровна меня уколоть хотела? Просто не подумала, что мы можем обидеться».

И вот когда пили на кухне чай и Алла Александровна нахваливала варенье, спыхтавшись, что ни за что ни про что наговорила хозяйке неприятностей, и стараясь гладить это неумеренными похвалами, когда все радовались квартире, Ляля решила: «А мы обменяем две на одну и будем жить вместе с Аллой Александровной». Теща и Юшков переглянулись ошеломленные. Алла Александровна великодушно сказала: «Нет, дети мои. Когда вам будет нужно, я буду приходить, но родители и дети должны жить отдельно». «Правильно»,— поторопилась теща. Юшков сказал: «Да это, наверно, и трудно — обмен». «Почему же,— возразила Алла Александровна.— Две на одну всегда легче обменять, но родители и дети должны жить отдельно. Особенно с таким характером, как у меня». И посмотрела на сына. Она знала, что сегодня он сердит на нее, и знала отчего, и ему стало жалко ее.

Он думал о заглушке вместо крана и гвоздях вместо крючков в оставленной для них квартире и о том, что брат умершей заплатил за свет. Было в этой свободе от долгов что-то дразнящее его.

Позже, когда все разошлись, Ляля, стянув платье, посмотрела на отражение в стеклах книжной полки: «Почему все говорят, что у меня красивые ноги? Разве они не худые?» Им было все лучше и лучше друг с другом. Казалось, что лучше уже нельзя, но таяли еще

какие-то тончайшие льдинки, прибавлялось доверия и внимания друг к другу, прибавлялось и опыта, и становилось еще лучше. Ирина Сергеевна что-то отняла... или же прибавила что-то, чего не должно было быть.

В новой квартире сделали ремонт и недели через три переселились. Саня Чеблаков дал для этого одну из машин отдела кооперации, а грузили и таскали мебель они вместе с Валерой Филиным. Пришли помогать и жены. Вселение в новую квартиру привлекает людей в городе почти так же, как в деревне строительство дома. Даже Белан хотел помогать, но его не взяли, зная, что он начнет командовать и подавит всех своей инициативой. Пока мужчины собирали и расставляли мебель и делали другую мужскую работу, Ляля и Алла Александровна готовили на кухне угощение, а Валя и Наташа отыскивали себе работу сами, помогая то тем, то другим. Все меньше становилось у них случаев, собравшись вместе, почувствовать себя прежними, и ничто не могло, наверное, быть более подходящим для этого, чем такое вот дело, нужное, приятное и несложное одновременно.

Как и прежде, Чеблаков и Юшков, дурачась, редко посмеивались друг над другом, а всегда над Валерой. Работая, они разыгрывали маленький спектакль, будто бы завидуя Валере, который, дескать, отлынивает от работы, выбирает самую легкую, а если делает что-то, то жизнь окружающих оказывается в опасности: «Осторожно, Валера собирается гвоздь забить» или что-нибудь в этом роде. Валера на шутки не отвечал, только хмыкал и ухмылялся в бороду, Валя и Ляля подначивали: «Валера, дай им как следует», а Наташа сердилась. Она и пришла не в духе, объявила: «Хочу подлизаться к будущему своему начальнику». Юшков, переводя все в шутку, будто бы не понял: «К будущему директору». «Ну, не директору,— сказала она,— а хотя бы к начальнику отдела. Кончай придуриваться, ты ж у нас как сын главы фирмы, проходящий стажировку».

Уже в сумерках повесили люстру, зажгли свет и расселись за столом на чем попало, среди чемоданов и узлов. И засиделись. Вдруг хватились, что нет Наташи. Юшков нашел ее на балконе. Облокотилась о перила, смотрела на дом напротив. Только что кончились телепередачи, и всюду укладывались спать, окна гасли одно за другим. Начинался октябрь, ветер дул западный, сырой, на балконе прохватывало. «Простудиться захотела?» — спросил Юшков. Она сказала: «Хорошо ты устроился. Молодец. Тон ему не понравился. Она жила с Валерой у своей матери, там их было человек семь в двух комнатках. «Как черепановцы? — спросила она. — Довольны остались?» «Вполне», — осторожно ответил он, догадываясь, что Тамара рассказала ей про Черепановск. Наташа снова сказала: «Ты молодец. Раньше во всем отделе только и стону было что о качественных сталях, а теперь вроде и нет их. Ты всюду через женщин действуешь?» «Что значит всюду?» — насторожился он. «Всюду — значит всюду», — ответила она. Перегнувшись через перила, смотрела вниз, в темноту. Прямые, волосок к волоску, волосы свесились, закрывая лицо. «Почему ты все стараешься задеть меня?» — спросил он. «Что ты выдумал? — Она все-таки смутилась. Откинув волосы на плечо, посмотрела на него. — Ты обиделся? Я вовсе не хотела. Настроение у меня паршивое, Юрка. Только и всего».

Через балконное окно все в комнате казалось неестественно ярким и плоским. Алла Александровна завладела Валерой, что-то рассказывала, а он, подпирая голову рукой, кивал. «Что ты там за систему выдумал? — спросила Наташа. — Томка говорила. «Я вижу, вы с ней обо всем успели поговорить», — сказал Юшков.

Система, о которой спрашивала Наташа, была всего-навсего простым порядком, о котором забыли в суете авралов, когда жили минутой: нет стали — хватали заменитель, другую сталь, а

поскольку другая сталь нужна для другой детали, возникал дефицит там. Целый месяц Юшков и три подчиненные ему женщины составляли таблицы заменителей и получили картину, как выгоднее эти заменители использовать. Дефицит уменьшился. Саня Чеблаков на совещании у Хохлова заявил при многочисленном начальстве: «Мы собираемся внедрить у себя систему Юшкова». Кое-кто усмехнулся, но, в общем, это прозвучало как надо.

В тот день впервые Юшков ощутил недоброжелательство своего начальника. Придравшись к какой-то мелочи в бумагах Юшкова, Лебедев дал волю своему раздражению: «У нас ведь не академия. У нас одна система — обеспечить план». Чеблаков, конечно, переусердствовал: не нужно было доводить до этого. Лебедев тут же спохватился, вернул голосу прежнюю задушевность, с которой человек пожилой и опытный наставляет симпатичного ему парня, однако Юшков понял, что у него есть враг.

Лебедев был тем, чем и казался с первого взгляда, — невзрачным, не очень грамотным мужичком, тихим, осторожным и хитрым. Он даже любил показать свою хитрость особой улыбочкой: мол, мы с тобой понимаем, что это хитрость, но что поделаешь, надо хитрить. Или же, прежде чем солгать, показывал другой улыбкой, что сейчас будет лгать: а давай-ка я схитрю для смеха. Эта манера никого не обманывала и все же придавала ему в глазах собеседника некоторую безвредность: человек хитрый, не хитрить не умеет, но для меня готов сделать исключение. Хохлов покрикивал на него больше, чем на других своих подчиненных, а молодые парни, такие, как Чеблаков, перед совещанием у начальства пугали: «Ох и достанется же вам, Петр Никодимович, сегодня! Опять чуть завод не остановили!» Он хитро улыбался в ответ: «Пусть бьют, главное, чтобы не по карману». В конце каждого почти полугодия он получал выговоры, однако держался на заводе, потому что заменить его было некем: новому человеку понадобились бы месяцы и месяцы, чтобы наладить с поставщиками личные связи. Лебедев начинал тут с простого снабженца, заочный институт осилил, уже будучи начальником, и пробился благодаря своей удивительной осторожности, которая даже в походке его чувствовалась и казалась чем-то врожденным, наследственным, накопившимся за века естественного отбора.

Если не считать сказанного в сердцах словца, то неприязнь его к Юшкову проявлялась разве что в его отношении к Тамаре: «Да, Михалыч... И как нас угораздило ее взять... тут мы с тобой дали маху...» Он упорно называл Тamarу в разговорах с Юшковым «твоя приятельница».

Конечно, у нее был дар возбуждать недобрые чувства. Когда по телефону требовали металл и она кричала в трубку: «Что я вам, рожу его?» — женщины в секторе ахали. Наверно, были и другие причины для неприязни. Чувствуя себя в секторе чужой, она сдружилась с Наташей Филиной. Та работала в соседней комнате. Чуть ли не каждый час просовывала в дверь голову и звала: «Томка, пошли курить». Они устраивались вдвоем у окна в коридоре, и две их долговязые фигуры на подоконнике раздражали Лебедева. Он сказал Юшкову: «Ты, Михалыч, эту свою приятельницу приструни. Все же неудобно, понимаешь. Посторонние люди ходят, а тут торчат целыми днями у всех на виду с дымовыми шашками в зубах. Когда же она у тебя работает?» Юшков пропустил мимо ушей «приятельницу», возразил: «С работой она справляется, а запретить ей курение я не имею права». — «Вот видишь, — сказал Лебедев, как бы сочувствуя, — промахнулся ты с ней крупно. Но тепер уж, раз уж взял к себе, что-то давай делай. Она мне людей разлагает». — «Я все-таки не понял, в чем она виновата, — настаивал Юшков. — В курении?» — «Она у тебя недостаточно загружена». — «Значит, я недостаточно загрузил ее работой. Учту. Но к ней

у вас претензий нет?» — «Зря ты ее защищаешь, — увернулся Лебедев от ответа. — Попомни мое слово, мы еще хлебом с ней».

Однажды Юшков отпустил Тамару на три дня. Эти три дня она заслужила. Вообще все начальники секторов давали отгулы своим подчиненным и к этому привыкли, но формально такое право было только у Лебедева. Он вызвал Юшкова к себе и полчаса объяснял, какое тот совершил преступление: «Я хочу, чтобы ты понял. Ты парень перспективный. Ты еще сам будешь на моем месте. В какое положение ты меня поставил? Табельщица подает мне докладную о прогулах, я обязан реагировать...» Юшкову надоело, он сказал: «Петр Никодимович, учту. Виноват, так наказывайте». В конце концов ему грозил всего лишь выговор. У самого Лебедева было полно выговоров, что не мешало ему считаться хорошим работником.

Тесть, однако, смотрел иначе. «Ты себя с Лебедевым не равняй, — сказал он. — Ему уже расти не надо, а тебе необходимо. Он согласен еще десяток выговоров схлопотать, лишь бы тебя своим заместителем не делал. Потому что проявишь ты себя хорошим замом — его песенка спета».

Они сидели в его кабинете, он вызвал туда Юшкова в конце дня. «Ты не должен был допустить выговор. Стоило даже на скандал пойти, заявление на стол бросить, обострить все, напугать, Лебедев не решился бы против идти. Раз и навсегда была бы ему наука. Он тебя прощупывал: снесешь ты это или не снесешь. И ты показал ему, что тебя можно бить. А раз можно, то почему же не бить? Значит, он еще раз постарается ударить». — «А как же это: за одного битого двух небитых дают?» — «Формулировка устарела. Не для наших условий. А у нас так: или ты перспективный, или нет. Перспективному должно удаваться все. В любой мелочи. У него на лбу должно быть клеймо — победитель. И с деньгами, и с бабами, и на рыбалке... и в спортлото ему должно везти!.. Ну, допустим, разве что в спортлото можешь позволить себе рубль проиграть. Люди должны быть уверены, что тебе все удается, что ты неуязвим. Вот так. Замом мы тебя, конечно, сделаем, но теперь из-за выговора придется подождать с этим. Плохо, Юра. Время терять нельзя, я не знаю, что завтра может случиться».

Хохлов не поднимался из-за стола по десять—двенадцать часов в сутки. Загорелое лицо рыбака и короткие толстые руки создавали ощущение здоровья, но уже дважды его увозила из кабинета инфарктная бригада.

Приказы по отделу вывешивались на специальной доске в коридоре. Над выговорами обычно пошучивали: одним больше, одним меньше, это, слава богу, не лишение премии. Бумажки желтели на стене, не привлекая внимания. А тут читали, перешептывались, а то и подходили с сочувствием, которое предсказывал тесть: «Что это Лебедев? Сдурел? На какую ногу ты ему наступил, Михалыч?» Табельщица затащила в угол, шепотом оправдывалась: «Я не хотела писать докладную. Петр Никодимович мне велел».

Наташа Филина сказала: «Ты странно себя ведешь. Что ты торчишь в отделе допоздна? Лучше бы Лялю в кино сводил. Зачем в командировках из кожи лезешь? Ты вообще не должен ездить в командировки. Не умею, мол, я этого — и все. От тебя одно требуется: рассказывать Лебедеву, как ты с тестем в выходной на рыбалку едешь. Лебедев тебе про командировку, а ты ему про рыбалку с тестем. И больше ни-че-го. Я, мол, дурачок. У тебя с юмором как?» — «Как с рыбалкой, — ответил Юшков. — Не любитель. Я уж как-нибудь без него». — «Ишь ты, — сказала она. — Шикарно хочешь жить. Ну смотри». — «У меня к тебе просьба, — воспользовался он случаем. — Ты не могла бы бросить курить?»

Она поняла, усмехнулась: «Начальство недовольно? Пусть терпит. Мы с Томкой на самых маленьких должностях, платят нам

слезы, работаем мы хорошо — что он нам сделает?» — «Ты права, — пришлось согласиться Юшкову. — Я это так. Курите себе на здоровье». — «Тамару совесть мучает, — неожиданно сказала Наташа. — Увольняться хотела из-за твоего выговора. Еле я отговорила. Дело ведь вовсе не в ней, правда? Скорее наоборот, ей из-за тебя достается». Все она понимает. Юшков спросил: «Тогда зачем ты ее отговариваешь?»

После ноябрьских праздников его послали на Орско-Халиловский комбинат. Командировка была безнадежной. Лебедев сказал: «Все пять вагонов тебе не дадут, но хоть два привези». Юшков достал три вагона. Потом Чеблаков рассказывал ему про совещание у Хохлова: «Лебедев говорит: мол, нет у него людей. Я говорю: а Юшков? Юшков, говорит, еще только через год-другой станет снабженцем, я вот его послал на Орско-Халиловский комбинат, так он только три вагона привез из пяти... Что у вас тут делается, старик?»

Он и Белан появлялись у Юшкова после четырех, когда расходились по домам женщины. Все трое привыкли пропадать на заводе допоздна и, прежде чем заняться делами второй смены, любили по сидеть в комнате Юшкова. В эти полчаса-час с ними что-то случилось, будто возвращались студенческие времена. Казались смешными такие анекдоты, которые потом, пересказанные другим, вызывали лишь неловкую улыбку. Заражались шахматной горячкой, пятиминутными «блицами», ловили друг друга на зевках, спорили, «взялся» или не «взялся», и терзались проигрышами. К ним повадились другие парни из отдела, двое-трое всегда торчали, болели за Юшкова как за своего и хлопали себя восторженно по коленкам, когда острил Белан. Иногда заглядывали Наташа и Тамара. Белан окрылялся. Сострив, поглядывал на них. Рассмешить Тамару ему не удавалось. Она знала, что он старается ради нее, и знала, что, когда задерживает на нем немигающий взгляд, он конфузится. Он дерзил, за глаза говорил о ней скверно, но зависел от нее, и это все чувствовали. Рядом с высокой девушкой он всегда помнил о своем маленьком росте и ничего не мог с собой поделать.

Изредка захаживал Лебедев. Склонялся над шахматной доской, подсаживал Юшкову и покрывал: «Дави его, Юра! Так его!» В этот час и он позволял себе как бы оказаться вне заводских забот и рангов, за чертой, где нет уже начальников и подчиненных. Чеблаков пользовался этим: «Никодимыч, скоро будем замачивать нового зама?» Лебедев отгораживался своей непробиваемой улыбочкой, мол, дай-ка я схитрю: «Вот иди ко мне на место Михалыча начсектором, тогда я сделаю его замом».

Юшков и Чеблаков все ближе сходились друг с другом. Работа давала им теперь достаточно для общения, которое прежде было пресным без шуточек над Валерой. Жизнь Валеры в конструкторском отделе, где мало зарабатывали, по всякому поводу разыгрывали друг друга, ценили острое слово и хороший характер, дружно объединялись против начальства, — вся эта жизнь во многом походила на студенческую, да и сама работа за чертежной доской была как бы продолжением студенческой работы, и Филин сохранил свои студенческие привычки и понятия, а Чеблаков и Юшков уже жили другой жизнью и с Валерой у них понимание терялось.

Неожиданно он стал начальником. Ушел на пенсию главный конструктор, пошли по ступенькам перемещения, и Валера оказался начальником бюро. Чеблаков дурачился, приставал к Наташе, чтобы Филин отметил событие в ресторане. Она удивила приятелей, рассердившись: «А ты свои повышения отмечал? Почему мы должны?»

Теперь Юшкову приходилось вечерами слушать про Лялины страхи. Прежний ее начальник казался незаменимым. Ему пообедать некогда было, торопливо жевал принесенные из дома бутерброды, не замечая, что ест, впившись глазами в какой-нибудь чертеж и

дергая движок логарифмической линейки. Влезал в каждую мелочь, проверял каждый лист, оставался в отделе после рабочего дня, жена звонила ему из дома, а он не поднимал трубку. И что же? Пришел вместо него Валера и ничего не делал. Ляля притащила ему лист на проверку, он прищурился: «Что я буду портить глаза над твоими листами? Я тебе доверяю». «Ты все ж посмотри,— упрасивала она.— Я так не привыкла». Он отодвинул ее листы со стола: «Сама грамотная».

Она ждала беды, но все шло не хуже, чем раньше.

А в отделе снабжения появились слухи, что скоро будет новое начальство. То ли Лебедева снимут, то ли дадут ему заместителя. Случилось же вот что: освободили от высокой должности человека пожилого и болезненного, искали ему местечко, где он мог бы спокойно тянуть до пенсии, и тут-то Лебедев вовремя напомнил директору, что такое место у него пустует. Хохлов ничего не мог сделать: его мнения не спрашивали.

Юшков ничего не знал. С какими-то бумагами вошел к начальнику, а тот усадил его и стал жаловаться: «Заместителя мне дали. Человек неплохой, но помощи, честно говоря, я от него особо не жду. А я ведь надеялся тебя замом сделать... Хотя ты бы, наверно, не задержался тут долго». «Куда же я делся бы?» — спросил Юшков. «В науку тебе надо. Где перспективы. Системы придумывать. Тебя тянет на это дело». Юшков усмехнулся. «А у нас тебе что? — сказал Лебедев.— Особенно теперь. Заместитель новый до пенсии сидеть намерен, все десять лет, да и я помирать вроде не собираюсь». «Предлагаете уходить?» — не поверил Юшков. Лебедев обиделся: «Разве ты так понял, что я тебя гоню? Где я такого начсектора найду? Нигде не найду. Но ведь и тебе расти надо. Я ж могу понять по-человечески. Рыба ищет, где глубже. Так что препятствий, если что найдешь себе, чинить не буду».

А ночью странная мысль поразила его: Валера Филин на его месте давно бы уже стал заместителем.

Он хорошо представлял Валеру в отделе: ухмыляется в бороду и ничего не делает. Все его любят. В Черепановске ничего бы не добился, вернулся бы пустым, и больше бы его в командировки не посылали. Лебедев поторопился бы найти пронирыливого парня на его место, а Валеру в угоду Хохлову тут же двинул бы в свои заместители. Вот уж был бы безопасный для него заместитель. Наташа была права: только разговоры о рыбалке с тестем, больше ничего.

Он подумал, что этому не так уж трудно научиться. Главное, что теперь он все понимает и, значит, все теперь пойдет иначе.

Утром же звонил телефон, мужские голоса в трубке требовали металл, надо было разбираться, громоздились на столе папки, завязанные тесемочками, в скоросшивателях прилипали друг к другу листки папиросной бумаги с едва различимым слепым текстом, взволнованная и потная Марья Григорьевна роняла карандаши, писались письма, заказывались междугородные разговоры, и не помнилось, не мыслилось понятное ночью, будто бы можно все это не делать. Требовался начальник автоколонны в автобусный парк номер два, требовались мастера в цехах, СКБ-3 приглашало на работу инженеров-конструкторов всех категорий, но жизнь уже определилась в чем-то основном. Уже поздно было начинать сначала, уже существовал долг за квартиру и уже не работала беременная Ляля; уже не тянуло ехать куда-нибудь далеко, где никогда не бывал; и пять лет спустя он работал на том же месте.

(Окончание следует)

ФЕДОР КАМАНИН



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Главы из книги

Федор Георгиевич Каманин принадлежал к поколению тех советских литераторов, чьи писательские судьбы начали складываться в бурные 20-е годы. Первый роман свой «Ивановская мельница» он издал в 1927 году, а последний — «Хрусталь» — в 1977-м, на восьмидесятом году жизни.

Мы полагаем, что главы из неоконченной книги, над которой он работал до конца своих дней, представляют немалый интерес. В них очерчены подробности литературного быта, да и просто быта 20-х и 30-х годов Москвы, Смоленска, Сергиевского Посада (нынешний Загорск), запечатлена жизнь знаменитого Дома Герцена, где в ту пору теснились самые разнообразнейшие литературные группы и группировки, еще не объединенные в Союз писателей, описаны встречи с такими писателями, как М. Пришвин, Д. Фурманов, А. Платонов, А. Твардовский, А. Новиков-Прибой, многими другими.

Воспоминания привлекают искренностью и житейской достоверностью, тем, что они свободны от каких бы то ни было побочных, околослитературных суждений и целей, не замутнены полемикой вокруг фигур и направлений.

Глава первая

В МОСКВУ!

Нет, теперь бы я так не сделал, ни за что бы не решился на такой шаг! Подумать только, в 1922 году в самый мороз очертя голову помчаться в бел свет. Из тихого деревенского угла — в Москву, где голодно, холодно и на бирже тысячные толпы, о чем предупреждали меня. Разве это не легкомыслие? Был бы еще мальчишка, так ведь уже стукнуло двадцать пять.

Зачем же я покинул родные Ивановичи, семью, школу свою, в которой учительствовал пять лет, которую очень любил? Да не очень-то и за большим: хотел получить высшее образование и стать писателем. Только и всего. Одна попытка уже была: двумя годами раньше поступил я в Саратовский университет. Имел, видимо, расчет подрабатывать на волжской пристани. Но свалил меня сыпняк, потом возвратный тиф, еле остался жив. И вот снова собрался в путь, на сей раз в Москву.

Все были против, кроме учительниц Лосевых, дочерей бацкинского попа. Они работали поблизости, в Сельце, и обратили на меня внимание: в округе я был первый учитель из мужиков, самоучка да еще самородок, пишущий пьесы для Народного дома. Ну, они присмотрелись к такому субъекту и нашли, что из меня может быть толк, если только «образуюсь» по-настоящему.

— Сейчас для вас самое удобное время,— говорила мне средняя сестра, Софья Михайловна.— Таких, как вы, принимают в университет и без среднего образования. Так что торопитесь.

Я иначе смотрел на это. Ведь обошлись же без университетов Подъячев, Суриков, Дрожжин, да и Горький и многие другие. Побольше увидеть в жизни и много читать — это, я полагал, важнее. Но понимал, конечно, что учеба никому не повредит. А больше всего тянуло меня в Москву объявления о вечерах литературных групп. Было же такое время, когда газеты «Правда», «Известия» сообщали, что тогда-то и там-то соберутся члены Союза крестьянских писателей или «Кузницы». Я читал и думал, что вот это и была бы лучшая учеба для меня.

И в стужу адскую, в начале января, в самую неудачную пору отправился в столицу. Заведующий вагоном легко отпустил меня. Он точно знал, что мне там не зацепиться никак.

— До скорой встречи,— сказал он мне.— Я на твое место пока никого ставить не буду.

Сначала я доехал по мальцевской узкоколейке до Брянска, там продал на рынке два пуда ржи за 1 800 000 рублей (такие были деньги), купил билет за 600 000, да не до Москвы — до Смоленска, потому что прямые поезда тогда не ходили, с боями пробился с толпой на буфера между вагонами и поехал, коченея. Потом случилось чудо: на следующих станциях новые пассажиры затолкали нас сперва на площадку, потом в тамбур, а потом и в самый рай, в вагон. Само собой, и там мы стояли, и жали нас, как коноплю в маслобойке, но уж в тепле.

От Брянска до Смоленска ехал я часов двенадцать, там занесла меня толпа на товарняк, только мы взобрались — и вагоны заговорили, задержались, состав пошел, и снова я мерз до Ярцева, а там пришлось штурмовать пассажирский — буфера, тамбур, вагон, где я проспал стоя до самой столицы. И началась моя новая жизнь с того, что я заболел. К счастью, это была простая простуда, и земляки, у которых я остановился, а тогда все жили по знакомым, отходили меня.

Через неделю я уже носился по Москве в поисках пристанища и работы. Ни того, ни другого не нашел. Был и на бирже труда в Рахмановском переулке, записался в очередь, но узнал, что там и москвичи по году ждут. По всему выходило, что надо мне возвращаться домой, но и ехать было не на что: деньги мои истаяли. «Где ж выхаживать?» — думал я. То есть, конечно же, я совершил безумный поступок, но позже многие писатели и поэты, ставшие мне друзьями, говорили, что тоже, подобно чеховским сестрам, твердили: «В Москву! В Москву!» — и двинули в путь тогда же. Видно, такое было настроение, такое было время.

Сейчас мне уже не вспомнить, как и почему я очутился в Доме работников просвещения в Леонтьевском переулке. Скорей всего услышал, что там дают бесплатные обеды безработным учителям, ну и пошел туда, а вот обедал ли, нет ли, этого не помню. Но оказалось, там-то и ждало меня спасение.

Это я вижу как сейчас: стою в растерянности в вестибюле бывшего особняка меховщика Михайлова, где разместились просвещенцы, стою в пальто с чужого плеча, в стоптанных сапогах, а на меня с лестницы смотрит хорошо одетый, сытый, с портфелем человек приблизительно моих лет и улыбается добродушно, чуть иронически. Я тоже ответил ему улыбкой, да еще и спросил:

— Что вы так смотрите на меня?

А он в свою очередь меня спрашивает спокойненько этак:

— Учитель?

— Да,— отвечаю ему я.

— Из какой губернии?

— Из Брянской.

— А зачем в Москву?

Я человек до удивительного иногда откровенный, доверчивый, наивный. Даже и теперь, дожив до седых волос. И как это ни покажется странным, доверчивость моя не раз выручала меня из беды. Так было и на сей раз. Тут же как на духу я выложил этому красавцу все о себе.

— Есть, — говорю, — где-то Союз крестьянских писателей, да не знаю, как его найти. Может, помог бы мне если и не устроиться в Москве, то хоть выехать отсюда.

А он все смотрит и все улыбается.

— Что ж, — говорит мне, — вам повезло. Я помогу вам найти этот Союз. Приходите на Малую Дмитровку в клуб Кухмистерова завтра в восемь вечера. Это на первом этаже, вход прямо с улицы. Мы собираемся там раз в неделю.

— А вы сами-то кто?

— А я секретарь этого Союза. До свидания!

И спокойненько направился вверх, исчез на втором этаже.

Вот ведь бывает как: не зайдя я к просвещенцам именно в этот день и в этот час, не задержись в вестибюле, не обрати он, этот человек, фамилию которого я и спросить забыл, внимания на меня, неизвестно, куда бы повернул дальше мой путь. Хотя, думаю иногда, если б не эта встреча, то, возможно, вышла бы какая-нибудь другая...

Когда я пришел в клуб Кухмистерова, а пришел я туда раньше восьми, там какой-то человек, очень худой и бледный, читал лекцию о первом русском актере Волкове, а человек двадцать сидели и слушали. Помещение не отапливалось, все были в пальто и шапках, лектор тоже. Тогда вообще с топливом было плохо.

Я тоже сел и начал слушать, а между делом глазеть по сторонам. Лекция кончилась, люди стали выходить, вместо них входили новые. Один слепой пришел в темных очках, его вела пожилая женщина, видимо жена. «Наверное, это уже писатели», — подумал я. Появился и секретарь Союза все с тем же портфелем. А с ним небольшого роста толстячок — тоже одетый хорошо, тоже с портфелем. Мой знакомый заметил меня и поманил к себе.

— Вот, Григорий Дмитриевич, — представил толстячку, — тот самый парень, о котором я вам говорил. Фамилию его еще не знаю.

Я назвал себя.

— А это наш председатель. Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский.

«Так вот они какие бывают, председатели», — думаю я про себя. А тот сверлит меня своими маленькими глазками.

— Давно пишешь?

— С детства, — отвечаю ему.

— Стихи, конечно.

— Нет. Пьесы, рассказы.

— Интересно. Обычно начинают со стихов.

— Я пробовал, но начал с пьес. Стихи уже потом. А в последнее время роман начал один, да бросил.

И снова пытливым, испытующим взглядом.

— Так. Ну что ж, поговорим. Ты приходи завтра ко мне на квартиру утром, к десяти. Я живу на Александровской, дом... Да нет, я лучше напишу тебе адрес, а то ты забудешь.

Быстренько он открыл свой портфель, достал карандаш и блокнот, чирк-чирк — и готово; записал адрес и отдал мне.

— Не потеряй смотри. Завтра мы с тобой основательно потолкуем, а сейчас мне некогда, пора начинать.

Деев-Хомяковский взошел на сцену и открыл вечер. В зале было уже с полсотни человек. Читал свой рассказ Ярцев, пожилой дядя с черной бородой. Рассказ был о том, как в церкви шла литургия, пел

хор, хору подпевал старик, любитель церковного пения, а старушка одна ужасно фальшивила, и так это бесило старика, что он в конце концов не выдержал и дал ей тумака в бок тут же, в церкви. Читал автор медленно, тихим голосом.

Пошло обсуждение, и первым взял слово высокий блондин по фамилии Богатырев. Раскритиковал рассказ в пух и прах за форму и за содержание, да с таким апломбом, что мне даже жутко стало. За ним выступил человек в темных очках. Это был Василий Рязанцев, автор ряда книг о слепых, впоследствии один из моих друзей. Он с большим жаром начал доказывать, что рассказ неплохой, а идея и вовсе хороша, ссылаясь на Чехова.

— Что вы мне его под нос тычете! — кричит с места Богатырев. — Когда Чехов жил? А когда мы живем?

Говорили и другие, каждый свое. Больше всех мне понравился добродушный, с бородкой клинышком старый большевик Афонин, редактор газеты «Московская деревня». Спокойненько этак он поставил на место горячего Богатырева, но указал на слабые места в рассказе и автору, хотя, как я узнал позже, Ярцев был ему приятель, работал у него в газете.

Вечер кончился. Я и не заметил, как дошел до своего временного пристанища в Замоскворечье.

Что бы ни говорили потом некоторые о Дееве-Хомяковском, как бы ни сложились у меня самого отношения с ним, а я глубоко благодарен этому человеку за ту поддержку, которую он мне оказал. Да и не мне одному: он помогал едва ли не каждому, кто приезжал тогда из деревни. И если собственный его поэтический багаж был невелик, то бескорыстная любовь к людям, желание им добра — этим он отличался всегда.

— Прежде всего надо тебе найти работу и крышу над головой, — так он начал на следующее утро со мной разговор.

— Да, конечно, — отвечаю ему. — А где?

— Давай вместе думать... Ты что умеешь делать?

— Разное. Грузить, дрова пилить, колоть. Пахать могу, молотить. Словом, любую физическую работу.

— Нет, это не подойдет. Тут я не могу помочь тебе. В деревне чем занимался последнее время?

— Учительствовал в школе.

— Так, — говорит. — С этого бы и начинал. Пиши сейчас же мне заявление как заведующему марьинорощинской школой рабочей молодежи, и я приму тебя преподавателем. Школа наша не ахти какая, зато времени свободного будет много, а главное, тут же, при школе, мы и комнатушку тебе выкроем. Согласен?

Еще бы! То не было ничего, а то сразу и работа и жилье, глядишь, дадут и паек. Тяжелейшее было время, а в чем-то вспоминаю теперь, и легкое, прозрачное, ясное.

— И вот что. — Он подвинул ко мне бумагу, чернила, ручку. — Пиши заодно второе заявление. О приеме в Союз.

Быстренько я написал два заявления, на одном из них тут же появилась резолюция: «Зачислить с 15 января 1922 года. Завшколой Г. Деев-Хомяковский». А в скором времени стал я и членом ВОКПа — Союза крестьянских писателей. Ну словно в сказке! Если уж удача, то на рысях: только я перебрался в Марьину Рощу, как узнал, что могу, если того желаю, поступить среди учебного года в Высший литературно-художественный институт, где ректором сам Брюсов.

И я пошел туда, чуть ли не побежал. По Садовому кольцу, до Кудринской, а там свернул на Поварскую, в дом 52, описанный, говорили, у Толстого в «Войне и мире». Передо мной раскинул крылья-ротонды барский особняк, двухэтажный посредине, первый этаж вы-

сокий, тут у бар всегда были парадные залы, а второй и этажом-то не назовешь — голубятня, такие маленькие оконца. Дом, по всему видеть, давно не отремонтирован, грязно-серого цвета, штукатурка местами полетала, парадный вход утонул в сугробах, и вела к нему только узкая пешеходная тропка. «Наш-то мальцевский дворец в Дяткове, — вспомнил я родные края, — в таком же стиле, а все же погромней будет, там у нас даже и бельведер имеется».

Шагаю по тропке ко входу, поднимаюсь по полулестнице на площадку, она окружена балюстрадой, и останавливаюсь как вкопанный. Бог ты мой, что же я вижу там! Нечто вроде сельской ярмарки или цыганского табора. Бурлит, шумит, горланит толпа, одетая кто во что горазд. Откинувшись на перильца, раскачиваясь — как только не свернулись вниз! — два здоровенных парня ведут волжские частушки. Это были, как я после узнал, поэт Василий Наседкин и дружок его прозаик Родион Акульшин.

Пошел я по площадке, а мне навстречу еще один детина, да не на ногах идет, а на руках, вниз головой. Это поэт Иван Приблудный, с которым тоже я познакомился позже, доказывает всем удаль свою. Теснятся юнцы у теплой голландской печи, что-то кричат, убеждая друг друга. А дальше по коридорам расхаживают парни и девушки и завывают чьи-то стихи. Слов не разобрать в таком гаме, и выходит у них вот что:

— А-ва, ва-ва-ва, а-ва, ва-ва!

Я было подумал, что ошибся номером дома, попятился, но в это время вышел он — Валерий Яковлевич Брюсов, ректор института, один из первых поэтов, глава символистов; некоторые ставили его даже выше Блока, я-то нет. Но сразу узнал: видел снимки еще до революции. Красивым его, конечно, не назовешь, но это когда смотришь на портреты, особенно кисти Врубеля. Когда же видишь его живую улыбку, слышишь приглушенный голос, то он покажется тебе обаятельнее любого красавца.

Помню, это уж было потом, как на одной из лекций Валерий Яковлевич прочитал нам стихотворение на звучной латыни и спросил вдруг с надеждой, обращаясь к аудитории: «Товарищи, может, кто-нибудь переведет на русский?» И это была, по тону чувствовалось, не ирония, не насмешка, а именно надежда: возможно, кто-то из слушателей знает латинский язык, любит его так же, как и он? Знатоков среди нас не нашлось, и Брюсов перевел стихотворение сам.

А в этот первый день шел он спокойно сквозь толпу будущих слушателей — институт только еще формировался, — всем кивал вежливо, будто не видел, какой тут был кавардак. И я, проводив его глазами до самого кабинета (был у него после всего один раз), понял, что попал куда надо, что здесь-то мне и следует учиться.

— Поступать приехал? — Это подошел ко мне улыбчивый парень, будущий мой приятель, белорусский поэт Климент Яковчик.

— Да, — говорю ему.

— В хороший день попал. — Начал он давать советы: — Сегодня принимает профессор Рачинский, а он старик добрый. Ты только учи: он спец по немецкой литературе. Жми больше на немцев. Ты хоть кого читал из них? Ну и ладно. Да погромче, погромче говори, он на ухо туговат. Пошли к старику!

И потащил меня в приемную комиссию ВЛХИ.

Как же все просто было тогда! В комиссии состояли никак человек десять, но принимали они по очереди, и вся процедура сводилась к собеседованию. Тут же тебе говорили, принят ты или не принят, и вся недолга. Отказов было мало, ведь странный институт не давал ни диплома, ни прав на какую-либо должность, а только подготовку некоторую литературную — и пиши, брат, если сила есть.

Очутившись в комнате, я увидел дряхлого старика, сидевшего за огромным дубовым столом, сильно близорукого, копавшегося в каких-то бумагах. Он не сразу меня углядел, а когда заметил, расслышал, то сильно меня удивил:

— Заявление при вас, молодой человек?

Отвечаю ему, что заявления еще не написал.

— Ну что ж, сочините сейчас. Вот вам перо, чернила.

Листок мой он отложил не читая.

— Теперь, молодой человек, давайте побеседуем по душам. Почему вы поступаете именно к нам, а не на филологический факультет университета? Там изучение литературы поставлено более солидно. У нас же занятия будут, как бы сказать, студийные.

— Вот это мне и нужно, я ведь хочу быть писателем.

— Прекрасно,— говорит он,— желание похвальное, работа в литературе почетна. Потому-то многие, очень многие и хотят посвятить себя ей, но ведь и неудачу терпят многие. Почему? Данных у них нет. Какие данные, вы спрашиваете?

Я хоть и не думал спрашивать, а весь обратился в слух.

— Ну, прежде всего надо быть хорошим читателем, умеющим отделять зерно от плевел. Вот меня и занимает в вас эта сторона. Много ли прочитали хороших книг? Кто из классиков вам по душе?

Старик пытливо смотрит на меня поверх очков. Начинаю перечислять классиков, для начала своих, потом иностранных, и обнаруживаю для себя самого, что перечитал-то я их в своей глуши порядочно. Вспоминаю совет «жать про немцев» и прикидываю наскоро, что, стало быть, Ибсена, Гамсуна не стоит поминать, и Мопассана, Франса в сторону, и Теккерея, Диккенса, Стерна...

— Вот, скажем, из немецкой литературы,— говорю я профессору.— Все считают великим Гёте, а мне больше нравится Шиллер. И еще мне по нраву Ганс Сакс.

Что же тут сделалось с ним! Чуть ли не кричать начал старик, даже привставал иногда, а я помалкивал, слушал.

— Молодой человек, вы еще не доросли, не в обиду будь вам сказано, до понимания Гёте! Никто не умаляет Шиллера, но Гёте велик, велик. Со временем вы это поймете, я уверен!

Потом мы поговорили о Гауптмане. И когда я заметил робко, что в «Одиноких» он мог бы и не посылать своего героя топиться в озере, драма все равно осталась бы драмой, старик даже удивился.

— Ах вот как? Ну что ж, наверное, такая трактовка тоже имеет право на существование... Пожалуй, на этом мы беседе закончим. Поздравляю вас с поступлением в число наших студентов.

Он встал, пожал мне руку и сказал в напутствие:

— У Гёте есть дивные лирические миниатюры. «Горные вершины» вы, конечно, помните. А вот эту, думается, не слышали, ее редко кто знает, я вам прочту сейчас:

Тут-то все и создается,
Если мы не сознаем,
Что и как мы создаем—
Словно даром все дается.

Я вышел от профессора, ног под собой не чуя. А вскоре в довершение всех удач попал в Большой театр. Взял меня с собою Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский. Первый раз пришлось увидеть такой роскошный зал, сидели в ложе второго яруса, и все я мог разглядеть — впечатлений тьма! Шло торжественное собрание в честь пятилетия Красной Армии, выступал сам Фрунзе. Речь его была проста, голос не басистый, как я ожидал, а высокий, едва ли не юношеский, и это показалось мне удивительным.

Возвращались с Григорием Дмитриевичем пешком, тогда вся Москва ходила пешим порядком, беседовали по пути, и я думал про

себя, что вот оглянуться не успел, а уже полноправный житель столицы, даже и в Большом театре побывал, работаю в ЦИРМ, принят в члены ВОКПа, стал студентом ВЛХИ. Этак не мудрено, если в скором времени настоящим писателем стану и мои произведения (а я и не написал еще ничего) увидят свет. Чем черт не шутит!

А ликовать-то мне и погодить бы стать: что дается легко, то и теряешь с легкостью. Кому, возможно, и покажется это дико, но сдался я из-за ерунды, то есть теперь мне видно, что из-за ерунды, а в ту пору такая пошла полоса в моем столичном житье-бытье, что хоть волком вой.

В школе мне предложили занять любую комнату из тех, что были во втором деревянном этаже, нижний-то был каменный. Я вначале удивился, отчего они пустые, потом понял: холод в них стоял одинаковый. Дал мне наш столяр Василий Николаевич, выпивоха, но добрейший человек, пилу и топор, ходил я в Останкинский парк, за дворец Шереметева, да там, видать, до меня все было подобрано. Если и приносил когда охапку сучьев, то где ж мне было протопить большую печь. «Буржуйкой» разжиться не смог.

Только и отходил маленько во время занятий, когда вел уроки, или на лекциях в институте, но спать приходилось дома, а там у меня за ночь вода замерзала в кружке. Согревайся, значит, собственным теплом, но откуда ему взяться, если паек мизерный, живешь впроголодь, обедаешь в неделю раз или два? А просить помощи из деревни я не мог. Отец и учительскую-то мою работу почитал за бабловство, а уж интеллигентов городских вовсе именовал дармоедами. Последнее его слово, когда я уезжал, было такое: «Жрать захочешь — вернешься, а там тебе подыхать!»

Деев-Хомяковский почему-то особенно заботился о моем постельном белье: мол, перебуду как-нибудь с недельку, а там пришлют из дому простыни, подушку, одеяло. Что было ответить ему на это? Я когда откровенен сверх меры, а когда и застенчив до глупости. И не решился сказать председателю «крестьянских», хотя он и сам вышел из деревни, правда из подмосковной, что у нас в Ивановичах спят не на простынях, а на сеннике, и подушки знают только общие, из посконной холстины, и покрываются дерюжкой.

— Слушай,— подступает он ко мне,— писал ты домой?

— Писал, Григорий Дмитриевич.

— Странно. Очень даже странно. Не можешь же ты все время валяться на голом матраце, и в головах у тебя черт знает что!

«Черт знает что» был мешок, заменявший мне чемодан. И как-то стал я чувствовать, что меняет Деев-Хомяковский свое отношение ко мне. Поначалу привечал, в театр вот даже водил, а тут охладел, поглядывает с подозрением, сверлит колючими глазками. Вдобавок я начал почесываться, и ведь знал, какую «живность» он подозревает за мной, а не мог сознаться, что это от голодухи пошли у меня фурункулы, маленькие злые чирьишки.

Последняя напасть — мыши. Их, проклятых, столько в школе развелось, что спасу не было. Спрашивается, чем же они могли поживиться возле меня, когда я был гол как сокол? Учужали, вишь, в мешке запах хлебных крошек, а покончив с ними, решили попробовать, каков на вкус я сам. Тот, кто думает, что эти маленькие грызуны прямо-таки вонзают зубы в жертву свою, очень ошибаются. Нет, они деликатно приступают к делу. Начнут с пальцев на ногах, с самых кончиков их, да легонько этак, будто стружку снимают. Даже и не почувешь со сна, но уж когда доберутся до живого!

— Да, тебе лучше уехать,— сказал Деев-Хомяковский, накладывая резолюцию на моей просьбе об увольнении. — Потом, как станет полегче, можешь снова попробовать, мы тебе поможем. А пока поезжай. Все-таки, знаешь, жить без постельного белья..

Далось ему это белье! Добрался я до Ивановичей легко, поезда ходили уже более или менее регулярно. Ну а уж что у меня на душе было, об этом лучше и не вспоминать.

Глава вторая

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

— Дорогой мой! Там, где вы теперь будете жить и работать, живет и работает, и тоже воспитательницей, Любовь Федоровна Копылова, по мужу — Барановская. Вам с нею обязательно надо познакомиться. Нет, не сразу, а когда оглядитесь, как говорится, обстоятись. Кто такая Любовь Федоровна? Человек редкостной души и большой поэтической культуры. В недавнем прошлом она была в числе лучших московских поэтесс, она да еще Ада Чумаченко и Любовь Столица... Почему я вам советую с нею познакомиться? Да потому, дорогой мой, что Любовь Федоровна чудесная собеседница, ей есть что порассказать, вам это будет только на пользу.

Так напутствовала меня милейшая Елена Ивановна Дмитриева, когда, приехав снова в Москву, я предстал пред очи ее в подотделе художественного воспитания детей при моно. Направляли же меня на работу в Центральный приемник для беспризорных детей, что устроилось довольно просто: воспитатели в этом приемнике часто менялись, не всякий мог ужиться там.

— Работенка нелегкая, дорогой мой, предупреждаю вас, но пока ничего лучшего не могу предложить, — вздыхала сердобольная Елена Ивановна. — Зато будет где жить, получите и питание с общей кухни... Деньги на трамвай у вас есть?

— Есть, — отвечаю я ей.

— Ну, счастливого вам пути!

А денег на трамвай у меня как раз и не было, направился я пешком. В те годы, особенно когда отъехал в деревне, отмахать километров восемь—десять было для меня сущие пустяки.

Мне уже подошло к двадцати шести, повидал всякое, работал в крестьянстве и на заводе, был на военной службе, жил в казармах, палатках, бараках и балаганах в шуме и гаме. Но такого, что я увидел, войдя в ворота Центрального приемника для беспризорных, мне и во сне не снилось. Это был муравейник, да еще какой, всем муравейникам муравейник!

Он занимал целый квартал, в нем насчитывалось одиннадцать корпусов разной величины. До революции это была богадельня «Покровская община», где доживали свой век одинокие старухи. Потом сюда взяли голодающих Поволжья, некоторых я еще застал. В одном окне главного корпуса увидел на подоконнике двоих малышей-татарчат. Они сидели рядом, с тоской смотрели куда-то вдаль и пели свою родную татарскую песенку. О чем говорилось в ней, я не мог уловить, понятны были лишь некоторые слова: «солдат», «пароход». А по двору уже носились новые хозяева, беспризорники.

Вся детвора тут была разбита на десять отделений, всего содержалось около двух тысяч детей, сюда они поступали с вокзалов, рынков, с поездов, приводила их большей частью милиция, здесь они должны были пробыть месяца три, пройти «первичную обработку», но некоторые заживались по году и больше. И самым трудным отделением считалось второе, где были подростки до шестнадцати лет, прошедшие огонь и воду. Попадались среди них ребятки и на два-три года постарше, даже и «женатики», успевшие семью завести. А педагогов в штате было сотни полторы, к ним должен был присоединиться и я, да никак не мог отыскать завпеда, заместителя заведующего приемником по педагогической части.

— Вы ищете дядю Мишу Нерославского? — выручил меня наконец один верзила-беспризорник. — Так он в третьем отделении. Обед ребятам раздает.

— Завпед раздает обед? — удивился я.

— А чего? Воспитательница заболела, а туда сегодня новеньких подсыпали, тете Соне одной не управиться, вот он и пошел.

— Где же это третье отделение?

— Да вот он, корпус. Как взойдешь по лестнице, то сворачивай по коридору. Там и услышишь, где обед.

Я поднялся, куда он указал, и действительно «услышал», где идет обед. Завпед раздавал миски новичкам, следил, чтобы их не обделили старожилы, кричал на кого-то. Был он, как оказалось, студентом, учился на четвертом курсе медфака Второго МГУ, да еще руководил всей педчастью. И, видать, работа с учебой измотали парня, худ был чрезвычайно, волосы взъерошенные.

— Вы заведующий? — спрашиваю у него, подойдя вплотную, иначе бы он не услышал меня.

— Ну я. В чем дело?

Молниеносно пробежал глазами мою бумагу из моно и говорит:

— Работы не боишься?

— Нет.

— Тогда пошли.

Он повел меня к длинному деревянному зданию, выкрашенному когда-то в желтый цвет, с несколькими входами по всей длине. Это был знаменитый «желтый барак», в котором происходили удивительные, а то и уголовные истории. Ночами там и крупная картежная игра шла. Но узнал я об этом позже, поработав порядком.

А тогда в барак завпед постучался в одну из дверей, первую по коридору налево, нам ответили: «Можно» — и мы очутились в небольшой комнатке. В углу что-то стряпала на столе худенькая женщина с длиннющей косой, на кровати полулежал и читал книгу человек с черной, как смоль, бородой и такими же волосами, торчавшими, словно иглы на спине у дикобраза. Ну, тут и гадать было нечего: муж и жена.

— Леша, вот тебе новый воспитатель, — объявил завпед. — Работы, говорит, не боится. Возьмешь в свое отделение?

— Почему не взять? Возьму.

— Ну вот и потолкуй с ним, а я побежал.

Завпед исчез, мы остались в комнате.

— Ну давай знакомиться, — говорит бородач. — Ты кто?

Я назвал себя.

— А меня зовут Алексеем, отца звали Венедиктом, фамилия наша Кожевниковы. А это жена моя, Наталья Прокофьевна, прошу любить и жаловать. Ты из каких краев?

— Из Брянской губернии, — отвечаю.

— А я из Вятской. Учитель?

— Да, учительствовал в родной деревне.

— А зачем сюда приехал?

— Хочу стать писателем, я уже поступил в институт.

— В Брюсовский?

— Откуда знаешь?

— Я тоже там числюсь, но на лекции езжу не на все: времени нет. Стихи или прозу пишешь?

— Прозу.

— Ну, выходит, мы с тобой полные кунаки. Давай, брат, помогать друг другу. Дорожка эта, я уже понял, зело трудная.

И начался у нас разговор.

Так вошел в мою жизнь (а я в его) известный теперь писатель Алексей Венедиктович Кожевников, автор многих книг.

Закружила меня московская жизнь. Днем крутился с ребятами, вечерами — на лекции в ВЛХИ или на творческие вечера в какую-либо из литературных групп. Ходил по старой памяти к «крестьянским», потом вместе с Кожевниковым стал все чаще посещать «Кузницу», но об этом я еще расскажу, а сейчас надо вспомнить о женщине, с которой мне наказано было познакомиться.

Я не сразу нашел ее, нет, далеко не сразу. Окунувшись в этот котел кипящий, в работу с беспризорниками, даже и забыл про наказ, и, возможно, наше знакомство так бы и не состоялось, но бегу я однажды по двору и вдруг вижу: дорогу мне преграждает небольшого роста пухлая женщина в сером вязаном платке и поношенном ватнике.

— Дядя Федя? — спрашивает она меня.

У нас в приемнике дети называли педагогов дядями и тетями, ну и мы друг друга так величали.

— Да, я дядя Федя, — отвечаю ей.

— А я тетя Люба. Вам Елена Ивановна говорила, что в приемнике есть Копылова-Барановская, с которой вы обязательно должны познакомиться?

— Да, конечно. Говорила.

— Ну вот и давайте знакомиться: я и есть эта самая Любовь Федоровна. Заходите как-нибудь к нам вечерком, живем мы в седьмом корпусе, как раз над приемным pokojem.

— Хорошо, спасибо, непременно зайду.

А сам смотрю на нее во все глаза. «Ах, какая же она некрасивая! — думаю я. — Лицо пергаментное, под глазами мешки, нос на картошку похож...» И в то же время исходило от нее обаяние, чело-вечность, и голос был хорош — тихий, женственный, задушевный.

— Так приходите же, не обманите, — повторяла она. — Завтра или послезавтра. Мы вам будем рады.

— Обязательно приду!

И не пришел. Ни назавтра, ни послезавтра. Заблудился, что называется, в трех соснах. Дело в том, что этот седьмой корпус, внешне похожий на заводской цех, внутри был распланирован нелепо. Сколько ни ходил туда, не нашел я Копыловых-Барановских. И снова Любовь Федоровна встретила меня во дворе:

— Дядя Федя, как не стыдно? Обещали прийти и не пришли.

— Так ведь я искал, тетя Люба, да не нашел. Обе двери заперты, как ни стучал, никто не отозвался.

— Ах ты господи! — всплеснула она руками. — К нам вход не со второго этажа, а пониже, с лестницы. Забыла вам о том сказать. Идемте-ка сейчас, покажу, как к нам проходить.

Она не только вход мне показала чуть ли не потайной, в самом углу лестницы, но и в комнату на минутку пригласила, чтобы я знал, где мне придется с хозяевами разговоры разговаривать. После-то оказалось, что беседы всегда происходили между мною и Любовью Федоровной. Дядя Коля, супруг ее, сидел в стороне и щелкал на счетах: он работал в каком-то тресте счетоводом и часто брал работу на дом. А тетя Ира, ее сестра, тоже работавшая у нас воспитательницей, всегда хлопотала у примуса в хозяйственном углу.

Меня поразили не только огромные размеры комнаты (метров о сорока квадратных), но и ковры на диванах, на стенах, на полу. Правда, ковры были старые, потертые и как ни много их было, а всего пола укрыть не могли, пол же был цементный, с прогибом посредине. Еще бросилось в глаза обилие картин, главным образом портретов хозяйки, писанных маслом в декадентской манере, о чем я высказался вслух.

— Да, это работа моих друзей-декадентов, — подтвердила Любовь Федоровна. — Я ведь и сама писала стихи в том же духе. И так как всегда была нехороша собой, то меня в нашем кружке называли

декадентской мадонной. Но это потом, потом, а сейчас я только быстренько познакомлю вас с нашим общим любимцем, очаровательным Васенькой. Вот он, полюбите и вы его.

И она взяла с дивана спавшего там кота. В жизни я не видывал таких огромных и гладких котов.

— Правда, хорош?

— Да что тут хорошего? — не смог я покривить душой. — Разлопавшийся кошачий буржуй, вот и все тут.

— Ну нет! Вы измените о нем свое мнение, когда станете бывать у нас. Это такая умница, что не уступит гофмановскому коту Мурру. Только что не говорит. Обратите внимание, как он на вас смотрит: видите, видите? Он понял, что вы отозвались о нем неместно, и платит вам той же монетой.

Действительно, на морде у Васеньки было написано снисходительное презрение. Забегая вперед скажу, что я так и не полюбил его, хоть и хотелось этого хозяйке, отношения у нас с котом, как говорится, не сложились, но об этом потом, потом, а сейчас и Любови Федоровне и мне надо было спешить по своим делам.

— Ну вот, теперь, надеюсь, вы дорожку к нам запомнили,— говорит она мне.— Теперь уж начнете к нам захаживать.

— Обязательно. Боюсь, как бы только не зачистил...

Если бы я жил в средние века и был бы художником, то свое «святое семейство» писал бы только с них, Копыловых-Барановских. Это и в самом деле была идеальная семья, тихая, добрая, живущая в любви и уважении друг к другу. Когда ни зайдешь к ним, а заходил я частенько, у них тишина и лад, каждый занят своим делом. Любовь Федоровну чаще всего я заставлял за книгой.

— А, дядя Федя! — приветствовала она меня.— Милости прошу к нашему шалашу. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, я чтой-то глуховата становлюсь.

И начинался у нас разговор, то есть говорила большей частью Любовь Федоровна, я же только слушал. А послушать было что. И вела она беседу как-то по-своему, вдумчиво, мило. Голос у нее был тихий, она немножко, словно малый ребенок, шепелявила. О чем же шла у нас речка? О чем Любовь Федоровна рассказывала мне? Ну вот для примера хотя бы такой ее рассказ.

Она сидит на старом диванчике, поджав под себя ноги, рядом с ней этот отвратительный Васенька, я пристроился на низкой табуретке против них, внимательно слушаю.

— Это хорошо, дядя Федя, что у вас есть кое-какая начитанность, что вы любите классику. Но писатель должен читать не только великих, но и других авторов. И не только художественную литературу. Это необходимо каждому, кто и сам хочет что-то сказать людям. Ну вот, например, знаете ли вы кого-либо из символистов, акмеистов, футуристов? Думаю, не знаете, не читали никого из них. А ведь и они кое-что сделали полезное в развитии поэтического языка, формы. Я уж не говорю о таких мастерах, как Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый. А вот слышали ли вы о такой поэтессе, как Любовь Столица? Нет, вы о ней ничего не слышали и ничего из ее стихов не читали.

Большой частью Любовь Федоровна потчевала меня рассказами о поэтах, а мне-то хотелось послушать о прозаиках. Но мне и это было интересно, я уже слышал на лекциях в Брюсовском, что тот не писатель, в чьей прозе нет поэзии.

— А вот, представьте, эту вашу Любовь Столицу я как раз и читал, одно ее стихотворение даже и сейчас помню:

Гукают птахи на ветках,
Девки прячут орехи под спуд.

Любовь Федоровна страшно удивилась.

— Да, это ее строки. Но почему именно они запомнились вам?

Что было ответить на это? Сказать, что они мне показались смешными, хотя и звучными? Не хотел обидеть хозяйку, я ведь знал, что она дружила с этой Столицей. Сказал только, что запомнились, и все тут.

— А где ж вы в своей деревушке нашли ее стихи?

Ответил, что в каком-то из журналов. Брал их в семье лесничего, они выписывали, читали, потом выбрасывали, а ихний кучер подбирал, вот у него я и выпрашивал некоторые номера.

— Наверное, вам попал в руки альманах «Золотое руно», Люба сама его издавала. Она была женой состоятельного человека, инженера-путейца. Деревню очень любила и стихи писала большей частью на сельские темы. И она не только альманах издавала под этим названием, но и вечера «Золотое руно» проводила в своей квартире раз в год, я всегда на них бывала. Ах, дядя Федя, какие это были чудесные вечера! На них приглашались лучшие поэты, прозаики, художники, музыканты, артисты. В большом зале накрывался стол, ужин был роскошный, у столовых приборов перед каждым гостем лежал листок с приветственными стихами, написанными хозяйкой. А когда приглашенные входили в зал, на голову каждому две девушки надевали лавровый венок... Вы улыбаетесь, но мне тогда это не казалось смешным, да и теперь не кажется. Почему не увенчать лаврами того, кто это заслужил? Мы ведь частенько театрализуем в жизни, только не замечаем этого, играем роли приглушенно, тускло. А Любовь Столица любила театр и была открыта, ярка. Кто приходил на вечера? Многие, всех не перечтешь. Иван Бунин, Валерий Брюсов, Сергей Городецкий и многие, многие другие. Писатели должны были что-то прочесть свое, музыканты — исполнить самое любимое, певцы — спеть. И все читали, все исполняли, все пели за исключением одного человека — Бунина. Никогда, ни на одном «Золотом руно» он не прочел ни стихотворения своего, ни рассказа, его стихи исполняли чтецы, актеры.

— Почему же не сам? — спрашиваю я.

— Не знаю. Думаю, из-за гордости непомерной. Да и многие так полагали, а там как знать. Чужая душа — потемки.

«А может, он был стеснительный? Может, это особая взыскательность художника?» — думаю я про себя, а Любовь Федоровна рассказывает и рассказывает, и мы не замечаем, как летит время.

Но если я сдружился с ними, то с любимчиком ихним, этим треклятым Васенькой, началась у меня война. Дело в том, что на третьем этаже жило, кроме меня, еще семей тридцать, и у некоторых тоже были коты и кошки. И вот когда у какой из кошек начиналось «кружение сердца», то Васенька был тут как тут. Уму непостижимо, как ему удавалось проникнуть в наш коридор. Ведь дверь закрывалась плотно, да и ходила на пружине, но вот проникал. Наши-то коты тоже были начеку, у них и меж собой шло соперничество, а тут на тебе, этот боров толстый является. Ну, тут начинался знаменитый кошачий концерт, причем рулады выводил всегда слабейший, сильный же наступал молча — и неизбежная схватка!

Я в ужасе вскакивал среди ночи, выбегал в коридор, швырял в этот визжащий клубок чем попало, коты разлетались, затаивались, а утром ко мне в дверь стучался дядя Коля:

— Не видели ли вы где нашего Васеньку? Пропал где-то наш Васенька, не ночевал дома.

— Хоть бы он совсем пропал! — отвечал я ему. — Опять он мне спать не давал, всю ночь дрался с нашими котами.

Каким-то образом дядя Коля быстро находил его, брал на руки и начинал приговаривать:

— Ах, дурачок ты, дурачок! Ну зачем ты сюда ходишь, а? Тут народ нехороший, смотри, как они тебе носик оцарапали.

Не видал он его противников, с теми, возможно, и похуже было: ведь Васенька был среди них тяжеловес. И вдруг пропал, исчез бесследно. Тетя Люба плачет, тетя Ира тоже, дядя Коля ходит грустный. Я даже перестал их навещать, понимал, что им теперь не до разговоров со мной. Потом, этак через неделю, встречаю Любовь Федоровну всю сияющую.

— Ах, дядя Федя! Как я рада, что встретила вас! Хотела уж Николая Ивановича своего за вами посылать. Приходите сегодня к нам на вечер обязательно, обязательно!

— Что же это такое случилось у вас?

— А вот я вам и не скажу. Придете — узнаете. До вечера! Приоденьтесь немного, у нас будет большое общество.

«Нешто тетю Иру за кого посватали? — подумал я. — Так это маловероятно».

И вот вечером принаряженный, одетый в первый в моей жизни костюм, сшитый в кредит, сижу у Копыловых-Барановских. Общество действительно большое, человек до сорока, да все настоящие москвичи, не то что мы, понаехавшие из деревень. И стол сервирован красиво, сверкает на нем настоящий хрусталь, стопки, рюмки, фужеры, в графинах искрятся мадера и портвейн — они в тот год только появляться начали, я их в жизни не пробовал, только названия знал по романам. И как все сели, Любовь Федоровна встала, подняла крошечную рюмочку и начала свою речь:

— Дорогие друзья мои! Многие из вас еще не знают, не в курсе дела, как теперь говорят, с чего это ради у нас пир такой затеялся. Так вот я сейчас все вам поясню. У нас было пропал наш милый Васенька, а теперь он нашелся.

И Любовь Федоровна указала на диван, где на подушечке-думке лежал этот мучитель мой. Только это был не прежний кошачий буржуй, а тень его, кожа да кости. И тут выяснилось, она подробно все рассказала, где пропадал он больше недели.

Кот есть кот. Как ты его ни закармливай, а все же кошачий инстинкт в нем окончательно не заглухнет. И Васенька нет-нет да отпраивался куда-нибудь поохотиться за мышами. Вот и в этот раз учинил в кастелянской мышиный погром, хотел отправиться восвояси, а дверь заперта. Что было делать ему? Он углядел, что форточка в одном окне приоткрыта, решил махнуть через нее, а открыта она была только в одной раме, во внутренней, в наружной же была закрыта. И угодил кот в промежуток между огромными рамами, откуда ему при его толщине и весе никак было не выбраться.

Удивительнее всего, что мимо этого окна проходили не только воспитатели, не только ребята, но и сама Любовь Федоровна, и тетя Ира, и дядя Коля, да не замечали Васеньку. Выручил же его заведующий приемным покоем Короленко. Вечно он спешил, суетился, торопился, ката и не думал искать, а он-то и углядел его. И вот семейное торжество, тосты за спасителя Васеньки, за него самого, за семью Копыловых-Барановских, и хоть мне смешно отчасти, а уже понимаю их, даже кота отощавшего жалею, хоть и опять надо мне бояться его ночных походов.

Но боялся я напрасно, потому что в скором времени переехал на житье в Трехпрудный переулок. У меня уже были напечатаны первые рассказы, вышла небольшая книжечка, и я решил перейти на литературные хлеба, думая, что теперь уж дело пойдет. Ах, какая наивная душа я был в те времена!.. Как бы то ни было, уволился из Покровского приемника, только жил там, вернее доживал последние дни, заходил вечерами к Копыловым-Барановским, беседовал с Любовью Федоровной, и вдруг она мне говорит:

— Есть у меня в отношении вас думка одна, дядя Федя, и я

должна ее осуществить. А то, боюсь, уедете, не успею. Для вашей же пользы, и я это долгом своим считаю.

— Что же за думка такая? — заинтересовался я.

— Есть один литературный кружок, — начала она. — Называется «Современник»...

Кружков разных было тогда немало. Этот, по ее словам, соби-рался нечасто, на квартире одного из членов. Ничем не похож был на «крестьянских», на «Кузницу», а скорее на «Никитинские субботники», но куда скромней, в меньшем размере. Их, «современников» этих, всего и было десятка с полтора.

— И вот, — продолжала Любовь Федоровна, — есть там один человек, дядя Федя, с которым вам обязательно надо познакомиться. Вы так необходимы друг другу, подходите один другому. Это, конечно, мне так кажется, но думаю, я не ошибаюсь.

— Это кто же такой?

— А вот потом и увидите, пусть пока будет тайна. Я переговорю там со своими, они не станут возражать, а как приведу вас, вы и сами увидите, с кем я хотела вас познакомить. Думается, знакомство это перейдет в дружбу и будет это вам обоим только на пользу.

С ума сойти! Что за человек? Пойти-то я пойду, но почему она с такой уверенностью говорит о какой-то будущей дружбе?

— А он пожилой? — любопытствую я.

— Да нет же, ваших лет и тоже начинающий.

— Ну что ж, раз вы считаете нужным, знакомьте.

— И познакомлю!

Любовь Федоровна поговорила со своими кружковцами, и в один из дней, кажется, это было в воскресенье, вечером мы с нею и пошли. Да, перед тем как идти из дому, она посоветовала мне захватить что-нибудь свое написанное, но еще не напечатанное.

— Там сегодня должен читать другой человек, но знаете, как бывает иной раз. Заболел и не пришел или пришел, да рукопись не принес, не решается еще читать. Вот и надо в запасе другого автора иметь, возьмите что-нибудь, вас это не утянет.

И я взял два рассказа, только что написанных, — «Жука» и «Виноград».

В каком-то переулке мы входим во двор, звоним на первом этаже, нам открывает дверь хозяйка, женщина того же возраста, что и Любовь Федоровна, они целуются при встрече.

Не помню точно, где находился этот дом, но на всю жизнь запомнил маленькую уютную гостиную, хозяина, хозяйку, гостей. Собралось человек десять или несколько больше, все они были, видеть, давно знакомы друг с другом. Фамилия хозяина была Вешнев, он, как мне потом говорила Любовь Федоровна, тоже имел какое-то отношение к литературе. Типичный интеллигент, внешне немного похожий на Чехова. Хозяйка ему под стать, скромная, тихая. Ну и гости, мне показалось, такие же.

— Это дядя Федя, мой коллега по приемнику, начинающий писатель, — отрекомендовала меня Любовь Федоровна. — А это, — говорит она уже мне, представляя кружковцев, — Лев Гумилевский... Александр Яковлев... Петр Замойский, тот самый, о котором я вам говорила... Новиков-Прибой... Ютанов... Насимович...

Я смотрю во все глаза на Замойского: «Так вот он каков!» Роста невысокого, потертый пиджачишко, лицо острое, все в веснушках, и умные, маленькие, со смешинкой глаза. Он тоже внимательно посмотрел на меня. «Что же такое представляет из себя этот конопатый, что я обязательно должен с ним подружиться и это будет на пользу мне?» — думаю я, наблюдая за ним потихоньку.

Смотрю с любопытством и на других, некоторые, как, например, Яковлев, Новиков-Прибой, Гумилевский, были уже известные писатели. Узнал я и Ивана Федоровича Насимовича, которого видел од-

нажды в Госиздате. Он ведал там отделом детской литературы, а помощником ему был Иван Евдокимов. Я принес им сказку для детей, и Евдокимов разнес ее в пух и прах, да еще сказал, что время сказок миновало, их никто не должен писать и никто не будет читать. Ну, тут я, хоть и был зелен, сцепился с ним, сказал, что сказку никому не убить, потому что она сказка, а вот сказка вполне может укокошить таких, как он, Евдокимов. Иван же Федорович, слушая нас, только улыбался. Он и сейчас улыбается, глядя на меня. Возможно, и узнал,— узнал же я его.

Как и предполагала Любовь Федоровна, тот, кто должен был читать, на вечер не пришел. А без читки нового что же это за литературный вечер?

— Тогда,— говорит она,— может быть, попросим дядю Федю, чтобы он нам прочитал свое для первого знакомства?

Люди вежливые, говорят, что, мол, конечно, очень приятно познакомиться с новым автором, и я начинаю читать... Нет, я не оробел, мне уже приходилось выступать у «крестьянских» и в «Кузнице», даже в клубе одним выходил на сцену вместе с «кузнецами». А тут народ приветливый, чего ради я смущаться должен?

Читаю для начала рассказ «Жук». Речь в нем о беспризорнике, как он отправился к самому Сталину, а часовые в Кремль не пустили, и вот он решил дожидаться, пока тот пойдет с работы домой, на улице мороз, он топчется в подворотне напротив Кутафьей башни и думает про себя: «Ничего, жрать захочет — выйдет!»

Кончил читать, гул одобрения.

— Я бы этот рассказ сразу напечатал,— говорит Насимович,— если бы редактором журнала был.

И только Замойский один молчит, улыбается.

Меня просят прочесть другой рассказ, берусь за «Виноград», тоже принимают хорошо, но не так, как «Жука». Зато Замойский оживился, смотрит на меня радостно, ему, видать, понравилось. Тут подают нам закуску, да такую, что я растерялся. Каждому принесли по хорошей порции студня, потом чай с лимоном и пирожными. И вот за чаем началось обсуждение моих рассказов. «Да, это не то что в «Кузнице»,— думаю я.— Вот только на чьи же средства такое угощение?»

После, будучи один раз на «Никитинском субботнике», я увидел нечто подобное, но ведь там и издательство свое было. А вот кто расходовался у Вешнева на угощение, не знаю. Но суть не в этом, это не главное. Хотя мне понравилось такое обсуждение за стаканом чая. Как-то уютней получается.

«Жук» мой всем понравился, даже Новиков-Прибой буркнул что-то одобрительное, хотя был тогда сердит на меня, о чем еще расскажу. Второй рассказ не произвел такого впечатления. И только Замойский выступил всем наперекор.

— А вот мне,— говорит он,— «Виноград» больше пришелся по душе. «Жук» написан хлестко, ничего не скажешь, но это не каманинский рассказ. А второй — его. Я читал рассказы Каманина в рукописях, вот те в таком же духе.

— Где вы их читали? — изумился я.

— В Госиздате, в отделе массовой литературы. «Блоху» читал, «Могильный камень», мне их давали на рецензию.

Убиться можно! Меня привели знакомить с человеком, а он, выходит, уже знает меня, читал мои рассказы. Ну и дела! Потом, помню, Гумилевский сел со мной на диванчике рядом и стал спрашивать, кто я, откуда, как начал писать.

— У вас дело пойдет, поверьте мне,— сказал он.

Вышел я из квартиры не с Любовью Федоровной, а с Замойским. Как это получилось, сам не понимаю.

— Ты где живешь? — спрашивает он меня.

— Далеко. На Бакунинской, бывшей Покровской. Трамваем час ехать.

— А я живу близко, на Брестской. Может, пойдем ко мне, у меня и заночуешь? Поговорили бы.

— Так у тебя, наверное, семья? Не хочу стеснять людей.

— Семья моя, жена с детишками, в большой комнате на третьем этаже, а я на втором, в маленькой и без окна, у меня там и днем лампа горит. Слушай, у меня не только кровать, но и диванишко старый имеется, на нем и переспишь. Пошли!

И я пошел к нему. И мы проговорили всю ночь...

Глава третья

«КУЗНИЦА» И «КУЗНЕЦЫ»

Четверги «Кузницы» я начал посещать с зимы 1922/23 года, и повел меня туда мой институтский дружок Климент Яковчик, удивительно добрый, легко со всеми знакомящийся человек.

Бывал я с ним до этого в Пролеткульте, где увидел впервые знаменитых тогда Михаила Герасимова и Владимира Кириллова. Очень были занозистые и, как вошли в зал, так сразу же, не спросив слова, начали кричать свое, прерывая докладчика. Водил он меня и на вечера Лефа, и в Союз поэтов, и даже в «Стоило Пегаса», кабачок на Тверской, сводил. Не понравилось мне это «Стоило Пегаса», я-то сам тогда еще не пил и не курил. Вот и в «Кузницу» он, Яковчик этот, меня затащил.

— Ты в какой-нибудь группе состоишь? — спросил как-то вечером в институте, куда редко, но все же заглядывал.

— Состою в «крестьянских», да почти не хожу: некогда.

— И нечего тебе туда ходить. Ты, брат, вступай в другую группу. Ну хоть в «Кузницу». Смотри, кто там есть. Прозаики: Ляшко, Гладков, Бахметьев, Сивачев, Новиков-Прибой, Низовой. Поэты: Обрадович, Александровский, Казин, Санников, Бердников. Есть у кого учиться! А у «крестьянских» у кого ты будешь учиться? В следующий четверг мы пойдем туда, сам посмотришь и убедишься.

Я пошел, посмотрел, убедился и, кажется, с того четверга не пропускал ни одного вечера «Кузницы» в течение лет четырех-пяти. Помещалась она, как почти все тогдашние литературные организации, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Занимала на третьем этаже одну комнату средних размеров, там и правление было и проводились обсуждения. Рядом в двух комнатах заседал ВОКП (крестьянские писатели), а дальше шли помещения, занятые РАППом и редакциями журналов «Литературный критик» и «На литературном посту». Второй же этаж, где комнаты были попросторнее и посветлее, получили Всероссийский союз писателей (попутчики) и Союз поэтов.

Как проходили творческие вечера «Кузницы»? Руководил ими Николай Николаевич Ляшко, всегда спокойный, вежливый. Не знаю, обязанность ли это его была как члена правления или он просто любил это дело, но никто, кроме него, вечеров не вел. Он же принимал рукописи от желающих, устанавливал очередность, советуя иногда авторам повременить с читкой, поработать еще над рукописью, — значит, предварительно он все прочитывал.

Народу на вечерах было не очень много, человек до сорока. Из них членов «Кузницы» меньше половины, остальные — гости, большей частью старушки какие-то. Корифеи же, такие, как Низовой, Новиков-Прибой, Гладков, Бахметьев, бывали только на организационных собраниях или когда сами читали свое. На собраниях главенствовал Владимир Матвеевич Бахметьев, он был в группе, как стало мне ясно, идейным вождем. Часто я видел Обрадовича, Сива-

чева, бывал на вечерах и Григорий Санников, хотя числился одновременно в группе «Октябрь». Это тогда разрешалось, многие «кузнецы» состояли и в других организациях, но ни в коем случае не в РАППе.

Мне же одни писатели были по душе, другие не очень, а разногласий между группами я особых не видел, да в них и не вникал. Помню, как один из руководителей ВОКПа, из молодых, но бойкий, надумал войти в РАПП. Мы с ним были приятели, он и меня уговорил и еще нескольких, но только не Замойского, тот был нас поумнее. И вот мы явились туда, за столом президиума сидел главный их критик Авербах, и наш выступил с речью, что поскольку, мол, есть союз рабочего класса и крестьянства, то и мы, крестьянские, готовы влиться в РАПП на правах самостоятельной группы, у нас и название придумано — «Закал». Тут Авербах переспросил: «За что? За что?» — и наш, не заметив подвоха, ответил раздельно: «„За-кал“!» Тем дело и кончилось.

«Кузница» же была с РАППом в непримиримой вражде.

— Нельзя даже в шутку, — говорил на одном из собраний Бахметьев, — называть писателем человека, который только еще начинает писать. РАПП, практикуя прием всех желающих, поступает неразумно и вредно. Ведь не называют на заводе слесарем того, кто закрутил одну гайку. А мы часто так и делаем: даем титул литератора человеку, сочинившему один рассказ или одно стихотворение. Глядишь, он и сам этому поверил, бросает производство, а литературой ему не прокормиться, вот и катастрофа у него.

Привожу эти слова не со стенографической точностью, но за смысл поручусь. И я был с ним согласен, хотя мне хотелось самому стать поскорее членом такой сильной творческой организации, как «Кузница». Молодость, ничего не попишешь! Но я решил заработать это право, решил учиться писать, а пока что ходил на четверги «Кузниц» и слушал написанное другими.

— Сегодня у нас читает главы из своей новой повести Алексей Сильч Новиков-Прибой, — говорит Ляшко на одном из очередных вечеров. — Пожалуйста, Алексей Сильч.

С одного из кресел поднялся кряжистый, небольшого роста человек с лысиной, внушительными усами. Он направился солидно к столу, занял место рядом с председателем и начал читать главы из повести «Ералашный рейс».

Рассказы Новикова-Прибоя я уже читал, мне они очень нравились, особенно «Две души», над которыми я плакал горько. А вот новая повесть мне что-то не очень нравится, я то и дело ловлю языковые шероховатости, да и читает он очень уж грубовато и просто. А надо заметить, что как раз у таких-то, каким я был тогда, у самих мужиков, тонкий слух к мужицкой речи, и она им, несмотря что родная, не нравится в книге, кажется грубой. Не знаю, чем это объяснить, но тогда со мной было именно так.

«В конце концов, — думаю, — не в читке дело, он не артист, но вот ляпсусы, неувязки стилиа... Как же так? Ведь известный писатель, книг у него много, почему же не замечает сам, что не все у него гладко, что кое-где плоховато?»

Я тогда был в полной уверенности, что стоит человеку перейти в творчестве какой-то рубеж, овладеть раз и навсегда мастерством, а дальше уж дело только за сюжетом, а языковые трудности все позади. И по установившейся уже привычке записываю наскоро, что мне кажется очень хорошо, а что не совсем хорошо. К моему удивлению и огорчению, тех пометок, где «не совсем хорошо», выходит куда больше. Тем временем Новиков-Прибой кончил читать, пошло обсуждение, а начиналось оно в «Кузнице» так.

— Вы что скажете о прочитанном? — обращается Ляшко к первому сидящему от стола.

Если человек не хочет говорить или сказать ему нечего, то промолчит, а если желает, берет слово. И так по порядку Николай Николаевич опрашивает всех присутствующих. Временем не ограничивали никого, но этим, надо сказать, никто не злоупотреблял.

Так было и на сей раз, но, удивительное дело, сегодня даже такие задиры, как Чистяков и Молодцов, не говорили ни одного критического слова. Сплошные похвалы автору. Я не узнаю «Кузницу» сегодня. Доходит очередь до меня. А я к тому времени уже научился критиковать других — критиковать-то всегда легче, чем самому писать, — и пошел. Ну точно резвый телок, выпущенный на луг. И что же было потом!

Алексей Сильч метал на меня молнии из-под своих нависших густых бровей: откуда, мол, этот фрукт взялся? Чистяков и Молодцов кричали, что я молод еще и глуп, чтобы учить таких мастеров, да и остальные, хоть и не в такой резкой форме, старались меня укоротить, поставить на место. Ну и я разошелся, стою на своем.

Алексей Сильч ничего не сказал. А у меня на душе остался неприятный осадок. Я уже пожалел, что вылез со своей критикой, да, может, и не прав, раз все против меня. Но вот чего я никак не ожидал, так это того, что мои наскоки положат начало дружескому отношению Новикова-Прибоя ко мне.

Дело было так. Алексей Дорогойченко, один из руководителей ВОКПа, пригласил меня на товарищеский ужин актива. А я уже был в квартире, и книги у меня начали выходить. Пирушка происходила в квартире Дорогойченко, в Старо-Конюшенном переулке. Квартира была очень большая, комнат о десяти, жили там и другие писатели, в том числе Новиков-Прибой. И вот когда мы все стали очень веселы, перешли на песни, в комнату входит Алексей Сильч с папиросой в мундштуке неизменной. Ну, все, конечно, к нему:

— Алексей Сильч, дорогой! Садись! Гостем будь!

Потащили его к столу и усадили — рядом со мной. Ведь из «крестьянских» никто не знал, что у меня с ним произошло. Я сижу ни жив ни мертв. Налили Сильчу водки, чтобы «догнал» нас. Не спеша, приема в два осушил бокал. Он любил вышить, но умеренно. Снова закурил. И вдруг — толк локтем меня в бок:

— Каманин!

— Слушаю вас, Алексей Сильч.

— А помнишь, как ты в «Кузнице» меня раздраконишь?

— Простите, Алексей Сильч, молод был, зелен был.

— Нет, ты правильно подметил. Я, конечно, разозлился на тебя, а после посмотрел те места и вижу, в самом деле коряво получились они у меня. Ты читал книжку после выхода?

— Нет, не читал, — признался я.

— Посмотри. Я многое выправил.

С того дня мы стали с ним друзьями, если можно так сказать. Частенько он звал меня прогуляться по улицам и переулкам Москвы. Особенно любил копать у лотков со старыми книгами, покупать что приглянется. И вот это отношение Новикова-Прибоя ко мне я запомнил как урок для себя на всю жизнь. Как бы ни была порой неприятна нам критика, а все же приглядеться и прислушаться к ней не мешает: вдруг да она правильная?

Состоял членом в «Кузнице» и Дмитрий Иванович Фурманов, но на вечерах я никогда его не встречал. Видел всего раз в Госиздате, где он работал полйтредактором. Это было, кажется, в 1925 году. Я написал тогда «Ивановскую мельницу», свой первый роман, и не знал, куда его отнести. Отдавать в «Красную новь», единственный тогда тоастый журнал, не было смысла: Редактором его был Алек-

саандр Константинович Воронский, а он нас, «крестьянских» и «пролетарских», не жаловал.

Об этом коротко расскажу не ради описания моих дел, а чтобы коснуться нравов нашей среды и моих тогдашних представлений. Воронский, кроме «Красной нови», редактировал журнал «Прожектор», руководил издательством «Круг», под его рукой была, можно сказать, вся «большая» литература, он выпестовал многих отличных писателей, сам был в своих критических статьях тонким стилистом — о нем, думается, много еще будут писать. Но к нам, как уже сказано, он относился пренебрежительно, и мы ему платили той же монетой.

Однако напечататься у Воронского многие из нас пытались, это было почетно — напечататься у него. Как-то и я отдал рассказ в «Прожектор», оставил у секретаря редакции Вашенцева и через некоторое время узнал, что рассказ принят. Обрадовался, но друзьям ничего не сказал: появиться у Воронского лестно, а вот ходить к нему вроде бы неловко. С месяц прошло, и показали мне резолюцию редактора: «Вдвое сократить. А. Воронский».

— Как это вдвое? — удивился я. — Ведь это не метр ситца, взял да и разорвал пополам.

— Да вы не обращайте внимания, — ответил Вашенцев. — Сократите насколько возможно, и все.

Ну, я кое-что сократил, оно и на пользу пошло, и опять потянулись недели ожидания, а в это время «Кузница» начала издавать свой журнал, я отдал туда второй экземпляр рассказа и отправился забирать первый из «Прожектора». Захожу, а там, смотрю, сидит сам Воронский, ведет беседу с Зозулей и Вашенцевым.

— Товарищ Воронский, — говорю ему, — когда я могу получить свой рассказ обратно?

— Какой рассказ?

— «Первая любовь».

— А, помню, — говорит он. — Не пойдет.

— Но вы ведь вначале приняли, просили сократить...

— Да, он было мне приглянулся, но потом я увидел, что рассказ нехорош, не для нас.

— Чем же, интересно бы мне знать как автору?

— Чем? Да он грязный рассказ по содержанию.

Тут у меня все пошло кругом. Чего угодно я мог ожидать, только не этого: все мои друзья считали рассказ целомудренным.

— Это вас, — говорю, — можно обвинить в пристрастии к грязным произведениям!

Вашенцев и Зозуля смотрят на меня с ужасом, но я уже рассказал как следует. Вспомнил один роман, вышедший в «Красной нове», где на первой же странице был такой перл: «Тетка история оголила зад, прыснула». Еще что-то говорил в этом же роде. Воронский онемел, пенсне поправлял на носу, так он был ошеломлен дерзостью какого-то молокососа литературного.

— Ну, знаете, — говорит мне. — Вряд ли мы с вами сойдемся.

— А мне и не надо! — отвечаю. — Можете вы упрекнуть Николая Николаевича Ляшко в любви к «грязным» рассказам?

— Нет, Николай Николаевич — святая душа.

— Ну так вот, — говорю, — можете прочитать мою «Первую любовь» у него в пятом номере «Рабочего журнала».

С тем и ушел, гордясь, а в то же время, вспоминая, обидно было до слез. Мы тогда убеждены были, что Воронский эстетствует, когда утверждает, что нет ни пролетарской, никаких других литератур, а есть только литература плохая и хорошая. Потом-то я стал смотреть на это иначе... Как бы то ни было, нести свой роман в «Красную новью» я не мог. А куда еще?

— Неси ты его в Госиздат, — говорит мне один из «кузнецов», Александр Макаров. — В отдел изящной литературы.

— Но там заведующий тоже Воронский, — говорю ему я.

— Ну и что из того? А политредактором в отделе Фурманов. Это, брат, наш человек, хороший парень, он не смотрит на ранги, была бы хорошо написана вещь.

И я послушался совета, отнес свою «Ивановскую мельницу» в отдел изящной литературы, как именовали тогда отдел художественной литературы Госиздата. Фурманов в тот раз не видел, а рукопись у меня принял Евдокимов, автор «Колоколов», он был там секретарем. Через месяц я получил собственноручное письмо от Фурманова, писанное крупным размашистым почерком. Он писал, что отдел ознакомился с рукописью и нашел, что роман заслуживает быть изданным. Однако в нем есть ряд мест, которые нужно выправить, прежде чем сдавать в печать, места эти указаны на полях.

Исправления были незначительные, я мог бы их сделать быстро. В Госиздате считался уже своим автором, правда в других отделах — массовой литературы и детской. И вот, будучи там по своим делам, надумал зайти к Фурманову: не заключат ли они со мной договор? Так-то оно было бы верней. И зашел.

Отдел изящной литературы занимал всего две комнаты: небольшая проходная, где за высокой конторкой сидел не менее высокий Иван Евдокимов, сам похожий на колокол, его так и рисовали карикатуристы, и вторая, побольше, где работал Фурманов и куда изредка наведывался Воронский.

Когда я вошел туда, в проходной был, кроме Евдокимова, еще один человек, маленький, лысый, в очках, примостившийся на ступеньках конторки. Я сразу узнал его: это был знаменитый тогда Исаак Бабель, автор «Конармии». О чем-то он толковал с Евдокимовым. Я заглянул во вторую комнату, но Фурманова не было.

— Подождите, — сказал Евдокимов. — Сейчас он придет.

Они продолжали негромкий свой разговор, я не прислушивался, ждал. Вошел Алексей Толстой, медлительный, спокойный, с суковатой палкой в руках. На меня пахло дорогими духами. Он поздоровался с Бабелем и Евдокимовым, по мне скользнул взглядом, мы ведь не были знакомы, о чем-то тихо спросил, ему ответили, и той же вальяжной поступью вышел.

Потом появился Фурманов. Этот казался подтянутым, ловким, был в своей всегдашней гимнастерке защитного цвета, таких же брюках, в сапогах. Сразу увидел меня, взгляд у него был внимательный, пронизывающий тебя насквозь, но не злой.

— Ко мне? — спросил он меня.

— Да.

— Идемте!

Мы уж было пошли, как вдруг он заметил Бабеля, притулившегося на ступеньках конторки, и обратился к нему:

— Слушайте, Исаак Эммануилович, вы брали у меня книгу?

— Да, Дмитрий Иванович. Но я ведь ее вам и вернул.

— А в каком виде вы ее мне вернули?

— То есть?

— Вы ее всю испортили своими пометками, подчеркиваниями в тексте. Разве так можно?

Фурманов смотрел на Бабеля сверху вниз своими строгими глазами, а тот смотрел на него снизу вверх глазами будто бы наивными, почти детскими и кротко улыбался.

— Ну что вы улыбаетесь? Испортили книгу, да еще и улыбаетесь!

— Видите ли, Дмитрий Иванович, когда я делал пометки на вашей книге, я думал, что с моими пометками она для вас станет более ценной.

Какое-то мгновение они смотрели друг на друга молча.

— Вы так всерьез думаете? — спрашивает Фурманов.

— Да, — кротко отвечает Бабель.

— Ну что ж, в таком случае вы по-своему, может быть, и правы, — сказал на это Фурманов и повернулся ко мне: — Идемте!

Разговор в его кабинете был недолгий. Я сказал, что письмо получил, с замечаниями согласен, буду думать над романом. О договоре и не заикнулся, было неловко перед ним. Он слушал внимательно, смотрел пристально, будто ему не то важно, что я говорю, а как говорю, как держусь. Сказал, чтобы я, когда закончу работу, приходил прямо к нему. Руку пожал по-мужски, крепко.

Конечно, я мог быстро выправить рукопись и отнести Фурманову. Но у нас в «Кузнице» говорили, что сам он работает над своими вещами долго и трудно. Бабеля он потому, мне показалось, простил пометки, что ценил в нем великого труженика и мученика слова. Как же я понесу ему роман через каких-нибудь две недели? И я подержал рукопись у себя месяца на два, а когда принес в издательство, Фурманова там уже не было. Его отозвали в ЦК ведать отделом печати. Вскоре он заболел и умер, военный, смелый человек, — не от пуль, от гриппа.

Так и вышло, что я видел его один-единственный раз. Но запомнил — он был из тех людей, которые всю жизнь у тебя перед глазами как живые...

Не помню точно, когда меня приняли членом в «Кузницу», но, кажется, это было году в двадцать шестом. Секретарь литгруппы Тимофей Дмитриев сам мне сказал:

— Каманин, почему не подаешь заявления о приеме?

— Боюсь, — ответил я. — Вы ведь принимаете только сложившихся писателей.

— Ну не все уж такие «сложившиеся». А у тебя роман вышел. В общем, старики о тебе говорили. Пиши заявление.

«Ивановская мельница» действительно вышла из печати, но не в Госиздате. Там место Фурманова занял Тарасов-Родионов, а этот был прямой противоположностью ему. Человек незлой, но нерешительный, суетливый. Да, мол, хорошо, обязательно рассмотрим, решим. И не рассматривал, не решал. Читать мой роман начали по второму кругу, на рецензию дали Артему Веселому, и он его благополучно «угробил». Позже, когда мы с ним хорошо познакомились, он сказал мне со своей обычной грубоватой прямоотой:

— Видишь ли, «Мельницу» твою вполне бы можно издать. Но тебя надо было проучить, ты мог и лучше написать, я это чувствовал, хотя и не знал тебя.

И должен признаться: Артем был прав. Я тогда не особо горевал, отнес роман в Московское товарищество писателей, где его и напечатали довольно быстро. Но если бы сегодня его вздумали переиздавать, то переписал бы все заново.

Итак, я подал заявление, и меня приняли в «Кузницу», да еще сразу в члены, минуя кандидатство. Я был счастлив, горд, чувствовал себя среди «кузнецов» как дома, ко мне все относились дружелюбно, здесь я был свой. Когда Павел Низовой, Михаил Сивачев, Сергей Малашкин, Николай Москвин просто спрашивали, как живу, над чем работаю, то и это радовало: значит, интересуются, значит, я уже не один на белом свете.

Потом Ляшко ближе привлек меня к работе. Сказал, что «Кузница» будет проводить литературные вечера на заводах и фабриках. Группа наша пролетарская, и произведения свои мы должны выносить на суд прежде всего рабочих. Надо это дело организовать, а поскольку я из самых молодых, то мне это и хотят поручить.

— Согласен, Николай Николаевич, — отвечаю я.

— Ну вот и хорошо, — говорит он. — А обязанности твои будут простые. Намечаем пункты, заводы и фабрики, ты туда едешь и договариваешься о дне выступлений. Условий никаких мы не ставим, а если спросят в завкоме, ответишь: условия те, какие им удобны. Есть у них средства — пусть платят сколько могут. Гонорары-то у наших ребят не те, что в «Красной нови». А нет у них денег — читаем так, без вознаграждения, как литераторы рабочего класса.

И стал я у Ляшко, можно сказать, правой рукой по организации вечеров в рабочих клубах. Года три помогал ему в этом, и чего только не пришлось повидать за это время. Бывали у нас удачи, случались и срывы, курьезы. Но интерес к встречам был повсюду велик, телевизоры еще не появились, и увидеть «живых» писателей кроме как лично люди не могли. Как-то я приехал на завод АМО договариваться об очередном выступлении, сижу в завкоме, перечисляю «кузнецов», а одна из работниц, в красном платочке, средних лет, видать, боевая, вдруг говорит:

— Вот если придет Гладков, то зал будет полный.

Меня это не удивило. Федор Васильевич был тогда в зените своей литературной славы, «Цемент» его был превознесен как лучший роман тех лет, и автор слегка возгордился, хотя и умел показать, что это, мол, ему безразлично.

— Не знаю, будет ли он, но боюсь, что нет. Очень уж занят сейчас, даже в «Кузнице» редко бывает, — ответил я ей.

— Заважничал, значит? Жаль, мы бы поучили его, как писать.

— Что-что?

— А то, что слышите! Можете передать ему это.

— Вам не нравится его последний роман?

— Нет, отчего же? «Цемент» хорош, но есть в нем кое-что такое, с чем я, например, не могу согласиться.

— А что именно?

— Ну, это я ему самому скажу, если соизволит к нам явиться. Ясное дело, разговор свой я передал Николаю Николаевичу. А он, надо сказать, всерьез интересовался мнением читателей-рабочих, видел в их оценке высший критерий, и это была не поза.

— Да, интересно, — раздумчиво произнес он. — Федя не любит отрицательную критику, не хотелось бы портить ему настроение, но, с другой стороны, ведь это рабочие хотят сказать свое мнение о романе. Я, пожалуй, уговорю его, чтобы принял участие в этом нашем вечере. Только ты не предупреждай, что его там ждет, если спросит тебя. А то ведь он не поедет.

Я обещал. Оно, пожалуй, и забавно сказал Ляшко об отрицательной критике, но столько я читал с той поры чрезмерно положительной, что уточнение было не лишнее. А Гладков действительно подошел ко мне, увидев во дворе Дома Герцена:

— Это правда, что на АМО хотят, чтобы я выступил у них?

— Да, Федор Васильевич, истинная правда.

— Ах, что делать? И занят я ужасно, а, видимо, придется поехать, завод-то большой.

И он был с нами на этом вечере. Ехал пожинать лавры, да так бы оно и вышло, если б не эта, в красном платочке. Зал был полон народу, и все нас хвалили, особенно Гладкова, а потом выступила она. Говорила только о «Цементе», да не о всем романе, а только об одной линии в нем.

— Вот вы, товарищ Гладков, пишете, что когда Глеб Чумалов вернулся с войны домой, а его жена, Дашенька эта самая, сошлась за это время с другим, то встретила его не как мужа, а как чужого. Допустим, такое бывает, не удержалась баба, не поручусь и за себя. Но чтобы так вот встретила мужа, которого любит, перед которым виновата, как эта Даша встретила своего? Да ни за что в жизни! Я бы обрелась вся! Где это вы видели такую колоду бессердечную, хо-

тела бы я знать? А если и видели, то не с таких надо романы писать!

Зал смеется, шумит, хлопает, Гладков сидит в президиуме весь красный. Так разволновался на этом вечере в клубе завода АМО, что и потом долго не мог успокоиться.

— Федя, ты знал, зачем они приглашали меня?

— Откуда мне было знать? — отвечал я ему.

Но он мне, видно, не поверил. А про себя я думал, что Федору Васильевичу полезно знать и такое мнение о романе своем.

...Часто, очень часто вспоминаю я «Кузницу» и «кузнецов», а нас, считай, почти уже не осталось, и четверги наши вижу как наяву, слышу приглушенный голос Николая Николаевича Ляшко:

— Вы что скажете о прочитанном?

Глава четвертая

КАК Я СНОВА ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

Бывает же в жизни такое: ты писателя еще в глаза не видал, ничего из написанного им не читал, а на основании какой-нибудь мелочи, двух-трех случайно увиденных строк невзлюбишь его, посчитаешь за сноба, язвительного человека. Строки такие попались мне на глаза в самом неожиданном месте, в Загорском музее фарфора и старинной книги, я прочитал их в «Книге отзывов»:

«В этом музее мне больше всего понравилось то, что тут посетителям подают чай с лимоном и кусочком пирога. А. Платонов».

Внизу были число и год — 1927-й. В музей Платонова привел, как выяснилось, мой друг Алексей Кожевников, он и с ним был в друзьях, а мне не раз говаривал: «Ах, Федька, вот уж кому завидую, так это Андрею Платонову, из всех нас он один настоящий писатель!» Меня Кожевников тоже затащил в этот музей, и мы пили чай в компании с его завом профессором Александровым, тихим старичком иконописного облика. Мимоходом я видел и замзава, могучую старуху Авдотью Тарасовну, и техничку Матрешку, безносую и рябую. Пригласили и меня дать отзыв об увиденном.

Было ясно, что в музее, если только его можно было назвать музеем, посетителей бывает негусто, смотреть особенно нечего, да и чайком балуют не всех, а только избранных, кого хозяева хорошо знают, но если уж ты удостоился такой чести, то как же у тебя подыметесь рука обидеть их? И я написал что-то лестное, сильно покрывив душой, а следом спросил у друга своего:

— Это того самого Платонова запись, которого ты всегда нахваливаешь?

— Да, того самого, — ответил Кожевников. — А что?

— А то, — говорю ему, — что я бы никогда такое не написал.

— Ну да ведь ты и не Платонов!

Говорили мы чуть ли не шепотом, но слух у заведующего оказался не по возрасту, и он полюбопытствовал у меня:

— Вам не понравилась платоновская запись?

— Нет. Я и пробежал ее только потому, что была последняя.

— А мне, — говорит старичок, — нравится.

— Чем же, интересно узнать?

— Тем, что она искренняя, — отвечает он. — В наше время не каждый тебе правду в глаза скажет, а тем более напишет.

Это уж был камешек в мой огород, и я умолк.

Позже Кожевников мне все рассказал. Профессор Александров и Авдотья Тарасовна — это муж и жена, Матрешка — давнишняя их прислуга, а музей этот — их собственный дом. И еще два дома, напротив и рядом, до революции тоже им принадлежали, но после Февральской они, вернее Авдотья Тарасовна, те дома продали. Каким-то верхним чутьем она учуяла, куда дело клонится, и взяла за них поря-

дочные деньги, еще николаевскими. А сразу после Октября догадалась подарить последний дом Загорску как музей фарфора. Это было зачтено им в заслугу, и в награду их оставили в музее. Профессор — зав, жена его — зам, Матрешка — техничка. Скромная зарплата, паек для служащих да крыша над головой — это и было самое ценное, что осталось от их домов, потому что те два, проданные за николаевские, они, считай, даром отдали.

Видимо, мой друг рассказал эту историю и Платонову, вот он и не церемонился в своей записи. Но думать о нем хорошо я тогда не мог. И тут же, вскорости состоялась моя первая встреча с Андреем Платоновым — у того же Кожевникова. Захожу к нему как-то, а у него гость, сухощавый человек, которого я где-то будто встречал, не то в редакции какой, не то еще где.

— А-а, Хледя! — Кожевников частенько меня так называл, когда был в настроении. — Милости прошу к нашему шалашу. Мамка, рюмочку для Хледи!

Они втроем (жена моего друга Наталья Прокофьевна тоже присутствует здесь) сидят за столом, а на столе, само собой, бутылочка и скромная закуска. И две рюмки стоят, перед хозяином и хозяйкой, а перед гостем таковой не вижу. «Неужто непьющий?» — подумалось мне. Усаживают меня рядом с ним, и тут он, окинув меня спокойным, я бы даже сказал ленивым, взглядом, берет стоящую у него на подлокотнике вольтеровского кресла рюмку с водочкой, подвигает кресло чуть в сторону, снова садится, рюмку ставит на подлокотник. И хоть бы капелька пролилась!

— Ну, друзья, за Хледин приезд!

Мы чокнулись, выпили, и опять сухощавый поставил свою рюмку на подлокотник. «Все равно, — думаю, — как-нибудь он заговорится да и смахнет ее на пол, если не поставит, как все добрые люди, на стол, а будет манерничать, держа под локтем».

Но этого не произошло ни с этой рюмкой, ни с последующими, которые он потом выпивал, хотя даже и не смотрел на них, словно бы забывая, что они есть на свете, стоят на подлокотнике. «Позер, позер настоящий», — думаю я, наблюдая за ним.

— Леша, ты бы хоть познакомил людей, — спохватилась Наталья Прокофьевна. — Они, поди, не знакомы еще.

— Верно, мамка, мое упущение, — говорит Кожевников. — Андрей, это наш старинный друг, мы еще в двадцать втором работали вместе в Покровском приемнике. А зовут его Федор Каманин, хотя на Каме он сроду не был, ни он, ни предки его, а там кто его знает, может, в каком колене и жили там. А это, Хледя, тот самый Андрей Платонов, запись которого в Загорском музее так тебе не пришлась по нраву. Будьте знакомы, полюбите друг друга.

«Так вот он каков!» — думаю я, глядя на сухощавого уже не стесняясь, в оба. А он на меня и не смотрит, будто нас не познакомили, будто меня и нет вовсе. Был Платонов слегка навеселе.

— Это почему же ему не понравилась моя запись? — обращается к Кожевникову.

— Он тогда сказал, что она обидна для стариков.

— А ты бы ему пояснил, что тех старичков трудно чем-нибудь обидеть, особенно Тарасовну, она сама хошь кого обидит.

Впоследствии, перебравшись в Загорск, я чуть ли не год прожил в доме Авдотьи Тарасовны, муж ее помер, музей ликвидировали, и она, боясь воров, брала квартирантов. Старуха была зело оригинальная, чем-то смахивала на лесковскую воительницу, она и родом была из Ельни, встречалась на своем веку с такими людьми, как Сытин, Телешов, Брюсов, Пришвин, но так и осталась неграмотной. Кое-какие богатства у нее все-таки уцелели, держала их цепко, ей уже далеко было за семьдесят, когда я услышал от нее: «На тридцать-то лет мне, Феденька, хватит, а дальше-то как жить буду?» Но это все

я не враз оценил, а Платонов и побыл у них часа два от силы, а главное ухватил, понял.

Беседа за столом у Кожевниковых между тем продолжалась, они вели прежний свой разговор, прерванный из-за моего прихода, я больше помалкивал, незаметно наблюдал за Платоновым, прислушивался к его словам. Говорили же они вот о чем.

— Нет, Андрей, я честно могу сказать, что завидую тебе хорошей человеческой завистью.

— А я тебе, Алексей, искренне завидую.

— Если б я только мог писать, как ты!..

— Каждая птичка поет тем голосом, какой господь бог дал. Только в чем у нас с тобой разница? Ты пишешь по-своему, на свои темы, я — по-своему и тоже на свои. Но тебя печатают без препон и заминок, а у меня все получают заторы. А пить-то и есть моей семье надо? Я ведь тоже хлебом от литературы стал кормиться. И что мне делать? Бросать это дело, когда я возомнил себя писателем? Я уж иногда задумываюсь: а писатель ли я?

Между прочим, эту мысль Платонов и впоследствии не раз высказывал. Кожевников его уверяет, что уж кто-кто, а он-то и есть истинный писатель, и рано ли, поздно ли, а его поймут, признают, его будут печатать всего.

— Это будет, когда меня не будет, — говорит ему на это Платонов и рюмочку хлоп и снова ее на подлокотник.

Так у них и идет, приблизительно все на эту тему, а мне неинтересно, я ведь его еще не читал, вижу, что в разговор мне не вклиниться, с другом своим толком не поговорить, и решил откланяться, Кожевников меня понял:

— Заходи, Федя, завтра. Потолкуем на свободе.

И не сказал бы я, что Андрей Платонов в тот раз понравился мне, нет, не сказал бы...

Случилось так, что вскоре я оторвался от Москвы, стал жить в Брянских лесах, сначала в своей деревне, потом в райцентре Дятьково. Легки мы были тогда на подъем, ничто особо не удерживало, имущества не накопили, о прописке не заботились, да ее и восстановить было просто, прописку эту, и я мог, когда задумал новый роман, бросить все и махнуть на родину — не в командировку, а работать, жить, не думая, что дальше будет да как я вернусь.

Однако по своим литературным делам частенько приезжал в столицу, останавливался у друзей, они сами ютились с семьями в комнатухах, но как-то это не мешало им, во всяком случае место, где заночевать, я всегда находил. Гостиниц мы не признавали, я и не помню, были ли они для нас, простых смертных. Жил обычно у Петра Замойского, мне нравился этот талантливый, умный, острый мужик, он вышел, как и я, из крестьян и лучше всех понимал меня. Часто останавливался у Кожевниковых, у Медынских. Григорий Медынский, человек честнейший и в литературе известный, был мне всю жизнь добрым другом, а познакомился я с ним еще в Покровском приемнике, где он тоже работал воспитателем.

Видел я в те годы едва ли не всех писателей, да, наверное, и говорил со многими, мало нас было, и мы тянулись друг к другу. Встречал вместе со всеми Горького на Белорусском вокзале, когда он вернулся из Италии, слушал речь его в Колонном зале, слышал и видел его потом поближе на заседании правления, но что ж вспоминать о том, что записано многими? А я пытаюсь то рассказать, о чем, кроме меня, вряд ли кто еще и помнит теперь.

Быт московский, суета, теснота ничуть не мешали мне общаться с друзьями, мы читали друг другу новые вещи, безжалостно критиковали друг друга, а когда и хвалили сверх меры, рассуждали о

судьбах литературы, смеялись над житейскими мелочами, спорили ночи напролет. Помню хорошо, как недели три никак жил у Михаила Голодного, тоже хорошего моего приятеля, и мало того что он меня приютил в своей комнате, так я еще и отца своего принимал у него, когда тот прикатил в столицу. Был отец мужик тертый, на лесосеку ходил, в каменщики, но к городским интеллигентам все еще относился с опаской. А тут принят был у всех моих друзей, особенно ему, пришлось по душе обхождение Михаила Светлова, и поднесено было, и когда после всех гостеваний мы укладывались спать на полу у Голодных, я слышал, как сказал отец:

— Ах, день задался!

Но опять меня занесло в сторону, не о том же я хотел написать. А хотел написать теперь о первой своей настоящей встрече с Андреем Платоновым. Произошла же она тогда, когда попала мне в руки его повесть «Епифанские шлюзы». Ну что тут можно сказать? Я прочел ее, как говорится, запоем (нехорошее сравнение), одним духом, в один присест. Был просто потрясен драматизмом сюжета и манерой письма. Что-то подобное вышло со мною, когда прочитал в «Красной нови» первую часть «Кашеевой цепи» Пришвина, а тут, кроме всего, поразил меня язык, какого я и не встречал нигде. Сочетание слов было особенное, платоновское.

И только одно мне не пришлось по душе в «Епифанских шлюзах» и не только не понравилось, а даже покорило — это сцена казни героя повести. То есть не казнь сама, она была в обычаях давнего времени, а то, что Платонов придал палачу отвратительные черты гомосексуалиста и садиста.

— Андрей, зачем ты это сделал? — спросил я у него позже, когда мы сделали знакомы. — Ведь тут явный перебор. Палач и есть палач. Если бы ты просто написал, что дьяк впустил палача в камеру, смертника и закрыл за ним дверь, ужас был бы не меньший, а даже, мне кажется, больший.

И он мне буквально так:

— Ах, Федя, я и сам думал об этом, спохватился, да поздно.

— Почему поздно? При переиздании мог бы убрать.

— Нет уж, — вздохнул он, — что написано пером, не вырубишь топором. Раз оно написалось так и увидело свет, то пусть оно так и остается.

И концовка такая в его повести осталась, почему — об этом знает только автор, а его теперь не спросишь.

Мы стали с Платоновым друзьями не скажу близкими, но когда я наведывался в Москву, то всякий раз были у нас встречи. Читал все, что выходило его, очень тронула меня девочка из «Такыра», полюбил я «Сокровенного человека»; почти неправдоподобную «Фро», язвительный его «Город Градов», где если и случались герои, то их перевели «надлежащие мероприятия». Платонов знал о моем отношении к его вещам, но будто смущался, слушая похвалы, хотя цену себе знал. В беседах был прост, не умничал, говорил совсем не так, как писал. Некоторые только помню забавные его словечки: «издиёт», «исупчик», «ах, адамочки!».

Последняя наша встреча вышла перед самой его смертью. Он ведь и на фронте был, ездил корреспондентом «Красной звезды», а вот, поди ж ты, все равно почти не издавали его. И я, придя к нему, пригласил угоститься с какого-то гонорара.

— Выпить? — сказал он печально. — Нет, Федя, отпили мы с тобой. Весь уже я, ты смотри, что от меня осталось.

Был он двумя годами меня моложе.

И по сейчас я читаю и перечитываю Андрея Платонова, все пытаюсь разгадать его загадку и, если честно, теперь только начинаю по-настоящему его понимать.

Если бы спросили, кто из встречавшихся на литературном пути произвел на меня самое сильное впечатление и кого я считал (тогда же, при их жизни) самыми крупными мастерами нашей русской советской литературы, не задумываясь я бы назвал два имени: Пришвин и Твардовский.

Пришвин был для меня живой классик, хотя его я узнал раньше, а Твардовского увидел первый раз только в 1933 году, не прочитав к тому времени ни одного его стихотворения. Поездка на родину у меня затянулась, ехал на год-другой, чтобы приглядеться к мастерам-хрустальщикам (о них я задумал роман), но хоть и сам работал в юности на стекольном заводе, а все было мало, и кончилось дело тем, что я поселился в Дятькове. Да не один, а с семьей в пять душ: жена, двое малолетних детей и мать жены, старуха. Туда и пришло письмо из Смоленска, от председателя областного отделения Союза советских писателей Михаила Сергеевича Завьялова с приглашением поддерживать с ними связь.

Смоленск был центром Западной области, куда входила и наша Брянщина, я съездил туда, да и после стал бывать. Дом искусств, где собирались литераторы и работники театра, удивил меня своими микроскопическими размерами. Тихий особнячок в полтора этажа, вверх зальчик-гостиная, кабинетик директора, еще комнатухи две и внизу буфет. Но какая жизнь, какие страсти литературные разгорались в особнячке по вечерам! Тут я и познакомился со всеми смоленскими писателями и с Твардовским тоже.

Он мне показался вначале парень как парень: блондин, приятный внешностью и крепкий костью. Вот только на лице его была какая-то боевитость наготове, словно ему вот тут же надо дать кому-то отпор, скрестить шпаги в словесном бою.

— Это кто? — спросил я у одного из новых знакомых.

— Твардовский, — ответил он.

В комсомольской областной газете, где секретарем работал Горбатенков, то и дело появлялись статейки, больно задевавшие молодого поэта. Я, каюсь, за недосугом не мог разобраться, кто тут прав, а кто виноват, но как-то спросил у Михаила Сергеевича Завьялова, почему так злобятся на Твардовского.

— Из зависти, — тут же ответил он.

— А чему у него завидовать? Мне кажется, он пишет, как все, и написал еще с гулькин нос.

— Нет, это ты невнимательно читал. Ты почитай его как следует, тогда увидишь, что это будущий большой поэт.

Так вразумлял меня Завьялов, но стихи Твардовского, когда я услышал его чтение в Доме искусств, ничем особо не поразили меня. Очень уж были по форме просты. И опять удивила схватка, случившаяся на этом вечере. Горбатенков и его дружки кричали:

— Почитай «Мужичка горбатого»!

— Не буду читать, — спокойно ответил Твардовский.

— А почему ты не хочешь прочесть?

— А потому что не желаю.

И тут поднялся такой крик — уноси ноги. Я только спустя два десятка лет прочитал в одномотнике этого «Мужичка горбатого» и, убей меня бог, не нашел в нем ничего криминального. А ведь находили, выискивали, и мне понятной стала та боевитость в выражении лица Твардовского, которая была, по-видимому, привычной и необходимой ему в ту пору.

Ночевал я обычно в том же Доме искусств, в малюсенькой комнатухе, где стоял небольшой диван. Ноги на нем не вытянешь, но я и такому, ложу был рад. Одно плохо: в Дятькове я привык ложиться рано, часов в девять вечера, зато и вставал по-деревенски рано, часов в пять утра. А тут народ табунится за полночь, особенно когда

подвывают после спектакля актеры. И вот однажды подходит ко мне человек, с которым мне не советовали знакомиться.

— Ты где тут ночуешь?

Удивительное дело: разница в возрасте у нас с Твардовским немалая, я старше его на тринадцать лет, а говорил он со мной как с ровесником и так, будто мы в одной деревне росли. Даже, я бы сказал, такой взял тон, будто он если не годами, то опытом старше. И это было не обидно, к нему это шло, в этом был характер его. Выслушал мой ответ и объяснил:

— Пойдем сегодня ночевать ко мне.

— Спасибо, — говорю, — но не пойду.

— Это почему же?

— Не хочу тебя и твою семью стеснять, да мне и здесь хорошо, к диванчику я приспособился. Спасибо.

— А ты ни меня, ни мою семью не стеснишь, — говорит он мне. — У нас комнаты не только в разных домах, а даже в разных районах. Комнатушка моя будет побольше и диван подлинней. Так что сегодня ты ночуешь у меня. Я за тобой зайду.

И больше он об этом говорить не стал, повернулся и был таков. «Ну и ну! — думаю. — Что за человек? Прямо командир какой-то».

Вечером он снова предстал передо мной:

— Пошли!

Мне никогда не забыть этой ночи. А вот как шли, какой дорогой, где находился тот дом, за крепостной ли стеной или в границах старого города, я сейчас не могу сказать. Помню только, что дом был двухэтажный, деревянный. Мы вошли в подъезд, там двери были по обе стороны, Твардовский отворил одну из них.

— Вот это и есть моя хата.

— Да, конура приличная. В такой и с семьей можно жить.

Комната в самом деле по тем временам была хороша: просторная, чистая, и потолок высокий, и, полагать надо, светлая.

— Жить-то можно, а работать было бы трудно. Кабинет для литератора что кузница для кузнеца, тут нужно, чтоб под руку никто не лез да перед глазами не вертелся, — говорит он. — Ну, спать будешь вот на этом диване. Но сначала, для первого знакомства, мы по рюмке выпьем, у меня четвертинка есть, с нас хватит. А потом немножко побеседуем. Располагайся, а я пока приготовлю тут.

Расположился я, конечно, в первую очередь у книжных полок. А книг у него было порядком, и все нужные. «Когда же, — думаю, — он накопил их столько? Ведь студент еще, семейный к тому же...». О том, что он не одними стихами жил, но и в журнале, в издательстве рецензировал рукописи, мои в том числе, я позже узнал. Но все равно собрать смолоду такую библиотеку мог только человек, крепко любящий книгу. Особенно у него был хорош Бунин.

— Ты Бунина любишь? — спросил он, принеся бутылочку, прочее было уже на столе, я и не заметил, когда он все успел.

— А разве можно его не любить? — ответил я ему.

— Это верно: его нельзя не любить. Это, брат, вершина, вернее, одна из вершин и прозы нашей и поэзии. Мы его сегодня почитаем. А сейчас давай по стопочке выпьем, пора.

Мы сели за стол. Человек я, должен признаться, zelo говорливый, и разговор обычно веду я, а тут ведущим был он. И не потому, что сейчас был хозяин, а я гость у него. Просто такой он был, видимо, от рождения. Расспрашивал меня, как мне живется в Дятькове, что пишу, что задумал. А сам о себе ни слова.

— Ну, а теперь давай почитаем Ивана Алексеевича, — говорит он мне, когда с четвертинкой было покончено. Подошел к полке, взял один из томов, да сразу тот, какой был ему нужен. — Ты, конечно, Бунина всего читал?

— Нет,— признался я,— у меня ведь полного Бунина нет.

— «Захара Воробьева» помнишь?

Этот рассказ я знал.

— Ну все равно, давай еще раз почитаем. Ведь Бунина, как и Чехова, можно перечитывать бесконечно. Слушай.

Читал он тоже по-своему, каждое слово подавал весомо, ни одно не пропадало для слушателя. Иногда бросал внимательный взор на меня, внимательный и строгий, проверяя, доходит ли до меня весь строй бунинской речи. И продолжал, видимо удовлетворенный тем, что я слушаю как надо.

— А теперь разреши мне почитать,— сказал я, когда он кончил и мы обменялись замечаниями о рассказе.

— Пожалуйста. Тебе какой том нужен, что будешь читать?

— Том мне никакой не нужен, читать буду по памяти.

— Любопытно...

Читать я взялся «Илью Пророка». Это один из любимых моих бунинских рассказов. Я всегда поражаюсь, как можно было написать так сильно, будто удар грома, который тоже в рассказе есть. Конечно, читал я не слово в слово с печатным текстом, это у меня было что-то вроде переложения, но суть, трагедию, элегическую музыкальность «Ильи Пророка» я, видимо, сохранил.

— А знаешь, неплохо у тебя вышло. Но я предпочитаю придерживаться текста. Послушай, теперь я прочту тебе «Душной ночью».

И этот шедевр читает он по-своему, внушительно, а я уже не могу себя сдерживать и тут же, как он кончил, принялся за «Иона Страдальца». И вот таким манером мы, словно два косача на току, друг за другом, перебивая друг друга, читали по очереди.

— Да, ты тоже любишь Бунина,— определил Твардовский. — А теперь давай-ка ночь делить, пора на боковую.

И мы, утомившись, быстро заснули.

Следующая встреча вышла у нас в Москве, мы с ним нечасто, а видались, и всегда было с этим человеком интересно. На сей раз он углядел меня в фойе Дома литераторов.

— А! Вот ты-то мне и нужен. Сейчас же идем вниз, одеваемся и едем в гостиницу.

Я таращу глаза, хоть командирская эта повадка мне не в новинку, и он, видя мое недоумение, поясняет:

— Там наши доярки смоленские, участницы совещания передовиков. А редактор «Рабочего пути» слезно просил меня, да не одного, хорошо бы вкупе с кем-нибудь еще, так сказать, коллективно, побеседовать с ними и написать очерк в газету. Вот мы с тобой это и сделаем, это наш долг, ты, надеюсь, сознаешь?

— Слушай, Саша,— начинаю я отнекиваться,— я никогда не писал вдвоем, спаренная упряжка мне как-то не по душе.

— Ну, напишем порознь, редактор будет только рад. А отказываться не могли, это будет не по-смоленски. Пошли!

Гостиница была старенькая, без лифта. И вот помнится мне Твардовский таким, каким был он в далекий тот вечер: красивый, в хорошем костюме, шагающий по обшарпанной лестнице, потом по коридору к одной из дверей, в которую постучался уверенно, по-хозяйски. Это был не гостиничный номер, а скорее большая комната общежития, сплошь заставленная кроватями и тумбочками. На каждой кровати сидела временная обительница, да все наша деревня-матушка, и все больше в годах.

— Ну, как жизнь молодая? — шутливо спросил Твардовский у землячек своих, когда мы поздоровались.

— Ах, надоело нам тут! — отозвалась одна из женщин. — Хорошо бы день-другой, а то ведь четвертый день миновал. И все гово-

рят, говорят, одно и то же говорят. Домой пора, у нас там дети, скотина на ферме, в чужих руках недолго и корову подпортить... наладь ее.

Твардовский метнул взгляд на меня: дескать, чувствую ли я, что доярка в какой-то мере права, понял ли, как хороша, умна?

— Ну, завтра все заканчивается,— говорит он ей и всем, кто прислушивается к разговору.— Завтра вас будут награждать орденами и медалями, кто что заслужил, потом банкет — и по домам!

А она ему в ответ такие слова:

— Что нам медали с банкетами? Вот, слух был, правление по телушке нам определило, эта награда для нас поглавнее будет.

И надо было видеть выражение лица Твардовского! Ни до, ни после я его не видел таким растерянным, будто в чем-то перед кем-то виноватым. Если гордился прежде, то теперь поутих, смотрит на меня, пытаясь понять, осуждаю ли я такую, как говорится, незрелость его землячки; я не осуждал. Некоторое время мы молчим.

— Да... «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь»,— вполне прочел он так, чтоб было слышно только мне.

Но доярка услышала. И вот удивительно: я уверен, что не читала она «Поэта и чернь», а тем более критических строк Писарева по поводу этого стихотворения, но ответила нам в духе Писарева:

— И ваши бабы тоже, поди, горшками не бросаются, не будь горшка в дому, и вы щей не похлебаете. А телушка не горшок, она через год-другой коровушка-матушка, кормилица всей семьи.

— Конечно-конечно,— стал оправдываться Твардовский,— мы разве что говорим против? Это я вспомнил стихи Пушкина.

— Ну и вспоминай на здоровье, а нам не до стихов...

Выйдя из гостиницы, мы простились. Он сказал, что повторит попытку завтра, неудобно, мол, редактору обещал. Но я видел, что просто его задела, заинтересовала эта доярка. В тот год проглядел его очерк, не прочел в смоленской газете, а много позже узнал, что он его все же написал и напечатал под заглавием «Мать».

Разным видывал я его: смущенным, как в этот раз, видел и тяжелым, мрачным, а чаще веселым, добрым, он на редкость был добрый человек. Однажды — это было в первый год после войны — я приехал в Москву за пайком. Война далась мне тяжело, хлебнул и немецкого плена, вернулся, а все не мог встать на ноги. Жил в деревне под Рузой, снова стал учителем, и хоть писательский паек мне дали, а выкупить его не всегда было на что. Я шел в раздобытки, то у одного друга одолжу денег, то у другого, зашел с той же целью к Твардовскому. Двери открыл он сам и, хоть было в коридоре темновато, мигом меня разглядел и узнал:

— А-а, рад тебя видеть. Снимай пальто, проходи ко мне.

— Саша,— говорю я ему,— большое спасибо, но мне недосуг. Ты мог бы одолжить мне... рублей двести?

Объяснения такие ох как неловки, а тут еще вышла Мария Илларионовна, хозяйка. И он поворачивается к ней:

— Маша, у нас найдется дома пятьсот рублей?

— Конечно,— с готовностью говорит она.

— Тащи их сюда!

— Саша, я тебе их верну при первой же возможности.

— А я тебе при первой же возможности в ухо дам,— отвечает он мне. — Бери и молчи. А если обедняю — обращайся.

И вручил мне пачку кредиток, принесенных женой. В это время за дверью одной из комнат раздался кашель. Кашель особенный, я такой уже слышал, забыл только где.

— Батя... — тихо пояснил он. — Оттуда вернулся.

И все мне стало ясно.

Это Твардовский.

Другой раз пошел я к Михаилу Васильевичу Исаковскому, и, какось, за тем же. Смотрю, а там у него Александр Трифонович. Надо

же такому греху быть! Он полулежал на кушетке и, сложив руки на животе, смотрел в потолок. Вид у него был самый благодушный.

— Ну, как дела? — спросил у меня.

— Все на том же уровне...

— Да, неважные у тебя дела, — говорит он. — И я не вижу путей, как их исправить. Теперь, чтобы в литературе пробиться, талант нужен. А где тебе его взять?

Исаковский снял с носа очки и начал протирать. Он-то отозвался однажды обо мне как о человеке даровитом, но не вступать же ему в спор с Твардовским обо мне и при мне. Я должен что-то ответить Твардовскому сам. И я отвечаю:

— Не беспокойся, Саша, пробьюсь, и талант найдется. Цыплят по осени считают!

— Га-га-га! — захохотал он. — А ведь это я тебя задел, чтобы уяснить, есть ли у тебя характер, самолюбие. Нет, Федя, ты, пожалуй, вытянешь.

И это Твардовский.

Как-то ездил я в Дунино, на дачу Пришвиных, в первый раз после смерти хозяина, и вдова его дала мне почитать дневник Михаила Михайловича. Я уже видел эти переплетенные записи, он еще показывал. «Вот, — говорил мне, — сам себя издал». Теперь же, удалившись на покой в комнату для гостей, читал полночи, кое-что было читано прежде, встречалось новое, и вдруг такая запись: «Какая же это радость для всех нас, любящих русский язык и литературу, — Александр Трифонович Твардовский».

Это была новость для меня. За все годы, что знал Пришвина, никогда я не слышал, чтобы он восхищался поэтами, хотя сам был истинный поэт. А тут на тебе! Встретив Твардовского на каком-то собрании, я решил его обрадовать. Вот только не помню, когда это было, в первый ли период его редакторства или во второй, а скорей всего в перерыве между ними: вид у него был очень независимый.

— Саша, — говорю я ему, — хочешь, приятную вещь скажу?

— А хоть и неприятную — не поморщусь.

У него появлялось это твердое «ш», когда не особо был в духе. Я рассказал о дневнике, он выслушал небрежно, этак даже по-барски, и протянул с ударением на втором слове:

— Ах, Пришвин!

И все. Мне неприятно стало. Не могла же ему быть безразлична такая оценка.

Это тоже Твардовский.

В заключение хочу привести отрывок из одного моего давнего письма ему. Надеюсь, не сочтется это за нескромность, потому что выражено в нем не нынешнее мое отношение к Твардовскому, а тогдашнее и не я его сохранил, а он. Вот это письмо:

«11 сентября 1945 г.

Я сегодня плакал, дорогой друг, плакал так, как плачу, читая Толстого или некоторые вещи Чехова. И я не стыжусь этих слез, ведь это получается у меня (да и у многих) от великого счастья, от того, что видишь прекрасное, совершенное, глубоко человеческое. А сегодня я плакал, читая твоего «Василия Теркина», которого я случайно достал у одной учительницы.

Знаешь ли ты сам, что ты написал? Или, вернее, чувствуешь ли ты, какие ты создаешь образы, какие у тебя золотые строчки отливаются? И как ты замечательно все подмечаешь, малейшие черточки, как легко (кажется при чтении) владеешь музыкой нашего родного языка? Если ты не знаешь или не уверен полностью в том,

Что с печатного столбца
 Всем придется ты по нраву,
 А иным войдешь в сердца,—

то тем лучше. Я же скажу тебе (а мне кажется, мое мнение ты оценишь — помнишь, как мы читали с тобой Бунина?), что все, кому дорого русское слово, кто любит нашу литературу, должны радоваться тому, что у нас сейчас есть такой поэт, как ты...»

Глава пятая

ПРИШВИН

Журнал с «Кашеевой цепью», с первой частью романа, попал мне в руки году, наверное, в двадцать третьем. «Пришвин...— думал я.— Кто же это такой, Пришвин? Из нашей братии, молодых, или из стариков? Нет, имя будто знакомое, я встречал его на страницах какого-то дореволюционного издания, но где именно, не упомяну».

И я начал читать роман. И забыл обо всем на свете.

С той поры Пришвин стал одним из самых дорогих для меня и любимых мною писателей. Я начал искать его книги и все прочитывал тотчас как находил. Хотел очень увидеть его самого, посмотреть на него, но почему-то не выходило случая.

— Ты никогда не видел Пришвина? — спросил как-то у Алексея Кожевникова, жившего тогда в Загорске.

— Михайлу Михайловича?

— Да.

— Так он частенько бывает у меня, а я у него. Он живет в Загорске, у нас небольшая литколония, еще поселился Григорьев Сергей Тимофеевич. Занятные старики. Здесь и художник Фаворский, мне он даже больше нравится. А ты что, любишь Пришвина?

— Считаю, такого писателя больше и нет сейчас!

— Да, вижу, тебе страх как хочется поглядеть на него. Приезжай ко мне, я его приглашу на пельмени, ну, и познакомлю вас.

Признаюсь, я не поверил другу. Не может быть, чтобы так все было просто. Кожевников, видать, прихвастнул слегка.

— А что особенного? — говорит он, заметив мое сомнение.— Это наш брат как выпустит одну книгу, то и нос задерет. Старики мудрее. Ты запомни: чем крупней человек, тем он держится проще.

Я с нетерпением стал ожидать дня, когда увижу Пришвина, услышу его голос, но встреча все оттягивалась, и познакомился я с Михаилом Михайловичем только в 1930 году, когда сам волею судеб оказался жителем города Загорска, бывшего Сергиевского Посада. Но и тут сделалось все непросто.

— Знаешь что? — говорит мне Кожевников.— В педтехникуме ребята просили устроить литературный вечер. Григорьев болеет, а Пришвина я уговорю. Ну и тебя включу, вот и познакомлю вас.

Вечер состоялся в первое воскресенье после нашего разговора. Мы с Кожевниковым пришли за полчаса, чтобы встретить Михаила Михайловича, а оказалось, он пришел раньше нас. В холодном гулком коридоре бывшего здания духовной академии, где размещался тогда педтехникум, я увидел пожилого человека в сером пиджаке, в шапке-ушанке с козырьком, стоявшего у фотографий на стене. Изпод шапки выбивались вьющиеся, полуседые, как и борода, волосы.

— Я тут повесил свои снимки,— сказал он, когда мы поздоровались с ним.— Хочу почитать студентам очерк про соболей, так, думаю, кто-то и заинтересуется.

— Конечно, это вы хорошо сделали,— говорит Кожевников и тут же с ходу: — Михаил Михалыч, разрешите вас познакомить. Это мой друг, писатель Каманин, он очень любит вас читать.

— А, очень приятно.

Не помню, как протянул руку Пришвину, я не знал, что мне делать, что говорить, воцарилось, как пишут, неловкое молчание, а друг мой, вместо того чтоб выручить меня, удрал.

— Ну вы тут побеседуйте, а я пойду узнаю, скоро ли можно будет начинать.

Мы остались одни, я стоял нем, как рыба, что со мною редко бывает, а Пришвину такие знакомства, надо полагать, в тягость были. Однако молчать и ему было неловко.

— Вот посмотрите снимки,— сказал он, недовольно покашливая. — Это все видно в Пушкинском заповеднике, там мой сын Петя работает, так я и побывал у него.

Разглядываю фотографии, перед глазами круги, думаю — надо ему что-то умное сказать, да ничего не идет в голову, кроме одного: «Вот он какой, Пришвин! Почему же мне казалось, что он совсем не такой?..». Наконец явился за нами Кожевников.

Михаил Михайлович читал первым, выбрал поэтичнейший очерк про соболиную любовь, но очерк не дошел до аудитории, то есть он-то дошел, но не так, как надо бы. Студенты, здоровенные ребята, поняли его как эротическое произведение, парни хихикали, девушки краснели, и мне было мучительно это видеть. Пришвин тоже уловил невежество слушателей и, окончив чтение, сразу ушел. Так и получилось, что при первой встрече я не сказал ему ни слова. И хотя был представлен ему, а будто и незнаком. Часто видел его на улице (жили мы совсем близко), кланялся издали, и он кивал рассеянно, а другой раз не замечал меня, думая о своем.

— Вот странность, Леша,— говорю я своему другу. — Книги Пришвина все жизнеутверждающие, радостные, а в жизни он, по видимому, мрачный, нелюдимый человек.

— Нелюдимый? — засмеялся Кожевников. — Да нет никого общительней его. А уж поговорить любит!

— Почему же он ходит такой?

Оказалось, были причины: как раз тогда против Пришвина ополчились критики РАППа. Заявили, что-де пользы от него для советской литературы, как от козла молока. Печатание произведений Михаила Михайловича после этого затормозилось, он даже ходил на прием к Калинин. А знакомы они были давно, Пришвин участвовал немного в революционном движении, сидел с полгода в тюрьме. Разговор у них вышел простой: «Что у тебя, Михаил Михайлыч, опять?» — «Да вот, Михаил Иванович, с нуждой к тебе...» Калинин направил его к Скворцову-Степанову, тогдашнему редактору «Известий», чтобы дали Пришвину командировку для заработка.

— Да, брат, в этом все дело,— говорит мой друг. — У старика и с деньгами туго сейчас, жена его вынуждена продавать на базаре молоко, чтобы купить сена для своей коровы.

Все это было мне удивительно. И то, что у такого большого писателя корова на дворе, как у самого простого обывателя, и то, что денег нет у него, чтобы сена купить для коровы. Но как ни странно покажется, а именно вот эти обстоятельства и послужили поводом к возобновлению моего знакомства с Пришвиным.

Он действительно уехал в командировку на Дальний Восток; Ефросинья Павловна, его жена, продолжала торговать молоком на загорском рынке, а моя жена там же его покупала. Как-то познакомила их жена Кожевникова, они и разговорились.

— Вера Михайловна,— спросила Ефросинья Павловна у моей,— вы сколько в день покупаете молока?

— Два литра.

— А я два литра продаю. Может, вы будете у меня брать? Молоко у нашей коровы хорошее, и ходить вам будет ближе, а уж меня как бы вы облегчили! Мне сидеть на рынке некогда, да и стыдно.

И мы стали брать молоко у Пришвиных. Недели через три вернулся из поездки Михаил Михайлович, заметил мою жену раз, другой и спросил, что за молодка ходит к ним на кухню. Ефросинья Павловна мне после все рассказала. Она ему ответила, что, мол, жена

писателя Каманина, а он будто сказал на это, что не слышал о таком, и еще добавил со своей усмешечкой:

— Писателей нынче так развелось.

Но на другой день, когда моя жена опять пришла за молоком, спросил ее в упор:

— Голубушка, а ваш что же, писатель?

— Да, Михаил Михайлович.

— Что же он пишет?

— Да все он пишет, кроме стихов,— ответила она.— У него рассказы есть, повести и даже романы.

— Даже и романы! — притворно изумился он, надо полагать, с большой дозой иронии.— Так вы, голубушка, принесли бы мне что-нибудь почитать из его книг, а?

Я, когда услышал об этом, онемел от неожиданности. Пришвин, сам Пришвин хочет почитать какую-нибудь из моих книг! А что я могу дать, не боясь быть смешным в глазах человека, который пишет природу, как писали ее только Тургенев, Лесков, Бунин? Я перебрал все сочиненное мною и не нашел ничего, что мог бы показать ему. И сказал жене, что книги никакой не дам.

— Почему? — удивилась она.

— Потому что это Пришвин!

— Подумаешь! — говорит она.— Как ты можешь ему отказать, когда я беру у них молоко? А оно, сам знаешь, не чета тому, что на рынке продают. Это будет такое свинство, что я с тобой и разговаривать не стану. Чего ты боишься? И слушать тебя не хочу, выбирай сейчас же, я отнесу.

Наивная душа! Она не понимает, чего я боюсь.

— Нет, не выберу, не отнесешь, забудь об этом!

Так и не дал книгу. Пришвин вскоре снова уехал в какую-то поездку, разговор постепенно забылся, жена не напоминала о нем, а оказалось, она не послушалась меня.

— Федь,— говорит однажды,— Михаил Михайлович вернулся и приглашает нас сегодня в гости. Ему, знаешь, понравилась твоя «Свадьба моей жены». Так прямо и заявил мне, что ты настоящий писатель и чтобы был сегодня вечером со мною у них.

Гром и молния! Или, наоборот, молния и гром! Как мог ему понравиться этот мой писанный наспех роман? Лукавит, наверное, хочет надо мной подшутить. Да и где он мог взять эту книжку?

— Твоя работа? — спрашиваю у жены.

— А что такого? — говорит она.— Получилось-то хорошо. И не вздумай отказываться. Он сам даже за водочкой пошел для тебя, а она сказала, что судака жарит к ужину.

Не помню, как мы шли, как встретил нас Пришвин, как провел в небольшую гостиную своего загорского дома. Что-то он приговаривал благодушно, потом женщины ушли на кухню, снова мы остались одни, снова я онемел, но теперь разговор вел уже он:

— Книгу вашу, Федор Егорович, я все-таки прочел, да, прочел. И знаете где? В поезде. Я взял ее с собой в поездку, думал, как нечего будет делать, то в нее загляну...

Отправился он в тот раз вместе с Левой, вторым своим сыном, у того была командировка на Уралмаш, а Михаил Михайлович дальше должен был ехать. Ну, на вокзале закупили журналов — «Прожектор», «Огонек», «Красную ниву», — сели в вагон, стали просматривать. Тут какой-то человек, лежавший на верхней полке, свесил голову и попросил что-нибудь почитать. Журналы-то Пришвину жаль было отдавать — он сам мне об этом простодушно сказал, — вот и вспомнил о книжке, лежавшей в портфеле. Потом улеглись с сыном, скоро уснули, а утром этот пассажир с верхней полки вернул ему мой роман, поблагодарил и начал рассказывать свою жизнь.

— Если человек, прочитавши книгу,— сказал Пришвин,— захочет рассказать свою жизнь, значит, книга неплохая.

Путь был далекий, и Михаил Михайлович взялся сам за мою «Свадьбу». Одолея легко, правда, добавил, она и невелика, всего шесть печатных листов. Книга, сказал, неплохая. Для начала — она ведь из первых? — даже и хорошая. Спросил неожиданно, люблю ли Кнута Гамсуна. Я подтвердил. Ну вот, кивнул он, влияние чувствуется. Не страшно, все подражают кому-то на первых порах, важно не останавливаться на этом, найти свое. Огрехов в моей книге хватает, но главное, что, по его словам, понравилось ему, это искренность. Вот чего нужно держаться всегда.

Так примерно он говорил, а мне было почему-то стыдно слушать похвалы, хотя и с оговорками, от такого мастера, я не мог смотреть ему в глаза, и он понял это, перевел разговор на другое:

— Вот что, пока там Ефросинья Павловна готовит ужин, давайте-ка я вас сфотографирую. У меня новый аппарат, называется «лейка», на вас первом и попробую, каков он.

Ах, как я жалел, что некому было снять в это время его самого! Он навел на меня маленький аппарат и так наклонил свою прекрасную лысую голову с седыми кудрями, что глаз не отвести. Как-то по-особому взмахнул рукой, подался вперед, точно хотел боднуть меня, выдержал паузу довольно длинную и снова взмахнул рукой.

— Готово! Теперь вы наденьте шубу.

Успел, значит, заметить, пока мы раздевались в прихожей. Шуба у меня была деревенская, из овчины, мехом наружу, и ему, наверное, захотелось увидеть, как выйдут завитки шерсти на снимках. Долго я хранил их потом, но в войну они пропали со всей моей библиотекой, в которой были и книги Михаила Михайловича с его надписями мне. Один снимок потом нашелся, я его послал в Орел, в музей Тургенева, где есть и пришвинский зал; там же хранится и «Кладовая солнца» с его автографом: «Федору Каманину — мученику войны». После войны у меня снова собрались подаренные им книги, но мне до сих пор жаль тех, пропавших.

Ефросинья Павловна собрала на стол, налила нам с Михаилом Михайловичем по стопке, себе и моей жене по рюмочке, и ужин пошел своим чередом. Сначала беседа была общая, потом, как водится, женщины заговорили о своем и мы о своем. Тут же мне захотелось узнать, как он нашел себя, как писал самую первую книгу, и я без околичностей задал эти вопросы, на которые после бы не решился. Он с улыбочкой встал из-за стола, принес из шкафа объемистую книгу, на обложке стояло: «М. Алпатов. Картофель».

— Вот это и есть самая первая. Я был агроном, подписал ее своей старой фамилией. Но это, конечно, не Пришвин, это Алпатов. А по-настоящему первая была «В краю непуганых птиц»...

Трудно, конечно, передать дословно его рассказ, а запоминать специально в голову не приходило: я просто слушал Пришвина и мне было хорошо. Но кое-что помню точно. Он, например, сказал:

— Первую книгу я решил написать, чтобы была не как первая.

Поехал по своей работе на Север, тамошняя природа очаровала его, и захотелось передать это другим людям. Работал долго, трудно, но уж с издателя потребовал оплаты по высшей ставке. Тот возражал, что такие деньги дает только Ремизову, Мережковскому и прочим, у кого громкое имя, а Пришвин ему на это: «Имя и у меня будет». «Вы в том уверены?» «Иначе бы не брался за перо».

Михаил Михайлович рассказывал все со своей лукавой усмешкой, будто не о себе, а о каком-то озорном парне, самонадеянном по молодости. Но этому парню было тогда уже за тридцать. И деньги, какие требовал, он получил. Не в них, конечно, дело, а просто ему важно было, что он победил. Эту фразу я тоже запомнил.

— Ты не писатель, если ты не победил.

— Как вас понимать? — спрашиваю. — Кого надо победить?

— Не кого, а в чем, — поправляет он. — Если ты пишешь, то должен победить в своем ремесле, доказать, что ты настоящий. Найти свою тему, свой музыкальный ритм. И приучить, как ни трудно, что ты есть, что ты такой, что таким тебе и надо быть. Да ведь это не только в литературе, но и в любом ремесле. Вот вы житель деревни, у вас там, наверное, были свои кузнецы, колесники, боронники, санники. Разве вы не замечали, что они не все одинаковы?

— Еще бы! — говорю я ему. — У нас было два кузнеца, так все знали, что за топором надо идти только к Птицыну. А колеса лучшего ты в Ивановичах ни у кого не добудешь как у Фанаса Анисина...

— Вот-вот, — рад Пришвин. — Вы с Фаворским знакомы? Нет? Я вас к нему сведу. Художники не как мы работают, нам подавай уединенность, а они могут и при людях. Василий Андреевич мне говорил, что ему даже лучше, когда домашние рядом, лишь бы за локоть не хватали. И вот он сидит, колдует над своими гравюрами, а отпечатает — и ты восхитишься поэзией. Он победил, доказал свое право быть не похожим на других, и нам, каждому, надо победить...

Говорит Пришвин свободно, легко, и уж слушая его, не зевнешь! Просидели мы у них до полночи. Кожевников мне вскоре сказал, что Михаил Михайлович «принял» меня и полюбил.

— Почему ты так думаешь?

— Да уж вижу, — ответил он, — не первый год знаком со стариком. Он даже меня до сих пор не называет на «ты», а вот тебя такой милости удостоил.

Так оно и было (я-то к нему, конечно, обращался на «вы»), часто он стал захаживать к нам и я к нему, но во всякой дружбе бывают размолвки, случилась и у нас. Он очень был добр, но и вспылчив порой. А вышло все из-за чепухи. Кожевников пригласил нас на пельмени, мы жили за железной дорогой и уговорились с Пришвинными сойтись у переезда, чтобы дальше вместе идти. И вот когда подошли туда, моей жене взбрело в голову, что они давно уж в гостях сидят, я пробовал возражать, но с женой не поспоришь, а старик явился после нас и разобиделся совершенно по-детски.

С месяц мы не разговаривали, вернее он со мной, а помирились легко, это уж было в начале весны, когда у того же переезда открылись гулянья. Вы замечали, наверно, что снег раньше всего сходит с полотна железной дороги: рельсы прогреваются, черные шпалы притягивают тепло, да и поезда ездят туда и сюда. И тут вечерами загорские девчата и парни начинают гулять вдоль пути. А жена моя тоже была охоча до этого, ей только пошел двадцать третий год.

— Фе-е-едь, — говорит мне, — пойдем гулять на переезд. Там небось молодежь с гармоникой.

Вечер для апреля был редкостью хорош. Теплый, тихий. Мы идем потихоньку, а навстречу нам тоже не спеша движется ватага ребят, впереди гармонист с трехрядкой, баяны тогда еще за редкость были, играет превосходно, и переборы его так дивно чередуются со скороговористыми частушками, что слушал бы и слушал! И только поравнялись мы, смотрю — за молодежью степенно шествует Михаил Михайлович со своим сыномлевой, похожим на медвежонка.

— А! Га! — закричал он еще издали. — Вера Михайловна! Федор Егорович! Вы что же перестали к нам ходить? Иль обиделись за что? Так я, кажется, всегда отношусь к вам по-доброму. Пойдемте-ка сейчас к нам на чаек. Или погулять еще хотите?

И мы отправились к ним. На душе у меня пегухи пели.

Добрые отношения наши не оборвались и с моим отъездом на родину. Бывая в Москве, а Пришвины перебрались туда, я всегда за-

ходил к Михаилу Михайловичу и видел, что он мне рад. И вдруг в очередной приезд узнаю такое, чему поверить не могу, не хочу. На шестидесятом своем году он разошелся с Ефросиньей Павловной, с которой прожил сорок лет, прожил так, как дай бог каждому, имел двоих детей и трех внуков, и женился на другой женщине.

Всех, кто знал Пришвиных, это потрясло ужасно. Одни бранили Михаила Михайловича за бессердечие и эгоизм, другие жалели его и мало кто оправдывал. Влюбился старик в молодую, сказали мне, вот старая и нехороша стала. И почти все осуждали Валерию Дмитриевну, новую жену, что, мол, вышла за него не по любви, а по расчету. Я-то знал, что полюбить его очень можно, но и у меня, признаюсь, были сомнения. А многие из друзей Пришвина, даже такие давние, как Фаворский и Кожевников, совсем отошли от него.

Волею случая я оказался втянут в семейную драму и рассказать о ней считаю долгом своим. Быть может, мои записки пригодятся будущим биографам Пришвина, если попадут им на глаза.

Итак, весной 1940 года я приехал в Москву, узнал всех взволновавшую новость и, не подумав, что нельзя мне вмешиваться в такое деликатное дело, тут же позвонил Пришвину. Ответил незнакомый женский голос, я назвал себя, потом слышал в трубку, как голос этот произнес: «Михаил Михайлович, какой-то Каманин хочет вас видеть» — и его голос: «Ну что ж, пусть приходит и этот...» Такое начало не предвещало ничего доброго, но я к нему поехал. Двери открыла женщина, которая не показала мне молодой, лет, наверное, сорока. «Значит, не в молодости тут дело», — подумалось мне. А она, Валерия Дмитриевна, провела меня в кабинет и тотчас ушла.

— Михаил Михайлович, что же вы делаете? — начал я напрямик, словно в омут бросился. — Вы ведь наш учитель и в литературе и в жизни, а чему учите? Как жен бросать на старости лет?

Он не дал мне больше говорить, вскочил как ужаленный.

— А-а! — закричал он. — Это Кожевниковы так настроили тебя? Ну и чёрт с вами, я вас ни чуточки не боюсь! Говорите что хотите, а я наконец встретил женщину-друга, полюбил ее, как никого еще не любил, и буду с ней, если только она не покинет меня. Я должен с ней быть, поймите вы это! Хоть под старость я имею право пожить с другом, который близок душе моей? Ты скажешь, что Ефросинья Павловна тоже была мне близка, что и ее я любил? Да, любил и жил с ней согласно, а знаете ли вы, что был всегда одинок? Ведь она, хоть и умна, никогда не понимала меня, не могла понять, чем я живу. Вы этого не знали? Так узнайте теперь. А еще беретесь меня судить!

— Я вас, Михаил Михайлович, не сужу и судить не имею права, но мне жаль Ефросинью Павловну. И я и другие тоже — мы любим вас, но любим и ее, поймите вы это.

Так пытался я возражать, да он не слушал, он продолжал кричать, потому что вину свою все-таки ощущал, но тут вошла в кабинет Валерия Дмитриевна, и он, как увидел ее, сразу поутих.

— Вы меня простите, — говорит она, — но я услышала, какой у вас бурный пошел разговор, и решилась войти. Тем более что речь, кажется, идет и обо мне, я тоже хочу свое слово сказать. Вот вы сказали, что вам жалко Ефросинью Павловну. Это по-человечески понятно. А Михаила Михайловича вам разве не жалко? Я знаю, что говорят обо мне, и хотела уйти, но вы знаете, что он мне сказал? Он сказал, что покончит с собой, если только я покину его.

— Да, покончу, — отозвался он. — У меня уже написаны три письма — правительству, в Союз писателей и всем друзьям — и ружье заряжено. И я уйду из жизни, колебаться не буду.

Мне стало страшно, так спокойно были произнесены эти слова.

— Вот теперь и судите обо мне как хотите, — сказала она. — А я вас покину, что-то у меня страшно разболелась голова.

Поднялся и я уходить, но Пришвин не пустил:

— Посиди немножко... Давай уж, раз начали, закончим этот тяжелый разговор. Я на тебя не сержусь, хоть и накричал на тебя. На твоём месте я бы, пожалуй, не то ещё сказал бы... Но я вот что хочу сказать не в оправдание свое, а просто чтобы вам известно было. Мы ведь с Ефросиньей Павловной давно уж не живём как муж и жена, да... Вы скажете, что и я немолод, пора бы и угомониться. Но ведь Гёте влюбился в семьдесят лет? И потом, я же не бросаю её, все ей оставил в Загорске и на жизнь буду давать, чтобы не нуждалась ни в чём. Ты скажешь, одинока она? Но я ведь предлагал, пусть возьмет к себе Левку с детьми, так нет, этого она не хочет! Ей меня нужно, но я-то не могу с нею жить. Было бы подло жить с одним человеком, а любить другого, я так не могу... Вот и все, что я хотел тебе сказать. Можешь передать своим Кожевниковым.

Я простился с Пришвиным, а ночевать действительно поехал к ним и в тот же вечер им все рассказал.

— Да-а... — вздохнул Кожевников, — я знал, что тут все кончено. Ефросинье Павловне доживать век одной.

Встретился я и с нею. В этот приезд мне надо было пожить, поработать вблизи Москвы, и тот же Кожевников посоветовал съездить к Ефросинье Павловне. Она, мол, сейчас одна, гостям только рада будет. Я знал, конечно, какие тоскливые у нас пойдут беседы, но выхода другого не было, да и повидать её хотел.

Приняла она меня со своей обычной милой улыбкой, сразу хлопотала с угощением, стала расспрашивать обо мне, о жене, о детях, я ей ответил, а потом перешел к тому, зачем приехал.

— Дорогой мой, я вас с удовольствием пушу, но куда? В полуподвале вам не ужиться. Отдала бы кабинет Михаила Михайловича, мне он ни к чему, да все ещё жду. Все надеюсь, старая дура!

Она улыбалась, но на прекрасных, все ещё прекрасных её глазах сверкали слезы.

— И надо же, — сказала в другой раз, — никто мне не был мил, кроме него. Вы думаете, ежели я малограмотная, то и не понимала, с кем жила? Нет, мне радостно было быть женою Пришвина. И свет его славы падал и на меня, простую смоленскую бабу... Одно мне в утешение: я все сделала, чтобы ему писалось легко. И живя со мною, он столько сочинил, что теперь ему не сочинить.

С ним я начал встречаться по-прежнему, а зашел первый раз по её же просьбе. Она хотела, чтобы я посмотрел, каково ему там без неё, и ей передал. Лукавить я так и не научился и на вопрос его, где теперь живу, ответил, что в Загорске, у неё, у Ефросиньи Павловны. Надо было видеть его удивление и даже некоторый испуг. Минуты две он и говорить не мог.

— Где ж она тебя поместила?

— Внизу, — ответил я.

— Но там же сыро. Почему не в моей комнате?

— Ждет до сих пор, что вы сами вернетесь туда.

— Нет, — сказал он с грустью. — Там все кончено.

Всего один раз виделись они после разрыва. Он приезжал к ней в Загорск, о чем много позже она рассказала мне, когда я снова её навещал. Встреча у них была тяжелая...

В сельской школе, где работала учительницей моя жена, долго хранилась книга Пришвина, подаренная им. Ребята прочитали всем классом «Кладовую солнца» и решили написать автору. Не обошлось, надо думать, без подсказки жены, но письмо она не подписала, это я помню точно. Михаил Михайлович ответил быстро, да еще прислал свою книгу «Дедушкин валенок» с такой надписью:

«Ученикам 2-го класса Сытьковской школы, Рузского района, Московской области, — Шуре, Вите, Рае, Гале, Васе, Светлане, Зине, Вере, Коле, Гале Зайцевой, Наде, Гале Курковой, Люсе, Коле Рябченкову,

Ларе, Наде Корнеевой, Вове, Тамаре, Славе, Зине Каменской, Ляле, Жене, Тоне, Зое, Зинаиде Воейковой приношу благодарность за хорошее письмо.

Михаил Пришвин.
Москва. 7/Х.49 г.»

Никого не позабыл, всех двадцать пять поименовал!

Пришвин был прост в общении с людьми большими и маленькими, никогда я не видел в нем и тени зазнайства. Это и воскрешаю в памяти своей, перебирая беседы с ним — о литературе, об охоте, о жизни. Даже мимоходом он умел такое сказать, что запоминалось надолго. Как-то я спросил его мнение об одной книге, в ту пору на-шумевшей, а теперь забытой, и он ответил, что книга посредствен-ная, автор не художник и художником ему не быть. Почему?

— А у него квадрат в спине, — ответил Михаил Михайлович.

Увидя мое недоумение, пояснил, что это примета верная. Он дав-но заметил: если у человека такая спина, что в нее вписывается квадрат, то истинным писателем он не станет. Зато уж дельцы из та-ких выходят первый сорт! И так обстоятельно мне это втолковывал, что я и понять не мог, шутит или всерьез говорит.

— Не верите? — сказал под конец. — А вы присмотритесь, когда он к вам повернется спиной.

Другой раз зашла у нас речь о писателе известном, который вдо-бавок был с Пришвиным в дружеских отношениях. Книги его мне нравились всегда, но последний роман показался конъюнктурным, и я спросил у Михаила Михайловича, читал ли он его.

— Да как тебе сказать, — ответил Пришвин. — Читать не читал, но слушал. Он, видишь ли, пригласил меня на свою дачу, я жил там с неделю, и каждое утро у него пекли к завтраку блины. А пока пек-ли, он мне и читал главу-другую... Ну, читает он хорошо, я с удоволь-ствием слушаю, но мне и то слышно, как на кухне сковороды шипят, вот я и думаю: скоро ли их подадут, блины-то?

Озорная улыбка тронула усы Михаила Михайловича, чуть замет-ная, но рецензия уже есть, вот она: блины победили роман! В то же время бывал он снисходителен, и даже, на мой тогдашний взгляд, излишне. Состоя членом редколлегии журнала для детей, дал хороший отзыв на повесть одного старого писателя, весьма слабую.

— Михаил Михайлович, неужто она вам понравилась?

— Конечно, нет... Повесть сырая.

— Почему же вы ее похвалили?

— Почему? — Он как-то даже смутился. — Старик у сейчас нечем жить, денег у него нет, вот какое дело... А книга не подлая, честная, он пишет как думает. И я подумал: в редакции дотянут. Можно ее дотянуть, и будет совсем неплохая.

Действительно, когда я снова прочел повесть старика, она мне показалась вполне достойной. Не помню, к тому ли случаю или к другому, зашел у нас разговор о писательском возрасте. Меня давно поражало, как это Лермонтов, Кольцов, Писарев, прожив совсем ко-роткую жизнь, успели создать шедевры, какие другим только в зре-лости были под силу. Чем это можно объяснить?

— Я лично объясняю вот чем, — сказал Пришвин. — Талантливые люди делятся на скоро растущих и медленно растущих. Будто природа знает, кому недолго жить на свете, и всем их наделяет, чтобы успе-ли исполнить, что им суждено. Вот и Есенин был такой... А я позд-ний сорт, я и писать начал поздно. Зато такие и живут дольше.

Но о своем творчестве рассуждать не любил, слыша похвалы, даже искренние, морщился и переводил разговор на другое. Правда, и критика печатная, в те годы нередкая, его огорчала.

— Вот ведь не видят они того, что видят простые читатели... Уп-рекают, что пишу все больше о природе, о птичках, о зверях. Да раз-ве ж этого мало? Разве у меня об этом речь? Только ли об этом?

Теперь-то видно, как слепы были критики, которые звали его к «актуальности» и неспособны были понять, что чем дальше, тем актуальнее будут его поэтические, мудрые книги.

Охотиться с Пришвиным мне не пришлось, я поздно пристрастился к этому делу, лет тридцати, так что и сравнить себя с ним не мог. Но поговорить об охоте он любил, особенно в последние годы, когда самому ему выбраться в лес было трудно. Однажды я вспомнил, как двое удачливых брянских охотников попали на такое зайчиное место, что за день убили двадцать семь русаков. Михаил Михайлович нахмурился, я решил, что он счел это охотничьим рассказом, добавил, что хоть не был при этом, но зайцев видел, а он с грустью сказал:

— Это не охота, это избиение. Я такую охоту не люблю.

— А какую же любите?

— О! Собрать человек пять хороших охотников да парочку добрых гончих, выйти в лес еще до свету, поднять белячка и гонять целый день, чтобы упариться всем, запалить по нему каждому раза по три — и не убить. Вот это охота!

До глубокой старости был он человеком увлекающимся и охотой ли, фотографией, пчелами, мотоциклом, автомобилем увлекался по-юношески, по-пришвински. Вдруг появилась у него мысль вырастить... свинью. Валерия Дмитриевна (она рассказала мне об этом) в панике была: с чего вдруг, зачем?

— Да просто так,— отвечал он. — Будем ее кормить, она будет расти, очень интересно.

— Ну а потом что? Салом торговать?

— Ну вот! — обиделся он. — Я говорю — вырастить, а ты — торговать. Нельзя же на все смотреть с утилитарной точки зрения.

— А где держать свинью, в гараже, что ли?

— Нет,— говорит он,— там ей будет плохо. Поместим в ванной.

— А мыться где?

— Мыться будем ездить в баню.

И тут, по словам Валерии Дмитриевны, ей одно осталось испытанное средство — она заплакала.

— Ну, Ляля,— отошел он,— ну полно, перестань, успокойся...

Однако долго еще, тому и я свидетель, вспоминал потом о своей затее:

— А все же, Ляля, свинью эту я не совсем тебе простил, нет. Я во всем иду тебе навстречу, а ты супротив. Мы бы с успехом свинью вырастили, но ты не захотела, ты всегда такая!

Говорил отчасти шутливо, но отчасти и всерьез, а я думал, что если бы она пошла на эту «дикость», то появился бы пришвинский рассказ о свинье, такой же чудесный, как и его рассказы о собаках, гусях, утках... Вообще же Валерия Дмитриевна до конца дней во всем помогала ему, была самым преданным другом. Она любила его и как человека и как писателя, никто бы не сделал столько, сколько она, по приведению в порядок огромного литературного наследия Пришвина. Ведь для нее каждая его строка была святыней, и это правда, это я должен со всею откровенностью сказать.

Последний раз я видел Михаила Михайловича совсем незадолго до его кончины и сделал неловкость, о которой жалею до сего дня. Мне сказали, что он болен безнадежно, я кинулся к Пришвиным, открыла она, а он сидел в столовой какой-то присмиревший, ушедший в себя. Меня узнал, пожал слабо руку, но говорить не мог. Лицо у него было бледно-землистое. Валерия Дмитриевна подала скромный ужин, кашу с тыквой, он почти не ел, мы почти не говорили, я пробовал обратиться к нему, но он будто не слышал. В коридоре она наскоро стала мне говорить о его болезни, но неожиданно он сам показался в дверях, и она умолкла на полуслове.

— Что ж ты... бываешь у Киреевского? — спросил он.

Киреевский был его и мой давний знакомый, добрый охотник, живший в Подмосковье, как-то мы вместе обедали у него.

— Да,— ответил я,— бываю, но редко.

— А-а-а...

Только это и выдохнул он, подумавши, верно, что уж не бывать ему в лесу, не сидеть в кругу охотников, и снова умолк, замкнулся. А я — не знаю уж, как это вышло,— спросил у Валерии Дмитриевны, читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил очень тихо, и так же тихо она ответила, что нет, не читала, ей не до газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне.

— Что, что ты сказал?

Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову и с невыразимой тоской несколько раз повторил:

— Бунин умер... Бунин умер!.. А-а!.. В Париже, в чужой земле... Бунин умер, а-а!

Они были ровесники, земляки, оба орловцы, даже одного уезда, ельчане, и вот один покинул белый свет, другой был на пороге этого, а я так некстати сказал при нем, никогда не прощу себе этого!

Но закончить хочу другим свиданием, не тем, когда видел его в последний раз. Было оно в тот же год, я засиделся у Пришвиных часов до десяти, и все он не отпускал, а когда я поднялся, Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна вышли меня проводить. Взял он с собою и двух своих собак, легашей, на прогулку. Мы простились здесь же, в Лаврушинском, и я пошел к станции метро, а они остались у небольшого скверика. Сейчас он неплохой, а тогда только начинался и был сильно захламлен, но легашам, видно, показался после сидения в комнатах глухой чащобой, они забегали как угорелые. Михаил Михайлович смотрел на резвящихся собак, видно, и ему представилось, что не в Москве он, а за городом, что не легавые носятся в хилом скверике, а прежние его гончие делают поиск в настоящем лесу. И охотник проснулся в его душе! Я не отошел и сотни шагов, когда услышал его порсканье, да такое залихватское, удалое, какого никогда ни раньше, ни потом не слыживал.

— А-а-я-я-я-я-я!.. А-а-я-я-я-я!.. Ах! Ах! —звонко кричал Пришвин, как кричат только охотники в лесу, когда хотят поднять зайца с лежки.

И эхо его звонкого, совсем еще молодого голоса разносилось по переулку, летело мне вслед до самой Ордынки...

1979 год.

ЧАРЛЬЗ СНОУ



ЛАКИРОВКА *

Роман

Несмотря на кавардак, телефонный аппарат остался на месте, как и карточка с телефонными номерами друзей леди Эшбрук, как и ежедневник для записи деловых встреч и приглашений, открытый на июле. Машинально Хамфри прочел в графе 30 июля: «Теркилл, Итонская площадь, 36, час дня». Это приглашение она приняла.

Номера полицейского участка на карточке не было, но Хамфри его вспомнил. Он сказал дежурному:

— Говорит Хамфри Ли. Я бывал у вас. Я звоню с Эйлстоунской площади, из дома номер семьдесят два. Из дома леди Эшбрук. Она убита... Да-да, не умерла, а убита. Вы сообщите немедленно? Да, никаких сомнений... По меньшей мере сутки.

А когда Хамфри узнал об этом? Несколько минут назад, ответил Хамфри терпеливо, давно свыкнувшись с такими формальностями. Он был близким другом покойной, и ее приходящая прислуга прибежала к нему. Эта прислуга — иностранка? Да, ответил Хамфри, и в трубке послышался удовлетворенный возглас. Им звонили в семь сорок шесть, но они не разобрали адреса. Патрульная машина как раз пытается его уловить.

— Сообщите им, — распорядился Хамфри. Любое действие было лучше бездействия. — Я останусь здесь. И пришлите еще кого-нибудь. С этим необходимо разобраться как можно скорее.

— Я понял, сэр. — Сработала привычка подчиняться. Хамфри, сам того не заметив, заговорил своим прежним служебным тоном. — Скверное дело. Сержант будет у вас через пять минут.

В ожидании Хамфри решил позвонить доктору Перримену. Конечно, скоро явится полицейский врач, но присутствие ее врача не помешает. Перримен уехал к больному, однако секретарша обещала связаться с ним по радиотелефону.

— Передайте, что это не срочно. Она умерла. Но когда он освободится, я полагаю, он захочет взглянуть на нее.

Полицейский пришел меньше чем через пять минут. Хамфри встретил его за дверями гостиной. Это был высокий молодой человек, красивый, с уверенными движениями. Он назвал себя — сержант уголовной полиции, но фамилию Хамфри не разобрал. Полицейский предупредил Марию, которая стояла на лестнице рядом с Хамфри, что он должен будет задать ей несколько вопросов. Затем они с Хамфри вошли в разгромленную комнату. В первый момент сержант выругался, но когда Хамфри сказал: «Вот она», молодой человек посмотрел и умолк. Молчал он так долго, что Хамфри заговорил было сам, но тут же оборвал фразу — сержант сдерживал рвотные спазмы.

Первый взгляд на этот деревянный нарост вызвал тошноту и у Хамфри, который при всей своей нервной чуткости физической брезгливостью не отличался, а во время войны видел много разорванных на куски человеческих тел. И даже эти кровавые лоскутья были не так страшны, как разорванный надвое труп его приятеля: голова и туловище по пояс отлетели в одну сторону, а остальное — в другую... Как многие его сверстники, в этом отношении он загрубел. Тем не менее когда он увидел голову старухи, ему пришлось употребить всю свою волю, чтобы обрести клиническое хладнокровие. Этот молодой человек, несомненно, видел трупы — людей, погибших в ав-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

томобильных катастрофах, самоубийц или даже одну-две жертвы убийств,— но такого зрелища он не выдержал и судорожно сглатывал. Хамфри сказал:

— Выйдемте.

В коридоре сержант попытался призвать на помощь служебную выдержку. Хамфри спросил, как его фамилия, опять не расслышал, а потом она затерялась среди фамилий множества полицейских, которые ему вскоре пришлось услышать. Возможно, фамилия сержанта была Робинсон. Голос у него срывался, но он произнес обычную формулу:

— Здесь ничего нельзя трогать.

— Я понимаю,— сказал Хамфри.

— А вы или она тут что-нибудь уже трогали?

Хамфри перевел вопрос, и Мария энергично замотала головой. Как бы ни подействовало на нее зрелище этой комнаты — «очень нехороший вид», повторяла она,— желудок у нее, во всяком случае, подумал Хамфри, крепче, чем у сержанта или у него самого. Хамфри ответил, что он ни к чему не прикасался, кроме телефона.

— Собственно, вам не следовало бы им пользоваться! — Молодой человек быстро приходил в себя.— Но что сделано, то сделано. А больше ничего вы не трогали? Я поставлю у дверей человека, пока мы тут не кончим.

— Возможно, придет ее врач,— сказал Хамфри.

— Трогать и ему ничего нельзя. Пусть посмотрит с порога.

По лестнице поднялся полицейский патрульный, которого послали выяснить, в чем дело, когда звонок Марии вверх участок в недоумение. Сержант приказал ему встать у дверей гостиной, самому ничего не предпринимать и не допускать, чтобы кто-нибудь, кроме полицейского врача и инспекторов уголовного розыска, прикасался к чему бы то ни было, брал в руки или передвигал какие-нибудь предметы.

— Там лежит труп. И должен вас предупредить: зрелище не из приятных,— сказал сержант с небрежностью, словно бы рожденной долгим опытом, успешно разыгрывая закаленного сыщика, который и от десятка трупов бровью не поведет.

Он взялся за дело. Спросил Марию, где стоит другой телефонный аппарат, и позвонил в участок на Джеральд-роуд, чтобы они сообщили старшему инспектору. И полицейскому врачу, как только старший инспектор это санкционирует. Он, конечно, сначала сам захочет взглянуть, сказал сержант тоном совсем уж многоопытного служаки. Трупы не имеют привычки бегать. Врач может полчаса и подождать.

Затем сержант попробовал использовать удобный случай отлучиться. Вести опрос предстояло другим, но почему бы не приобщить к делу и свои заметки? Молодой человек был явно самонадеян, но Хамфри он скорее нравился.

Хамфри переводил ему ответы Марии. Сам он почти ничего нового не узнал, кроме того, что ее муж работает официантом в кафе на Фулем-роуд. Утром она пришла в обычное время, примерно без двадцати восемь. Поставила греться воду для кофе и поднялась вверх. Заметила, что дверь гостиной открыта. И увидела то, что они сами видели. Когда она спустилась вниз, чтобы сходить за Хамфри, то заметила еще одно: дверь садовой комнаты (то есть комнаты с дверью в сад) тоже была открыта настежь.

— Пока достаточно. Мне ни вы, ни она больше не требуется, благодарю вас. Старший инспектор, конечно, захочет поговорить с вами. Еще раз благодарю вас.

Сержант наслаждался последними минутами своего пребывания у власти. Но при всей своей нагловатости он был вежлив.

— Ах да! Я забыл спросить вас. Необходимо уведомить ближайших родственников. Вы не могли бы мне их назвать?

— У нее есть сын. Лорд Певенси. Насколько мне известно, он живет в Марокко.

Лорда Певенси он видел всего раз в жизни.

— Они поддерживали отношения?

— Последние годы он, по-моему, здесь не бывал. Но она поддерживала отношения со своим внуком,— продолжал Хамфри.— Он служит в Германии. И две недели назад приезжал навестить ее.

Хамфри добавил, что он, если нужно, может позвонить в штаб дивизии и связаться с Лоузби.

К этому времени в доме появилось поддесятка полицейских, из них двое в штатском. Старшему инспектору из местного участка было коротко доложено о показаниях Хамфри и о том, что войти и выйти можно еще и через сад. Он позвонил в несколько

мест, поговорил с Хамфри, делая заметки, а потом с дружеской почтительностью сказал, что официальные показания можно будет дать и позже. Все происходило быстро и деловито. Приехал полицейский врач, установил факт смерти, дал свое заключение и уехал, а тем временем к Хамфри присоединился в коридоре доктор Перримен. В гостиную ему войти не разрешили, но, как и сказал молодой сержант, позволили посмотреть с порога.

— Очень нехорошо,— сказал Перримен задумчиво. Взгляд его красивых глаз был устремлен мимо трупа и опрокинутой мебели куда-то в пространство.

По лестнице поднимались все новые полицейские.

— Я тут ничем полезен быть не могу,— сказал Перримен, и они с Хамфри спустились вниз.— Конечно,— заметил Перримен, словно разговаривая сам с собой,— она в любом случае прожила бы недолго.

— Но ведь она была здорова?

— Ей было восемьдесят два года. Она могла бы прожить еще несколько лет, а могла бы умереть еще до осени.

— Как бы то ни было,— сказал Хамфри,— а это очень безобразная смерть.

Это снова было отзвук фразы, которую обронила Селия.

— Но, может быть, более милосердная, чем та, которой она боялась,— сказал Перримен.— Они ведь не знают, как она умерла. Если смертельным был удар по голове, то она практически ничего не почувствовала. Ну, словно стукнулась головой об стену. А потом — никакой боли, провал в ничто. Некоторые люди умирают очень легко.

— Надеюсь, она не догадывалась, что ее сейчас убьют.

— А какая разница?

— Умирать в страхе — это ужасно.

— Но это продлилось бы недолго. А потом — все.— Доктор Перримен сказал это так, словно успокаивал пациента.— Возможно, мы придаем смерти слишком уж большое значение. Я часто думаю, что наши предки относились к ней разумнее, чем мы. Они не пытались делать вид, будто ее не существует.

Спорить против этого не приходилось. Перримен не был шаблонным человеком, и его мысли были достаточно оригинальными, но в это утро они не вызвали у Хамфри ничего, кроме злости. Как и мелкая ложь, которую он обнаружил, когда дозвонился в штаб дивизии Лоузби. С ним говорила девушка — предположительно из женской вспомогательной службы ВВС — спокойно и дружелюбно.

— Нет, сэр. Капитан лорд Лоузби сейчас отсутствует. Он в Англии в отпуску в связи с тяжелым состоянием его бабушки.

— Но ведь его отпуск кончился две недели назад?

— Совершенно верно, сэр, но, если не ошибаюсь, его снова вызвали домой, так как в прошлый четверг ей стало хуже.

В субботу днем Хамфри разговаривал с леди Эшбрук в сквере. Она была в едном настроении и прогуливалась по аллее довольно энергичным шагом. Несомненно, она очень удивилась бы, узнав, что Лоузби вызвали в Лондон из-за ее тяжелого состояния.

— Могу дать вам его лондонский адрес, сэр.

Последовал лондонский адрес: Эйлстоунская площадь, дом семьдесят два.

Ради чего Лоузби это затеял? Опять какая-нибудь из его женщин? Хамфри не сомневался, что он способен на любую выходку. Но это могло обернуться неприятностями. Расследование уже ведется. Хамфри (как почти все в этот день) полагал, что леди Эшбрук стала жертвой грабителя, но тем не менее полиция обязательно проверит, где находились и что делали те, кто был как-то связан с убитой, — и в первую очередь ее внук. Может быть, сообщить им не дожидаясь? Или лучше не стоит?

Хамфри чувствовал себя совершенно измученным, но не столько пережитым потрясением, сколько сухой сдержанностью, которая окружала его все утро. С той минуты, когда он вошел в разгромленную гостиную, он не слышал ни одного прямого слова. Но в половине второго к нему в столовую, где он ел хлеб с сыром, почти вбежала Кейт, раскрасневшаяся, с горящими глазами.

— В час об этом сообщили в последних известиях,— сказала она.— Это правда?

— Да, правда.

— Ее убили?

— Да.

Казалось, Кейт вот-вот расплачется или придет в ярость. Она воскликнула:

— До чего несправедливо! После того, как она узнала, что здорова. Такая радость! И ей дали радоваться всего десять дней!

Это прозвучало совсем по-детски. Хамфри никогда еще не слышал от нее ничего столь простодушно-наивного, но ему стало от этого легче и его охватила нежность к ней.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

10

Через несколько минут после того, как Хамфри ушел из дома номер семьдесят два, туда приехал старший суперинтендент уголовной полиции Фрэнк Брайерс. Он задал два-три спокойных вопроса полицейскому на крыльце и отдал два-три спокойных распоряжения. Есть еще входы? У калитки в саду тоже поставлен полицейский? Пусть ему передадут ту же инструкцию: в дом никого не впускать, кроме сотрудников уголовного розыска и криминалистов. Затем Брайерс осмотрел замок на входной двери, сказал, чтобы его заменили, и поднялся вверх в сопровождении молодого инспектора Шинглера, который в полицейской машине сидел рядом с ним. Шинглер недавно был назначен главой группы по изучению места преступления.

Самому Брайерсу тоже еще не было сорока. Походка у него была пружинистой и стремительной. Среднего роста, сложенный, как профессиональный футболист — гибкий торс, мускулистые ноги, — он излучал энергию и силу. Лицо с правильными чертами, ничем не примечательное, если не считать глаз. Эти глаза не были пронизательными и сосредоточенными, какими принято наделять сыщиков. Пронизательность и сосредоточенность посторонний наблюдатель мог бы обнаружить, внимательно изучив лицо Хамфри Ли, на первый взгляд невозмутимо спокойное. Глаза Брайерса ярко блестели и были удивительно синими. Такие глаза под красиво вылепленными надбровьями простодушные люди ожидают увидеть у художников или музыкантов — и постоянно обманываются в своих ожиданиях.

Это расследование было ему поручено по чистой случайности. Едва предварительный осмотр был закончен, начальник полицейского участка поспешил принять необходимые меры. Убийство леди Эшбрук неминуемо должно было стать сенсацией. Он попытался позвонить старшему инспектору района, но тот уехал на другое расследование. Несколько минут спустя он звонил в Скотленд-Ярд. Брайерс как раз был свободен, имел соответствующий чин, уже составил себе репутацию и ждал повышения. К девяти двадцати машина следствия была запущена. Брайерс послал двоих сотрудников, с которыми уже работал раньше, в местный участок организовать там штаб-квартиру. Фотографы и трассологи должны были вот-вот подъехать. С минуты на минуту ожидался и патологоанатом, которого Брайерс предпочитал всем остальным.

В гостиную леди Эшбрук Брайерс вошел один.

— Дайте мне десять минут, — вполголоса сказал он Шинглеру.

На шаг не дойдя до трупа, он остановился. Все его чувства были напряжены. Как и Хамфри менее чем за два часа до него, он накапливал впечатления. Некоторые из них совпадали с впечатлениями Хамфри, хотя были более целенаправленными и подробными: Брайерс не впервые осматривал разгромленную комнату. Но некоторые его мысли отличались от мыслей Хамфри. Подозрение еще не выкристаллизовалось и пока оставалось, так сказать, растворенным где-то в глубине его сознания.

Он стоял совершенно неподвижно, и только его взгляд, сначала задержавшись на трупе, теперь скользил по комнате. Брайерс был дальнорюк и мелкие предметы, рассыпанные по полу шагах в двадцати от него, различал во всех деталях, словно на увеличенной фотографии.

Он не делал никаких замечаний. Записывание на месте происшествия ему мешало. Оно нарушало полноту наблюдений и словно вовсе стирало впечатления, которые вырисовывались было где-то на периферии сознания. А может быть, тут не обошлось и без тщеславия: он верил в свою память. Хотя у него в кармане лежал диктофон, пользовался он им редко и предпочитал сообщать краткие замечания Шинглеру, который записывал их на свой диктофон.

Минуты через две он позвал Шинглера:

— Ну как, готовы?

Шинглер вошел с полицейским фотографом. Зашелкала камера. Никогда в прош-

лом леди Эшбрук не фотографировали столько раз подряд и под столькими углами, даже когда ее, молодую светскую красавицу, поймали репортеры после ужина с принцем Уэльским. После того, как фотограф кончил снимать труп, Брайерс сказал Шинглеру, какие снимки комнаты ему нужны, и камера продолжала щелкать.

В девять пятьдесят полицейский, дежуривший снаружи, впустил в гостиную раскрасневшегося человека с чемоданчиком в руке. Он начал с того, что снял пиджак и бросил его в дверь на руки полицейского.

— В такую жару только этим и заниматься,— сказал он приятным тенором.— Извините, что задержался, Фрэнк.

— А когда вы не задерживались?

На самом же деле приехать быстрее он физически не мог. Это был Оуэн Морган, профессор судебной медицины, которого с обычным для англосаксов отсутствием оригинальности, когда дело касается прозвищ, разумеется, прозвали Таффи¹. Он был плотно сложен, белокур, круглолиц. Они с Брайерсом часто работали вместе, питали друг к другу большое уважение и дружбу, в которой пряталась какая-то взаимная бережность. Каждый считал другого мастером своего дела, и у них была потребность выражать это словесным фехтованием или, как говорили когда-то, дружеским поддразниванием. Ни тому, ни другому оно, в сущности, не шло.

— Полагаю, тут уже натворили все, что было можно,— начал Морган тоном глубокой озабоченности. (Он имел в виду не жертву и не хаос на полу.)

— Ну, конечно, все здесь покрыто отпечатками наших пальцев и подошв,— подхватил Брайерс.

— На самом-то деле, профессор,— сказал Шинглер умиротворяющим голосом (интонации выдавали в нем уроженца южного берега Темзы),— никто ни до чего не прикасался. Все оставлено до вас.

— И на том спасибо,— буркнул Морган словно с раздражением.

Шинглера он видел в первый раз, и Брайерс их познакомил.

— Ну, посмотрим,— сказал Морган.

Он натянул на руки почти прозрачные перчатки, со слоновьей грацией прошел между валяющимися на полу безделушками и наклонился над трупом. Его руки, неожиданно маленькие при такой массивной грудной клетке и животе, двигались быстро, ловко, умело. Он вывернул веко, осмотрел раны на голове, втянул носом воздух, точно человек, откупоривший бутылку редкого вина. Согнул и разогнул мертвую руку — она сгибалась очень легко, окоченение полностью прошло. Он оттянул воротник платья и обнажил синяк на плече. Осторожно провел пальцами по шее, хмыкнул и сказал:

— Ну, по моей части тут немного.— Он обернулся к Брайерсу.— Соображать придется вам, а не мне. Или вы уже все знаете?

Брайерс покачал головой.

— Нет уж, расскажите вы нам. За что, собственно, вы деньги получаете?

— Господи! — взорвался Морган.— Ну почему вам, полицейским, не читают курса по медицине? При условии, конечно, что вы способны в чем-то разобраться. Вы на ее лицо смотрели? Неужели не увидели пятен? И на веках? Яснее ясного. Мне тут делать нечего.

— Нет, серьезно. По-вашему, ее задушили?

— Само собой. Когда женщина в таком возрасте, это нетрудно. Она сопротивлялась. Есть два-три синяка. Но в таком возрасте от сопротивления мало толку. Мне нужны фотографии синяков. Еще до вскрытия.

— Нам они тоже понадобятся,— сказал Брайерс.— Но ведь ей проломили голову?

— После смерти.

— Сразу или позже?

— Трудно сказать. Крови не очень много. Почти сразу.

— Припадок бешенства? Мы с этим уже сталкивались, верно?

— Верно.

Они оба привыкли к тому, что порой происходит после убийства. И оба сказали бы, что в большинстве случаев предпочтительнее широкую публику об этом не оповещать.

¹ Таффи — традиционное прозвище уэльсцев в Англии. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

— Конечно, было мочеиспускание,— заметил Морган, хотя они не видели, чтобы он это проверил. Но у него было острое обоняние. — Однако дефекации, по моему, не произошло. По-видимому, кишечник не расслабился.

— Следы спермы?

— Это я смогу вам сказать только в больнице.

И к таким возможностям они привыкли. Технические термины переводили все в более абстрактный, клинический план.

Брайерс задал еще несколько вопросов. Нашлись вопросы и у Шинглера, который не хотел остаться в стороне. Перемещали ли труп после убийства и ударов по голове? Судя по крови на полу и пятнам мочи — нет.

— Другими словами,— сказал Шинглер,— он, по-вашему, просто убил ее, потом разбил ей голову и больше ее не трогал.

— Примерно так.

— А уточнить, когда она была убита, возможно? — спросил Брайерс.

— Это тоже придется отложить до больницы. Времени прошло столько, что температура ничего не даст. А вот личинки могут что-нибудь сказать. От мушинных ребят толку все больше: вы же видели, на что они способны. Кладка, конечно, была обильной, а в такую жару личинки развиваются быстро. Вот они. На глаз я бы сказал, что смерть наступила тридцать шесть часов назад плюс-минус три-четыре часа. Значит, вечером в субботу. Не исключено, что время удастся установить и точнее. Послушайте, вы здесь кончили? Пора бы браться за серьезную работу.

Брайерс позвал трассолога и попросил взять еще несколько проб с пола и со стен вокруг трупа. Затем труп уложили на носилки и снесли вниз. На тротуаре стояла кучка зевак — новость уже облетела площадь и ее окрестности. Небольшой автомобильный кортеж тронулся в путь: впереди санитарная машина, затем казенный автомобиль Брайерса и Морган в собственной машине.

Ехали они с полицейской скоростью и вскоре уже мчались по одной из широких улиц Ист-Энда — низкие здания, убогие лавочки с лупящейся краской, еврейские фамилии, звезды Давида. Шинглер, сидевший рядом с Брайерсом на заднем сиденье, попытался завязать разговор. Но Брайерс отмалчивался. Ему хватало собственных мыслей.

11

Главный корпус больницы, массивный и темный, построенный в конце прошлого века, их не интересовал. Владения Моргана находились в переулке — небольшие скученные здания, послевоенный конгломерат, даже два дома из готовых деталей. Большая яркая вывеска, как на пивной или на заманивающей прихожан церкви, гласила: «Кафедра судебной медицины и патологической анатомии». Пусть владения Моргана были неказисты, но он ими гордился.

Когда они вышли из машин, он сказал Брайерсу:

— Откладывать незачем, верно?

При взгляде со стороны могло показаться, что никто из них особенно не спешит. Но торопливость — это обычная ошибка начинающих. Брайерс и Морган поддерживали ровный темп без рывков и остановок. Их встретил кто-то из сотрудников Моргана с двумя конвертами, адресованными старшему суперинтенденту Брайерсу. Брайерс быстро проглядел их содержимое и протянул листки Шинглеру. Скотленд-Ярд прислал сведения о леди Эшбрук. Чисто формальные: возраст, первый и второй браки, фамилии родственников.

Вслед за Морганом они вошли в морг — обширный, освещенный плафонами зал с мраморными столами, белый, безликий. И в помещение поменьше с одним столом, сверкающим под лампой дневного света. Там их ждал заведующий моргом, фамилия которого оказалась Агну. Он был уже в халате, не белом, а оливково-зеленом. Зайдя за перегородку, они и Морган надели такие же халаты. На стене висели маски, но Морган и сам не надел маску и им не предложил. Про него рассказывали, будто он произносит перед студентами целые речи, убеждая их, что обоняние — чрезвычайно важное чувство и нечего затыкать нос.

Из боковой комнаты, которую Морган отвел под свою секционную, был виден учебный зал. Они все встали вокруг единственного стола — сам Морган, еще один прозектор, заведующий моргом и лаборант, Брайерс, Шинглер и фотограф. Труп усадили

в кресло около стола. Выглядел он точно так же, как в гостиной, — одетый, нетронутый.

— Начинаем? — сказал Морган.

— Начинаем. — Брайерс кивнул.

— От головы и вниз. Волосы, конечно, сбреем потом.

Камера защелкала — вид головы спереди, сбоку, сверху.

— Снимки повреждений, — машинально попросил Брайерс.

— Мне нужны мазки. Немедленно отправьте их мушным ребятам, — сказал Морган, повернувшись к Агню. — Скажите, что срочно.

Мазки из носа и рта: сгустки крови и слизи, шевелящиеся личинки.

— Тоже мушным ребятам.

Опять защелкала камера.

— Теперь раздевайте. Надо выяснить, не надели ли на нее что-нибудь после того, как она была убита. Не торопитесь.

Это сказал Морган. А Брайерс прибавил:

— Фотографии каждого этапа.

Бережно, с хирургической осторожностью молоток был извлечен из раны. Фотографии повреждений. Затем Агню с помощником начали снимать одежду. Это оказалось просто. Из-за жары она оделась очень легко. Сняли платье, и Морган остановил их, чтобы осмотреть синяки на шее и плечах.

— Большого усилия не прилагалось, — сказал он Брайерсу вполголоса.

Все это время Шинглер шептал в свой диктофон.

Под платьем шелковая комбинация.

— Видимых пятен нет, — сказал Агню.

— Проверьте, — ответил Морган.

Легкий бюстгальтер, очень легкий пояс.

— Ей он был ни к чему, — пробормотал Морган. — Сколько ей было лет?

Брайерс ответил.

— Черт побери, она сумела сохранить фигуру! — буркнул Морган.

Без одежды тело не казалось таким худым, только ноги ниже колен выглядели как палки.

— Кстати, а кто она такая? — тихо спросил Морган у Брайерса.

Брайерс ответил.

— Черт! — воскликнул Морган в первый раз полным голосом. — Знать среди знати! — В его интонациях вдруг появилась обычно несвойственная ему уэльсская напевность. Очевидно, это была какая-то шутка, непонятная остальным.

Снимаются чулки. Шелковое трико.

— Проверьте их. Найдете мочу. Мне надо знать, нет ли чего-нибудь еще.

Эти инструкции были излишними — Агню не уступал ему в опытности.

— Ну, значит, так, — сказал Морган. — Подготовьте, пожалуйста. Десяти минут хватит?

— Должно хватить, — неторопливо сказал Агню.

— А мы пока выйдем. — И Морган увел их из секционной. Снаружи он сказал Брайерсу: — Можете выкурить сигарету.

Морган прекрасно знал, что Брайерс, заядлый курильщик, все утро был обречен на воздержание. Теперь он тотчас вытащил пачку. Она с Морганом против обыкновения молчали, и только Шинглер, весь подобранный, такой же глянцевиный, как его каштановые волосы, пытался поддержать разговор. Он был наблюдателем, находчив, и его приходилось слушать.

— Дадим им четверть часа, — сказал Морган, словно ждал опоздавших гостей. Но повел их назад в секционную на три минуты раньше.

Труп был уложен на столе. Волосы на голове и теле сбриты. Без волос голова казалась очень маленькой. Тело выглядело чистым, худым, но не исхудалым — молодым. Как уже отметил Морган, сохранилась она для своих лет на редкость хорошо. Впрочем, через его руки прошли бесчисленные тела, и он успел убедиться в том, что знаки любви обнаружили давным-давно: лица, как правило, стареют, но тела — далеко не всегда. Для некоторых это оказывалось приятным открытием.

— Ну хорошо, — сказал Морган. Он раздул ноздри и раздувал их еще несколько раз на протяжении следующего получаса. Как и в гостиной, чуть тянуло сладковатым запахом разложения. Но больше пока — ничего. За исключением еще одного слабого

нюанса, без которого он предпочел бы обойтись,— оставшегося после предыдущего вскрытия запаха формалина.

Брайерс и Шинглер не сразу поняли, что Агню уже снимает черепную крышку. Он вынул мозг и самым обыденным движением подал Моргану, который несколько секунд его рассматривал, а потом сказал:

— Два удара. Второй ее убил бы. Если бы она уже не умерла.

Дальше Морган продолжал сам. При такого рода вскрытии был вполне допустим разрез от гортани до лобка. И Морган его сделал. Чаще он предпочитает большой у-образный разрез, думал Брайерс, следя за ним. Морган извлек сердце и легкие.

— Ни единого признака. Никакой патологии. Она была крепче многих из нас,— сказал он с легкой завистью.

Внутренние органы аккуратно укладывались в раковине. Печень, почки. На желудке он задержался.

— Им займемся поподробнее. Почему бы и не узнать, что она ела последний раз в жизни.— Он вставил палец в одно из отверстий.— Вот это могло ее немного беспокоить. Ничего патологического, я бы сказал. Просто поизносилось. Но удовольствия мало.

Труп лежал на столе — выпотрошенная оболочка, и только. Внутренние органы были выставлены на всеобщее обозрение. Только врачи, да, может быть, Агню смогли бы отличить их от своих собственных, если бы эти последние были положены рядом. Или от потрохов в старинной мясной лавке.

— Вот пока и все.

Морган вышел, но вскоре вернулся. Его руки снова были чистыми и белыми. Он сказал Брайерсу: «Пошли поговорим» — и добавил, повернувшись к Шинглеру:

— И вы с нами? — Он задал свой вопрос так, словно предпочел бы, чтобы Шинглер отказался, но надеяться на это не приходилось.

«Пошли» — это означало пройти по проулкам, вверх и вниз по лестницам и коридорам, словно в неудачно построенном отеле, в кабинет Моргана. Захламленная комната с фотографиями велосипедных команд, студенческих групп и словно бы не к месту оскаленных зубов. Эти последние были сувениром судебного разбирательства, включенного в «Знаменитые английские процессы», на котором заключение Моргана решило исход дела. «Поговорим» на эвфемистическом языке морга означало в первую и главную очередь «выпьем». Едва они вошли в кабинет, Морган извлек из-за своего письменного стола бутылку виски. Он налил Брайерсу, почти не разбавив, а себе — совсем не разбавив. Шинглер взял свой стакан, разбавил побольше и начал пить мелкими глотками. Морган и Брайерс выпили виски залпом.

Они переговаривались, обмениваясь замечаниями, словно подавая и отбивая мячи в пинг-понге. Они разговаривали с механическим спокойствием профессионалов. На самом же деле оба испытывали облегчение, что вскрытие осталось позади. Да, на счету Моргана было множество вскрытий. Да, он любил применять свою споровку и щеголять ею. Да, Брайерс любил свою работу и был рад воспользоваться помощью патологоанатома. Но это была одна из тех сторон работы, которые все еще стоили большого внутреннего напряжения. И он и Морган были здоровыми, нормальными людьми и иногда не могли полностью его спрятать. Оно прорывалось в их чрезмерном дружеском подкальвании. Почти все время они жили рядом со смертью. Но смерть им не нравилась. Теперь, положив перед собой пачку сигарет, Брайерс почувствовал себя свободнее. Вскрытия никому не доставляют удовольствия. Никому за исключением, быть может, равнодушных людей. На Нормана Шинглера оно как будто совершенно не действовало. Вскрытия были для него источником полезных сведений, и он сосредоточивался только на этом — на том, чтобы совершенствоваться в своей профессии.

Брайерс закурил очередную сигарету, и они заговорили как сотрудники, занятые одной проблемой.

— Кое-что и так ясно,— сказал Морган.— Причина смерти. Ни малейших сомнений. А вот почему ей потом проломили череп, вам придется узнать самому. Я тут ничем помочь не могу. Время смерти? Чуть-чуть уточним. Вам очень повезет, если обнаружится что-нибудь более позитивное. Какой-нибудь ваш подчиненный откопает очевидца. Впрочем, после всего того, что мы с вами видели, я ему не поверю. Ну да вы сами все слышали.

Перед этим было два звонка. Один от эвтомологов. Морган громовым голосом повторял то, что ему говорили по телефону:

— Личинки после первой линьки, личинки после второй линьки. Ну конечно.—

Переговоры по телефону и вновь всей комнате: — Очень близко к моей прикладке. Считая, что окно в комнате было открыто, а температура не ниже двадцати пяти градусов... Идиоты, я же им все это сообщил!.. Первая откладка яиц не раньше семи часов вечера в субботу и не позже одиннадцати. Вот из этого и исходите.

— Раны на голове нанесены после убийства, — сказал Брайерс. — Следовательно, убита она была раньше. Но ненамного.

— Совсем ненамного. Следовательно, вечер субботы или начало ночи. Самое начало, — сказал Морган.

— Ну что же, — сказал Брайерс.

Второе телефонное сообщение было короче и проще. Оно удивило Моргана: никаких следов спермы. Сам он ничего не обнаружил ни на глаз, ни на ощупь — и все-таки был удивлен.

Брайерс не упустил случая подковырнуть его:

— Слишком уж вы навидались убийств, Таффи.

Морган выпил еще, но Брайерс отказался. Переваляло далеко за полдень, а никто из них еще ничего не ел. Но Морган и Брайерс словно не замечали, сколько прошло времени. Около половины третьего Брайерс сказал, что его ждет работа. Последнее слово, однако, осталось за Морганом: когда полиция окончательно запутается, он, так и быть, выберет минутку и объяснит им что к чему.

12

На расстоянии получили от дома леди Эшбрук, в местном полицейском участке, где Брайерс в этот день еще не бывал — как, впрочем, и никогда раньше, — его действительно ждала работа. Один из его помощников, инспектор Флэмсон, занимался оборудованием «специального кабинета», как он окрестил это помещение. Флэмсон был неказист на вид, но дело у него в руках кипело. Картотечные ящики уже были расставлены вдоль стен, а на длинном, крытом зеленой бязью столе Брайерса ожидали папки с документами. Ждал его и пресс-агент из Скотленд-Ярда. Он уже набросал официальное сообщение: сухое, ничем не расцветенное изложение фактов. Брайерс сказал, что пока ничего другого не нужно. Пресс-конференция завтра во второй половине дня. Сообщить, собственно, будет нечего, заметил Флэмсон.

— Ничего, — ответил Брайерс. — Нам к этому не привыкать.

Флэмсон уже отправил первую группу, которой предстояло систематически обойти все дома в этом районе для поисков возможных свидетелей. Ее состав? Сотрудники Скотленд-Ярда, здешние полицейские, сотрудники отдела уголовного розыска — районные и здешние.

— Отлично, — сказал Брайерс. — А сколько их набралось?

— Человек тридцать. Пока.

— Нам потребуется куда больше, — сказал Брайерс. — Но для начала сойдет.

Он сказал, что проинструктирует их завтра прямо с утра.

— Вы пустили машину в ход, Джордж. Я рад, что не болтался здесь у вас под ногами. Спасибо. — И добавил: — Ну а теперь за бумаги.

Он начал со справок о леди Эшбрук, о ее двух мужьях, сыне и внуке. Подавляющая часть этой информации была получена от ее доверенных — их фамилии значились в документах, обнаруженных в ее гостиной. Хорошая, быстрая работа, подумал Брайерс. Затем он прочел два подписанных показания, взятых днем у лиц, обнаруживших труп. Мария Ферейра, Хамфри Ли. Хамфри Ли? Может быть, тот самый? Хамфри Ли был его знакомым, даже больше, чем просто знакомым. Брайерс вспомнил, что Ли как будто действительно живет где-то в этом районе. Познакомились они, когда Брайерса, тогда сержанта уголовной полиции, в связи с одним делом откомандировали на Кипр. Сотрудник службы безопасности полковник Ли, как ему сказали, по-дружески и тактично помогал ему советами. Было это давно, но с тех пор они не теряли друг друга из виду. И совсем недавно Брайерс даже рассказал Хамфри Ли про болезнь своей жены.

Брайерс послал за сухариками, кофе и двумя пачками сигарет. Он работал в этом кабинете, который, когда он достаточно расхвалит Флэмсона, надо будет переименовать в «кабинет по убийству» (Брайерс предпочитал простые и ясные определения — по любопытному совпадению этому он научился у того же Хамфри Ли), до девяти часов вечера и вернулся туда на следующий день в восемь утра

В восемь тридцать большую комнату заполнили полицейские и сотрудники уголовного розыска, как мужчины, так и женщины. Брайерс давно набил руку в таких инструктажах — его тон был ободряющим и веселым, насмешливым. Сейчас у них не хватает людей, сказал он, так что им придется работать, пока они не свалятся. Но тут уж деваться некуда. При расследовании таких дел первые дни — самые важные, это они сами знают. Нельзя давать тому, кого они ищут, времени думать. Пусть думает, когда окажется за решеткой. А сейчас необходимо вести работу по всем линиям. Рядом вокзал Виктория, и вокруг хватает темных личностей, да и во всем районе тоже. И никого еще исключить нельзя, так что девиз пока — каждый и всякий. Участки между оперативными группами распределит старший инспектор Бейл. Возможно, завтра все уже будет ясно, а возможно, им предстоит возиться с этим и недели и месяцы. Ну, ни пуха ни пера.

Когда оперативники начали расходиться, Бейл задержал шестерых. Брайерс пока еще почти ничего не сказал о том, что ему было известно, и совсем ничего о том, что он думал. Все шестеро были особенно опытные в такого рода работе. Им поручили обойти тех знакомых леди Эшбрук, которых удалось установить. Другими словами, им предстояли визиты в фешенебельные дома Белгрейви, Челси — районов, где живут богатые люди.

— Будьте поделкатней, — сказал Брайерс. — Пока особенно не нажимайте. Постараемся, чтобы на комиссара поменьше визжали по телефону.

Потом Брайерс кивнул Бейлу, и вместе с Шинглером и Флэмсоном они прошли по коридору в другую, небольшую комнату, где обстановка исчерпывалась полированным столом и полудюжиной жестких стульев. Эта комната, единственное окно которой выходило на садики позади домов на Джеральд-роуд (пожухлые от жары газончики), была их личным убежищем. Шинглер высунул голову в коридор и потребовал кофе — словно в Америке, где в любом учреждении или конторе он подается в любое время дня.

Эти трое были ближайшими сотрудниками Брайерса. Но хотя это и объединяло их в тесный кружок, они не выглядели особенно сплоченными — не более чем любые три человека, стоящие на средних ступенях одной служебной лестницы. Леонард Бейл, правая рука Брайерса, заведовал группами, которые вели опрос населения. Его тонкое, аскетическое лицо, длинный нос, седеющие волосы прекрасно подошли бы священнослужителю — какому-нибудь далекому от политики простодушному кардиналу. Плечи у него были покатые, что нередко сочетается с большой физической силой. Службу он начал простым полицейским и получил несколько наград за храбрость. Еще недавно они с Брайерсом были инспекторами. Но при очередном повышении его обошли, и хотя потом он все-таки получил чин старшего инспектора, больше его уже ничего не ждало. Брайерс, который был на шесть лет моложе, стал его начальником. Но Бейл как будто не затаил никакой обиды и вел себя так, словно ему нравилось быть на второй роли.

Брайерс сел за стол, позвонил, чтобы принесли пепельницу, и спросил:

— Вы, конечно, прочли все материалы? В каком положении игра?

— Что же, сэр... — Это сказал Бейл, который на людях принципиально соблюдал все правила служебного этикета, хотя из них всех только он в разговорах наедине называл Брайерса по имени. — Машина полегоньку работает. Нам требуются еще люди. Это само собой.

— Да, конечно. Я важму наверху. Тут уж им придется расщедриться. Но я хочу знать, что думаете вы все. Что нам пока известно?

— Не так уж много, начальник, — сказал Флэмсон. — То есть просто очень мало.

За Флэмсоном все больше признавались организаторские способности. Это был полный краснолицый бронет, один из тех темноволосых англичан, родина которых — центральные графства, о чем свидетельствовал и ничем не истребимый акцент. Брайерс и Бейл сумели в свое время избавиться от интонаций, характерных для северян. По своему происхождению они были связаны не с рабочим классом, а со слоями чуть повыше — этой социальной «ничейной» землей непосредственно над ним.

— Нет, одно мы знаем точно, шеф, — сказал Шинглер. — Ищем мы не просто уличного подонка. Тут не случайное ограбление с убийством.

— Это с первого взгляда видно, — сказал Брайерс, однако не для того, чтобы поставить его на место. Шинглер был напористым, цепким, но способным, и Брайерс опе-

кал и выдвигал его. Для своего чина он был молод, и хотя получил его, в общем, заслуженно, Брайерс ему во многом помог. Тактичными советами, как когда-то ему самому — Хамфри Ли, хотя Брайерс и не осознавал, от кого заимствовал эту манеру.

— Он знал, что делал,— сказал Шинглер.— Предположим, что он прошел через сад — по проходному двору и по траве к задней двери. Нигде никаких следов.— Шинглер, как ответственный за обследование места преступления, изложил все это в отчете накануне вечером.— Ребята ищут их где только можно, но пока — ничего. Он выдвинул стекло в садовой двери. Старый прием с оберточной бумагой. Совсем не в духе уличного хулиганья. Нигде ни одного отпечатка. Ни единого отпечатка на весь проклятый особняк.

— По-вашему, работал профессионал? — Брайерс откинулся на стуле.

— И старался изобразить случайный грабеж? — заметил Флэмсон.— Не исключено, совсем не исключено.

— Может быть, и профессионал,— рассеяно сказал Брайерс.— Может быть.

— Во всяком случае, это версия,— сказал Шинглер.— Не единственная, конечно. Но нет у нас данных, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, верно, шеф?

— Пока нет.

— Во всяком случае, это не простой поддон,— повторил Шинглер по инерции.

— Но почему все уверены, что мы ищем мужчину? — с достоинством спросил Бейл.— Ведь это могла быть и женщина.

Шинглер и Флэмсон удивленно посмотрели на него. От старого селезня, как его именовали за кулисами, оригинальных мыслей никто не ждал. Его любили, но не уважали — возможно, потому, что он не внушал даже тени страха. И его недооценивали. Теперь они весело, шумно захохотали.

— Не исключено.— Брайерс сказал это так жестко, что они сразу перестали смеяться. Вот он, несмотря на скромность и доброжелательность, внушал страх, и порой больше, чем это было полезно для дела.— Совсе не исключено. Нет ни малейших оснований сбрасывать со счета женщин. Ни малейших.

Шинглер старался прислушиваться к начальству, но иногда нетерпение брало верх. И теперь он бесцеремонно вернулся к своей теме, словно женщины даже не были упомянуты.

— Если он профессионал,— продолжал Шинглер,— то проделал все это практически впустую. Как я указал в отчете, добыча свелась к кое-каким безделушкам и примерно к тремстам фунтам в банкнотах.

— Эти банкноты должны бы оказаться нам полезными,— сказал Брайерс, а Бейл добавил:

— Да, их можно будет проследить, сэр. Вы же читали отчет Нормана. Она записывала номера к себе в книжечку. Мы их уже разослали всем кому требуется.

— Отлично,— сказал Брайерс, а затем неожиданно добавил словно между прочим: — Если это профессионал, то довольно скверный.

— Согласен,— вставил Бейл.

— С одной стороны, он действовал как очень опытный профессионал и не оставил совсем никаких следов. Но в практическом отношении он был на редкость плох. Подавляющее большинство профессионалов сначала проверили бы, есть ли в доме что-то стоящее,— так? И они не стали бы устраивать разгром, словно уличное хулиганье.

— К чему вы клоните, начальник? Вы думаете, кто-то разыгрывал из себя взломщика?

— Так далеко я заходить не рискну.— Брайерс сохранял полную невозмутимость.— Более вероятно, что это был неумный профессионал, в решительную минуту потерявший голову. Нет вреднее ошибки — хотя все мы, конечно, склонны в нее впасть,— чем с самого начала надесть на себя шоры. На попытке доказать предвзятую идею сорвалось немало сыщиков.

— Ну а все-таки, начальник...— начал Флэмсон.

— Что — все-таки? — переспросил Брайерс самым энергичным тоном.

— Если я вас правильно понял, начальник, по-вашему, это вовсе не обязательно взломщик, который решил посмотреть, не подвернется ли ему что-нибудь. По-вашему, может, было и не так. А в таком случае ее прикончили не потому, что она кого-то спугнула. Значит, была другая причина. И тут уже пахнет настоящим убийством. Преднамеренным.

— Возможно,— сказал Брайерс.— А возможно, что и нет.

Флэмсон вытер потный лоб. Он торжествовал свою маленькую победу и не собирался отступать.

— А в таком случае надо заняться самой старушкой. Почему кому-то понадобилось ее прикончить? Из-за денег? А кто должен получить ее деньги, раз она отдала богу душу? Я еще вчера днем об этом подумал.

— Не так уж гениально. Мы бы все к этому пришли, как только покончили с предварительной работой. Стандартная процедура,— сказал Шинглер с досадливой улыбкой. Он понял, что Флэмсон первым уловил ход мыслей Брайерса, а вернее, то их направление, на которое Брайерс счел нужным намекнуть.

— Ну а я пришел уже вчера!— Флэмсон вспотел еще сильнее, и вид у него был сыто-довольный, как у любителя поесть после вкусного обильного обеда.— И я говорил об этом с Леном Бейлом, верно?

Бейл утвердительно кивнул.

— Надо узнать про ее завещание. Стандартная процедура, Норман, если вам так хочется. Мы же простые полицейские. Старина Лен позвонил ее поверенным. И говорит, что они уловили суть и огласят завещание еще до конца недели.

Брайерс одобритительно воскликнул:

— Молодец, Джордж!— И добавил, улыбнувшись Бейлу: — Молодец, Лен.— Потом он продолжал: — Если тут что-то всплывет, нам придется нелегко. Иметь дело с людьми этого круга — удовольствие небольшое. Я не очень часто с ними сталкивался, но они хорошо умеют смыкать ряды. Так что учтите: играть мы будем не на своем поле.

13

Тогда же, утром во вторник, пока Брайерс совещался со своими сотрудниками, Хамфри сидел у себя в гостиной и читал «Таймс». Он сразу же нашел сообщение об убийстве леди Эшбрук. Это не потребовало особых поисков: достаточно было взглянуть на первую страницу. Он не сомневался, что другие газеты поместили его на столь же видном месте и под более кричащими заголовками. Особенно конкурировать с такой новостью в этот момент было нечему. Все тот же финансовый спад; погода — по-прежнему никаких признаков перемены; предупреждения специалистов, что посевы горят на корню и что возможна засуха (в Англии — кто бы поверил!); убийство в Белгрейвии. Конечно, предпочтение было отдано убийству.

«Убийство в Белгрейвии» — этот заголовок был подхвачен за пределами Лондона и даже за пределами Англии, хотя подавляющее большинство тех, кто его повторял, понятия не имели, где находится Белгрейвия и что это вообще за место. Как предвидели Брайерс и его начальство, убийство леди Эшбрук обещало оставаться сенсацией еще довольно долго.

В официальном сообщении говорилось только, что, по мнению полиции, леди Эшбрук была убита и что расследование ведет старший суперинтендент Брайерс. Прочитав это, Хамфри обрадовался. Брайерс при его манере работать быстро, несомненно, уже прочел взятые накануне показания и, значит, позвонит ему в ближайшие часы. Хамфри подумал об этом с искренним удовольствием. Он уважал Брайерса и любил его — возможно, так, как любят удачливых протеже. Сам Хамфри особого успеха не добился, но ему было приятно, когда успеха добивались те, кому он чем-то помог. Здесь играло роль и некоторое тщеславие: все-таки он поставил на победителя.

Некролог в «Таймс» был официальным, фактографичным, не очень длинным и занимал не самое видное место. Семья, замужества, сын — нынешний маркиз. Играла видную роль в лондонском свете между двумя войнами. Общественная деятельность. Председатель Ассоциации женщин-консерваторов (1952—1963), Англо-Норвежское общество, Имперский фонд борьбы с раком.

Более чем сухо. Может быть, кто-нибудь из ее искренне огорченных друзей решит написать от своего имени несколько не столь безразличных слов — что, впрочем, совсем нетрудно, подумал Хамфри.

В конце утра зазвонил телефон. Приятный, хорошо поставленный голос назвал его имя. И затем:

— Это Лоузби. Послушайте, мне требуется небольшая помощь. Нельзя ли нам поговорить?

— О чем? — Хамфри был более чем сдержанным.

— Я попал в затруднительное положение. А вы ведь мудрец..

— В чем, собственно, дело?

— Нельзя ли нам поговорить? Это могло бы помочь...— Очень мило и вкрадчиво.

— Пожалуй, если хотите.— Хамфри примерно представлял себе, что может последовать, и в нем пробудилась прежняя служебная осторожность.— Но только не по телефону. И сюда вам приезжать не стоит. Возможно, вас ищут.

Они встретились в кафе у дальнего конца Кингс-роуд, поблекшем, душном, но почти полном, которое выбрал Лоузби. Возможно, Лоузби был встревожен, но выглядел он все таким же цветущим баловнем судьбы и с полным спокойствием заказал себе макароны по-болонски.

— В штабе сказали,— говорил он тоже без видимого волнения,— что вы звонили мне в понедельник.

— По вполне понятной причине,— ответил Хамфри.

— А я отсутствовал.

— Да, я это заметил.

— Собственно, я был в Лондоне.— Лоузби просил своей простодушной, невинной, бесстыжей улыбкой.— Как вам это покажется?

— Как это покажется мне, значения не имеет, Объяснить вам придется полиции. О чем вы, конечно, уже думали. А что вы делали в Лондоне?

Лоузби по-прежнему улыбался с полной безмятежностью.

— Ну, вы же меня знаете!

— Знаю ли?

Лоузби это не сбило.

— Я решил, что мне полезно будет проветриться. Полностью отключиться. Ну, я и взял отпуск на несколько дней. Сослался на состояние здоровья бабушки — отличный предлог. И проверенный на опыте.

— Но вы у нее не были?

— К несчастью, нет. Днем в субботу я ей позвонил. Она сказала, что чувствует себя прекрасно.

— А где вы были?

Лоузби ответил:

— Неподалеку. Можно даже сказать — довольно близко.

— Где?

Лоузби внезапно перешел на холодно-корректный тон:

— Об этом я предпочел бы умолчать.— И снова бесстыжая улыбка. — Укрылся в уютном гнездышке. Очень удобно для полного отключения.

— С женщиной?

— Это вы сказали, а не я.

Лоузби занялся макаронами. Хамфри в свое время вел немало допросов. Он сидел молча. Молодой человек будет вынужден заговорить сам.

И с полной невозмутимостью молодой человек заговорил:

— Я ведь сказал вам, что попал в затруднительное положение. Теперь вы знаете почему. Ну и что же мне делать?

Хамфри выждал некоторое время, а потом спросил:

— Вы говорите мне правду?

— А почему, собственно, мне ее не говорить?

— По целому ряду причин. И если вы меня в этом не заверите, нам придется кончить этот разговор.

Лоузби улыбнулся самой милой своей улыбкой.

— Хотите, чтобы я поклялся на Библии?

— Необязательно.— Хамфри ответил улыбкой далеко не такой милой.— Вы бы на ней поклялись, даже если бы лгали направо, не так ли?

Лоузби расхохотался.

— Ну хорошо. Да, я говорю правду. Только не уточнил, где я был и с кем. Это могло бы вас удивить. Я предпочту сохранить свой секрет — разве что другого выхода у меня не будет. В конце концов согласитесь, что я поступаю как истинный английский джентльмен.

Хамфри не мог сдерживать усмешки. Наверное, с помощью таких вот шуточек Лоузби и одерживает свои победы. Только хорошо зная ему подобных, можно уловить ее подтекст. Хамфри заговорил менее резко:

— Ну, будем исходить из этого. Любой мало-мальски здравомыслящий человек посоветует вам то же. И любой порядочный адвокат. Но от такого совета толк будет, если вы говорите правду. Вам необходимо явиться в полицию и сказать все, что вы сказали мне. И отправляйтесь сразу же, как только разделаетесь с этим.— Хамфри неодобрительно посмотрел на груды макарон.— Конечно, вам надо было бы сделать это вчера утром. Они будут с вами вполне вежливы. Вы дадите показания и подпишете их. А они начнут проверять. Помните: это очень серьезно. Они меньше всего дураки. И отнесутся ко всему, что вы скажете, с подозрением. Это их обязанность — подозревать. Они не придерживаются возвышенных взглядов на человеческую натуру. Их, конечно, интересует завещание вашей бабушки. И если она оставила вам приличную сумму — а это кажется мне довольно вероятным, — уж тогда они раскопают все, что можно раскопать. Вот почему, если вы не сказали мне правду, мои советы вам лучше сразу забыть.

Как накануне объявил в полицейском участке Шинглер, мысль о завещании напращивалась сама собой.

И Хамфри перебил себя вопросом:

— Кстати, о завещании. Вы знаете, что в нем?

— Не имею ни малейшего представления. А вы?

— С какой стати? Она никакого особого доверия мне никогда не оказывала. Да и никому другому, я думаю, тоже. Особенно в последние годы. Разве что вам.

— И не мне. Она была ко мне привязана, вот и все.— Впервые за время их разговора Лоузби, казалось, стал серьезным. Он спросил, глядя в сторону:— Вы ведь мне доверяете?

— А как вы думаете?

Хамфри воспользовался тем же небрежно шутивным тоном, в каком отвечал на его вопросы Лоузби. В эту минуту он даже самому себе не мог бы ответить ни да, ни нет. Доверяет ли он Лоузби? Слишком много ему приходилось вести допросов. И он открыл любопытную вещь: в ходе допросов пронизательность, интуиция — называйте это как хотите — куда-то исчезает.

Подозрения ступались, выкристаллизовывались, сплетались в параноическую сеть. То самое, чего постоянно должны остерегаться сотрудники службы безопасности, но о чем многие из них забывают. Возможным кажется все что угодно, и кто угодно кажется опасным. Например, насколько помнил Хамфри, только два человека из всех живущих поблизости были отмечены вопросительными знаками в досье, которые вело учреждение, где он прежде служил: Том Теркилл, получивший его очень давно за левые выступления в дни молодости, вполне обычные для политика, и — хотите верьте, хотите нет — Поль Мейсон. Потому что Поль, изучая мировую экономику, много ездил по Восточной Европе.

В спокойном состоянии всякий, кто может отличить человека от кочерыжки, сразу увидел бы, что Поль способен предать свою страну не больше, чем герцог Веллингтон, и тем не менее Хамфри без труда представил себе, как во время допроса параноические подозрения все усиливаются: а вдруг перед тобой классический образчик принадлежащего к высшим классам предателя в непроницаемой броне ледяной расчетливости? Когда ведешь расследование, надо уметь избавляться от этой непроизвольной подозрительности. И сейчас, в этом замызганном кафе, Хамфри был не в состоянии решить, доверяет ли он Лоузби или нет и вызвал ли бы у него этот молодой человек особый интерес, будь он на месте следователя.

Сам Лоузби, неторопливо смакуя большую порцию мороженого, перешел к спокойному и деловитому обсуждению похорон. По-видимому, заняться этим должен будет он? Когда полиция выдаст ему тело? Или такое распоряжение исходит от следственного судьи? Хамфри покачал головой — ему часто приходилось сотрудничать с полицией, но не по уголовным делам такого рода. Вероятно, это можно будет узнать. А ее сын, отец Лоузби, придет на похороны?

— В его состоянии? Конечно, нет, — ответил Лоузби без всякого выражения, и Хамфри вспомнил слухи, что шестидесятилетний лорд Певенси страдает тяжелым алкоголизмом.

Не знает ли он, спросил Лоузби, какие похороны предпочла бы бабушка? Снова Хамфри ничего не мог ответить. Возможно, в ее бумагах найдутся какие-нибудь распоряжения. Лоузби смутно припомнил, будто она однажды сказала, что мысль о погребении в земле ей неприятна. Кремация? В любом случае никакой пышности она

не хотела бы. Привыкнув нравиться, умело этого добиваясь, искусно играя в наивность, Лоузби на самом деле — как Хамфри понял уже давно — был далеко не прост, и тем не менее он рассуждал о том, чего хотела бы умершая, с самой простодушной уверенностью.

Ближе к вечеру Лоузби позвонил, чтобы задать еще несколько вопросов. По телефону его голос звучал не так мелодично, как утром, не так убедительно, как при личном общении. Он ни словом не заикнулся о собственном положении. Хамфри сказал:

— Но с полицией вы объяснились?

— Вполне.

— Надеюсь, вы не забыли того, что я вам сказал?

Голос в трубке вновь стал корректно-вежливым:

— Я никогда не забываю того, что мне говорят.

14

Хамфри ждал звонка из полицейского участка, но миновали вторник, среда, четверг, а ему все не звонили. Среди обитателей площади и соседних улиц, как он замечал, нарастало пока еще сдерживаемое волнение. Во время прогулок его не раз останавливали дряхлые старожилы, словно надеясь, что он их успокоит. Их мучила тревога. Зной, пышущее жаром небо действовали на нервы. Монти Лефрой, казалось, говорил от имени их всех, когда заявил суровым, угрожающим тоном:

— Если нечто подобное может случиться в Белгрейвии, то же самое может случиться где угодно!

Тон прессы становился зловецким. Вслед за Америкой газеты выдвинули лозунг «закон и порядок» — под этим заглавием «Таймс» напечатала обстоятельную редакционную статью. Престарелая дама, в свое время оказавшая государству немало ценных услуг, стала жертвой зверского убийства. Неоспоримо, говорилось далее в статье, что это страшное происшествие во многих отношениях отражает состояние современного общества, и тем не менее смириться с ним недопустимо, а потому мы должны заглянуть в собственные сердца и постичь самую суть вопроса.

После официального некролога «Таймс» поместила в добавление к нему мягкий протест, подписанный только инициалами «К. Т.»:

«Позвольте другу добавить несколько слов о леди Эшбрук, какой ее знали близкие. Людей, с ней незнакомых или знакомых мало, иногда задевала неуклонность, с какой леди Эшбрук требовала соблюдения определенных строгих правил, в том числе и правил вежливости, которые более позднему поколению представляются излишне строгими. Это приводит на память ее оповедь леди Астор в Кливдене. Леди Эшбрук не потерпела бы грубости ни от кого. Но ее друзья знают, что она обладала несравненно более важными душевными качествами: негнбимой принципиальностью, благородной щедростью духа, редкостной добротой и смирением, которых не могла скрыть от тех, кто ее знал, никакая резкость речи, порой ей свойственная, и истинно христианской верой, проявлявшейся в постоянных заботах о других».

Прочитав это описание, Хамфри улыбнулся с угрюмым сожалением. Посмеялась ли бы она над таким удивительным панегириком? Возможно, что и нет. Ведь люди в подавляющем большинстве, включая и тех, кто относится ко всем иронически (а может быть, они-то в первую очередь!), предпочитают любые похвалы полному их отсутствию.

Затем газеты перестали писать о леди Эшбрук, но не об ее убийстве. К пятнице Хамфри уже не мог подавить разочарование оттого, что Брайерс так и не позвонил. Пристыженно посмеиваясь по собственному адресу, он обнаружил, что не только разочарован, но и обижен. До нелепости похоже на ощущение юнца, которого внезапно прославившийся приятель обошел приглашением!

Однако в пятницу на исходе утра раздался звонок.

— Мистер Ли? С вами хотел бы поговорить старший суперинтендент Брайерс.

Голос Брайерса, обычно приглушенный, был от природы очень глубоким и звучным — могучий баритон, совершенно не вязавшийся с его неброской внешностью.

— Хамфри? Рад случаю поговорить с вами. Я тут по соседству занимаюсь одним делом. Не знаю, слышали ли вы?

— Конечно.

— Очень хорошо. Вы ведь были с ней знакомы? Так не могли бы вы уделить мне полчаса?

— Естественно, могу.

— Сегодня? В три часа? Ну, жду.

Хамфри по-прежнему недоумевал, почему Брайерс вообще так долго не давал о себе знать. Совсем недавно — меньше двух лет назад — Брайерс пригласил его пообедать вместе и рассказал о своем несчастье. По телефону его голос был бодрым и достаточно сердечным, но оставался деловым. С другой стороны, он не раз видел, как работает Брайерс, целиком сосредоточившись только на расследовании.

До Джеральд-роуд было всего полмили, и Хамфри отправился туда пешком. Полицейский участок выглядел очень приятно в солнечном мареве, золотившем цветочные ящики на окнах первого этажа. Словно иллюстрация, умиленно изображающая полицейский участок в тихом городке незадолго до 1914 года, — тишина и благодушие. Мотоциклы у тротуара и машины по ту сторону улицы несколько нарушали картину, и все-таки она навевала тоску по прошлому, как романы об ушедшей жизни, настолько безмятежные, что просто ощущаешь запах цветов. Да и вообще Джеральд-роуд была приятной улочкой — строители в свое время старались использовать каждый клочок земли и воздвигли ряд красивых домов с фасадами более широкими, чем у особняков Эйлстоунской площади. Несколько лет назад один из этих домов служил временным приютом для самых блестящих звезд театра.

Не успел Хамфри войти, как его уже повели по коридору.

— Он в кабинете по убийству, сэр, — сказал дежурный. — Я вас провожу.

В дальнем конце длинной комнаты за столом сидел Брайерс. Он вскочил, очень энергичный, очень приветливый.

— Рад вас видеть, Хамфри. — Он продолжал: — Простите за хаос. Один из моих ребят — Флэмсон, вы еще с ним познакомитесь — занимается наведением порядка. С этим всегда трудности.

Никакого хаоса в комнате не было, но Брайерс стремился в этом отношении к такому идеалу, что Хамфри, сам человек очень аккуратный, нередко чувствовал себя пристыженным. Несомненно, дежурный получил точное описание Хамфри и инструкции встретить его как можно вежливее и сразу проводить в кабинет.

Брайерс заговорил о кое-каких практических проблемах. Он держался дружески, но, пожалуй, без настоящей теплоты — впрочем, Хамфри не исключал, что в нем проснулась подозрительность. Во всяком случае, разговаривал Брайерс охотно, но, с другой стороны, ничего нового в этом не было. И вообще, насколько мог судить Хамфри, среди людей, проводящих жизнь в непрерывной активной деятельности — военных, предпринимателей, адвокатов, — молчаливые встречаются редко. Стереотипный образ прямо противоположен реальности. Молчаливиков лучше искать среди творческой интеллигенции.

Фрэнк Брайерс заговорил о расследовании: будут большие неприятности, если он не доберется до сути за несколько недель, а лучше бы и дней.

— Но вы доберетесь? — спросил Хамфри.

— На вашем месте я на это не поставил бы. — Брайерс не любил пускать пыль в глаза. — Случай довольно сумбурный. — Он на секунду умолк и заговорил уже другим тоном: — Вы ведь лицо прямо причастное. Я читал ваши показания — они приобщены к делу. Ну да это само собой разумеется. Я бы вас раньше повидал, но нужно было все наладить. Наверно, вы хотите знать, насколько мы продвинулись. Меньше чем на дюйм. Тем не менее поговорить мы можем. Вы же человек проверенный. Во всяком случае, никому еще пока не удалось засадить вас за решетку.

Еще в самом начале их знакомства Хамфри обнаружил, что Брайерс — человек с воображением, тонкий и чуткий. Когда он получил инструкцию сотрудничать с Хамфри, он видел документы, в которых чин и имя Хамфри были обозначены полностью: полковник Хамфри Ли. И он начал с того, что назвал Хамфри полковником. Ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы заметить, что Хамфри это неприятно, и больше его ни когда так не называл.

Могучая энергия сочеталась у него с тем, что недели за две до убийства Хамфри назвал деликатностью сердца. Но это не исключало незыскательного вкуса к висельному или каторжному юмору, который несколько огорашивал, пока с ним не свыкались. В конце концов Брайерс не мог бы стать первоклассным полицейским, подумал Хамфри, если бы в нем не было ничего, кроме благожелательности.

Хамфри попробовал перевести разговор на личные темы.

— Мы ведь не виделись довольно давно? — сказал он. — Что Бетти?

— Все идет примерно так, как я вам тогда говорил. Приходится приспособляться, и только.

Жена Брайерса, совсем молодая женщина, была тяжело больна. Их брак выдержал, но клинические перспективы были невеселыми. Он не хотел больше об этом говорить, но Хамфри почувствовал, что натянутость между ними возникла из-за другого — если натянутость действительно возникла. Имея дело с человеком профессионально вежливым, заметить что-либо конкретное было нелегко.

— Насколько мы продвинулись?

Брайерс повторил собственный вопрос и начал на него отвечать. Хотя слова сыпались быстро, за ними — что для Хамфри разумелось само собой — стоял организованный ум. А также завидная память — опять-таки для Хамфри она разумелась сама собой, поскольку его собственная память была того же порядка. Без подобной памяти, хотя для самолечения это и обидно, ни разведывательной, ни полицейской работой заниматься вообще невозможно и заменить ее ничем нельзя. Картошки, досье, электроника — все это мертво, если рядом нет человеческой памяти. Вот почему разведывательные операции становились менее эффективными и более путанными, если их уже не могло охватить чье-то сознание.

Фрэнк Брайерс, чья память не уступала в точности памяти Поля Мейсона, разнес свои ответы по категориям. Он начал так же, как тогда со своими сотрудниками: время убийства, причина смерти, удары по голове после смерти. Тут Брайерс, хотя Хамфри этого знать не мог, оборвал рассказ и стал говорить о предположениях, на которые намекал троем посвященным во время совещания днем в понедельник.

— Одно несомненно, — сказал он бодро и решительно. — Это не уличные подонки. Газеты тут все переврали. В таком сумбуре что-нибудь всегда перевирают. Но это явно был не просто хулиган. Может быть, профессионал. Он заранее узнал входы и выходы. Он работал в перчатках или позаботился стереть все отпечатки. Пока мы еще ни одного в доме не обнаружили. Да, конечно, выглядит это так, будто он, убив ее, сорвался с тормозов. Разбивать ей голову было незачем. Профессионалы так не делают. Однако подобные случаи бывали.

— Какая у него могла быть цель?

— А как по-вашему? — резко спросил Брайерс.

— Не знаю.

— Вот и мы тоже.

Они еще не установили, какие ценности были у леди Эшбрук и какие из них похищены. Единственные сведения получены пока от Марии. Пропали некоторые серебряные вещи. Из картин не взято ни одной.

— У него на это хватило соображения. Сбыть их невозможно. Да, кстати, насколько они ценны?

— Я могу лишь примерно предположить. Вам придется найти специалиста для проведения экспертизы. — Хамфри поддался своему педантичному пристрастию к правильному словоупотреблению. «Экспертиза» означало именно это. Его всегда раздражало неверное использование терминов, заимствованных из других языков. — Две из них, вероятно, стоят от десяти до двадцати тысяч фунтов. Может быть, больше.

— Не имеет значения, — сказал Брайерс. — Продать их он не смог бы.

Хамфри еще не был уверен, что его друг скрывает от него некоторые свои предположения, а тем более не догадывался, какие именно. Брайерс обладал особой способностью говорить с полной откровенностью, искусно обходя суть вопроса. Но он рассказал Хамфри о трехстах фунтах, которые леди Эшбрук хранила в гостиной, и о том, что она, как говорят, платила по счетам наличными. Хамфри перебил его:

— Мне кажется, она была очень скупа. Возможно, патологически скупа.

Брайерс зафиксировал эти сведения в своей электронной памяти и продолжал:

— Если все исчерпывалось тремястами фунтами и серебряными безделушками, такая добыча явно не стоила того, чтобы ее убивать. Или, если хотите, милосердно положить конец ее страданиям.

— Нет, — сказал Хамфри. — На свой лад она получала от жизни удовольствие.

Машина уже работает полным ходом, сказал Брайерс, и дополнительных объяснений Хамфри не потребовалось. Профессиональные преступники, известные полиции. Другими словами, сведения из источников во всех закоулках лондонского уголовного

мира, проверка тюремных слухов и разговоров, уточнение, кто в данный момент арестован, а кто находится на свободе. Это напоминало трудоемкое научное исследование. Примерно к тому же сводилась значительная часть работы, которую вел прежний отдел Хамфри. В любой профессии только те, кто причастен к ней, знают, сколько часов в день неизбежно уходит на скучную рутину.

За последние четыре дня поступили кое-какие сведения. Но, сказал Брайерс, особых надежд на них возлагать не приходилось. Во-первых, от мелкого мошенника, решившего подлизаться к полиции,— сплошное вранье. Во-вторых, от глупого мальчишки, жаждущего быть полезным. Добровольным осведомителям из пивных и баров Брайерс не доверял и больше полагался на тихих старичков, которые звонили ему по телефону, приглашали его в уютный домик где-нибудь в Клепеме и угощали чаем.

На столе перед Брайерсом лежали открытые картонные папки. Он в них не заглядывал, но теперь вдруг захлопнул одну.

— Ну вот, Хамфри, игра пока примерно в таком положении. На нынешний день, тридцатое июля. А мне все-таки хотелось бы покончить с этим делом недели в две.

— И покончите?

— На вашем месте я бы ставить на это не стал,— повторил Брайерс.

Хамфри поднялся, и они обменялись приглашениями. Брайерс сказал, что в ближайшее время его наверняка можно будет застать тут во второй половине дня и он всегда рад видеть Хамфри. Со своей стороны Хамфри сказал, что живет неподалеку (Брайерс: «По-вашему, мы этого не знаем?»). И они могли бы посидеть за рюмкой в любой вечер, если Брайерс освободится пораньше.

И тут Брайерс просто, словно бы вскользь сказал:

— Ах да! Еще одна мелочь. Что вы знаете про лорда Лоузби?

Это действительно могло быть сказано просто, но отнюдь не вскользь. Во время работы — да и во время отдыха тоже согласно наблюдениям Хамфри — существенных вопросов Брайерс случайно не задавал.

К нему Хамфри относился с симпатией и теплотой, а потому при упоминании о Лоузби не стал уклоняться от прямого ответа, как тогда с Томом Теркиллом.

— Я время от времени соприкасался с ним еще с тех пор, как он был ребенком. Но и только.

— Вы не знаете, где он был в прошлую субботу?

— Он, как ни странно, мне об этом говорил.— Хамфри улыбнулся Брайерсу — бывший мастер допросов другому мастеру, отнюдь не бывшему.— А я, как ни странно, рекомендовал ему явиться сюда и все рассказать.

— Нам это известно. Вы рекомендовали ему это во вторник. Мы еще тогда знали.

— Неужели? — Хамфри в свое время устраивал слежку за другими людьми, но тем не менее смириться с мыслью, что следят за ним самим, было нелегко.

— Сам я с ним не говорил. Но, может быть, еще придется. Собственно, я к этому особенно серьезно не отношусь. Показания Лоузби я, конечно, читал. Полагаю, вы эту историю слышали.

— Ну, если он рассказал мне то же, что и вам...

— Ну, что он воспользовался предлогом, чтобы поразвлечься. Попросил отпуск, чтобы повидаться с бабушкой, а сам втихомолку резвился. Вот что он говорит. Это правда?

— Откуда я знаю? Мне он сказал точно то же самое.

— Мои ребята проверили что могли. Пока все совпадает. Но большого значения это не имеет. У него было полно времени, чтобы обеспечить необходимое подтверждение.

— А с кем он был?

Брайерс ответил виноватым тоном (ведь он только что утверждал, что относится к этому эпизоду несерьезно):

— Извините, Хамфри, но мне, пожалуй, не следует вам отвечать. Тут есть некоторые особые обстоятельства. В частности, то, где он провел ту ночь. И вообще ту субботу и воскресенье. Во всяком случае, такова его история.

— И звучит она очень правдоподобно,— заметил Хамфри.

— Очень.— И тут Брайерс внезапно спросил:— Что он такое на самом деле?

Хамфри снова понимающе улыбнулся. Старый прием: неожиданный переход от благодушия к зондированию.

— Вы говорили о профессиональных преступниках. Так вот про Лоузби можно сказать, что он профессиональный обаяшечка.

— Довольно противно.

— Но ведь вовсе не требуется, чтобы он нравился вам.

— Вы ему доверяете?

— Для вас, Фрэнк, такой вопрос слишком примитивен. И вы сами это знаете. Что значит — доверяю? Думаю, на войне я бы ему вполне доверял. А вот с деньгами — не слишком: я хочу сказать, что не дал бы ему взаймы большую сумму, если бы рассчитывал получить свои деньги обратно. Я не доверил бы ему судьбу девушки, к которой хорошо отношусь. И еще во многих отношениях он мне доверия не внушает.

Взгляд Брайерса из жесткого стал открытым и дружеским.

— Ну что же, можно и так.

— Но вы меня еще не спросили, считаю ли, что он был способен убить свою бабушку.

— Я мог бы спросить вас, имеет ли мне смысл тратить на него время.

— Говорите напрямик, — сказал Хамфри. — Если вам это может пригодиться, я отвечу на вопрос, которого вы не задали. Нет, по-моему, на это он был бы неспособен. На очень многое — да, но не на это. — Хамфри, казалось, задумался, а потом добавил: — Следовательно, насколько я понимаю, внуки вообще убивают бабушек довольно редко?

Брайерс расхохотался. Вопрос прозвучал академически и был совсем не в стиле Хамфри.

— В моей практике я с этим ни разу не сталкивался. Хотя, наверное, такие случаи бывали. Думаю, нет таких форм родства, которые гарантировали бы от убийства.

Выйдя из задумчивости, Хамфри сказал:

— Я не верю, что Лоузби мог ее убить. Беда в том, что при такой путанице возможным кажется все. И чем больше ты на своем веку видел, тем возможнее оно кажется.

— Беда в том, что мы оба видели чересчур много. Я с вами согласен: тем труднее поставить точку в своих предположениях.

Брайерс открыл шкаф, вынул бутылку, и они выпили. Больше к этой теме они не возвращались. То, что они сказали, было, пожалуй, неожиданным для них самих: два уравновешенных, опытных человека вдруг признались, как порой вопреки всякой логике и здравому смыслу трудно бывает отказаться от традиционных представлений.

15

В следующий вторник Хамфри опять попросили зайти в участок. На этот раз в трубке звучал голос не Брайерса, а чей-то очень почтительный, с гортанными перепадами.

— Говорит инспектор Шинглер. Вы меня не знаете, но я работаю с шефом. Простите, что беспокоил вас, сэр, есть одно небольшое обстоятельство, которое вы, возможно, могли бы прояснить... Нет, никакого отношения к вашим показаниям оно не имеет, а просто мелочь, но с ней следует поскорее разобраться. Нам ведь старательно помогают вести расследование.

В последнюю фразу Шинглер вложил определенный оттенок: один посвященный разговаривает с другим. Эта фраза уже несколько раз мелькала на страницах газет в обкатанных формулах официальных заявлений. Тем не менее никакого настоящего материала у прессы не было, и ее тон становился все более раздраженным. Влиятельная воскресная газета вышла с трехдвоймовой шапкой: «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАШЕЙ ПОЛИЦИЕЙ?» Убийство в Белгрейви не занимало в статье центрального места, и она вполне могла быть написана до него. Тем не менее случай был весьма удобный, и в нескольких негодующих абзацах газета требовала безопасности для старых и дряхлых — для всех других леди Эшбрук в стране.

Что касается самой леди Эшбрук, то Хамфри наткнулся еще только на одну статью, написанную о ней. От нечего делать он отправился в свой клуб, куда заглядывал довольно редко, и — что тоже бывало довольно редко — пролистал последние журналы. Любопытно, как забываются привычки. Еще не так давно он постоянно покупал все подобные журналы, но это ушло в прошлое.

С некоторым удивлением он обнаружил в «Нью стейтсмен» довольно длинную статью, озаглавленную «Живое воплощение правящего класса». По всем столбцам

мелькало имя Мэдж Эшбрук. Хамфри начал читать с иронической улыбкой, но вскоре ирония сменилась более сложным чувством. Статья была подписана женским именем, и он почти сразу понял, что писала дочь, а вернее, внучка кого-то из старых знакомых леди Эшбрук.

Всякий, кому был известен некий особый язык, не усомнился бы, что автор статьи по происхождению принадлежит к высшему классу, стыдится этого и с безоговорочной решимостью верит всему, чему верят настоящие прогрессивные люди. Хамфри даже несколько встревожился при мысли, что эту статью вполне могла бы написать его собственная дочь. По мнению автора, она — Мэдж Эшбрук — была типичнейшей представительницей правящего класса. Первый брак ввел ее в высший круг родовой аристократии — в той мере, в какой такая аристократия вообще сохранилась. Затем при обстоятельствах, тщательно замаскированных с помощью всех средств, имеющихся в распоряжении правящего класса (верно замечено, подумал Хамфри), она вступила во второй брак, который ввел ее в круг новой политико-коммерческой аристократии. Она всегда жила среди богатых. Она всегда интуитивно знала, к какому решению должны прийти и придут люди, чей образ мыслей считался единственно верным.

В этом и была сила правящего класса: они не рассуждали, они инстинктивно знали то, что им требовалось знать. Мэдж Эшбрук знала, что умиротворять Гитлера — правильно, что избавиться от Эдуарда VIII — правильно, что считать Чемберлена спасителем — правильно и не менее правильно вслед за этим обожествлять Уинстона Черчилля. За всю ее жизнь ей в голову не пришло ни единой самостоятельной мысли, однако она и такие, как она, пользовались огромным влиянием. В действительности же она была самой заурядной женщиной. Если бы она родилась в иной среде, то прожила бы жизнь домашней хозяйкой где-нибудь в Манчестере и воспитывала бы детей в старомодном духе, вся уйдя в роль любящей жены и матери и полностью подчиняя себя семье. (Наверное, эта девочка изливает тут собственную неудовлетворенность жизнью, подумал Хамфри.) Но благодаря своему привилегированному положению Мэдж Эшбрук некогда была украшением общества. Блистательным украшением, как соглашаются все мемуаристы.

Она была одной из тех молодых красавиц, которые могли знать — а может быть, и знали — Руперта Брука, Джулиана Гренфелла, Патрика Шоу-Стюарта, Реймонда Асквита в идиллическом преддверии войны 1914—1918 годов, войны, которую Мэдж Эшбрук, вне всяких сомнений, безоговорочно одобряла. В отличие от этих молодых людей она осталась жить и продолжала блистать в качестве одной из молодых красавиц 20-х годов, последних звезд загнивающей цивилизации. Цивилизация эта была никчемной, но Мэдж Эшбрук и другие красавицы блистали на ее закате и, по-видимому, наслаждались жизнью. Теперь она, как и почти все они, ушла в небытие. *Où sont les neiges d'antan?*²

Хамфри был невольной тронут. У девочки романтическое сердце. Но жаль, что она не удержалась от эффектной концовки.

Когда Хамфри во второй раз пришел в участок, его снова провели в кабинет по убийству, но Фрэнка Брайерса там не оказалось. Приглашение исходило не от него. Вероятно, подумал Хамфри, этот молодой человек, Шинглер, решил завести новое знакомство, предположительно полезное. Он, несомненно, знает, что в прошлую пятницу они с Брайерсом долго разговаривали с глазу на глаз. А может быть, и кое-что слышал об их прежних отношениях.

Хотя Брайерс отсутствовал, в кабинете по убийству собралось человек десять его сотрудников. Несколько оперативников — сержанты уголовной полиции, совершенно неизвестные Хамфри. Он тут же начал путать лица и забывать фамилии. Две молодые женщины — их чины он не расслышал — своей здоровой, энергичной миловидностью напомнили ему тех спортивных девушек, с которыми он скакал за лисицей в дни своей юности.

Вопрос, из-за которого — или под предлогом которого — Шинглер пригласил Хамфри, оказался несколько загадочным, но незначительным. Содействие в расследовании им оказывал молодой человек, который сам предложил свои услуги. Тот самый «глупый мальчишка», про которого упомянул Брайерс. «Он старается быть полезным», — сказал тогда Брайерс.

² «Увы, где прошлогодний снег?» — рефрен из баллады «О дамах минувших времен» французского поэта Франсуа Вийона (1431—1465?).

— Тут шеф не прав,— многозначительно заметил Шинглер вскоре после того, как они изложили Хамфри все факты.— Парень просто набивает себе цену. Надеется попасть в газеты.

Речь шла о почтальоне, который разносил газеты на площади и по прилегающим улицам. Он заявил, что утром в воскресенье после убийства, в обычное время, около восьми, сунул газету леди Эшбрук — она выписывала всего одну газету — в ее ящик. И вроде бы внутри дома слышался какой-то глухой стук. Он бы, конечно, об этом и не вспомнил, да только он узнал, что старую даму убили. А Мария, прислуга, по воскресеньям туда не приходила. Ну, он и подумал, что надо бы сообщить об этом полиции. «Может, пригодится».

— И пригодилось бы,— сказал Шинглер,— если бы он действительно что-нибудь слышал. Выпендривается дурак, и больше ничего.

Почтальон не знал и ему не сказали, что, по сведениям полиции, леди Эшбрук была убита не утром в воскресенье, а вечером в субботу. Шинглер, ответственный за осмотр места преступления, был безапелляционен даже больше обычного. Они уверены, что в воскресенье утром в доме никого не было. Совершенно невозможно представить себе, что после ухода убийцы в доме прятался кто-то другой, принимая все меры, чтобы не оставить ни единого отпечатка, ни единого следа, ни единого свидетельства своего там пребывания. Причем не просто прятался, а еще и развлекался громким стуком.

— Сплошная ерунда. С какой стороны ни взглянуть.

— Может быть, духи разбуянились,— невозмутимо предположил Бейл.

Он почти все время молчал, но Хамфри скоро понял, что он здесь старший в чине. И теперь подумал, что, возможно, он говорит серьезно: почему бы полицейскому и не верить в сверхъестественное?

Они спросили, нет ли у Хамфри каких-нибудь предположений. Он знает этого почтальона? Хамфри ответил, что только в лицо. Очень старательный. Газеты всегда доставляются вовремя — по крайней мере в тех редких случаях, когда на Флит-стрит никто не бастует. Громкий полицейский хохот. Кто бы и где бы ни бастовал, симпатиями он у них не пользовался.

— А не мог ли этот мальчик спутать? — спросил Хамфри.— Может быть, он слышал стук не в тот день?

Например, в этот час в понедельник в доме уже были несколько человек — Мария, он сам, полицейский сержант.

У них была такая мысль, сказали они. Но парень стоит на своем. Воскресенье, и все тут. Воскресные газеты столько весят, что это утро ни с каким другим не спутаешь.

— А, ладно! — сказал Шинглер.— Это яйца выеденного не стоит. Нечего с ним больше возиться.

Бейл задумчиво кивнул.

— Видимо, парень ошибся,— сказал он с добродушной снисходительностью.— Другого объяснения нет.

Прозвучало это расколаживающе скучно, но в дальнейшем никто ничего лучшего предложить не смог, хотя вопрос и всплыл снова.

Для Хамфри это утро пропало зря. Комната мало-помалу опустела, и он остался с тремя ближайшими помощниками Брайерса. Особого впечатления они на него не произвели. Держались они вежливо, с оттенком почтительной фамильярности. Его настойчиво поила неизбежным полицейским чаем.

Шинглер много умнее остальных двоих, решил он. И делает карьеру. Для такого вывода особой профессиональной проницательности не требовалось. На первый взгляд Бейл ему скорее понравился. Возможно, он прозаянчен, скучен, излишне корректен — короче говоря, столп общества. Но без столпов обойтись нельзя, а он, во всяком случае, не пустышка. Хамфри не удивился бы, узнав, что у Бейла вне служебных обязанностей есть какое-то свое увлечение и в нем он знаток.

Флэмсон показался ему бесцветным. Грубое лицо, грубая манера мыслить... Почему Фрэнк Брайерс выбрал именно его? Наверное, наплись бы десятки оперативников не хуже, если не лучше. Но, возможно, Брайерсу приходится брать что дают. Особая разборчивость нигде не поощряется: люди куда более взаимозаменяемы, чем хотелось бы верить.

Это было вполне здравое обобщение, но неприменимое к данному случаю. В последние сутки от Флэмсона Брайерсу было больше пользы, чем от всех остальных, вместе взятых. Хамфри не знал и не мог знать, что ядро группы, включая самого Брайерса, озадачено и растеряно. Это стало особенно ясно, когда Брайерс обсуждал положение наедине со своими ближайшими помощниками. С самого начала каждый, старательно избегая упоминать об этом вслух, про себя думал, что завещание подскажет им что-нибудь конкретное. Однако накануне им сообщили его содержание. Ничего сколько-нибудь полезного.

Завещание было сугубо обычным. По словам поверенного леди Эшбрук, оно практически повторяло предыдущее — только была исключена статья, касавшаяся какого-то ее американского знакомого, который недавно умер. Все завещанные суммы были невелики: 200 фунтов Марии, 300 фунтов доктору Перримену, 200 фунтов парикмахеру. Лоузби — ничего, только пометка, что о нем она позаботилась при жизни. Вещи были тщательно распределены. Все не очень ценные. Подсвечники — Селии, другое серебро — разным знакомым, пара графинов и ковровые дорожки — Хамфри. Картины не упоминались. Остальное имущество было оставлено Имперскому фонду борьбы с раком.

«Остальное имущество», поскольку ничего крупного отдельно завещано не было, подразумевало практически все ее состояние, включая аренду дома на еще не истекшую часть срока, картины и драгоценности. Вот тут-то и выяснилось обстоятельство, смутившее полицию, а затем — когда о нем стало известно — удивившее всех знакомых леди Эшбрук. Ее поверенные сочли возможным предупредить Брайерса заранее. Ее наследство оказалось весьма незначительным. Против ожиданий у нее не было никаких денег. Общая стоимость наследства вряд ли составит и пятьдесят тысяч фунтов. Завещание и неожиданное отсутствие богатства явились для группы Брайерса очень неприятным сюрпризом.

— Мотива тут ни на грош, — сказал Шинглер. А потом добавил: — Разве что для ракового фонда. Может, они ее и прикончили. — Натянутая шутка была принята холодно, и он поспешил поправиться: — Хорошо еще, что мы не сбросили со счета профессионалов.

— Об этом и речи не было, — сказал Брайерс. При всей его кажущейся непосредственности после неудач он становился непроницаемым.

— Ну, не знаю. — Флэмсон смотрел прямо перед собой туманным взглядом и никак не мог облечь свои мысли в слова. — Не сходится это. Ковцы с концами не сходятся.

— Правильно, Джордж. — Брайерс ничем не выдал собственных мыслей, но уловил ход мыслей Флэмсона.

Он старался ободрить своих помощников, заразить их своей энергией. В таких случаях остается только одно — продолжать делать то, что они делают. Остальные не знали, притворялся ли он или действительно что-то предугадал. Вероятнее всего нет, как он сказал позднее. И упрекнул себя за тупость. Этот новый оборот дела, который как будто заводил в тупик, должен был бы подсказать ему многое. А вот Флэмсон, простая душа, втихомолку заподозрил, что некоторые слишком уж простые на вид вещи не могут быть настолько просты.

16

В гостиной Хамфри Фрэнк Брайерс расположился удобно, но внутренне ни на секунду не расслаблялся. По выражению его лица ничего нельзя было прочесть и уж тем более догадаться, как продвигается расследование. Подобно всем, кто создан для действий, он был поглощен непосредственными действиями. Можно было сказать, что он слишком занят, чтобы размышлять, или же, наоборот, что он слишком занят размышлениями. Что-то вроде мании, но тем не менее он научился контролировать свой темп. После того, как Хамфри вторично побывал в участке, прошло несколько дней. Брайерс так и не воспользовался приглашением Хамфри заходить в любое время, и Хамфри еще раз пригласил его, уже на определенный вечер, потому что с ним хотел познакомиться Алек Лурия.

Лурия коллекционировал способных людей, особенно если их профессия была ему плохо знакома. Брайерс не рвался демонстрировать себя, но и против ничего не имел. Он согласился прийти и сказал, что ему не надо объяснять, кто такой Лурия — он это имя уже знает.

Брайерс приехал на пятнадцать минут раньше назначенного часа, и не случайно. С Хамфри он мог поговорить так, как не стал бы говорить с чужим человеком, а когда Брайерс вел расследование, у него была потребность выговориться. Однако Хамфри прекрасно понимал, что он хотя и говорит свободно, тем не менее взвешивает каждое свое слово. Сообщал он (если употребить старое клише службы безопасности) не больше, чем Хамфри требовалось знать, или, точнее, не больше, чем ему полезно было знать. То есть полезно для Брайерса. Если бы Хамфри слышал, как оперативная группа обсуждала завещание, он, конечно, задумался бы, чувствуют ли люди, которых он знает, что над ними нависает угроза. Теперь же для него, простого зрителя, все ограничивалось ощущением какой-то тягостной неясности, словно где-то далеко рокотал гром.

Брайерс сидел в кресле, рядом на кофейном столике стояла рюмка виски. Хамфри мог бы побиться об заклад, что Брайерс, как бы он ни благодумствовал, до конца вечера выпьет еще только одну рюмку — ни меньше ни больше. Он сказал:

— Ребята работают. Прочесывают все дома в этом районе. До Пимлико. Проверяют всех известных нам уголовников, а на задворках вокзала их порядком наберется. Потом повторяют всю операцию для перепроверки. У меня стол уже весь завален рапортами. Будь я социологом, Хамфри, я бы черт знает сколько узнал про нравы и обычаи обитателей здешних мест. И особенно о том, чем они занимались на протяжении трех-четырёх часов в некий суббстний вечер.

— Ну и как? — спросил Хамфри. У него было ощущение, что его недооценивают. Этот разговор велся не ради того, чтобы он узнал что-нибудь новое.

— Пока еще рано. — Брайерс посмотрел прямо на Хамфри. Возможно, именно сейчас он решал, быть откровенным или нет. Он продолжал: — Одну из ее десятифунтовых банкнот мы нашли. В выручке магазина.

Брайерс снова сосредоточенно посмотрел на Хамфри.

— Во время нашего первого разговора я ведь дал вам понять, что в деле есть кое-какие странности? Так?

— Возможно, и дали, — сказал Хамфри. — Но чтобы уловить это, требовался человек столь же образительный, как вы сами.

— Ну, вы в свое время особой тупостью не отличались, — весело возразил Брайерс и добавил: — Кое-что в этой комнате было странным. Интересно, вы заметили? — И тут же перешел на другое: — Ребята даром времени не теряют. И скоро начнут работать по соседству. Собственно говоря, они уже побывали на Итонской площади.

— Там-то зачем?

Брайерс улыбнулся широкой злокозненной улыбкой.

— Политический расчет, и ничего больше. Уж если нам придется перерыть Пимлико, то почему бы заодно не попортить крови...

Богатым людям, явно подразумевал Брайерс. Он, безусловно, не был откровенен, хотя Хамфри не понимал почему, как раньше в участке не понял, чем объяснялись отголоски скрытого напряжения. Однако он уже примерно представлял себе, что может думать Брайерс. А тот продолжал:

— Они вот-вот доберутся сюда. Конечно, и вы должны будете рассказать, что вы делали вечером в ту субботу.

— Из этого они ничего полезного не извлекут, — посмеиваясь, сказал Хамфри. Его недавняя растерянность исчезла. — Ничего хоть сколько-нибудь интересного даже для социолога, мой дорогой Фрэнк. Я либо читал, либо сидел перед телевизором. А вернее, и то и другое вместе.

Брайерс ответил полицейской ухмылкой.

— Абсолютно недоказуемо.

Тут до педагогичности пунктуально в комнату вошел Алекс Лурья.

Начался очаровательный обмен любезностями, словно каждый пытался побить другого козырем постарше.

— Я счастлив познакомиться с вами, старший суперинтендент.

— Не так счастливы, как я, профессор.

— Я столько слышал о сделанном вами...

— Ну что вы! В сравнении с вашими книгами...

Побить Брайерса в состязании по этикету было трудно, но, кроме того, он, как заметил Хамфри, умел отключиться от исполнения служебного долга, который был

для него превыше всего, и полностью посвятить свое внимание новому человеку. Любой специалист по розыску талантов увидел бы в этой особенности залог его будущих успехов.

Лурия же, достаточно завершив церемониальную часть, отнюдь не утратил своей сардоничности. Он взял рюмку, откинулся в соседнем кресле и после неизбежного вступления — жара, стоимость фунта, первичные выборы в США — сказал без обычной печали в печальных глазах:

— Но, конечно, у вас есть передо мной преимущество, старший суперинтендент. Ваши подчиненные, несомненно, подали вам в письменном виде все сведения обо мне. Надеюсь, ничего особенно подозрительного?

Полицейский обход Итонской площади! Теперь Хамфри понял, почему Брайерс проявил такую осведомленность, когда услышал фамилию Лурии. А Брайерс, и глазом не моргнув, сказал:

— По нашей части абсолютно ничего, профессор. Вам незачем принимать дополнительные меры предосторожности. Надеюсь, ребята отняли у вас не слишком много времени?

— По-моему, они прекрасно справились со своей задачей, если мне позволено высказать мое мнение. Иметь с ними дело было одно удовольствие. Пожалуйста, передайте им это, если сочтете нужным.

Это Лурия произнес снисходительно-отеческим тоном, а потом с прежней мягкой любезностью спросил:

— Боюсь, я излишне любопытен, но верно ли я заключил, что все ваши подчиненные, занятые этим расследованием, благополучно пережили чистку, про которую мы слышали?

Про чистку знали все. Комиссар столичной полиции за последние три года убрал примерно пятую часть сотрудников департамента уголовного розыска, иными словами — Скотленд-Ярда, за взятки, за связи или сговоры с преступниками. Многие были привлечены к судебной ответственности, и те, кто следил за процессами, в какой-то степени уловили их подоплеку. Однако понять весь гигантский размах скандала мог только специалист вроде Лурии, привыкший объединять и анализировать разрозненные обрывки информации.

Это был один из тех случаев, когда Брайерс становился безыскусственно непосредственным — хотя его непосредственность, решил Хамфри, возможно, была отнюдь не такой безыскусственной, как казалось.

— Если бы не пережили, так не работали бы. — Это было сказано с грубоватым добродушием.

— Не могли бы вы мне сказать... Это же должно было очень подействовать на общее настроение, не так ли? Ведь почти каждый, наверно, лишился кого-то из близких сотрудников, людей, которых он хорошо знал, — потери, потери повсюду.

— Да, конечно, потери. И большие. Но сделать это было необходимо. Даю вам слово. И некоторые из нас предпочли бы, чтобы их было еще больше.

— Не думаю, чтобы еще где-нибудь в мире с полицией могло произойти подобное. — Лурия говорил с глубокой серьезностью. — Я вовсе не хочу сказать, что она у вас хуже всех прочих. Наоборот. Но я не думаю, чтобы где-нибудь еще полиция могла выдержать подобную чистку.

— Профессор, мне хотелось бы кое-что прояснить. Полицейские ведь такие же люди, как и все прочие. Учатся полицейские — во всяком случае, у нас в стране — относительно честно. Но надо учитывать, что с большими соблазнами они stalkиваются не так уж часто. Если им и предлагают деньги, то мелочь. И бывает, что они их берут. Только все это пустяки. Другое дело — сотрудники уголовного розыска. Попробуйте представить себе, какую жизнь они ведут. Профессиональный риск, так сказать. Значительную часть своего времени они проводят в соприкосновении с профессиональными преступниками. И с нечестными адвокатами. Это их мир. Не слишком благоуханный. Очень многие такие преступники и адвокаты преуспевают. И всегда готовы предоставить оперативнику долю в своей добыче. Собственно, нет ничего удивительного в том, что нашлось немало сотрудников уголовного розыска, которые были рады случаю погреть руки. А раз начавшись, это стало системой. Приятно получать долю при дележе. Приятно быть своим. И, что важнее, очень неприятно не быть своим. Новички в департаменте скоро обнаруживали, к чему они должны приспособляться.

Лурия кивнул.

— Вот, например, я сам. Не думаю, что я такой уж продажный. Однако если условия оказываются подходящими, человека подкупить довольно легко. Вы согласны? Лурия снова кивнул:

— Безусловно.

— Но и абсолютно неподкупным я себя не считаю. Не стану делать вид, будто я не испытывал никакого соблазна. Главари были бы рады меня заполучить. Я делал карьеру. Именно такой человек им и требовался. И я мог бы разбогатеть одним махом.

— Так почему же вы не разбогатели, Фрэнк? — Хамфри задал этот вопрос с дружеской насмешкой,

— А вы почему? — в тон ему ответил Брайерс.

— Нет, все-таки расскажите.— Голос Лурии снова зазвучал отечески.

— Ну, пожалуй, по двум причинам. Одна вполне почтенная, другая — не очень. Во-первых, за мной стоит слишком уж много добропорядочных предков, усердно посещавших молеельни. («Это значит, что они принадлежали к какой-нибудь евангелической секте», — вставил Хамфри.) И сломить в себе это не так-то просто, — продолжал Брайерс. — Но важнее, пожалуй, другая причина, не столь для меня лестная, — просто я по натуре человек осторожный. Я решил, что в конце концов они попадутся. Ведь все об этом знали. И значит, в один прекрасный день у кого-то хватит духу принять меры. А на мой взгляд, никакие деньги не окупали такого риска. Ну, и еще я честолюбив. Деньги, конечно, вещь приятная, но если бы мне надо было выбирать, я предпочел бы надежду на ответственный пост.

— Вы о себе слишком плохого мнения, — сказал Лурия.

— Может быть, — ответил Брайерс. — Но, как бы то ни было, я сейчас здесь, с вами. Я выжил. А многие другие — нет. Они разбогатели одним махом. Но сейчас довольно много кабинетов на самых лучших этажах стоят пустые. Они больше не нужны своим прежним владельцам.

— А почему им не нужны их кабинеты?

— Потому что они в тюрьме.

Наступила пауза. Почти все это, сказал Лурия, звучит настолько убедительно, что становится неуютно. Если подобного рода вещи происходят в организациях, призванных охранять порядок, то какие же силы смогут удерживать общество хотя бы в относительных рамках? Брайерс, который был моложе, оптимистичнее, деятельнее, крепче, ответил, что в целом он либерал. Нельзя служить в полиции и видеть в человеке венец творения, но считать, что все потеряно, тоже не следует. Изменить внутреннюю сущность людей нельзя, но заставить их изменить свое поведение все-таки возможно. Лурия на мгновение растерялся, услышав такие рассуждения от полицейского. Надо выполнять свои обязанности в существующих социальных условиях. Расчислить что можно, сохранить что удастся, не дать положению ухудшиться. Закон и его блюстители — это не все, но тем не менее что-то.

— Вот тут, — заявил Лурия, — я с вами полностью согласен. От всего сердца.

— А потому я рад, что веду это дело, и, если вы спросите моих ребят, они скажут то же самое. Если откинуть интеллектуалов, — Брайерс перешел на приятельское поддразнивание, — то люди, которые работают с чем-то конкретным, чувствуют себя в этом мире более или менее на месте. Это многое искупает.

Лурия кивнул, но сказал задумчиво:

— До тех пор, пока другие верят, что ваша работа полезна. До тех пор, пока они верят в то, чем занимаетесь вы.

— Это в их же интересах, черт побери! Я уже говорил, что закон — это еще не все, но другого-то у нас ничего нет.

Повернувшись к Хамфри, Лурия заметил с ласковой, сочувственно-сардонической улыбкой, что, слушая их друга, он чувствует себя гораздо спокойнее. В знак солидарности он попросил еще виски, потом очень серьезно посмотрел на Брайерса и сказал:

— Знаете что? Мне было бы легче, если это ваше убийство хоть кого-нибудь тут по-настоящему возмутило. Да, конечно, некоторые удручены. Но они не кипят негодованием. Они не жаждут отмщения, а просто опускают руки, словно речь идет о погоде. Они позволяют событиям брать над собой верх. Они чувствуют себя бессильными перед обществом.

— Поверьте мне, — сказал Брайерс, — я ничего так не хочу, как поймать его.

— Да, и потому мне становится легче. — Лурия снова посмотрел на Брайерса так,

словно они были близкими друзьями.— Я уверен, что вы хотели бы восстановления смертной казни.

Короткая напряженная пауза. И Брайерс все так же уверенно и спокойно сказал:

— Профессор, сегодня у меня ведут розыск пятьдесят шесть оперативников. Завтра их станет еще больше. Я имею в виду — от сержантов и выше. Насколько я могу судить — я убежден, что не ошибаюсь,— все они до единого согласятся с вами, а двое-трое из моей группы почти наверное займут влиятельное положение в нашем департаменте.

— Очень рад слышать это,— сказал Лурия.

— Но должен добавить, что я, как ни жаль, исключение. Я против восстановления смертной казни.

На лице Лурии выразилось изумление, что случилось очень редко. Оно вдруг перестало быть лицом вдохновенного пророка. Рот открылся и снова закрылся.

— Но почему же? *

— Я не верю в нее. Не верю, что от нее может быть польза.

— То есть, по-вашему, она не предотвратит убийств? И этого убийства тоже не предотвратила бы?

— Я сужу эмпирически. Так говорят факты.

— С вашего разрешения я оставляю за собой право усомниться. Но не стану спорить. Суть в другом.

— Значит, вы убеждены, что преступников следует вешать?

— Вешать? Нет.— Лурия уже оправился.— Слишком много сексуальных ассоциаций. Но я, безусловно, верю в то, что некоторых преступников необходимо ликвидировать. Расстрел, если хотите. Наименее неприятный способ, какой можно придумать.

Теперь удивился Брайерс. И не сразу нашелся что сказать.

— Вам не кажется, что это будет шаг назад? Удар по цивилизованности?

— Потому-то я верю в смертную казнь. От либерального оптимизма я отказался уже давно. Меня нисколько не интересуют юридические паллиативы. Меня не интересуют ложные надежды. Я хочу, чтобы общество сохранило силу и здоровье. Только что я употребил слово «отмщение». Не по рассеянности и не случайно. У общества есть глубочайшая потребность мстить тем, кто оскорбляет основные его инстинкты. Я убежден, что общество не может быть здоровым, если мы делаем вид, будто такой потребности не существует. Вы упрекнете меня в излишней практичности, но разве вы были практичным, когда выдали себя? Вы сказали, что это будет ударом по цивилизованности. Но задайте себе вопрос, что движет вами на самом деле. Разница между нами в том, что вы верите, будто люди гораздо более цивилизованы, чем это есть на самом деле. И не только теперь, но и в будущем.

Брайерс умел вести всякие споры, но не такие. Он сказал без прежней бодрой уверенности:

— Я вовсе не утверждаю, будто я так уж цивилизован. Вот были убийства детей. Для этого просто нет слов. Найди я убийц и будь у меня под рукой пистолет, я бы их на месте прикончил без всяких колебаний. Конечно, если бы знал, что выкручусь. И этого, который убил старуху,— тоже. Вреда никому бы не было.— Он добавил сухо: — Кроме тех, с кем я разделался бы. Но я по-прежнему убежден, что было бы очень вредно пустить в ход машину закона, чтобы вздернуть их или подвергнуть любой другой ритуальной казни, какую мы придумали бы. Вам приходилось слышать рев в тюрьме, когда кого-нибудь вешают? Мне один раз довелось, когда я только начинал. Вас это, возможно, переубедило бы.

— Нет,— сказал Лурия.— Меня такие вещи не трогают. Вы пытаетесь сделать жизнь стерильно-чистой. А это невозможно, и надо уметь смотреть правде в глаза.

— Что же, в таком случае,— ответил Брайерс, даже ни на йоту не уступив,— нам остается только согласиться, что мы не сошлись во взглядах, не правда ли?

Разговор перешел на другие темы. Во многом они были согласны и понимали друг друга с полуслова. Потом Брайерс сказал, что ему пора: надо еще просмотреть поступившие за это время сообщения и домой он раньше чем через два часа уйти не сможет. Доберется туда часов в десять и найдет ужин на столе. Жены полицейских проходят хорошую выучку, сказал он с улыбкой, которая могла показаться небрежной или сальной. Однако Хамфри, знавший про болезнь его жены, знал также, что эта улыбка скрывает совсем иные чувства.

Позднее — не в этот вечер, а потом — Хамфри подумал, что эта встреча прошла

совсем не так, как можно было ожидать. С одной стороны, верховный жрец западной цивилизации, патриарх еврейской интеллигенции, именитый ученый. С другой — энергичный, суровый профессиональный полицейский. Между ними завязывается разговор о преступлении и наказании. Так чего же можно было ожидать? Уж никак не того, что последовало. Но в любом случае Хамфри с интересом наблюдал, как эти двое ставят друг друга в тупик. Маленький эпизод из человеческой комедии, которую он готов был смотреть без конца. И удовольствие он получил большое.

17

В субботу, уже в августе, Хамфри увидел Кейт на той стороне площади и направился к ней. Он сказал, что ничего нового не слышал, а потом обвел взглядом безмятежные, залитые солнцем дома и добавил:

— Жизнь продолжается.

— А что же еще прикажете ей делать? Вы бы могли сказать что-нибудь пооригинальнее.

Она улыбнулась своей безобразной, нахальной, обаятельной улыбкой, и Хамфри с легким сердцем попытался реабилитировать себя:

— Кто бы догадался, что страна идет к банкротству?

Он не сказал — но она и так поняла, — что думает он вовсе не об этой угрозе, а о других, более непосредственных. В связи с убийством леди Эшбрук пока еще никого не арестовали. У него были свои подозрения, но смутные, еще не выкристаллизовавшиеся. Он не сомневался, что Фрэнк Брайерс с видом полной откровенности сообщает ему ничего не значащие частности и умалчивает о том, чем занимается на самом деле. Выяснилось, что Лоузби и Сьюзен допрашивались по нескольку раз. Только услышал он об этом не от Брайерса. Его очень интересовало, что же удалось выяснить относительно других причастных людей. Но Брайерс был мастером двойной игры. И впервые использовал это свое умение против Хамфри. Да, конечно, он ему сказал, что они собираются установить, где были и чем занимались самые разные люди вечером 24 июля и в ночь на 25-е. Но только круглый идиот, с раздражением и тревогой думал Хамфри, не догадался бы об этом сам.

Его сердило, что Брайерс держится с ним как со старым другом, но не доверяет ему. Однако Хамфри считал, что знает, в каком направлении идут розыски. И если он прав, значит, некоторые его знакомые живут под дамокловым мечом. Тем не менее, как он и заявил утром, жизнь продолжалась. И несколько часов спустя на званом обеде быстрый взгляд Кейт показал ему, что она не забыла этих его слов. Тогда, утром, он решил, что безопаснее будет не рассказывать ей о своих подозрениях. Вот и сейчас кто-то из сидящих за столом, возможно, скрывает непреходящее напряжение.

Впрочем, обед, хотя атмосфера и оставляла желать лучшего, прошел без особых шероховатостей. Давал его Том Теркилл у себя на Итонской площади. Ему пришлось отменить званый завтрак, гвоздем которого предстояло быть леди Эшбрук, — как свидетельствовала запись в ее ежедневнике, последнее принятое ею приглашение. Тем не менее его продолжала грызть мысль, что он не оплатил гостеприимством за гостеприимство. Выходило, что кто-то получил над ним моральный перевес. Результатом явился этот обед, чуть ли не банкет — среди его соседей вряд ли кто-нибудь решился бы устроить нечто подобное у себя дома: Лефрои, Поль и Селия, Перримены, Алек Лурья, Хамфри, его собственная дочь. Все, с кем надо рассчитаться за приглашения перед смертью леди Эшбрук, и еще двое, кого просто стоило пригласить. Этими двумя были член кабинета с супругой — Теркилл не собирался расходовать вечер понапрасну. Роль хозяйки с полной невозмутимостью играла его политическая советница Стелла Армстронг, пышная, красивая, слишком уж яркая для силы позати трона.

Столовая Тома Теркилла примыкала к гостиной, была одной с ней величины и обставлена с таким же уверенным вкусом. На стенах еще картины, но не такие будоражащие, как в соседней комнате, дающие отдых глазу. Два Крома, один Чиннери, серия акварелей Боннингтона. Кто-то вложил во все это немало заботы, подумал Хамфри, как и в прошлый раз.

Над длинным обеденным столом царил люстра, заливая сиянием скатерть, салфетки, серебро, хрусталь. Женщины были в вечерних туалетах. Хамфри пришло в голову, что в дни его молодости для подобного обеда в подобном месте мужчины

надели бы смокинги или даже фраки, если вернуться к самым первым званым вечерам в его жизни. А теперь — ни единого смокинга. Но, с другой стороны, еда, хотя и не такая обильная, была, насколько помнил Хамфри, лучше, а вина, во всяком случае, не хуже. Хотя Теркилл сам не пил, он явно пользовался советами знатока.

Все это выглядело таким надежным! Хамфри вспомнились подобные обеды перед войной — и то же ощущение надежности и безопасности. Почти все люди чувствуют себя в безопасности, пока не оказывается, что уже поздно. Сколько раз ему доводилось видеть, как люди вообще не помышляли даже о возможности беды. Наверное, перед каждой революцией бывало много таких же изысканных банкетов для избранных. И, наверное, так же бездумно люди относились к опасностям, которые грозят лично им.

Тем не менее с самого начала вечер не задался. Теркилл сел за стол весь во власти мании преследования. Глядя прямо перед собой, он спросил, понимает ли хоть кто-нибудь, что с ним делают. Вопрос, молящий о жалости, на который невозможно ответить. Может быть, он подразумевал свои иски? Но юристы — в их числе отец Поля Мейсона — не сомневались, что он выигрывает. Новые нападки в газетах? Ничего подобного, возмущенно заявил Теркилл. И дал понять, что пресса теперь на его стороне.

— Вы знаете, что со мной делают? — Он отпил сухого вина из неполной рюмки, словно хотел вымыть из своего голоса наждак и скрипучий песок, а потом ответил сам себе: — Полицейские! — И продолжал: — Они торчали здесь добрых два часа, отнимая время. Или они думают, что его у меня девать некуда? Спрашивали, где я был и что делал в тот вечер.

— Это всего лишь формальность, — сказал Хамфри. Как и в разговоре с Теркиллом с глазу на глаз, было трудно удержаться и не начать его успокаивать.

— Ну, не знаю. Вряд ли они позволили бы себе обойтись так с каким-нибудь то-ри. Интересно, сколько наших внесено в черные списки. Интересно, сколько тори значится в досье службы безопасности и сколько наших.

Теркилл словно бы вернулся в дни своей радикальной молодости. Он не спускал глаз с Хамфри, подозревая, что тот мог бы дать ему совершенно точную информацию. Хамфри ответил ему невинным взглядом, который выработал за долгие годы своей работы.

Лурия заговорил с невозмутимостью арбитра:

— Если это может послужить вам утешением, мистер Теркилл, то со мной они обошлись точно так же.

— Черт возьми! А ведь вы американец...

— Но я тоже оказался по соседству. Возможно, это многого не стоит, но я разговаривал с несколькими старшими чинами вашей полиции. И впечатление у меня осталось самое благоприятное. Вести расследование в этом районе им очень нелегко.

Лурия как никто умел соединять благожелательную снисходительность с внушительностью.

Тут в разговор вступила Селяя. Еще в гостиной, перед началом обеда, Хамфри заметил, что она разговаривает гораздо свободнее, чем прежде, а Поль молчит. Они в последний раз приняли приглашение пойти куда-то вместе — еще в июле они согласились, что им лучше расстаться.

Селяя сказала словно бы весело, звонко, но с какой-то странной настойчивостью в тоне:

— Не правда ли, как-то легче знать, что и все остальные терпят то же? Мистер Теркилл, вам когда-нибудь прежде приходилось отвечать на вопросы полицейского? Мне — нет. Полицейские выглядят совсем по-другому, когда они вас допрашивают. Невольно задумываешься.

— В этом что-то есть, миссис Хотори. — Улыбка Теркилла внезапно стала просто-душной, обаятельной. — В этом что-то есть.

— Именно то, что я втолковываю средним классам с самой юности, — сказала Стелла Армстронг, которая была столь же образцовым продуктом средних классов, как и сама Селяя, но сочла необходимым поддержать позицию своей партии.

И все-таки, хотя Теркилл умел контролировать свои параноические наклонности или же на время справляться с ними, словно с припадком беспричинной ревности, вечер не задался. Тем, чьи нервы все время оставались в напряжении — а таких за столом было несколько, — казалось, будто воздух пронизан тревогой. Пока обсуждались

страдания Теркилла, Хамфри наблюдал, как Кейт слушает сидящего рядом с ней доктора Перримена — слушает с увлечением, с тем нежным лукавством и вниманием, какими иногда одаряла его самого. Это — в большей степени, чем ему хотелось бы признать, — возбудило особую тревогу и в нем.

В этих кругах дамы в конце обеда давно уже не удалялись в гостиную, оставляя мужчин за портвейном, и теперь все остались на своих местах. Портвейн и коньяк были разлиты, и Лурия, который нелегко отказывался от излюбленных тем, осведомился, как они все смотрят на проблему смертной казни. Ничего утешительного он не услышал: почти никто с ним не согласился.

Он словно бы серьезнейшим образом исследует, насколько далеко может зайти человек в своем либерализме, подумал Хамфри. Поль Мейсон, который все время молчал, вдруг высказал свою особую точку зрения: с террористами он покончил бы без малейших угрызений совести.

— Мучеников хотите из них понаделать? — возразил Том Теркилл.

— В качестве мучеников они приносили бы меньше вреда. Пытаться выручить мучеников никто не станет, — невозмутимо ответил Поль.

Только Кейт сказала, что она совершенно согласна с Лурией. Она сказала это горячо, с полным убеждением. Сидевший напротив Монти Лефрой заявил, словно вынося окончательное суждение, что тут он не согласен со своей милой женой.

— Я верю в то направление, куда летит стрела времени, — сказал он, придав голосу особую раскатистость. — А она летит в направлении сохранения индивидуальных жизней.

— Неужели? — Лурия, не дожидаясь ответа, перевел насмешливый взгляд глубоких карих глаз на соседа Кейт, доктора Перримена.

Но прежде чем Перримен ответил, заговорила его жена.

— Я против вас, профессор, — сказала она оживленно, сочувственно, решительно. — По совсем иным соображениям. По религиозным. Видите ли, я верую, что перед каждым человеком открыта возможность искупления. Конечно, всякое преступление ужасно. Но преступник может раскаяться и найти прощение. И когда вы казните его, то отнимаете у него этот шанс. Чем бы ни запял себя человек, ему надо дать возможность очистить душу.

Этот непростенный ответ оказался и самым длинным. Лурия был готов почти к любому возражению, но не к таким христианским прописям. Его выручил доктор Перримен, хотя он опять — как однажды с Хамфри — говорил так, словно мысли его были в этот момент где-то далеко.

— Пожалуй, пожалуй, я соглашусь с Элис. Хотя не могу сказать, что верую, как она. Вера, конечно, утешение, но притворяться, будто веришь, бесполезно. И мое возражение самое земное. Всегда ли мы уверены, что казним истинного виновника? Не знаю, как вас, а меня не устраивает даже самая малая вероятность ошибки. Принять это я не могу..

Вскоре гости начали подниматься из-за стола. Возможно, этот разговор только усугубил ощущение тревоги. После обеда пили мало, хотя Хамфри и заметил, что Кейт, которая не чуждалась крепких напитков, выпила вторую рюмку коньяка. В гостиную они не вернулись и разошлись очень рано.

Хамфри хотелось поговорить с Кейт, но она снова увлеченно слушала доктора Перримена, и, когда они вышли на Итонскую площадь, доктор пошел рядом с ней по направлению к ее дому.

На другой день, совсем рано, Хамфри услышал в телефонной трубке голос Кейт, ласковый, уверенный. Перримену нужен совет, сказала она. Об этом он с ней и разговаривал накануне. Он был бы рад, если бы Кейт и Хамфри зашли к нему как-нибудь вечером на этой неделе. Она прибегла к приему, который Хамфри сам использовал когда-то, когда был влюблен и не знал, отвечают ли ему взаимностью. Но влюбленность ли это? Или просто разведка? Кейт приоткрыла дверь, использовав самый будничнейший предлог, чтобы восстановить их отношения — когда ни он, ни она не осмеливались нарушить мирное течение каждой данной минуты.

Утром Кейт сказала Хамфри, что доктору Перримену нужен совет. А всего через два-три часа он уже знал, что, возможно, тревожило доктора. Позвонил Франк Брайерс — дружески, оживленно, деловито.

— Загляните к нам. Если вы не очень заняты. Так, мелочь, пустяки, но, возможно, вам будет легче разобраться, чем мне. Да и вообще посмотрите, как мы тут все наладили.

Такое ли уж это удовольствие — наблюдать со стороны, как где-то кипит работа? Войдя в кабинет по убийству, Хамфри первые минуты чувствовал себя чужим и лишним, стесняясь так, словно вдруг заболел застенчивостью, хотя никогда прежде ею не страдал. Брайерс сидел без пиджака, аккуратно закатав рукава рубашки, и взгляд невольно останавливался на широких запястьях и крепких мышцах предплечья. Теперь на столе перед ним выстроилась батарея телефонов — один с устройством против подслушивания. Брайерс прижимал к уху трубку. Стены были увешаны картинами юго-западных районов Лондона с красными стрелками и кружками.

Вошел инспектор Бейл, такой же неторопливый и солидный.

— По-видимому, неплохой человек? — сказал Хамфри, когда Бейл тактично оставил их одних.

— И даже очень! — Брайерс весело улыбнулся. Он откинулся в кресле и обвел рукой комнату. — Уже на что-то похоже, верно? Теперь мы взялись за дело всерьез. — Тут он жестко усмехнулся. — Толку, правда, пока мало.

— Неужели?

— Вы полагаете, что будет больше? — Брайерс задал свой вопрос небрежно, словно просто поддерживая разговор, но его взгляд был внимательным и настороженным.

Хамфри ответил:

— Это ваша область, а не моя. Мне казалось, что потребуется время.

— Как бы его не потребовалось слишком много! — Брайерс снова усмехнулся. — Давайте я расскажу вам, что мы пока сделали.

Хамфри подумал, что Брайерс ведет себя, как промышленный магнат на деловых переговорах. Вероятно, потом он перейдет к сути дела, если ему есть к чему перейти, хотя Хамфри в этом по-прежнему сомневался. Но предварительно будут соблюдены все церемонии.

Время от времени заходили сотрудники: вопросы, краткие доброжелательные инструкции — показатель хороших отношений между начальником и подчиненными. Затем Брайерс возвращался к рассказу. Его ребята (это определение включало и женщин) за пятнадцать дней побывали в семистах пятидесяти семи домах. Цифра на вчерашний вечер. Возможно, им предстоит обойти еще столько же. Кое-куда они возвращались во второй, а то и в третий раз. Они закидывали удочки в пивных и в притонах. Они побеседовали со всеми уголовниками, о которых у них имелись сведения, и отыскали многих сверх того.

— Такого улова в первом и третьем районах юго-западного Лондона у нас уже много лет не было. Впоследствии что-то может оказаться полезным. Для нас, конечно, а не для них. Но это так, мелочь. Ничего стоящего.

Хамфри ни на секунду не поверил, что Брайерс говорит о главной своей заботе. Но тем не менее это было частью всей операции.

Брайерс не выглядел ни утомленным, ни обескураженным. Снова вошел Бейл. Хамфри перестал ощущать себя чужим. Тому, кто прожил деятельную жизнь, всегда приятно смотреть, как люди поглощены своей работой, какой бы эта работа ни была. Пусть небольшое, но все-таки утешение, какой-то противовес хаосу, бессмыслице, холоду. Хамфри не утратил прежнего любопытства к жизни. Было бы интересно пойти с кем-нибудь из оперативников и посмотреть, как ведется расследование. Список вопросов: где находился и что делал опрашиваемый в таком-то, таком-то, таком-то часу; показания родственников, жен, женщин; перепроверка показаний. Никаких сокращенных путей, массовый опрос, безликие, коллективные действия. Индивиды проигрывали машине. Но их было слишком много. Толпа была слишком велика. Общество было аморфным, безмянным — и все же эти микроскопические исследования порой выявляли одно конкретное имя.

— Ничего не скажешь, — заметил Хамфри, — исчерпывающая работа.

— А чего вы ожидали?

— Моя прежняя фирма, — Хамфри улыбнулся, — подобными ресурсами не располагала. Такого розыска мы предпринять не смогли бы.

Как ни сильна была у Брайерса профессиональная гордость, он умел смотреть правде в глаза.

— Иногда мы так ничего и не узнаем, — сказал он. — Обычный розыск дает результаты далеко не всегда.

— Мне хотелось бы денек походить с кем-нибудь из ваших ребят.

Брайерс ответил прямо и категорично:

— Слишком опасно, Хамфри. Если они выйдут на искушенного уголовного и мы его потом арестуем, а защищать его будет один из этих искушенных адвокатов, черт бы их побрал, то они сразу же уцепятся за вас. Посторонний! Докопаются до вашего прежнего занятия. Запятая: «Шпион!» Мы не можем идти на такой риск.

Хамфри кивнул.

— Но протоколы на выбор — пожалуйста, — предложил Брайерс. — Вопросы, ответы. Кое-что вы из этого почерпнете. Когда я еще начинал, то просто поражался: чуть ли не девяносто процентов наших сограждан двух слов толком связать не могут. И не только когда они напуганы — это-то понятно. Но когда они отводят душу. — И тут Брайерс спросил: — А кстати, этот врач, доктор Перримен, он ведь говорить умеет? Вы его хорошо знаете?

Наконец-то! Намек, которого Хамфри все время ждал. Правда, отнюдь не такой зловещий, как он опасался. Это была нейтральная тема.

И его ответ тоже был нейтральным. Он сказал, что пациенты Перримена хвалят его: не отстают от времени, добросовестен, хороший диагност. Что же касается его собственного мнения, то Перримен, по-видимому, умен, но особой симпатии у него не вызывает. Говоря все это, Хамфри сознавал, что в его словах проскальзывает накопившееся раздражение: слишком часто ему казалось, что доктор пользуется особым вниманием Кейт.

Брайерс словно бы согласился с ним. Он сказал, что они получили некоторые сведения из больницы, где Перримен проходил стажировку. Один из лучших их стажеров. Они не могли понять, почему он предпочел стать просто практикующим врачом.

— К чему все это ведет? — спросил Хамфри.

— Да, собственно, ни к чему. Ничего важного. Немного странно, только и всего. Но в нашем ремесле лучше не отмахиваться от странностей. Вы знаете, что старуха держала дома пачки банкнот. Расплачивалась ими по счетам — почти единственные ее расходы, и довольно-таки небольшие. Тут вы были правы. Скупа она была на редкость. И аккуратно записывала номера своих банкнот в особую книжечку. Нам известны номера всех банкнот, которые были в доме, когда ее убили. Счет у нее был в банке Куттса. Пару более давних банкнот мы нашли — но ни одной из тех, которые были в тот вечер в доме. Мы обшарили все лондонские магазины — ничего. Только две десятки, которые прошли через ее руки примерно год назад. Я ведь вам уже про это говорил? Номера были в ее записной книжечке за семьдесят пятый год и помечены точкой, означавшей, что она оплатила ими счет. Затем ими уплатили по другому счету. Вполне естественно для нормального денежного обращения. Уплатил доктор Перримен. В газетный киоск на Пимлико-роуд. Он покупает там газеты много лет. Они его хорошо знают. Он часто платит банкнотами.

— Среди людей его профессии это не такое уж исключение.

— Совершенно верно. Но я не люблю бросать без объяснений даже мелочей, а потому пригласил его сюда. Он был несколько растерян, однако отвечал с полной откровенностью. Да, она всегда платила ему банкнотами. В его счетных книгах такие гонорары не отражались. Чтобы не платить налогов, это понятно. Он сказал примерно то же, что и вы сейчас: что многие частнопрактикующие врачи предпочитают получать гонорар наличными. Он делал старухе скидку в тридцать процентов. По-видимому, оба считали, что это очень удобно и выгодно им. Взаимная услуга, так сказать. — Брайерс продолжал: — Разговор был поучительный. Он по-своему фигура. Был откровенен, ничего не скрывал. Как, по-вашему, это похоже на правду?

Сам он, по-видимому, так и считал. Иначе он не делился бы этими сведениями с такой охотой. Если бы речь шла о некоторых других знакомых Хамфри, он был бы более скрытен.

Хамфри улыбнулся — едко, а не весело — и сказал:

— Прежде я считал, что в денежных делах люди чаще всего честны. Теперь мне иногда кажется, что таких вообще нет. Разговаривая с Перрименом, думаешь, что он человек с высокими принципами. И, полагаю, так оно и есть. Леди Эшбрук при всей своей скупости казалась воплощением порядочности. И, полагаю, так оно и было. Но

они спокойно, без всякого смущения идут на подобное мелкое мошенничество. Все помешались на деньгах. Да, я с вами согласен, это похоже на правду.

Брайерс был доволен и, впад, как это с ним случалось, в церемонный тон, поблагодарил Хамфри за то, что он уделил им столько своего времени, а затем уже без особых церемоний, посмеиваясь про себя, заговорил о любовных неприятностях одного из своих подчиненных. Полицейские ведь не святые, а среди служащих в полиции женщин много молодых, и некоторые из них не особенно склонны упираться. Вот один из ребят и вляпался в историю, сказал Брайерс: связался с такой, а она оказалась крепенькая девка — вцепилась в него и не отпускает. Опасности подстерегают оперативника со всех сторон. И вот — последний тому пример.

Брайерс говорил, как когда-то в молодости. Но он не пожелал сказать Хамфри, о ком идет речь и почему эта история так его забавляет.

19

Два дня спустя Кейт, приготовив мужу обед, отправилась с Хамфри к Перримену в его дом на Блаумфилд-Террас, то есть, формально говоря, в Пимлико. Пимлико, район, примыкающий к Белгрейвию с юга, был самой крупной из лондонских застройек XIX века, но не пользовался популярностью среди богатых людей. Викторианские титулованные старухи строго предупреждали девиц на выданье: «И думать ему не позволяй, что согласишься жить южнее Экстонской площади!» В действительности же дома на Блаумфилд-Террас ничем не отличались от домов Белгрейвии.

Хамфри и Кейт шли неторопливо, радуясь, что они одни. Вечер был жаркий и душный, но и это им нравилось, хотя такая погода стояла уже много недель. Кейт сказала:

— Не помню уже, когда я в последний раз где-нибудь была вечером. Так приятно!

Строго говоря, это было не вполне точно: еще не прошло и недели с тех пор, как она обедала у Тома Теркилла. Но бывает точность иного порядка, и Хамфри понял ее именно так. Они шли под руку по темной улице мимо церкви святого Варравы.

— Действительно. Сводить вас на днях куда-нибудь пообедать?

— Жду приглашения.

Она спросила, что он скажет Перримену. Какой совет ему требуется? Хамфри ответил: может быть, как ему держаться с полицией? (Он уже рассказал Кейт про то, что услышал от Брайерса.)

— В сущности, мелочь, — заметил он. — Но если человек не привык к полицейским методам, это может его встревожить.

Кейт нахмурилась.

— Он ведь вел себя глупо, Ральф Перримен?

— Довольно-таки.

— А мне казалось, что он должен быть выше подобных вещей.

— Одно другого не исключает.

— И очень жаль.

Хамфри ласково ей улыбнулся.

— А вы бы этого делать не стали?

— Как и вы.

Но правда ли он так же честен, как она? Хамфри был не из тех, кто несколько в своей честности не сомневается. Что касается денег — пожалуй. А в остальном? На ее слово он положился бы в любом серьезном вопросе. А на свое далеко не всегда — во всяком случае, в прошлом.

Гостиния Перрименов была на втором этаже. Жена доктора держалась гораздо непринужденнее, чем муж. Она безмятежно сидела под торшером, уголки ее рта были вздернуты в тихой улыбке, и все ее существо излучало уверенность, что она способна все понять и всегда утешить. А доктор Перримен без обычного апломба нервно хлопотал у стола, на котором выстроилась батарея бутылок. Что предпочтут Кейт и Хамфри? Джина, виски и коньяка — традиционных лондонских напитков — Хамфри на столе не заметил. Стрега, сливовица, ром. Второй ряд — кампари, настойки, соки, вермуты. Перримен предложил сделать им старомодный коктейль по собственному рецепту. Хамфри недолго любил вычурные напитки, и Кейт за спиной супругов насмешливо ему подмигнула.

С некоторым унынием Хамфри спросил доктора, что будет пить он сам.

— Водку.— Это было сказано с прежним апломбом.— Ведь никогда не знаешь, не вызовут ли тебя к больному.

Кейт обдумала его слова.

— Меньше пахнет? Нехорошо, если догадаются, что вы пили?

— Нет,— категорически ответил Перримен.— Просто любой запах алкоголя для них вреден. Я замечал, что они в таких случаях нервничают.

Казалось, он был доведен до предела — может быть, профессиональной этикой, может быть, совестью, а может быть, и тем и другим вместе. Кейт и Хамфри тоже предпочли водку. Они ждали, когда начнется разговор, ради которого их пригласили. Элис Перримен болтала о погоде. Нет, жару она переносит хорошо. Даже чувствует себя как-то приятнее. Она слишком молода, чтобы помнить лето сорок седьмого года — говорят, такое же знойное. И она улыбнулась отрешенной улыбкой, словно тот факт, что она не помнит того лета, должен был поддержать и ободрить остальных.

Хамфри сказал, что он его помнит — помнит прекрасно. У него есть для этого причина: в то лето родился его сын.

Доктор Перримен пошевелился, глаза его были широко открыты, но мышцы щек застыли, словно он страдал болезнью Паркинсона. Это была особенность, присущая его необычному лицу, не патологическая и не всегда проявлявшаяся.

— Я весьма вам обязан, Ли, что вы пришли.— Впервые он назвал Хамфри просто по фамилии.

— У вас очень приятно.— И с тайным удовольствием Хамфри добавил: — Так любезно, что вы нас пригласили.

Иногда простенькие местоимения «мы», «нас» приобретают особое значение.

— Я попал в довольно неприятное положение, Ли,— сказал Перримен.— Дело в том, что я согласился оказать леди Эшбрук небольшую личную услугу.

— Вот как?

— Я согласился, чтобы она платила мне наличными. Ей так больше нравилось.

— А почему, вы не знаете?

— Ну, я делал в счете небольшую скидку. Ей это нравилось. Таким образом я оказывал ей небольшую услугу.— Доктор доверительно засмеялся.— По правде сказать, и себе, конечно, тоже. Таким образом я мог не указывать эти суммы в декларации для налогового управления.— Он продолжал все так же доверительно и убежденно: — Кто из нас иногда этого не делает? Вреда никому никакого нет. Все довольны.

Хамфри наклонил голову.

— Как вы знаете, полиция ведет розыск, и только богу известно, что они, собственно, ищут.— Он говорил теперь тихим, невыразительным голосом.— Они отыскивали несколько банкнот, которые я получал от леди Эшбрук. Несколько месяцев назад. Она предпочитала платить по счетам сразу же и никогда не откладывала уплату больше чем на несколько дней. Мне кажется, она была бы рада вручать мне конверт после каждого визита. Как в старину. Ну, во всяком случае, полиция потребовала объяснений. И я, разумеется, им все рассказал.

— Это было разумно,— сказал Хамфри и добавил с привычной осторожностью:— Собственно говоря, я кое-что об этом слышал.

— От кого? От кого?

— А, просто слухи! Как всегда в подобных ситуациях.— Вновь сказалась прежняя привычка: никогда без нужды не упоминать имен. Для него это стало второй натурой.— Как бы то ни было, доктор, я убежден, что вы поступили вполне разумно. И вам незачем тревожиться.

— Не в этом суть! — почти крикнул Перримен.

Хамфри был удивлен. Вполне искренне.

— Я не совсем понял...

— Не в этом суть! Вообще не в этом. Полиция меня не тревожит. Тут для них ничего интересного нет. Но я хотел узнать у вас... Поэтому я и сказал Кейт, что мне нужен совет... Есть ли основания полагать, что они сообщат об этом налоговому управлению?

Вот это уже неожиданность. Полная неожиданность. Хамфри не сумел сдержать улыбку. Но доктор Перримен не улыбался.

— Не думаю. У них есть дела поважнее.

— Но вообще они передают налоговому управлению дела такого рода?

— Понятия не имею. Им надо разобраться с убийством.

— Ну а потом?

— Ну а потом...— Хамфри повторил: — Не думаю, чтобы их особенно занимало, что кто-то немного сэкономил на подоходном налоге. Ведь сумма, я полагаю, невелика?

— Да, не очень.

— Ну вот! Вы придаете этому излишнее значение. Думаю, больше вы об этом ничего не услышите. Готов пари держать. Но и в самом худшем случае, даже если они и известят вашего налогового инспектора, ничего же серьезного не произошло.

— Я ему все время это повторяю! — Элис Перримен поглядела на мужа с заботливой материнской любовью. — Что это несерьезно. Что через неделю мы и думать об этом забудем.

— А я тебе повторяю, что пойдут сплетни! — Обычно он говорил с ней мягко, но сейчас его голос стал негодующим и резким. — Тебе очень хочется попасть на страницы газет из-за такой жалкой истории? Глупо же! — Последнее слово он почти выкрикнул. — Только вообразить: человек выклянчивает свой заработок наличными! Что бы не платить налога! — Он говорил с таким негодованием, словно в этом повинен был кто-то другой. Потом он затих, вновь встревожился и весь сосредоточился на прежней теме. — Кроме того, налоги ведь не шутка, как тебе известно! — Он обращался к жене. — С меня могут взыскать тройне. Чтобы дать урок другим. Ты слышишь — тройне!

Он повернулся к Кейт, которая слушала с напряженным вниманием, морща лоб.

— Только подумайте — тройне. Это уже не мелочь. Я ведь никогда не зарабатывал столько, сколько мог бы. Вот почему это имеет значение.

— Мне многие говорили, что вы могли бы зарабатывать больше, — заметил Хамфри.

— Да, мог бы.

— Так что же вам мешало?

Лицо Перримена преобразилось. Ярость и возмущение исчезли, оно словно прояснилось изнутри, стало спокойным и вдохновенным. Он сказал задумчиво и негромко:

— Я хотел заняться совсем другим. В конце-то концов у человека только одна жизнь. Любой мало-мальски компетентный врач может преуспеть как специалист. И любой врач ступенью выше может преуспеть в так называемой исследовательской работе. Без ложной скромности скажу, что мне это было бы нетрудно. Но я хотел чего-то большего. Я хотел обрести удовлетворение. Только это и важно. По большому счету — только это. Вам это может показаться смешным, — он обвел комнату взглядом словно откуда-то изнутри, — но у меня не было ни малейшего желания сделать медицину еще чуть более научной. Сотни людей занимаются этим изо дня в день. Если вы понимаете мою мысль, я скорее уж хотел сделать ее гораздо менее научной. То есть перед тем как начать по-новому.

Он говорит, подумал Хамфри, как тогда в сквере, на другое утро после возвращения леди Эшбрук из больницы, — красноречиво, пылко, увлекаясь собственными словами. Взаимосвязь духа и тела (он повторялся). Что мы имеем в виду, говоря о воле? (Или о духе, или даже о сознании?) Его жена только один раз мягко его перебила: тому, кто верит, это легко понять. Ей грустно, что он еще не обрел веры. Они посмотрели друг на друга с ласковой терпимостью. И он продолжал:

— Мы знаем так мало. Как дух воздействует на тело, и наоборот? Пока мы этого не знаем, мы вообще ничего не знаем. И стоит посвятить жизнь тому, чтобы продвигаться здесь хотя бы на шаг.

— И вы чего-нибудь достигли? — Хамфри задал этот вопрос не из вежливости, но с любопытством, сомнением, живым интересом.

Доктор ответил спокойно, без восторженности или уныния:

— Вряд ли я сам когда-нибудь это узнаю. У человека, как я уже говорил, только одна жизнь. И она может оказаться слишком короткой.

— С другой стороны, — сказал Хамфри, — существуют вопросы, на которые нет ответа. И не будет.

— Бесспорно. Но если мы не станем их задавать, то мы немногого стоим.

Элис Перримен сказала ревнивым тоном:

— Он раздумывает над этими вещами всю жизнь. Он говорил со мной о них, когда мы только познакомились.

Советов Перримен больше не просил и про историю с банкнотами не упоминал.

— Я твердо знаю,— сказала она,— что у нас должно получиться что-то очень хорошее... —И быстро поправилась: — Это немножко самонадеянно с моей стороны, я понимаю. Но, во всяком случае, я верю, что со мной вам будет лучше, чем сейчас. Не так уж это трудно, ведь правда? Пожалуй, я не очень и самонадеянна.

Хамфри был растроган, как с ним часто случалось и раньше, таким своеобразным сочетанием здравого смысла и робости. Может быть, оно и очаровало его вначале? Нет, все с первой минуты было гораздо глубже.

— Если бы и я мог обещать вам столько же! — сказал он просто.

Снова наступило молчание, густое, жаркое молчание любви, еще не обретшей завершения. Они свернули на Эклстон-стрит.

— Я должна сказать вам еще что-то. Этого вы, возможно, не знаете. Все, что я сейчас говорила,— правда. Это вам поможет, ведь так? Как и мне. Это тоже правда. И показывает, в какую ловушку я попала. Вы кое о чем догадались — я имею в виду мой брак. Я это давно поняла. Еще один пример поразительной проницательности! — Она улыбнулась, но улыбка получилась грустная. — Однако всего вы не знаете. Я расскажу вам, как только смогу. Хотя если уж человек ошибся, то, пожалуй, всего он и сам не знает. В любом случае то, что было, давно уже исчезло. Пустота. Серая пустота. Но вот вчера он получил письмо из Польши от какого-то философа, который восхищается его работой. Таких писем он не получал уже много лет. И радовался так, что я чуть не расплакалась. И радовалась вместе с ним. Это тоже часть ловушки. То немногое, что сохранилось. Я не могла вам не рассказать.

И снова она замолчала. Когда до площади было уже близко, Кейт сказала:

— Я вас расстроила?

— Да. Но все-таки лучше, чтобы я понимал.

В переулке он схватил ее за плечи и поцеловал как любовник. Она ответила страстным поцелуем.

— Вот так — когда хочешь,— прошептала она.

Он заколебался и снова ее поцеловал. Он хотел ее. И сказал:

— Боюсь, либо все, либо ничего. Ты понимаешь?

— Ты думаешь о себе.

— Но ведь и ты тоже? Я хочу, чтобы ты ясно поняла, что тебе делать.

Она прошептала его имя.

— Тогда тебе придется подождать.

— Не заставляй меня ждать слишком долго.

— Но ведь и я буду ждать,— ответила она.

Потом, коротко бросив: «Спокойной ночи», она почти побежала в сторону площади.

20

После вечера у Перрименов Хамфри так и не пригласил Кейт пообедать с ним. Она считала, что им лучше некоторое время не видеться, хотя ни она, ни он не обмолвились об этом ни единым словом. Когда он —случайно, а не нарочно — встречался с ней на улице, она бывала оживленной, нежной и не давала ему забыть сказанную им выспреннюю банальность: жизнь продолжается.

Они не могли не заметить, что жизнь продолжалась и для полиции. Оперативников, которых Хамфри теперь знал в лицо, он нередко встречал в спортивных брюках, без пиджаков. Некоторые с длинными, нестриженными волосами выглядели совсем мальчишками. Как-то вечером в субботу двое из них зашли в его излюбленную пивную, и он пригласил их выпить с ним и с Алеком Лурией. Они охотно поддержали разговор о тех опросах, которые они проводили,— им нравилось обсуждать служебные темы. Хамфри подумал, что они заметно более словоохотливы, чем были в свое время его подчиненные, но ничего конкретного от них узнать не удалось.

Лурия завел вежливую неторопливую профессиональную беседу. Как и они, он не говорил ничего лишнего. Спрашивать о следствии не полагалось, но им двигало любопытство психолога. Ему хотелось узнать о их работе — почему они ее выбрали и как теперь к ней относятся. Они выругались, что вот придется дежурить в субботу вечером. А оба живут в дальнем пригороде и домой доберутся только ночью. И совсем вымотанные. Это мешает нормальной супружеской жизни, сказали они. Профессиональная беда всех полицейских. А постовым так даже еще хуже. Они обругали свое жалование. Но о своей работе они говорили с увлечением. И Лурия настойчиво продолжал выяснять, что их в ней привлекает.

Когда они ушли, он сказал Хамфри, что в человеческом плане она, несомненно, дает им очень много. Таких довольных или, во всяком случае, полных жизни людей встречаешь нечасто. Хамфри заметил, что для очень многих возможность вмешиваться в чужие дела служит источником большого удовлетворения. Массивная голова библейского пророка наклонилась в знак согласия, и Лурия сказал более назидательно, чем того требовали обстоятельства, что да, как говаривали французы, людям нравится нюхать чужие запахи.

Потом Лурия сказал:

— А вы заметили, они даже не упомянули своего начальника. Они все знают, что вы с ним видите.— Он продолжал: — Но про мое знакомство с ним они не знают. Раза два я слышал, как некоторые его обсуждали. Большинство его одобряет. Он требует работы, но им нравится иметь твердого руководителя.

— Большинство?

— Один удар в спину был. От кого-то, кто стоит на служебной лестнице повыше остальных. Молод. Чересчур откормлен и отшлифован для полицейского. Фамилии я не разобрал.

Хамфри подумал, не Флэмсон ли это, и описал его. Лурия покачал головой.

— Нет, не похоже.

Тот, о ком он говорил, был явно кокни.

Значит, это Шинглер, перебил Хамфри. Шинглер, фаворит Брайерса, восходящая звезда его отдела.

— Эта восходящая звезда и фаворит не слишком обожает своего шефа. И поподлему покусывает. Брайерс, сказал он, не настоящий полицейский, а просто умеет подать товар лицом. Выбрался наверх потому, что настоящие люди работали, а он присваивал их успехи.

Хамфри выругался.

— Вы понимаете, что этот сукин сын всем обязан Фрэнку Брайерсу? Фрэнк его сделал! — сказал он сердито.

Брайерс умеет по-настоящему ценить талант. И в своих подчиненных и в ком угодно. Он сам пробивал себе дорогу, не имея за душой ничего, кроме своих способностей, и всегда готов помогать таким же.

— На его месте я бы присматривал за этим молодым человеком. Он способен устроить какую-нибудь пакость.

— Сукин сын!

Лурия улыбнулся своей меланхоличной сардонической улыбкой:

— Вас ведь не так уж часто возмущает несовершенство человеческой природы, не правда ли? Почему же это вас несколько задело? Разве вы не помните древнего притчания: «За что он меня так ненавидит? Я же никогда ничего хорошего ему не делал!» — сказал Лурия задумчиво.— Когда я услышал это в первый раз, я был ошеломлен таким сокрушительным цинизмом. Жизнь не может быть настолько уж отвратительной! Но народные присловья иногда очень глубоки. По-моему, это присловье родилось где-то в черте оседлости, в старой России, то есть у моего народа, вы согласны? Русским оно быть не может.

В последние годы Лурия все чаще упоминал «мой народ» так, словно нес за него всю ответственность.

Возможно, придет минута, подумал Хамфри, когда можно будет спросить у Брайерса, насколько Шинглер надежен. Но тут требовался большой такт, а сейчас не стоило и пробовать. Они по-прежнему не были откровенны друг с другом. Хамфри не удивился, узнав, что полиция продолжает опрашивать его знакомых. Оперативники все еще не покончили с Пимлико, но, кроме того, навещали — и неоднократно — более привилегированных людей. Еще раз был допрошен Поль Мейсон, Кейт попросили пояснить некоторые прежние ее ответы, касающиеся Сьюзен и Лоузби. Как ни странно, но полиция посетила и Монти Лефроя, что сам Монти, впрочем, счел вполне естественным. Миссис Бэрбридж опрашивали, используя запись того, где был и что делал в этот вечер Хамфри. А Стелле Армстронг пришлось отвечать на такие же вопросы о Томе Теркилле. Сьюзен Теркилл, как сообщила по телефону Кейт, допрашивал старший инспектор Бейл — словно бы неофициально, у нее дома, и не один раз, а два, примерно по пять часов. Говорили, что сам Брайерс подолгу беседовал с Лоузби и с какими-то его сослуживцами.

Жернова молоди, но Брайерс несколько раз заходил к Хамфри, разговаривал с дружеской откровенностью, рассказывал о том, как чувствует себя его жена, доверительно глядел на Хамфри своими великолепными глазами и ни словом не заикался об этих допросах. Профессиональная сдержанность тут была ни при чем — он не мог не знать, что Хамфри про них известно. Наконец Брайерс кое на что намекнул, причем довольно оригинальным способом. Он пригласил Хамфри зайти в участок на утренний инструктаж.

Инструктаж этот не слишком отличался от тех, на которых Хамфри приходилось присутствовать в армии, а потом в своем прежнем отделе. И был немногим интереснее. От цветочных ящиков на окнах тянуло запахом сырой земли. Молоденький сержант ждал в вестибюле, эдакий расторопный адъютант, скроенный по тем же меркам, как и множество ему подобных, с которыми приходилось иметь дело Хамфри, — личные секретари министров и глав департаментов, штабные капитаны, услужливые, но уверенные в себе больше сидящих вокруг генералов, потому что близки к командующему были они, а не генералы. Этот молодой человек, обучавшийся в аристократической школе, перенял, подобно другим адъютантам, некоторые повадки своего шефа, ему совершенно не шедшие. Он проводил Хамфри в кабинет по убийству, полный утренней свежести, хотя карточек, демонстрационных досок и стопок исписанных листов стало еще больше.

Хамфри надеялся, что Брайерс что-нибудь скажет. И Брайерс действительно что-то сказал. Но Хамфри ничего из этого не извлек. Инструктаж Брайерс провел прекрасно — он умел поддерживать бодрость в своих сотрудниках, которые заполнили весь кабинет. Они перебрасывались шутками. Брайерс умел и это. Шутки были не в его стиле, но он легко приспосабливался к любым формам приятельской фамильярности, особенно если под ее прикрытием мог не говорить того, чего говорить не хотел. И ничего нового о Брайерсе Хамфри не узнал. В заключение Брайерс произнес небольшую речь — возможно, одно из обычных своих наставлений. Говорил он, не повышая голоса — его и так было слышно в самом дальнем углу. Он сказал:

— Мне нужна еще одна молниеносная проверка, чтобы выяснить, кто все-таки был на улице в тот вечер. Конечно, я знаю, что мы этим уже занимались до изнеможения. Но кто-то же проходил тогда где-нибудь поблизости. Мы еще не установили личность молодой женщины, которую там видели. А ведь ее наверняка видел еще кто-нибудь. Мы не сдвинулись с места. Мне нужны все, кого видели между восемью вечера и часом ночи не только на Эйлстоунской площади, но и вокруг, особенно в проходном дворе и на Экстон-стрит. Пока таких сообщений почти нет. Словно речь идет о безлюдной степи. Мне нужно их больше. Почти все заведомо окажутся чепухой. Я вам это уже говорил. И повторяю снова. Но они мне нужны. И мне все равно, будет ли это приходский священник, или мистер Хамфри Ли, который сидит вон там (веселый смех), или лорд-канцлер, или три бывших премьер-министра, или... — он отбарабанил фамилии двух кинозвезд, американского дипломата и епископа, которые все жили на Итонской площади, — или пожарная бригада. Они мне нужны. У нас есть парочка куцых сообщений, но не исключено, что они дадут какой-то толчок. А теперь мне нужна еще одна молниеносная проверка. Руководит инспектор Шинглер. Мы проверяем всех — всех, кто живет на площади и вокруг. Кто-то должен был видеть кого-то. Да, я знаю, что вы уже их беспокоили. Многие из них давно достигли преклонного возраста. Будьте вежливы, если сумеете. (Положенный смех.) А если не сумеете, я за вас заступаюсь — при условии, что вы обеспечите мне точное сообщение о том, что действительно было замечено.

Хамфри по-прежнему не сомневался, что почти на всех инструктажах Брайерс обращается к ним примерно с такими же увещеваниями. Оперативники, вероятно, выслушивают все это не первую неделю. Молодая женщина, которую он упомянул... им про нее известно. И упоминать о ней было незачем. Пусть обняком, но эти слова предназначались для него.

Инструктаж закончился. Когда, кроме них с Хамфри, в комнате остался только сержант, Брайерс сказал:

— Ну вот. Как ваше мнение?

— Интересно. Очень интересно, — ответил Хамфри без всякого выражения.

— Мне тоже нужно браться за работу. До скорого свидания, Хамфри.

Молоденький сержант вежливо выпроводил Хамфри на улицу. Свообразный спо-

соб, думал Хамфри, но вполне подходящий для того, чтобы намекнуть на какие-то свои намерения.

Но в рассказах о полицейских опросах одного имени Хамфри ни разу не услышал. Поль Мейсон не без юмора описывал, как от него добивались, чтобы он объяснил одно несовпадение (никакого несовпадения не было — его память оказалась точнее их записей, сказал он с необычной для него хвастливостью), но он ни словом не упомянул Селию.

Было бы нелепо предположить, что ее в чем-то подозревают. И никто ее не подозревал ни тогда, ни позже — даже те, кто был настолько легковверен, что очевидная истина казалась им недостаточно правдоподобной. Если не считать обеда у Тома Теркилла, уже несколько дней никто из общих знакомых ее не видел. Как заметила Кейт, она выпала из обращения.

Собственно говоря, почти каждый вечер ее можно было бы увидеть в небольшом сквере над рекой за площадью Сент-Джордж. Около шести часов она выходила из своего дома на Чейн-Роу и сворачивала на набережную. Рядом с ней, подпрыгивая, бежал ее сынишка. И вечером в ту пятницу, когда Хамфри присутствовал на инструктаже, прохожие, возможно, обращали внимание на миловидную молодую женщину в простом и элегантно белом костюме, стройную и изящную, которая, сжимая одной рукой светлый зонтик, а другой — запястье маленького мальчика, терпеливо выжидала минуту, чтобы перейти улицу. Устремляющиеся за город машины двигались сплошным потоком. Наконец они вошли в сквер, и она отпустила мальчика побегать.

Сидя на скамье, Селия ясным безжалостным взглядом художника рассматривала статую Уильяма Хаккиссона. Правое плечо у него было обнажено — скульптор облачил его в тогу римского сенатора. На чей-то викторианский вкус, на чей-то личный вкус это выглядело наиболее подходящим. Он погиб, попав под один из самых первых паровозов в мире, который двигался со скоростью десяти миль в час. По-видимому, ничего другого от него и ждать не приходилось, рассеянно подумала она и раскрыла зонтик, чтобы укрыться не от зноя, но от косых лучей вечернего солнца. Она пользовалась зонтиком не потому, что копировала леди Эшбрук. Хотя леди Эшбрук одобряла ее стиль, она вовсе не переняла его у старой дамы. С зонтиком она ходила потому, что он был удобен, и потому, что он ей нравился. Она была сама себе хозяйка. И подумала, что, бесспорно, никому теперь не принадлежит.

Она была способна думать так, но все равно испытывала грусть. Не горечь, не ожесточение, а грусть. Она потеряла Поля. Но она не винила его. И себя не винила. Так уж устроен мир. А вернее, так уж устроена она. По самой своей природе обречена терять. Другие думают, что у нее есть все. Красота. Нет, безусловно, она не красавица, но достаточно миловидная. Достаточно умная. И умеет быть интересной — с теми, кто ей приятен. Еще подростком она замечала, что не так уж мало мужчин считают ее привлекательной. Некоторые из них ей нравились. И те, кто ей нравился, могли найти в ней все, чего ждали от женщины. Как ей казалось, в постели она была не слишком страстной, но и не холодной — с ней было легко. Такой она была с мужем. Она его любила. Он ушел от нее. Она любила Поля. Теперь и он ушел от нее.

Она посмотрела на своего сынишку, который на четвереньках подбирался по траве к большой чайке. Она и его любила — более беззаветно или, во всяком случае, более самозабвенно, чем мужа и Поля. И он тоже уйдет от нее? Конечно. Иначе и быть не должно. Пока он маленький, он будет в какой-то мере принадлежать ей. Но, вырастая, сыновья не должны цепляться за материнскую юбку. И она этого не хотела бы. Впрочем, она его и не удержала бы, это разумелось само собой. Все они так просто, так неизбежно, почти по-дружески уходили от нее.

Она думала о себе и ни о чем другом. Смерть леди Эшбрук, знакомые на Эйлстонской площади — все это отодвинулось куда-то далеко в прошлое. Ностальгия, неотвязные воспоминания не были ей свойственны. Вспоминала она только Поля. Не с ненавистью, не с жаждающей тоской, но как того, кто должен был бы прийти и все не шел. Когда он ее поддразнивал, глаза у него были живые, внимательные, сосредоточенные. Когда его охватывало желание, у него белели крылья носа. В постели (словно бы в полном противоречии с его характером) он говорил не переставая, цылко, лихорадочно и так до самого финала.

Поль ушел от нее. Ей не понравилось, когда эта девчонка Сьюзен начала к нему подбираться, но она слышала, что у Сьюзен с ним ничего не вышло. Не та, так другая,

покорно думала Селия. Почему она не попыталась его удержать? Почему она обречена терять и терять?

Когда они устроили прием в честь леди Эшбрук (никто из них не забыл этого вечера, а некоторые продолжали чувствовать себя в чем-то виноватыми), она попыталась довериться Хамфри. Она уже знала, что Поль ускользает от нее. И не жалела себя. Жалости к себе у нее было не больше, чем к другим. Разговаривая с Хамфри, она почувствовала облегчение: он тоже не жалел и не винил. Она старалась быть честной. Но даже самые честные в минуты потери ссылаются (не только вслух, но и в собственных мыслях) на причины, которые если и играют роль, то лишь второстепенную. Полю нужна партнерша в постели, думала она с обычной клинической ясностью. С этим все хорошо и просто. Но, кроме того, как она сказала Хамфри, ему нужна хозяйка дома, а для этого она не годится и потому рано или поздно они расстанутся.

Она долго рылась в своей душе и обнаружила лагуну, которая скрывала другую, спрятанную более глубоко. Она сумела бы понравиться любым людям, которых мог привести домой Поль. Она, возможно, показалась бы им непонятной или замкнутой, но она бы им понравилась: с самого детства она нравилась гораздо чаще, чем она об этом догадывалась. Она даже верила, что некоторые мужчины ее любят, но не верила, что она им еще и нравится. И дело было вовсе не в том, что она не могла быть с другими такой, как хотел бы Поль. Беда заключалась в том, что она не могла быть такой с самим Полем. А это уже ловушка судьбы, и распознать ее невозможно.

Умный, одаренный, он обычно бывал терпелив с ней и уверен в себе. Но при всей этой уверенности ему иногда требовался отклик, самый безыскусственный — какое-то ободрение, чувство, что она вся с ним. И когда — реже, чем другим, — ему был нужен этот простой отклик, она могла дать ему только крохотный обломок.

И так было всегда. И с родителями — она считалась с ними, умела быть забавной, но когда им требовалась просто любовь, они тоже получали крохотный обломок. Почему-то она не могла ни сама поверить, ни хотя бы сделать вид, что она обладает целеустремленностью. Никогда в жизни она даже самой себе не могла сказать, чего бы ей хотелось. Еще в юности, когда у нее, казалось, было все, когда за ней ухаживали, когда ее домогались, друзья спрашивали, что она собирается делать. А ей нечего было ответить, и тонким голосом, торопясь ускользнуть, она растерянно говорила, что, наверное, выйдет за кого-нибудь замуж. Так она и поступила. Ее муж был любящим, заботливым, добрым — добрее Поля, хотя и без его чуткости. Она тоже старалась быть любящей и заботливой. Этого оказалось мало. Он ни на что не жаловался. Он просто ушел от нее.

Иногда она думала, что, наверное, в те времена, когда браки заключались на всю жизнь, она чувствовала бы себя не такой неприкаянной: что человек сеял, то он и пожинал. И пусть ее муж спал бы с другими женщинами — значит, виновата она. И она приспособилась бы. Пусть бы и Поль спал с другими женщинами. Она тоже приспособилась бы.

Вот тут ее клиническая ясность ей изменила. Это настолько не отвечало ее характеру, что даже Поль удивился бы, но она была ревнива. И когда молоденькая Сьюзен попыталась подцепить Поля, ревность ее была острее и мучительнее, чем оправдывалось обстоятельствами. Но она ограничилась одной из своих бесцветных шуток. И только. Она не могла допустить, чтобы он увидел или догадался, что она испытывает на самом деле. Если бы она могла это допустить, возможно, все сложилось бы для нее лучше.

А, довольно! Жалеть себя она не станет. Держись — и хорошо. Жизнь обманывает твои надежды, но ведь другого выбора нет. Она изучающе посмотрела на сына, который теперь упоенно созерцал буксир, режущий масляно-гладкую реку. Все-таки что-то. Она снова взглянула на статую Хаскиссона. На редкость нелепое творение! Ее губы сложились в красивую сдержанную улыбку, которую многие мужчины находили загадочной. В эту минуту ничего загадочного в ней не было: Селия улыбалась, потому что ее насмешил замысел скульптора.

Солнце спустилось совсем низко. Мальчику уже давно пора ложиться, и скоро время ее ужина. Она вышла с ним на тротуар. Они прошли несколько шагов, он весело болтал. Она остановилась — им надо было перейти на островок безопасности. Мальчик стремглав кинулся через дорогу. Из-за стоящего грузовика на большой скорости вылетел автомобиль. Селия закричала. Вероятно, мальчик не услышал, но он увидел мчащуюся на него машину. Реакция у него была мгновенная — он остановился как вкопанный,

резиновые подметки его туфель словно прилипли к асфальту. Машина проскочила в фуге от него. Шофер что-то вопил и грозил кулаком.

У Селии подступила к горлу тошнота. Она стояла на островке, сжимая руку сына. Ее щеки побелели. Она стояла так очень долго и побежала с ним к тротуару, только когда увидела, что улица до угла совсем пуста.

Когда они уже подходили к дому, мальчик спросил:

— Мама, что с тобой?

— Ничего. Пожалуйста, переходи улицу осторожно. Ведь машин очень много. На больших улицах всегда жди меня. Пожалуйста.

Больше она не сказала ничего. Мальчик кивнул и улыбнулся, словно извиняясь. Это и было все. Больше она ничего не сказала.

21

Вечером в субботу, через двадцать четыре часа после того как Селия, сидя в сквере у реки, размышляла о своей незадачливости, Хамфри и Алек Лурия встретились за ритуальной кружкой пива. И совершенно случайно в их разговоре всплыло ее имя.

— О ней кто-нибудь что-нибудь слышал? — спросил Лурия, которого случайные знакомые интересовали, по-видимому, не менее, чем социологические основы исконных английских институтов.

Только позднее Хамфри пришло в голову, что за этим вопросом могло скрываться не простое любопытство. А тогда он ответил только:

— Я — нет.

Хотя она относилась к нему довольно дружески, их знакомство держалось только на ее отношениях с Полем, а потому, как только этим отношениям пришел конец, она исчезла с его горизонта.

— Очень жаль! — Лурия добросовестно отхлебывал свой портер, и его лицо над шиновой кружкой было добрым и задумчивым. Он довольно часто умолкал, точно что-то поглощало его мысли.

Пивная была охвачена сонным оцепенением позднего лета. Двое посетителей, знаящие их в лицо, пожелали им доброго вечера. Оса пожужжала вокруг и улетела. За окном в глубине зала мягко стужались вечерние сумерки. Жара стояла такая же, как месяц назад, но к концу августа темнота уже не наступала с южной внезапностью.

Хамфри, наслаждаясь тишиной, лениво заметил, что иностранцы редко отдают себе отчет в том, как далеко на север расположен Лондон.

— На широте Лабрадора, — кивнул Лурия. — Хорошо, что существует Гольфстрим! — Он сказал это почти машинально, без всякого интереса, по-прежнему думая о своем. Потом начал было что-то говорить и умолк.

Минуты через две-три он начал снова:

— Хамфри...

— Что?

— Я хотел вам кое-что сказать. И заранее прошу меня простить.

Хамфри подумал было, что Лурия хочет расспросить его о том, как идет следствие. Он с большой щепетильностью относился к официальным секретам, но, возможно, любопытство взяло верх над тактом. Однако в любом случае Хамфри ничего не мог бы ему сообщить, кроме догадок и предположений, которые, вероятно, во многом совпадали с его собственными.

Но Лурия сказал совсем другое:

— Простите меня, я не имею права вмешиваться, но Кейт Лефрой вам далеко не безразлична? Верно?

Давно уже никто не задавал Хамфри столь интимных вопросов. Он не был готов к такому вторжению в его внутреннюю жизнь. Несмотря на откровенность с самим собой — а может быть, и благодаря ей, — он ревниво оберегал свои тайны. И с притворно ироничной улыбкой сумел ответить только:

— Пожалуй, это можно определить и так.

— Вот именно. И сказать я вам должен следующее: мне бы очень хотелось, чтобы вы как-нибудь из этого выпутались.

Опять-таки прошло много, очень много лет с тех пор, как Хамфри в последний раз чувствовал, что краснеет. Он был захвачен врасплох и, не сумев сдержаться, вспыхнул, как его щеки:

— О чем вы говорите, черт побери?

— Боюсь, я говорю о том, что никакого будущего, насколько я могу судить, у вас с ней нет.

Хамфри сказал уже спокойнее, но все еще возмущенно:

— Она прекрасная женщина. Никого лучше ее я в жизни не встречал.

— Это одно из оснований для моего вывода.

— Ну хорошо.— Хамфри смотрел на Лурию со злостью.— Если это слово хоть что-нибудь значит, то я люблю ее и думаю, что она в какой-то мере отвечает мне взаимностью.

— Насколько я могу судить — не в какой-то. Но если я правильно понимаю ситуацию, от этого вам обоим может быть только хуже.— Он смотрел на своего друга с печальной нежностью. Темные глаза под массивными надбровьями были до краев полны глубокой грустью.— Вы же не думаете, что мне так уж нравится говорить вам неприятную правду? Для подобных опытов я выбрал бы вас в последнюю очередь. Но ведь в нашем возрасте у нас впереди не бесконечность. Я не хочу, чтобы вы напрасно потратили несколько лет.

Все еще кипя яростью, словно совсем мальчишка (впрочем, решил он позже в более спокойном настроении, возраст тут роли не играет), Хамфри был, однако, тронут тем, что Алек настолько близко принимает к сердцу его судьбу. И говорил он так, словно у него с Хамфри впереди один и тот же срок, а ведь Лурия, хотя это легко забывалось, был на десять с лишним лет моложе.

— Она — то, что мне нужно,— категорично сказал Хамфри.

— Да, если бы она могла быть с вами. Но, боюсь, это невозможно.

— Почему?

— Когда настанет решительный момент, не думаю, чтобы она сумела вырваться.

— Вы смотрите со стороны.— Он возражал с тем большим гневом, что Лурия высказывал вслух его собственные сомнения.— А я стою ближе и знаю, что ее с мужем уже ничто не связывает.

Ничего обращая внимания на резкость Хамфри, Лурия говорил все так же мягко:

— Иногда зритель лучше видит игру, чем ее участники. Я прошу вас не полагаться на то, что вы думаете о ситуации. Может быть, вы просто принимаете желаемое за действительное. Выслушайте меня спокойно. Я попробую объяснить, как это представляется мне. Она — истинная женщина. Она может дать вам жизнь и радость и сама будет радоваться. Но это не все. У нее есть потребность быть опорой кому-нибудь. На нее неотразимо действуют самодовольные пустозвоны — мы уже об этом с вами говорили. Дутые величины вроде Монти. Она могла бы попасться на удочку этого врача — того, который воображает себя мыслителем. Можно подумать, будто она перед ним преклоняется. Но я толкую это по-другому: я убежден, что в глубине души она чувствует их никчемность и что они сами чувствуют свою никчемность, а потому ищут в ней опору. Она гораздо более сильная личность, чем ее пустоцвет муж, и боюсь, вы ни в чем не разберетесь, пока не допустите возможности, что в конечном счете это ей и нужно.

Хамфри был вне себя от возмущения, лицо у него побелело, но он справился со своим голосом.

— А может быть, ей нужно что-нибудь попроще,— сказал он.

— Вы не дутая величина. Вы настоящий. Вы никогда ни на кого всерьез не опирались, и вам никогда это не понадобится. Вы можете дать ей все, чего она была лишена. И мне очень жаль, но я не могу поверить, что она сумеет вырваться и бросить на произвол судьбы беспомощного неудачника.

Хамфри помолчал. С неожиданной решимостью в голосе Лурия добавил:

— Я долго колебался, говорить об этом или нет. Больше я не скажу ни слова.

Хамфри ответил вежливо, но холодно:

— Раз вы так думаете, вы имели полное право все высказать. Это разумеется само собой, и я благодарю вас.— Он махнул бармену, чтобы тот налил еще пива. Наступила пауза. Потом Алек Лурия снова заговорил, но его бас рокотал без прежней уверенности:

— По правде говоря, у меня тоже не все благополучно.

— А что?

Лурия улыбнулся непривычно смущенной улыбкой.

— Моя жена со мной разводится.

— Да неужели?

Жена Лурии летом к нему не приезжала. Хамфри видел ее всего два раза и ничего не знал об их отношениях. Во всяком случае, Лурия не вел себя как человек, удрученный горем. Хамфри продолжал:

— Простите, но насколько это для вас серьезно?

— Ну, во всяком случае, не вопрос жизни и смерти. Не стану притворяться, будто я так уж потрясен. Но я чувствую себя порядочным дураком.

— Это составит для вас заметную разницу? Я имею в виду — материально.

— Пожалуй, столь великосветскую жизнь мне вести уже не придется. Разве что женюсь на какой-нибудь ее доброй приятельнице. Между прочим, выходные пособия мне дают щедрое. Миллиона два долларов, говорят адвокаты.

Брак этот продлился пять лет. Свадьба была гвоздем нью-йоркского сезона. Его жена принадлежала к старинной американской семье и унаследовала значительную часть фамильного состояния.

— Ну, это хоть что-то.— Хамфри не удержался от ехидной усмешки.— Пожалуй, вы сможете поддерживать тот скромный образ жизни, который уготовил вам господь.

На величественном лице снова появилась смущенная, пристыженная улыбка, совершенно ему чуждая.

— Да, конечно, это некоторое утешение,— согласился Алек Лурия, посмеиваясь над собой. Потом он сказал: — Но я чувствую себя препорядочным дураком, причем в разных смыслах. Скажите, Хамфри,— добавил он задумчиво,— вам приходилось иметь дело с очень богатыми людьми?

— Крайне мало.

— А меня почему-то к ним тянет. Довольно неудобное пристрастие для серьезного ученого, вы не замечали? — Он пытался быть откровенным, но это было много тяжелее, чем давать советы.

Хамфри помог ему, заметив насмешливо:

— Вам действительно так уж необходимо, чтобы все ваши женщины были неизменно богаты?

Алек Лурия задумчиво взвесил этот вопрос.

— Для брачных целей — как будто бы да. Я питал к Розалинде самые нежные чувства. И теперь еще питаю. Она очень умна. Но ее фамилия и деньги придают ей особый ореол. Знаете, я читал о ней в газетах, когда был мальчишкой и мы все ютились в двух комнатах.

— Ну, вы-то выбрались оттуда с поразительной быстротой. Послушайте, Алек, свою фамилию вы прославили, когда вам не было и тридцати,— мало кто еще из тех, кого я знаю, имеет шанс достигнуть чего-нибудь подобного.

— Благодарю вас,— сказал Лурия вежливо, точно американка, которой похвалили ее новое платье. После чего басисто хохотнул.— Вот почему богатые и пожелали меня купить. Богатые верят, будто могут купить что угодно. Очень любопытное ощущение, когда тебя покупают. Жаль, что вы его не испытали.

— Нечего продать. Остается утешаться мыслью, что мне бы оно не понравилось.

— Вам следовало бы родиться в Бруклине. Можете мне поверить — ощущение очень любопытное. Розалинда — умница. Много умнее моей первой жены. Но почему-то она никак не могла понять, что открыть что-нибудь новое невозможно, если иногда не посидеть и не подумать. А они все крайне неусидчивы — и ее семья и вообще их круг. Делать им нечего, вот они и не могут подолгу оставаться на одном месте. Раз — и уже умчались на какой-нибудь карибский остров или в Мексику, где у них у всех собственные дома. Очаровательные дома. Но не предназначенные для работы. И я им был нужен, только чтобы помогать убивать время. Помесь придворного шута и духовного наставника. Ну а в придворные шуты я не слишком гожусь. В духовные наставники, пожалуй, больше. Меня не так-то легко заставить скучать, верно?

Хамфри улыбнулся: бывали случаи, когда он предпочел бы, чтобы Лурия несколько укротил свою неистовую любознательность.

— Ну, так после двух-трех таких увеселительных поездок мне челюсти начинало сводить от зевоты при одном упоминании о следующей. Богатые верят, будто могут купить что угодно.

Хамфри вдруг вспомнился его давний знакомый — художник, которого принялись культивировать лондонские магнаты. Он имел обыкновение говорить то же самое. Они

верят, будто могут купить что угодно, размышляя он вслух, — даже бедность купили бы, если бы сумели приобрести ее по дешевке.

Он рассказал эту историю Алеку Лурии, но тому она большого удовольствия не доставила. Хамфри переменял тему:

— Сколько же времени вы продолжали это терпеть?

Лурия ответил, поморщившись:

— Я бы и сейчас продолжал. Это не я решил развестись, а она.

Внезапно Алек Лурия утратил мудрую величавость. Его лицо стало растерянным, юношески простодушным, как у человека, который жаждет исповедаться.

— Я плохой муж, — сказал он. — Вы знаете, я люблю женщин. (Что было очевидно с первого дня их знакомства.) Только это такая любовь, которая причиняет много неудобств. Стоит мне переспать с одной — ну, например, с Розалиндой — и у меня почти сразу же возникает желание найти другую. По-моему, это не столь уж редкое явление. То есть я убежден, что нет. Когда я еще занимался практикой, мне постоянно приходилось выслушивать подобные признания...

— Конечно, не редкое, — сказал Хамфри.

— Насколько это обычно для женщин — такое желание, — я не смог установить. Но моя-то беда в том, что одних мыслей мне было мало. Я не только мечтал о другой женщине. Мне обязательно требовалось претворить мечту в явь. И я претворял. Это своего рода стимулянт, если хотите, хотя я вовсе не хочу сказать, что нуждаюсь в стимулянтах. Просто я находил другую женщину. Еще одно неудобное пристрастие для серьезного ученого — несколько не лучше, чем интерес к богатым людям. И даже еще более неудобное, потому что богатым оно не нравится. Во всяком случае, ни одной из моих жен оно не нравилось. И особенно Розалинде. Она считала, что предлагает все, чего только может пожелать мужчина. И не так уж ошибалась. Но с мужскими странностями она смириться не могла.

— И много ей понадобилось времени, чтобы узнать?

— Я пытался скрывать, но я человек довольно заметный. (Хамфри подумал, что это еще слабо сказано.) А кроме того, — продолжал Алек искренне и просто, — я очень тщеславный человек. И не люблю притворяться. Это большой недостаток, но я хочу, чтобы люди принимали меня таким, каков я есть. Из-за этого я причинил немало вреда себе и другим.

В этот вечер инициативу захватил Лурия и подверг Хамфри испытанию в надежде, что он утратит контроль над собой и весь раскроется. Но получилось наоборот. Хамфри, скромный, словно бы довольно покладистый, не сказал почти ничего. Не выдержал Алек Лурия, обычно подавляющий окружающих силой своей личности. Вскоре он так же искренне и прямо начал отвечать на вопросы Хамфри о своих дальнейших планах. Да, вероятнее всего, он снова женится, не откладывая этого надолго. Он сказал с виноватой улыбкой:

— У меня попросту врожденная потребность жениться. Еще одно неудобное пристрастие.

Они вышли из пивной, но Лурии явно не хотелось прощаться. Хамфри вечером не занят? Может, он зайдет к нему перекусить? Красная икра, сливочный сыр и сухарики — больше он ничего предложить не может. Как и Хамфри, Лурия не был гурманом. Хамфри пришлось согласиться. Алек Лурия нуждался в чем-то обществе, хотя и шел так величественно — несмотря на полусогнутые ноги, возвышаясь над окружающими, выделяясь мощной седой шевелюрой, чеканным лицом. Однако внешность библейского пророка еще не гарантия от обычных человеческих слабостей. Хамфри пришло в голову, что принять эту очевидную истину, оказывается, не так-то просто.

Лурия попытался перейти на общие темы:

— Помните, как эти молодчики ворвались в зал в тот вечер?

— Согласитесь, однако, что подобное случается не так уж часто, — заметил Хамфри.

Но Лурия продолжал вспоминать: они тогда тоже шли по Итонской площади, как сейчас.

— Теперь он кажется совсем безобидным. Этот вечер, имею я в виду, — сказал Хамфри. — После того, что произошло потом.

— Но разве не кажется безобидным всякое прошлое? — спросил Лурия. — Собственное прошлое? То, что было?

— Вы думаете?

— Да. Чаще всего это так. Если только не вспоминать его точно и без прикрас.

Они продолжали разговаривать и в гостиной Лурии — разговаривать просто и естественно о том, что они в прошлом сделали или чего не сделали. Оказалось, что вспоминать прошлое точно и без прикрас очень трудно, а может быть, и немислимо. Да, испытываешь сожаление, но это мягкое чувство, по-своему приятное. Раскаяние? Прошлое не было бы таким безобидным, если бы вызывало раскаяние. Да и вообще в идее раскаяния есть что-то искусственное. Удобный покров, чтобы маскировать свою истинную сущность? Раскаянию следовало бы существовать, вот его и придумали. Тот, кто убил старуху, должен был бы испытывать раскаяние. Но это ведь благое пожелание, а не действительность? Воображению тоже свойственна сентиментальность.

К Лурии понемногу возвращалась обычная уверенность в себе. Если бы люди твердо верили, что их не ждут кары ни в этом мире, ни в загробном, сказал он, если бы человеку приходилось отвечать только перед самим собой, то сегодня вечером вряд ли кто-нибудь испытывал бы раскаяние.

22

Утром в понедельник Хамфри еще не успел развернуть газеты, как за дверями послышались быстрые шаги и в гостиную вошел Фрэнк Брайерс.

— Я вам не помешаю?

— Мешать особенно нечему.

— Мне нужно с вами поговорить, — сказал Брайерс и обвел взглядом комнату. — Тут можно?

Вопрос мог бы показаться нелепым, но у обоих был богатый опыт ведения секретных разговоров. На протяжении почти всей своей служебной карьеры Хамфри предпочитал вести их под открытым небом — в трех главных лондонских парках мало нашлось бы таких мест, где ему в то или иное время не доводилось выслушивать сообщения, которые никому другому слышать не следовало. Теперь он понимающе улыбнулся.

— Не тревожьтесь. Разве что мои бывшие сослуживцы проявили сверхбдительность. Но это маловероятно. Давайте сядем у окна.

По старой привычке — осторожность может войти в плоть и кровь, как потребность в спиртном у алкоголика, — Хамфри открыл окно, выходящее в безмятежный, залитый солнцем садик. По той же старой привычке они говорили очень тихо, хотя в голосе Брайерса звучало напряжение.

— В пятницу вы ведь поняли?

— Полагаю, что да, — ответил Хамфри.

— Вы знаете, что я думаю, — Брайерс сухо улыбнулся, — а я знаю, что вы знаете.

— Совершенно справедливо.

— И я знаю, что вы со мной согласны.

— Я был бы о вас худшего мнения, если бы вы этого не знали.

— А когда вы?..

— Почти в самом начале, — ответил Хамфри.

— Каким образом?

— В основном благодаря вам. — Хамфри улыбался, но непроницаемо, как профессионал, которым он прежде был. — Мне казалось, я улавливаю, что вас интересует в действительности. А я вас очень высоко ставлю, и, кроме того...

— Что именно?

— Мне они не казались убедительными. Все эти версии о взломщиках.

— А почему?

— Он, насколько я могу судить, прекрасно ориентировался в доме. А к этим домам надо иметь привычку. Если это был взломщик, он не допустил ни единого промаха. Вдобавок, будь это взломщик, следов борьбы осталось бы больше, верно? А насколько я мог заключить из того, что слышал, борьбы не было никакой — почти до самого конца. По-моему, она ни о чем не догадывалась. Вывод напрашивается сам собой: вероятнее всего, ее убил кто-то, кого она знала.

Брайерс усмехнулся.

— Мы еще сделаем из вас сыщика. Разумеется, одну-две интересные детали вы упустили. Но это уже вопрос практики. Нам часто приходится видеть, как действуют

настоящие взломщики. Они почти всегда отчаянно торопятся и ящики комодов и бюро выдвигают от нижнего к верхнему. Вы видели ее секретер. Какие-то вещи вынуты и все ящики аккуратно задвинуты. Это не в характере взломщика. Мои ребята с самого начала так и сказали. Ну, конечно, он принял необходимые меры предосторожности. Во всем доме не было ни единого отпечатка пальцев. Ни единого отпечатка обуви. Возможно, он даже ушел через сад в носках. Он изо всех сил старался изобразить, будто в дом проник ловкий грабитель. И вообще-то изобразил не так уж плохо. Но чем больше мы размышляли, тем больше убеждались, что взломщики и грабители тут ни при чем.

— Значит, вы уверены, что это кто-то из ее знакомых?

— Ну, «уверен» — слишком серьезное слово. Я не раз давал маху, потому что был слишком уверен. Мы перебрали всех возможных взломщиков и других уголовников по всему Лондону. Это само собой разумеется. И мы продолжаем их выискивать. Никогда не известно заранее, что может обнаружиться. А вдруг это был, так сказать, взломщик-совместитель? Встречаются и такие. Но мы работаем уже месяц и не отыскали ни одного возможного кандидата. Вы, конечно, понимаете, что мы ищем и в других направлениях. Иначе зачем бы я стал сейчас отнимать у вас время?

Хамфри ответил ему таким же пристальным взглядом. Он сказал:

— Во всяком случае, эти добросовестные розыски с помощью всех ресурсов Скотленд-Ярда служат прекрасной маскировкой для поисков в других направлениях.

— Как вы сами только что сказали: совершенно справедливо.

Хамфри вспомнились осторожные переговоры, которые ему когда-то пришлось вести с видными чиновниками министерства иностранных дел — людьми, которые ему импонировали, но с которыми он не мог быть откровенным до конца, так как прощупывали одного из их сослуживцев. Тогда тоже возникали такие дипломатические паузы. Затем Брайерс сказал:

— Да, я считаю, что с ней скорее всего покончили так, как вы сейчас предположили. Что ее убил кто-то, кого она знала. А следовательно, знаете и вы, верно?

Помолчав, Брайерс продолжал:

— Ее навещало довольно мало людей. Мы это проверили. По-видимому, она перестала поддерживать связь с прежними своими знакомыми. То ли эта связь оборвалась сама собой, то ли они утратили интерес к ней, когда она состарилась. Естественно, могут быть какие-то люди, о которых нам ничего не известно. В подобных делах все концы подвязываются редко. Но тех, с кем она виделась относительно часто, мы знаем. Как я уже говорил, наиболее вероятной — но только вероятной! — представляется версия, что ее прикончил кто-то, кого вы все знаете.

— Да.

— Вы согласны?

— По-моему, это правдоподобно, — сказал Хамфри. Он выдал свои мысли, но ведь Брайерс уже сам их разгадал.

— В этом-то и загвоздка. И ситуация мне очень не нравится!

— А почему? Вас смущает, что им может оказаться ваш знакомый?

Брайерс захохотал — от души, но зло.

— Да нет же! Все они ваши друзья, а не мои. В таких делах друзей не бывает. Убийца — это убийца. Вы меня не поняли. — Он перешел на спокойный профессиональный тон. — Мне это не нравится потому, что будет труднее вести розыск. — Потом он продолжал, не то объясняя, не то выговариваясь: — Я уже вам говорил: когда мы имеем дело с уголовниками, у нас в руках все карты. Мы знаем, где можно получить самые свежие новости. Некоторые из них умны, но большинство нет. В целом уголовники отнюдь не делают чести человечеству. Умственные способности у них в среднем очень низки. Нравственные качества еще ниже. И мы ориентируемся довольно легко.

— Солдаты из них никудышные, если судить по тем немногим, кого я видел, — сказал Хамфри.

— Да? Ничего удивительного. — Брайерс вернулся к своей теме. — Но когда нам приходится иметь дело с высшими классами, положение меняется. Они умеют отмалчиваться. Моим ребятам некуда пойти за сведениями. Высшие классы способны хорошо себя защищать. И чем выше, тем защита более глухая. Они смыкают ряды. Черт подери, Хамфри, вы и без меня все это знаете!

Брайерс явно убедился в этом на горьком опыте, подумал Хамфри. В его тоне была злость. Хамфри почувствовал себя задетым и растерялся. С тех пор как Брайерс

возглавил расследование, доверие между ними исчезло, хотя дружба более или менее сохранилась. И, к полному недоумению Хамфри, трещина возникла из-за классовой принадлежности. Даже теперь, когда ему пришлось принять это объяснение, он поймал себя на мысли совершенно в духе его пожилых тетушек, принадлежавших прошлому веку. Про одного его кембриджского приятеля, который отличался блистательными способностями, но был очень скромного происхождения, они сказали с мягкой снисходительностью: «Этот юноша может далеко пойти» — так, словно продвижение вперед было социальной привилегией, даруемой немногим. Брайерс мог далеко пойти. И пошел. Так почему же он допустил, чтобы возникла эта трещина?

— Мне бы хотелось знать,— сказал Хамфри сдержанно,— откуда начинаются эти ваши «высшие классы».

— С категории Б,— мгновенно ответил Брайерс, подразумевая официальную шкалу доходов.— Преуспевающие люди интеллигентных профессий. Средняя буржуазия, если хотите. И выше, к настоящим богачам. И к настоящим аристократам. А это самые твердые орешки, между прочим.

— Знаете,— Хамфри говорил все так же сдержанно,— я не уверен, кем конкретно вы интересуетесь в данном деле...

— Думаю, вы прекрасно догадались! — Брайерс умел прощупать противника с молниеносной быстротой.

Хамфри улыбнулся — в свое время он тоже не раз пользовался этим приемом.

— ... среди людей, соприкасавшихся с леди Эшбрук в последние годы, не было ни одного, кто принадлежал бы к настоящей аристократии. Кроме нее самой, конечно. Ну и, пожалуй, ее вюка. Но больше никого.

— А вы?

— Ну нет. Английская аристократия всегда безжалостно обрекала часть своих членов на тихое захирение. Право первородства — вот ее секрет. Поэтому она и сумела остаться аристократией. Мой дед был аристократом, не спорю. Мой отец был младшим сыном аристократа. Причем небогатого. И мне уже не досталось ничего. Нет, Фрэнк, я законно принадлежу к среднему классу.

— Но ведете себя не так.

— Не понял.

— Я говорю о том,— сказал Брайерс,— что вы стоите за своих. То есть в определенных обстоятельствах вы готовы их покрывать. В определенных обстоятельствах — таких, какие мы обсуждаем сейчас.

— Знаете, я не слишком верю в лояльность подобного рода. И вам не рекомендую.

— Послушайте, если бы я сейчас сказал вам, что имеются причины подозревать, что Кейт Лефрой либо сама убила старуху, либо была соучастницей, разве вы не постарались бы выручить ее всеми средствами, какие только есть в вашем распоряжении? Что, насколько я вас знаю, вам вполне и удалось бы.

Хамфри сказал:

— Но ведь это особый случай, вы не думаете? — На мгновение его охватила тревога. Потом он громко рассмеялся.— Если вы подозреваете Кейт, то расследование, я полагаю, затянется до бесконечности.

Брайерс тоже засмеялся, на этот раз без всякой злости. Чувство Хамфри к Кейт от него не укрылось.

— В любом случае с нее я не начал бы. Но и с чисто полицейской точки зрения подозрение на нее падает меньше, чем на кого бы то ни было. Всю ту ночь, с раннего вечера и до утра, она оставалась у себя в больнице, договариваясь с забастовавшими санитарями. Одного уволили, потому что он явился на работу пьяным. Остальные немедленно устроили неофициальную забастовку. Задерживались срочные операции. Каким-то образом миссис Лефрой уломала этих мерзавцев санитаров. Они, по-видимому, хорошо к ней относятся. Думаю, она умеет не давать им потачки. Черт, ну и подонки!

Брайерс в отличие от некоторых старших своих сотрудников бывал иногда склонен к своеобразному радикализму, но не настолько, чтобы сочувствовать недовольным, срывающим нормальную работу больницы.

— Благодарю вас за то, что вы разуверили меня относительно Кейт Лефрой,— снова спокойно сказал Хамфри, делая вид, будто ощутил большое облегчение. Но его спокойствие тут же подверглось новому испытанию.

— Вы ведь не всегда говорите все до конца, — и решил в атаку Брайерс. — Вот что важно. Вы не всегда...

— Мне казалось, я ничего не утаивал.

— Не всегда.

— Что вы имеете в виду?

— Вы не сказали про Лоузби всего, что мне следовало бы знать.

Хамфри ответил с искренним недоумением:

— По-моему, я рассказал вам все, что знаю.

— Не совсем.

— Но что же?..

— Вы мне не сказали, что он любит не только девочек...

— Мне как-то в голову не пришло. Да, действительно, когда он был моложе...

Не такая уж редкость. В их кругу. Неужели это имеет какое-то значение?

— Возможно, что имеет. И уж, во всяком случае, вы бы сэкономили нам немало времени. Как ни странно, это может оказаться для него очень полезным. — Глаза Брайерса блеснули. — Видите ли, теперь он утверждает, что был в ту ночь не с женщиной, как говорил прежде. Я беседовал с ним три раза — как вы понимаете, из виду мы его не выпускаем, — и первоначальная история заметно изменилась. Теперь он объясняет, что был у приятеля.

— Возможно, он говорит правду.

— Возможно. Для начала — девица, готовая показать под присягой, что он был у нее. Ну, ее версию мы быстро отменили. Затем эта сучка Сьюзен Теркилл. Врала до посинения, и так день за днем. О да, она провела с ним всю субботу и все воскресенье. И может сообщить нам, сколько раз они этим занимались, и как именно, и все новые способы. Воображение у нее очень живое, ничего не скажешь. И все с начала и до конца сплошные выдумки. Откуда следует, что наша барышня ничем не может подтвердить, где она сама была и что делала в этот вечер. Нам, правда, известно, что первую половину дня она провела в квартире отца. А Лоузби там не было.

— Вы уверены?

Брайерс кивнул.

— Но вот относительно того, где был он, мы не так уверены. Конечно, приятель подтверждает все его расписание минуту за минутой. Но ведь и Сьюзен Теркилл подтверждала. И первая девица. Чистая перестраховка — три разные истории, где он был, и все три разработаны до последней мелочи. Может быть, и приятель врет, как врал девица. Между прочим, он мне скорее понравился. Тоже офицер, его сослуживец. Не выносить сор из родного полка — что может быть удобнее! Года на два моложе Лоузби. В отличие от Сьюзен не старался расписывать, чем они занимались. Заявил только, что оба они совершеннолетние и никому отчетом не обязаны. А в остальном так скорее чопорен. И к Лоузби словно бы искренне привязан.

— Что не выделяет его среди других, как вы сами, без сомнения, заметили.

— Других приятелей мы пока не обнаружили. А приятельниц несколько. И каждая готова ради него на любое лжесвидетельство. Одна — просто неземная красавица. Я все-таки его спросил — сделал вид, будто принял эту версию, и спросил, почему он предпочел общество молодого человека, когда у него женщин хоть отбавляй. С которыми он уже спал. Причем парочка таких, что за них чуть ли не любой мужчина даст себе руку отрубить. И знаете, что он ответил?

— С этим миром я знаком не особенно близко.

— Он сказал: «Ну неужели вы не понимаете? Просто от скуки».

Брайерс совсем неплохо изобразил искренний голос Ланселота. Лоузби, его вкрадчивую обаятельность.

— Его голыми руками не возьмешь, — заметил он.

Хамфри уступал Брайерсу в физическом состоянии, но не в опыте. Они по-прежнему сидели у окна свободно, без напряжения — два человека, натренированных вести подобные разговоры так, чтобы ни о чем не проговориться, разве что по особому расчету.

Брайерс сказал:

— Но я не могу себе представить, для чего ему понадобилось бы убивать старуху. Да и не только ему. А вы?

Хамфри покачал головой.

— Не буду скрывать, — продолжал Брайерс, — я зашел в тупик. Нам не удастся

обнаружить ни одной зацепки в сведениях о том, кто где был, и мы не можем установить, кто входил в дом в тот вечер. Кто-то что-то скрывает. И может быть, не один, а несколько человек. Словно старый фокус с тремя картами: ищите даму.

— Три карты? У вас только трое на заметке?

Брайерс быстро перебил его:

— Вы думаете, я кого-то пропустил?

— Вы ведь не сказали мне, кого вы не пропустили.

Они поглядели друг на друга без всякого выражения. Брайерс произнес ровным голосом:

— Я бы вам сказал, если бы вы объяснили мне, каким мог быть мотив. Это было бы исходной точкой. Но, черт подери, мотива-то я и не нахожу. Вы не хуже меня знаете, что мотив почти всегда прост, чего нельзя сказать о мыслях, чувствах и побуждениях. И большая ошибка — искать в возможных мотивах сложности, которой и быть не может. Мне еще не приходилось сталкиваться с убийством, побудительный мотив которого в конечном анализе не оказался бы примитивным. Сексуальный мотив? Исключается. Тут исключается. Бывает, что старух насилуют. Но тут — ни единого намека. Деньги? Снова тупик. Никто из них не убил бы ради тех нескольких сотен фунтов, которые она хранила дома. Мы думали, что у нее было что-то припрятано, но опять-таки ничего не обнаружили. Никто ничего существенного по ее завещанию не получает. Мы занялись ее прошлым. Тоже пусто. Иногда убивают из страха. Но чего можно было бояться в данном случае? Мне не на что опереться. Ну а вы? Что-нибудь предполагаете?

— Ничего конкретного.

— Ну а если... Надеюсь, вы мне сообщите?

В первый раз за все время их разговора Хамфри позволил себе саркастически усмехнуться. Он сказал:

— Тут все-таки требуется обоюдность, мой милый. А я могу надеяться, что вы сообщите мне свои сведения?

— Ну, послушайте! — сказал Брайерс. — Я же при исполнении служебных обязанностей. И есть вещи, которые я не имею права вам сообщать. То есть никому постороннему. Не так давно и вы были в таком же положении по отношению ко мне. Но я скажу вам, что могу и чего никому другому говорить не стал бы.

— Странноватая сделка, — заметил Хамфри. — Я ничего не знаю и говорю вам все, а вы знаете все и не говорите мне ничего.

— Потому-то это и сделка. — Брайерс улыбнулся широко и открыто.

— Ну, — сказал Хамфри, — раз иначе нельзя, попробуем так.

— Ну, — сказал Брайерс, — теперь мы выяснили ситуацию. По моему, утро прошло с пользой.

Он не сделал движения встать. Мускулистые ляжки плотно лежали на сиденье, ноги не шелохнулись.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

23

Зарядил дождь. Кончалась последняя неделя августа. Четыре месяца стояла летняя жара без единого прохладного дня или хотя бы легкого дождика. А потом зарядил дождь. Не осенняя лондонская изморось с тихим шорохом капель, грустная, умиротворяющая, когда листья по одному, по два медленно планируют на пятнистый тротуар, но настоящий дождь, редкий в Лондоне, несмотря на обычно пасмурное небо.

Люди, ворчавшие на жару, теперь, два-три дня спустя, уже ворчали на дождь. Спекшаяся земля в сквере на площади все еще не размокла, но вдоль тротуаров мчались потоки воды. Темные тучи висели низко и неподвижно — совсем не так, как при обычных дождях, налетающих с Атлантики. Как-то утром, когда Хамфри сидел в гостиной, где горели все лампы, ему в голову пришла непрошенная мысль. В течение пяти недель после убийства стояла ослепительная, солнечная погода. И все это время кто-то вел неподалеку будничную жизнь, привычную и незаметную, как дыхание, одновременно испытывая ноющее чувство, близкое к тревоге, — возможно, и с перерывами, как Хамфри не раз наблюдал у других подозреваемых, но порой переходящее в темный ужас.

Мучил ли этого... эту... (Хамфри обнаружил, что его подозрения зыбки и поочередно падают на кого-то из трех или даже четырех человек) безмятежный солнечный свет, благотворный, но безжалостный? Или, наоборот, вот теперь сумрак и дождь за окном усиливают чью-то тревогу? И, может быть, тревогу не одного человека, а двух? Даже он, хотя и был довольно равнодушен к капризам погоды, испытывал гнетущее чувство. Ему припомнилось трогательное старинное поверье, будто погода должна гармонировать с внутренним состоянием человека. Ни солнечное, ни пасмурное небо, собственно, ничего не меняют. Но, глядя в окно, Хамфри думал, что места себе не находил бы, будь он кем-то из подозреваемых.

Впрочем, это поверье тут же было наглядно опровергнуто. В это кладбищенски мрачное утро, хотя тучи и висели на стандартной высоте в тысячу футов и косыми струями хлестал дождь, позвонила Кейт. После того ни к чему не приведшего разговора Хамфри с ней почти не виделся. Он не сомневался, что торопить ее бесполезно. Чтобы успокоить его, она объяснила, что дни и ночи проводит в больнице из-за санитаров. Наверное, это было правдой. Речь шла об исполнении ее обязанностей, а к своим обязанностям она относилась с фанатичной добросовестностью. Тем не менее Хамфри чувствовал, что она ищет в этом предлог, чтобы оттянуть решение. Возможно, он просто не мог внутренне принять, что она так же предана своей работе, как прежде он был предан своей.

И уж, бесспорно, он никак не мог принять ее потребности выслушивать советы Ральфа Перримена. Это ему очень не нравилось, хотя своя логика здесь была: Перримен — врач, он как-то связан с больницей и, возможно, в отличие от Хамфри относится к недовольным с некоторым сочувствием. Хамфри не часто ощущал себя старым, но свою ревность он пытался оправдать мыслями о том, что жить ему остается не так уж много.

Однако в это утро, позвонив ему очень рано, еще до завтрака, она говорила с радостью, удивлением, тревогой.

— Отличные новости! — Ее голос звучал ласково и оживленно. — То есть надеюсь, что так. Просто не верится. Сюзен!

— Что с ней?

— Выходит замуж.

— За кого же?

— Никогда не догадаетесь! Лоузби все-таки женится на ней!

Хамфри недоверчиво хмыкнул.

— Кто вам сказал?

В трубке раздался смехок.

— Она сама. Полчаса назад. Сказала, что не спала всю ночь. Нет, она не была пьяна. Говорила совершенно разумно. Конечно, она вне себя от радости. Или нет... Скорее торжествует. Но говорила она вполне связно.

— Поверю, когда увижу собственными глазами, — сказал Хамфри расстроено, и Кейт вспомнила о мыслях, которыми они пока еще не обменялись, на которые даже не намекнули друг другу.

— Ну, она-то в это верит.

— Что же, возможно, у них есть какие-то причины, чтобы пожениться. Не слишком явные.

— Возможно. — Кейт принуждала себя вернуться к прежнему здоровому взгляду на ситуацию, к подозрениям.

Она знала, что Сюзен пыталась создать для Лоузби алиби, клятвенно заверяя, что в ночь убийства все время оставалась с ним — и у себя в спальне и в других местах, — и знала, что все это было ложью. Щепетильность не позволяла Хамфри делиться тем, что ему было сказано конфиденциально, а потому последнюю версию Лоузби о том, где он находился, Кейт в подробностях не знала, но все же многое поняла. В любом случае Лоузби и Сюзен оказались в роли сообщников.

Кейт, как и Хамфри, подозревала, что Брайерс и его сотрудники, возможно, стараются установить, что сообщниками они были не только в вопросе об алиби. С другой стороны, каждый раз, когда она разговаривала с Хамфри, ее охватывали неясные подозрения. Стоило рассеять логическими доводами одно, как ему на смену возникало другое — обычное состояние, когда человек тревожится или ревнует. Теперь, когда алиби, устроенное Сюзен для Лоузби, было опровергнуто, сама она тоже лишилась

алиби. Если не с Лоузби, то где была она в ту ночь? Хамфри, зная, как Кейт отнесется к Сьюзен, молчал, но этого оказалось недостаточно, чтобы скрыть его мысли.

— Поверю, когда увижу собственными глазами,— повторил Хамфри еще раз.

Он не сомневался, что разговоры о женитьбе — еще одна сложная уловка, хотя не мог представить себе ее цели. Тем не менее на третье утро после этого разговора он был вынужден поверить собственным глазам. За завтраком, развернув страницу «Таймс» с личными объявлениями и пробежав глазами сообщения о кончинах, он увидел в первой строке столбца «Браки» имена лорда Лоузби и мисс С. Теркилл: «Помолвлены и скоро вступят в брак Ланселот Персиваль Ливингстон Ричсон виконт Лоузби, капитан стрелковой бригады, сын маркиза Певенси (Марракеш) и миссис Грейс Хойт Рейтлингер (Ойстер-бей, Лонг-Айленд, США), и Сьюзен Теркилл, дочь мистера Томаса Теркилла, члена парламента, и миссис Теркилл (Лондон, Итонская площадь, дом 36)».

Хамфри по-прежнему недоумевал и не очень верил. Кейт сообщила дальнейшие новости, радуясь, что Хамфри ошибся. Свои сведения Кейт получала из неожиданного источника. После обеда у Тома Теркилла она возобновила знакомство со своей бывшей одноклассницей Стеллой Армстронг. Со стороны могло показаться, что между ними нет ничего общего: Стелла Армстронг — политический организатор левого крыла лейбористской партии, и Кейт — до мозга костей тори, насколько это возможно для здравомыслящей женщины; Стелла — немалая сила в парламентских кулуарах и еще большая в штаб-квартире лейбористов, и Кейт — безвестный больничный администратор. Но их соединяло невидимое звено, одно из тех, какие всегда лежат в основе, казалось бы, непонятной дружеской близости. Обе они попали в одну и ту же эмоциональную, этическую, сексуальную ловушку: Стелла — потому что Том Теркилл был женат, Кейт — потому что сама была замужем. Обе поняли это сразу же, когда сидели друг против друга за обеденным столом, хотя не виделись двадцать лет.

Том Теркилл, как сообщила Стелла, был обеспокоен не столько замужеством Сьюзен, сколько свадьбой. Кейт это показалось до нелепости комичным: как будто у него нет сейчас более важных причин для тревоги! Знает же он, что уголовная полиция еще интересуется Сьюзен, да и им самим тоже. А кроме того (хотя Кейт этого не осознавала), финансовый кризис обещал ему его великий политический шанс — полную победу или крах.

В этом была вся суть. Теркилл, как человек действия, умел целиком сосредоточиваться на одной какой-то опасности. Он уже надел шоры и не видел ничего, кроме политики, то есть кроме своего политического шанса. Фунт повис над краем пропасти, и вскоре, этой же осенью, должен был разразиться кризис, а может быть, и не просто кризис. Но это его не пугало. Тут-то и появлялся шанс попасть в правительство. Все лето он произносил речи об оздоровлении фунта. И верил в то, что говорил. В то, что другого пути нет. Но для него самого этот путь вел в правительство. Если они собираются пойти на новые займы, им придется отыскать место для него. В Америке он пользуется доверием — богатый, трезвый, деловой, говорящий на том же языке, что и министерство финансов Соединенных Штатов. Вот почему «Трибюн» и вся эта компания терпеть его не могут. Но, вероятно, это ему больше на пользу, чем во вред, — так, во всяком случае, считала Стелла, опираясь на свои агентурные сведения. Он ведь не только произносил речи, но и занимался делами, о которых, кроме Стеллы, знали только доверенные советники министра финансов.

Вот почему свадьба его и беспокоила. «Само собой, мне сейчас нельзя споткнуться! Ни под каким видом. Мне нельзя споткнуться!» Стелла исполнила энергичную пантомиму: человек спотыкается и падает. Он изобразил это именно так, заявила Стелла. Занимаясь кулуарными интригами, она облачалась в носорожью шкуру профессионального политика, снабженную чуткими щупиками, способными улавливать малейшие нюансы, но в домашней обстановке держалась с такой же лукавой насмешливостью, как сама Кейт, и заставляла ее забыть о своем сходстве с величественными полногрудыми красавицами на открытках начала века.

Итак, Тома Теркилла беспокоила свадьба. Если бы они поженились втихомолку, он сумел бы это замять. Однако Лоузби жениться втихомолку не пожелал. Если он вообще женится (это, вероятно, было сказано очень мягко, но не без угрозы), то ни от кого не скрываясь. Он потребовал «великосветской свадьбы», как выразился Том Теркилл, от негодования вернувшись к лексикону своей провинциальной юности. А тут уж его внутрипартийные враги найдут во что вцепиться. И не в силах осво-

бодиться от собственной метафоры, Том Теркилл снова заявил, что споткнуться ему сейчас никак нельзя.

И Кейт и Хамфри, узнавший про этот спор из третьих рук, сочли его на редкость глупым. А если учитывать положение, в котором находятся некоторые из них, то и жутковатым в своей глупости. Но спор продолжался. Лоузби упрямо стоял на своем. Хамфри никак не мог понять, почему ему обязательно понадобилась пышная свадьба. Или это была еще одна уловка, связанная с тем положением, в котором они оказались? Или же просто в кругу Лоузби (как Хамфри заметил на примере своих детей) формы сохранялись дольше, чем содержание? Лоузби не верил ни в бога, ни в семейные традиции, но, возможно, считал удобным соблюсти обычай или даже ощущал в этом какую-то опору.

Он стоял на своем. Том Теркилл, который не знал точно, в каких отношениях находятся его дочь и Лоузби, но зато не сомневался, что она жаждет этого брака и никогда ему не простит, если Лоузби вернется, вынужден был отступить. Какую выбрать церковь? Вполне подошла бы церковь святого Петра на Итонской площади, заметил Лоузби. Нет, запротестовал Том Теркилл, это привлечет излишнее внимание к тому, что он живет в шикарном районе и вообще человек состоятельный. Может быть, подземная часовня в Вестминстерском дворце? Слишком сумрачная, слишком тесная, и в такое время года туда никто не пойдет, сказал Лоузби. В конце концов они сошлись на церкви святой Маргариты — вестминстерской церкви, где обычно совершались бракосочетания членов парламента, а также их детей, но слишком пышной на вкус ревнителей равенства.

— Это вызовет осуждение, — сказал Том Теркилл скрипуче, с наждаком в голосе.

— Мне очень, очень жаль, — сказал Лоузби.

Еще одна уступка и еще один компромисс. Том предпочел бы отложить свадьбу до Нового года, то есть до того момента, когда его политическое будущее уже решится. Нет, Лоузби ни на какие отсрочки не согласен. Не позже чем через две-три недели. В таком случае — и тут последнее слово осталось за Томом Теркиллом — только в субботу. Чтобы вечерние и воскресные газеты ничего не успели напечатать.

Спор завершился. Свадьба состоится днем в первую субботу октября, до которой остается три недели.

Вечером в пятницу перед этой субботой Хамфри вновь убедился, что формы сохраняются дольше содержания. Он был приглашен на мальчишник (так в приглашении и обозначенный) у Уайта, где Лоузби устраивал прощание с холостой жизнью. Старинный обычай, который, как полагал Хамфри, давно уже вышел из употребления, — старинный и, по его убеждению, неприятный. В дни его юности все сводилось к тому, что молодые люди, собравшись в некотором количестве, усердно старались напиться и действительно напивались до положения риз. Насколько он помнил, все это было примитивно-грубым, точно обряд инициаций у племени, будущего обычай предков.

С тех пор никаких изменений не произошло. В кабинете у Уайта (в этом клубе Хамфри бывал редко, хотя он находился напротив его собственного) был накрыт стол на четырнадцать кувертов. Вокруг стояли молодые люди с рюмками виски, джина или водки. Крепкие напитки перед обедом в дни юности Хамфри не употреблялись, но это изменение он одобрил. Кроме него самого, только один из присутствующих выглядел старше тридцати лет — майор, фамилия которого Хамфри в шуме, в гуле голосов и звяканье рюмок не разобрал. Из остальных трое-четверо, по-видимому, учились с Лоузби в школе — один из них был подающим большие надежды членом парламента от консервативной партии. Однако Хамфри удивился, увидев и Поля Мейсона. Впрочем, возможно, события лета сблизили его с Лоузби. Хамфри заметил, что они, отойдя от стола, о чем-то быстро заговорили. Остальную часть компании составляли офицеры, сослуживцы Лоузби — его ровесники или более молодые, капитаны, субалтерны. Когда Хамфри знакомили с ними, одно имя отозвалось в его памяти. Дуглас Гимсон. Это было имя — он услышал его от Брайерса — того приятеля, у которого, по последней версии, Лоузби провел ночь с 24 на 25 июля. Заинтересовавшись, Хамфри сумел завязать с ним разговор.

У этого молодого человека было узкое бледное лицо с крючковатым носом, которое выглядело бы заурядным, если бы не умные глаза. Слушая его, Хамфри пришел к выводу, что он много интеллектуальнее Лоузби. Лоузби часто действовал при-

тягательно на людей гораздо умнее себя, что приносило им мало хорошего — как, возможно, и этому молодому человеку.

Стол, как и у Тома Теркилла, сверкал и сиял серебром и хрусталем. Они сели, и почетное место во главе стола занял не старший по чину офицер, а кто-то из ровесников Лоузби. Все это напоминало Хамфри обеды в офицерской столовой какого-нибудь привилегированного полка. Все называли друг друга по имени, и Лоузби, как обычно, откликался на несколько разных. Школьные приятели называли его Ланс, сослуживцы — как-то вроде Лого или даже, когда языки начали заплетаться, Йойо. Еда была очень неплоха — рыба, куропатки, куриная печень в ветчине, — но на нее почти не обращали внимания. Они прищли пить. И они пили. Вино было дешевое и грубое, и Хамфри решил, что выбрали его правильно: все равно вскоре мало кто из них будет различать вкус.

С тем же успехом это могло происходить и сорок лет назад. Хамфри вспомнились точно такие же холостые пирушки в первые годы войны. Сыпались соленые шутки. Что, собственно, по традиции и было содержанием таких сборищ. Однако эти молодые люди больше садили женщин, чем их предшественники. Они почти все давно убедились, что женщины не представляют собой особого племени. У них не было нужды ходить к проституткам. Это, возможно, поубавило в них галантности, но зато пробудило дружескую симпатию или, во всяком случае, научило какой-то чуткости и пониманию. Прохаживались они главным образом по адресу Лоузби, что доставляло почти всему обществу безыскусственное удовольствие, а самого Лоузби несколько не задевало, поскольку он с шестнадцати лет постоянно проверял себя, к полному удовольствию как собственному, так и многих других.

— Вот наклюкаешься, Лого, и дело кончится, не начавшись.

— Нет, — перебил другой, — начнется-то начнется, только не кончится.

— А чему нет конца, — добавил кто-то совсем уж веселым голосом, — то неубедительно.

— Как это будет обидно! — Лоузби улыбнулся своей самой милой, самой невинной улыбкой.

— Для Сьюзен обидно.

— Бедная девочка!

— Но, с другой стороны, — сказал кто-то из самых молодых, — она же знает, что ее ждет, ведь верно?

— Не исключено, — невозмутимо ответил Лоузби, и Хамфри заметил, что он переглянулся с Полем Мейсоном.

— Может, она даже способна отличить мужчину от женщины! — Мальчик был потрясен собственным остроумием.

И дальше в том же духе. Чем чаще повторялись сальности, тем больше они веселили общество, словно в пикировке шекспировских персонажей. Хамфри одолевала скука. Его соседи вдруг завели осмысленный разговор. Двое молодых людей, не то более воздержанные, не то более выносливые, начали обсуждать свое будущее. Остаться в армии? А будет ли через десять лет армия? Они спросили у Лоузби, что собирается делать он.

Лоузби пил мало. Но не из-за советов, которые на него сыпались. Хамфри никогда не видел, чтобы он напивался. Ему нравилось пить, но любовные удовольствия нравились ему гораздо больше. Поль Мейсон пил не столь умеренно, но по своему обыкновению ничем этого не выдавал вопреки всем законам физиологии, как часто думал Хамфри. Подобная крепость головы как-то не вяжется с интеллектуальными интересами и душевной гонкостью: прихоть обмена веществ?

Лоузби умело уклонился от прямых расспросов о том, что он намерен делать дальше, и спокойно заговорил о фамильном поместье, давно уже все рассчитав и взвесив. Нет, он и пробовать не станет сохранять его.

— Ужасная ерунда, — сказал Лоузби мягко. — Отец туда не вернется. Да и вообще он не способен ничем заниматься. А я не собираюсь до конца моих дней во всем себя урезать, чтобы делать вид, будто я феодальный вельможа. В свое время это, наверное, было приятно. Ричсоны продержались очень долго. Им везло больше, чем они того заслуживали. С какой стати мне превращаться в музейного сторожа только ради того, чтобы по моему дому шлялись толпы туристов? Да и дом-то так себе. Все это в прошлом. Ушло и не вернется.

— Пожалуй, ты прав, — сказал кто-то.

— Я застал самый конец.— Лоузби говорил с явным удовольствием.— Своя прелесть в этом была. Мужичье, ломающее шапки перед будущим сеньором. Наверно, они меня ненавидели. Ну и пусть: в двенадцать лет я этим наслаждался. Вот говорят: по тому, чего не имел, не тоскуешь. Однако иметь все это было очень приятно. И вспоминать тоже. Даже если я кончу нью-йоркским таксистом.

Хамфри удивлялся не слова — он не раз слышал то же самое от других людей, которые родились для богатства и привилегий, однако не унывали, лишившись их, — а то, кто их говорил. Он никогда еще не видел Лоузби в философском настроении и ничего подобного от него не ожидал.

Кто-то уже уронила голову на стол, и она мирно покоилась в тарелке с недоеденным десертом. Двое других вышли, и теперь, вероятно, их рвало. Кто-то сказал, что пора и по домам. Раздался громкий вопль:

— Поехали играть в железку!

Тем, кто упился настолько, что хотел выпить еще, эта мысль показалась блестящей: в игорном клубе можно было бы добавить.

— Поехали, Йойо, до утра времени много. А про завтра не думай. Это ведь не каждый день случается.

— Счастье для мужчин, что не каждый, — загадочно произнес чей-то голос.

— Нет, — сказал Лоузби мило, но решительно. — Вы же знаете, я не люблю азартных игр.

Это прозвучало почти чопорно. Приятно, что и для него все-таки существуют запреты, подумал Хамфри.

Долгое пьяное обсуждение транспортировки: кто настолько трезв, что может сесть за руль? Вызвались многие, но были отвергнуты. Поль, внешне абсолютно трезвый, сказал, что не рискнет подвергнуться проверке на алкоголь. Не рискнул он и на то, чтобы Хамфри отвез его на Эйлстоунскую площадь. Дуглас Гимсон, почти вовсе не пивший, предложил отвезти желающих. Лоузби, который собирался ночевать у своего шафера — не у Дугласа, — согласился и за себя и за шафера.

Было ли это полное бездумие или глубочайшая деликатность? Хамфри не взялся отгадывать. У него сложилось впечатление, что Дуглас любит Лоузби, любит по-настоящему. Возможно, Дуглас привязчив и раним и обречен страдать.

Они вышли на улицу. Молодые офицеры на заплетающихся ногах брели по Сент-Джеймс-стрит в сторону Пикадилли, как все поколения их предшественников, и погожий подъем был для них почти так же крут, как северный склон Эйгера. Поль Мейсон снова заявил Хамфри, что они поедут домой в такси, и они более твердым шагом пошли за молодыми офицерами к Пикадилли.

24

В четверть третьего на следующий день люди входили в церковь святой Маргариты, добросовестно преклоняли колени на своей подушке, садились на скамью и оглядывались, лица взглядом знакомые или всем известные лица. Словно в театре перед началом спектакля. И действительно, кто-то на скамье перед Хамфри, сидевшим в укромном сумраке заднего ряда, объявил твердым тоном знатока:

— Ну, публики, должен сказать, собралось маловато.

Церковь оставалась полупустой — совсем не то, что в дни, когда великосветские свадьбы собирали толпы зевак, подумал Хамфри. Была суббота, и, возможно, тактика Тома Теркилла увенчалась успехом. Кроме того, после затишья в пятницу снова пошел дождь. Среди мужчин почти никто не оделся соответственно случаю, но многие женщины были в элегантных туалетах. Селия Хоторн, которую Хамфри после обеда у Теркилла ни разу не видел, сидела одна, и ее платье могло бы послужить образцом того, как можно добиться простоты.

Пришли почти все, кто бывал у леди Эшбрук, как прекрасно заметил Фрэнк Брайерс, сидевший рядом с Хамфри. Они встретились у входа и сели в заднем ряду, потому что Брайерс не хотел, чтобы его видели. Не удержавшись, Брайерс добавил:

— В конце концов я же не родственник, верно?

Жених и шафер в парадной форме прошли по проходу. Светлые волосы Лоузби отливали под люстрами золотом, которое неточно называется червонным. Хамфри не слишком замечал мужскую красоту, но Лоузби как будто обладал ею в полной

мере. Он словно сошел с какой-то слащавой картины XIX века — Галахед или франкский рыцарь в Ронсевальской битве.

Когда точно через десять минут появилась Сьюзен с теми, кто ее сопровождал, орган играл хорал «Да пасутся овцы без страха». У Хамфри мелькнула мысль, не ирония ли это, но он ее тут же отбросил. Том Теркилл, прирожденный актер, не мог не одеться в соответствии со своей ролью: он шел величественно, по-актерски владея телом, и смотрел на свою дочь, как крупному общественному деятелю положено смотреть на свою дочь у алтаря. Ее лицо, насколько удавалось его разглядеть под фатой, казалось торжественным, целомудренным и красивым. Безупречно белое, девственно белое платье.

Брайерс что-то буркнул углом рта. Хамфри не разобрал. Не то «ну и нахака!», не то «ну и девчонка!». Четверо крохотных мальчуганов несли за ней шлейф. Либо она оказалась упрямей отца, либо, смирившись с неизбежным, он послал всех врагов к черту и решил, что раз уж делать, так со всем размахом.

Хамфри откинулся поудобней, предвкушая удовольствие. Как и другие неверующие его поколения, он любил обряды религии, в которой был воспитан. Правда, венчальная служба оставляла его холодным. Бесспорно, Кранмер блестяще владел языком XVI века, но, с другой стороны, он не умел создавать напряжение, возрастающее к кульминации. То ли соседство Брайерса, то ли собственные мысли Хамфри создавали напряжение, но тем не менее церемония под раскаты звучных слов завершилась чересчур быстро. Не прошло и десяти минут, как Лоузби умиленным, приглушенным, но хорошо слышным голосом произнес свое «да», а Сьюзен свое голосом кротким и еле слышным. Затем священник объявил их мужем и женой. И только. Дальше следовала уже разрядка. Не слишком долгая, потому что великосветские венчания не затягивались. Но все-таки еще полчаса: одушевленные, но короткие наставления на языке менее выразительном, чем язык Кранмера, духовные гимны, молитвы и «Токката» Видора. Вот и все. Пожалуйте на улицу.

А на улице шел дождь — не хлестал, не лил как из ведра, скорее моросил, но ровно и упорно. Распорядители — как будто только офицеры из полка Лоузби, в том числе и участники вчерашней попойки у Уайта, — метались с огромными полосатыми зонтами, рассаживая гостей по машинам, готовым везти их на прием в доме Теркиллов на Итонской площади.

Хамфри и Брайерс отступили под портик. Брайерс сказал:

— Лучше, чтобы нас пореже видели вместе. А то двое-трое перестанут говорить с вами откровенно, а нам этого не нужно. Так что я перестану к вам часто ходить. Вы завтра вечером свободны?

Хамфри ответил, что свободен.

— Поужинайте у нас. Мой шофер заедет за вами.

И, резко повернувшись, Брайерс зашагал под дождем по Виктории-стрит в направлении Скотленд-Ярда.

Когда Хамфри вошел в гостиную на Итонской площади, там уже толпились приглашенные, официанты разносили подносы с бокалами шампанского, но одно впечатление заслонило все остальные. Лицо Сьюзен. Она успела переодеться. Но он видел только ее лицо. Преображенное. Не просто хорошенькое, а словно озаренное изнутри, полное блаженства. В первую секунду он просто разделил ее радость. Но потом задумался. Ему доводилось видеть столь же преобразенные лица девушек — возможно, невинных и, несомненно, счастливых — после первой брачной ночи. Но Сьюзен первая брачная ночь еще только предстояла, да и ничего нового открыть ей не могла. Сколько времени прошло с тех пор, когда она впервые была, как выражались в старину, поражена адамическим удивлением? Но почему адамическим, словно первый сексуальный опыт поражает удивлением только мужчин? Или считалось, что Адам был невиннее Евы до того, как они вкусили запретный плод?

Во всяком случае, Сьюзен переполняло ликующее торжество. Совершенно неожиданное. Хамфри не мог его понять и вскоре почувствовал, что оно ему не нравится. Может быть, именно это уловил по телефону чуткий слух Кейт? Перед ним была вовсе не та девочка, которая казалась совсем понятной. Ему было бы легче, если бы он не приехал на прием и не видел тут людей, про которых ему говорили с подозрением и, может быть, скажут еще что-то на следующий день. Настроение у него становилось все более подавленным, и он отказался от шампанского. Шампан-

ское он не любил, но при других обстоятельствах выпил бы бокал из вежливости. Пожалуй, он со времен детства не испытывал такого ощущения — словно он посторонний и явился сюда непрошеным, чем-то это даже напоминало агорафобический страх.

Хамфри медленно лавировал в толпе. Надежды поговорить с Кейт не было никакой: она стояла в группе молодых офицеров, совсем таких, с какими танцевала в юности. Зато он столкнулся с Лоузби, который сказал простодушно, словно прося ободрения, в котором не нуждался:

— Все идет согласно этикету, правда, Хамфри?

И почти тут же его тронула за рукав Селия. На ее лице не было и тени тревоги. Она выглядела красивой и безмятежной.

— Вы что-нибудь знаете про Алека Лурию? — спросила она.

Хамфри ответил, что нет. Лурия как будто вернулся к себе в Нью-Хейвен.

— А почему вы спросили?

— Просто так. Он звонил мне недели две назад. Вот я и спросила.

Хамфри разрешил себе чуть-чуть усмехнуться. Алек приступил к поискам новой жены. Селия заметила его усмешку.

— Поль говорил, что Алек удивительно мудр и надо только уметь заглянуть за словесную завесу.

— Поль — тонкий судья, — сказал Хамфри. А оставшись один, попытался представить себе Селию и Алека Лурию вместе.

Царил на приеме Том Теркилл. Его терзали многочисленные тревоги, что, вероятно, было известно не только Хамфри, но и другим гостям. Решалось его политическое будущее. Такой шанс — если это был шанс — мог не повториться. А полицейское расследование, пусть прямого отношения к нему и не имеющее, ничего хорошего не сулило. У премьер-министра есть свои источники информации, с которыми Хамфри был знаком много лучше остальных присутствующих. Тем не менее Теркилл, наедине с собой осаждаемый опасениями, призраками, надеждами и совсем уж неясными страхами, на людях держался, точно знаменитый киноактер, сходящий по трапу с самолета среди восторженных лиц, излучая энергию и доброжелательство. К некоторым характерам можно себя примыслить, потому что они в чем-то родственны тебе самому, размышляла Хамфри. Но к подобному характеру он себя примыслить не мог.

Шафер предложил тост за здоровье новобрачных и произнес довольно короткую вялую речь. Лоузби ответил тоже короткой речью — не такой вялой, но против обыкновения не слишком гладкой и даже смущенной. Теркилл произнес речь, как профессиональный оратор — непринужденно, с юмором и без боязни показаться сентиментальным.

— Конечно, я теряю дочь. Если Ланселот Лоузби таков, каким я его считаю, то да — я ее теряю. И рад этому. Однако потерять единственную дочь нелегко. Всякий брак — утрата для кого-то. Но ничего. Это радостная утрата. И они будут возмещать мне ее до конца моих дней своим счастьем.

Кейт была растрогана. Хамфри, который любил свадебные пироги не больше, чем шампанское, покорно съел кусочек миндальной начинки. Теперь было можно незаметно выбраться из толпы, выйти на улицу и отправиться домой. Дождь не прояснил его мысли. Он был совсем сбит с толку.

25

В начале их знакомства, после того как Фрэнк Брайерс вернулся к исполнению своих обязанностей в Скотленд-Ярде, Хамфри провел у него дома два-три чрезвычайно приятных вечера; профессиональные разговоры с ним, пусть едкие, очень освежали. А главное, было большим удовольствием наблюдать такую счастливую супружескую пару, как Брайерс и его жена. И теперь в полицейской машине, которая везла его в Шин, Хамфри готовился к тому, что увидит картину далеко не такую счастливую.

Правда, у Бетти, по словам Брайерса, был период ремиссии, и очень долгий: он мог продлиться месяцы и даже годы. Но все равно эту пару, такую счастливую, такую радостную и ни в чем не повинную, настиг роковой удар судьбы. Хамфри

словно заново пережил тот вечер, когда Брайерс рассказал ему про болезнь Бетти. Брайерс испытывал неодолимую потребность кому-то довериться. Он был совершенно оглушен. Ни гнева, ни яростного протеста — у него словно не осталось сил. И он только сказал усталым голосом: «Я никак не думал, что с нами может случиться такое».

Это произошло года два назад, когда Бетти было тридцать, на седьмом году их брака. Они на редкость подходили друг другу, и для полноты счастья им недоставало только ребенка. Хамфри вспоминал ее прежнюю: остроумная, находчивая, красивая, она выглядела совсем юной и всегда старалась, чтобы всем вокруг было так же хорошо, как ей самой. Ему иногда казалось, что она слишком легко плачет, точно чувствительная викторианская девица. Он видел, как она расплакалась из-за грустной истории, связанной с делом, которое расследовал Фрэнк; и — что уж никак не вязалось с нынешним веком — из-за великолепного заката, когда солнце тонуло в золотых и багровых тучах. Она была очень подвижной, и в те годы они с Фрэнком занимались альпинизмом. Она была убеждена, что пышет здоровьем, и Фрэнк думал так же. Ее характер полностью исключал мнительность, и если какие-то симптомы и проявлялись, она их не замечала.

Совершенно внезапно она обнаружила, что у нее двоится в глазах. Она поглядела в другой конец комнаты — Фрэнк курил две сигареты, а не одну. Вскоре походка у нее стала, как у паралитика. Диагноз был поставлен сразу. Фрэнку сказали, что у нее рассеянный склероз. Вот тогда он и пришел к Хамфри, потому что должен был с кем-то поговорить. Как и когда сообщить ей, что с ней, врачи предоставили решать ему.

Лечения этой болезни не существует. Могут быть длительные ремиссии, но может наступить и быстрый паралич. Фрэнк признался, что у него не хватает духу и он думает даже, не будет ли лучше, если ей скажет не он, а врач.

Наконец он все-таки сказал — и обнаружил, что она уже несколько недель знает все. Кроме того, он обнаружил — как и Хамфри, когда навестил ее после их разговора, — что Бетти находится в состоянии сильнейшей эйфории, и это, пожалуй, выдержать было труднее всего. Фрэнк был человек стoического склада, сильный духом, но в ней эти качества преобразались во что-то более высокое и теперь стали источником почти радости. Когда друзья вроде Хамфри неловко пытались ее ободрить, выяснилось, что она не нуждается в утешениях. Ободряла она — безыскусно, с любовью.

Когда машина остановилась перед домом Брайерса на аккуратной, обсаженной каптанами улице, Хамфри не сомневался, что ему вновь придется пережить примерно то же.

Но не пришлось. Состояние Бетти никак не омрачало вечера; казалось, вернулось прошлое, но, правда, не вполне, потому что будущее не давало о себе забыть. Дверь открыла сама Бетти, поцеловала его и, стоя под лампой в прихожей, сказала, что очень давно его не видела. Ее скулы как будто обрисовались чуть резче. Когда он видел ее в последний раз, то заметил, что ее ноги стали гораздо тоньше. Теперь она была в длинном платье — возможно, чтобы скрыть их. Она пошла впереди него в гостиную, еле заметно прихрамывая, — в остальном все было почти таким же, как в первые дни их знакомства, но резко отличалось от того, что он видел, когда она находилась в одной из худших, а также наиболее эйфорических фаз.

— Она уже ухаживает за вами? — приветствовал его Фрэнк, наливая виски.

Не слишком ли Фрэнк весел? Слово все в порядке и не может измениться... Тем не менее Хамфри хорошо было сидеть с ними в их гостиной. Они жили на жалованье Брайерса — около восьми тысяч фунтов в год, что заметно уступало доходам большинства обитателей Эйлстоунской площади, — но умели окружить себя не меньшим, если не большим уютом. На стенах висели неприятательные акварели: Бетти получила хорошее образование и до замужества преподавала в классической школе, но особым художественным вкусом не обладала. Как, впрочем, и многие знакомые Хамфри на Эйлстоунской площади.

Но между этим домом и большинством домов на Эйлстоунской площади имелось одно особое различие: Бетти превосходно готовила. И она не забыла, какие блюда, по-видимому, нравились Хамфри. Даже странно, подумал он, что при полном его равнодушии к еде ему за последние дни дважды довелось поесть с удовольстви-

ем — у Уайта и здесь. Английскую кухню хвалить особенно не приходится, но кое-что хорошо и в ней, и его словно бы угостили всем самым лучшим сразу. Бетти испекла мясной пирог с почками и домашний торт, щедро украшенный взбитыми сливками и фруктами, — задача не из легких для человека в ее состоянии. Но и когда она была полупарализована, она все равно готовила для Фрэнка, хотя ползала по кухне на коленях.

За столом Бетти спросила Хамфри о его детях, ласково называя их по именам, хотя почти не была с ними знакома. Хамфри думал, что она создана быть матерью, а потому его ответ прозвучал неожиданно сухо:

— Собственно, рассказывать нечего. Мы не поддерживаем тесной связи. Они все еще пытаются творить добро.

Она улыбнулась ему все так же ласково.

— А вот этого вам все-таки говорить не следовало бы.

— Но почему? — возразил он.

— Зачем вы притворяетесь таким черствым? Ведь на самом деле вы вряд ли захотели бы, чтобы они творили зло, правда?

— По временам я в этом не так уж уверен, — ответил Хамфри с подчеркнутой саркастической улыбкой.

— Ну, не надо! Вы же хороший человек, и мы все это знаем.

— Дорогая моя, если бы вы знали...

— Хорошие люди не должны говорить свысока о тех, кто делает добро. Чем больше людей будет делать добро, тем лучше.

Фрэнк снисходительно посмеивался. Возможно, ему самому приходилось выдерживать подобный натиск. Но сейчас его забавляло, что Хамфри пришлось выслушать нотацию: он не раз присутствовал при том, как молодые женщины затевали с Хамфри споры, но ни одна из них не поучала его с такой естественностью.

Когда с мясным пирогом было покончено, Фрэнк сказал:

— Ну а теперь пора поговорить всерьез. За ужин придется заплатить чисто-сердечным признанием. Налейте себе. Ну, и, во-первых, при Бетти вы можете говорить что хотите и о ком хотите. Это вы знаете. Она умеет молчать гораздо лучше, чем я. По правде сказать, мне этому пришлось учиться. Когда я начинал, язык меня постоянно подводил. Мне хотелось производить впечатление. И я учился на собственном горьком опыте.

— Со мной, пожалуй, было то же.

— А у Бетти это приращенное! — Фрэнк смотрел на жену, и его взгляд был заботливым, восхищенным, нежным, поддразнивающим, тревожным. — Она в жизни не выдала ни единого секрета. Мне иногда кажется, что умные женщины умеют держать язык за зубами гораздо лучше, чем умные мужчины. Может, у них меньше соблазнов проговориться.

Хамфри кивнул. Он и сам это замечал.

— Итак, можете говорить все что хотите. Я собираюсь вас кое о чем спросить. И хватит играть в прятки. Я жду от вас полной откровенности, а сам говорить не могу. Мы оба все время старались перехитрить друг друга. К черту! Я хочу попросить вас узнать, что ваш прежний отдел может сообщить нам о Томе Теркилле. Я знаю, что они за ним приглядывают, как за многими другими политиками. Ну, про это говорить не будем...

— Ведь надо же им делать вид, будто им не даром платят жалованье, верно?

Хамфри сознавал, что по старой привычке, почти превратившейся в инстинкт, он уклонился от прямого ответа. Фрэнк так и понял. Он начал снова:

— Так не пойдет. Говорите начистоту. За Теркиллом следят. Это понятно. Но я узнал, что сотрудников нашей спецслужбы заменили вашими. Вот и объясните мне почему. Меня незначем убеждать, что из Тома Теркилла такой же шпион, как из президента Мидлендского банка. Но мне очень нужно знать, что им известно о том, где и когда был Том Теркилл. Ничего лишнего. Я сильно подозреваю, что они могут сообщить нам, где Том Теркилл был в ту субботу вечером. Никого, кто хоть что-нибудь видел, нам найти не удалось. Я считаю, что ваши прежние коллеги могли бы нам кое-что сказать. А вы как думаете?

Хамфри смотрел на Брайерса без всякого выражения, словно находился при исполнении служебных обязанностей, потом уголки рта у него дернулись в улыбке.

— Думаю, это более чем вероятно.

— Ну вот. Вы не могли бы узнать?

— Мне не очень хотелось бы. Но полагаю, что могу.

— На черта нужны контакты по всему Лондону, если нельзя иногда выручить человека.

— В том-то и беда,— заметила Бетти.— Он терпеть не может пользоваться своим положением. Верно, Хамфри?

Хамфри сказал:

— Честно говоря, я не вижу, зачем это нужно. Почему вас так интересует Теркилл? Правда, я сам о нем думал, но это ни с чем не вяжется.

— Да, не вяжется! — Фрэнк был в самом энергичном своем настроении.— И вообще ничто ни с чем не вяжется. Я уже вам говорил: не дело, а кошмар для следователя. Высшие классы, которые не желают помогать, ни малейшего сколько-нибудь осмысленного мотива... Если хотите безнаказанно убить кого-нибудь, Хамфри, выберите одного из самых аристократических ваших знакомых, а для пущей безопасности — знакомого знакомых. И без всякого мотива. Тут я уж вам гарантирую, что мы вас не изловим.

Бетти улыбнулась, и Хамфри попытался представить себе, сколько времени должно ей было понадобиться, чтобы привыкнуть к этому висельному юмору.

— Что ж,— сказал Фрэнк,— подыщем итоги. Конкретно: взломщики, мелкие уголовники, профессионалы — ничего. Но об этом, как вы сами знаете, вопрос с самого начала серьезно и не ставился. Случайный прохожий, сумасшедший, хулиган... «Исключено» — опасное слово, но тут его можно употребить почти без всякого риска. Так что нам остается только старый фокус с тремя картами — выберите кого-нибудь из тех, кто был знаком со старухой. Только карт, как вы тогда сказали, не три, а больше. Мы все еще проверяем. Но скорее для перестраховки. Если я еще в твердом уме, это кто-то из тех, о ком я уже думал. И вы тоже! Правда, для Тома Теркилла я никакого сколько-нибудь правдоподобного мотива придумать не в состоянии. Но когда по-настоящему зайдешь в тупик, остается вспомнить старый совет: не забывай самого неподходящего. Даже если никаких побудительных причин вроде бы нет. А уж более неподходящего, чем Том Теркилл, тут найти трудно. Вот поэтому я и хочу все про него знать. Кстати, что-то он скрывает — и с большим старанием.

В этот вечер ни ему, ни Хамфри не пришло в голову объяснение, которое позже казалось совершенно очевидным. Хамфри спросил:

— А стоит ли он всех этих хлопот? То есть в вашем плане?

— Собственно говоря,— сказал Брайерс,— чтобы им интересоваться, есть и другая причина. Более веская. Думаю, вы и сами догадываетесь. Он, несомненно, должен что-то знать о своей дочке. А она состоит в списке с самого начала; вы ведь тоже так думали. Никакой узды. И не то чтобы очень порядочная. Старая дама довольно-таки успешно мешала ей запалать нашего друга Лоузби. Не думаю, правда, чтобы кто-нибудь стал убивать по такой причине, разве уж совсем свихнувшись. Но тем не менее вычеркивать ее я не собираюсь. Может быть, есть что-нибудь попроще, чего мы пока не раскопали. Относительно нее и Лоузби. Почему, черт подери, он на ней женился? Я хочу знать все, что знает ее отец.

Хамфри сказал, кивнув:

— Честно говоря, вы меня не особенно удивили.

— Конечно. Все это элементарно. И Лоузби тоже со счетов не сброшен, хотя я все еще не вижу никакого мотива. Во всяком случае, ребята работают. Выясняют, как он жил, то есть на какие деньги. И действительно ли он провел ту ночь у своего приятеля Гимсона. Баш на баш, Хамфри. Вы откроете свои источники информации, а я — наши.— Он взглянул на жену не то заботливо, не то с уважением, не то виновато.— Ты ведь привыкла, дорогая? Сама знаешь: в этой игре нельзя доверять даже лучшему другу. А Хамфри — один из лучших наших друзей, верно?

— Я бы доверила ему твою жизнь,— сказала Бетти. Она любила Фрэнка, и это прозвучало серьезно.

— Я тоже.— Потом Фрэнк добавил с профессиональной усмешкой:— Но из этого еще не следует, что мне так уж легко открывать ему некоторые наши приемы. Мы не любим ими делиться. Не больше, чем в свое время он сам,— надеюсь, ты замечала? Слишком уж часто наши источники не совсем кристально чисты. И его тоже, я полагаю. Но только так можно добиться результатов. Ну, мы испробовали

одну старую дорожку. Пока, без толку. Однако осведомителей и в той среде у нас порядочно. Хотя их было больше до того, как изменили закон.

— Хорошо, что изменили,— вставила Бетти мягко, но с неожиданной решимостью в голосе.

— Правда, не для нас,— сказал Фрэнк.— Ну так наши ребята продолжают там копать. Собственно говоря, не из-за Лоузби. Он от этой среды держался в стороне: не в его стиле. Другое дело — Дуглас Гимсон. Мы получили кое-какие интересные сведения.

— Три имени в списке,— сказал Хамфри.— А еще? Может быть, этот врач, Перримен? Не знаю, зачем это могло ему понадобиться, но, во всяком случае, он у нее бывал достаточно часто.

— Мы о нем не забыли. Та маленькая зацепка. Насчет платы наличными. Это так и повисло. Но мы не забыли. Кстати, он единственный из них, кто не представил алиби на тот вечер. Обед с женой и визит к пациентке. Пробыл там только двадцать минут. Он сам нам сказал до того, как мы проверили. Он и не пытался подыскивать себе алиби.

— И выглядит это много убедительнее, чем у остальных,— заметил Хамфри.

— Вот и нам так кажется.

— Кто-нибудь еще?

— Вам что-нибудь известно про Поля Мейсона? Его подружку, или, по слухам, бывшую подружку, старуха допускала к себе чаще других. Но у нее непробиваемое алиби, как и у вашей Кейт.

— Я просто не могу отнестись к этому серьезно,— сказал Хамфри.

— В таком положении к чему угодно отнесешься серьезно.

Хамфри понял.

Имя Поля Мейсона, едва всплыв, больше не упоминалось. Разговор пошел уже почти шуточный. Бетти этого не ждала, хотя ей и раньше случалось присутствовать при такого рода мрачных обсуждениях. А они совсем разошлись. Лефрой? Потому что леди Эшбрук не признавала его гением? Алек Лурия? Приходский священник? Бетти никогда прежде не видела, чтобы Хамфри изменила его душевная тонкость, и она не только растерялась, но расстроилась. Слушать дальше, как они дурачатся, она не могла и в первый раз за вечер перебила их по праву большой:

— Скажите, у вас никогда не возникало сожалений, что вы избрали такое занятие?

Она обращалась к Хамфри, но невольно и к мужу.

— А у кого они не возникают?

— Я о другом: вы не жалеете о том, что не сделали и не создали ничего позитивного?

— Ничего по-настоящему хорошего? — Хамфри обдумал ее вопрос, глядя на нее с дружеской нежностью.— Большинству из нас следует считать себя счастливыми, если мы не сделали ничего по-настоящему плохого.

— Я уже говорила вам сегодня, что для вас этого мало.

Упомянув Лурию, Фрэнк вспомнил его замечание о лакировке, которое пересказал ему Хамфри, и повернулся к жене почти умоляюще, возможно испугавшись ее нервных движений или пытаясь предотвратить любящий упрек.

— Не надо быть слишком уж взыскательной, родная. То, что ты имеешь в виду,— прекрасно, и каждый человек, который хоть чего-то стоит, хочет того же. Но все, что нас окружает, очень хрупко и в любой момент может разбиться вдребезги. Я бы хотел, чтобы ты взглянула правде в глаза. Помнишь, Лурия сказал про лакировку? Ты знаешь, этот слой лака чертовски тонок. И мы с Хамфри потратили много времени, стараясь кое-где нарастить его, сделать потолще. Вот и все. А стоит это делать или нет, каждый решает сам за себя. Если бы я не думал, что стоит, я бы нашел для себя что-нибудь другое. Ты знаешь.

— Конечно, знаю,— сказала она, и ее тонкое лицо просияло улыбкой. Потом она продолжала: — Но мне хотелось бы, чтобы вы оба верили, что люди могут стать лучше.

Они улыбнулись ей и посмотрели друг на друга.

Хотя Хамфри и Фрэнк Брайерс словно бы ни о чем не договорились, на самом деле они обменялись обещаниями, как прекрасно поняла Бетти в тот вечер у них дома. И для начала Хамфри предстояло выяснить, почему его бывший отдел интересуется Томом Теркилом.

Он этого не понимал. Как сказал Фрэнк, обычно наблюдение за политическими деятелями вела специальная служба — небольшой отдел полиции, занимавшийся вопросами обеспечения охраны официальных лиц. Сам Хамфри в прошлом нередко сотрудничал с ней. Но в этом случае ее отстранили. И он не мог понять почему. И вообще без всякого удовольствия взялся за задачу, которую навязал ему Фрэнк Брайерс.

Ничего подобного он не ожидал. Чиновник в отставке — это покойник, особенно если он занимал достаточно высокий пост в системе службы безопасности. Однако он слишком осведомлен и — что неприятнее всего — знает, какие задавать вопросы, не хуже, а может быть, и лучше своих преемников. А они умеют уклоняться от ответов не хуже, хотя и не лучше, чем он.

Хамфри отправился в свой прежний отдел, где по-прежнему таинственно пахло спилками. Он побывал у прежних сослуживцев. Ему пришлось навестить своего прежнего шефа, который все еще оставался на своем посту, но должен был вот-вот выйти в отставку, — и только тогда наконец он добился прямого ответа на единственный вопрос.

Его прежний шеф носил фамилию Хиггс. Это был осторожный ясноглазый толстяк, некогда профессор-лингвист, чьим коньком оставались языки, не входящие в индоевропейскую группу, — финский, эстонский. На видную фигуру службы безопасности он походил даже меньше самого Хамфри. Но своей работе он отдавался весь. В отличие от Хамфри и от большинства других старших сотрудников он начинал не как сын обедневшего аристократа. Его отец был мелким лавочником, и карьеру он сделал благодаря своим академическим успехам. Его взаимоотношения с Хамфри определялись чувством, довольно обычным на подобных ступенях иерархической лестницы, которое, возможно, еще усиливалось замкнутостью их системы: не то чтобы симпатия и не то чтобы антипатия, а своего рода настороженная подозрительность, порожденная большой осведомленностью и близостью (нечто подобное можно иногда наблюдать в семьях, живущих в атмосфере скрытности).

Хамфри не стал тратить время на предисловия. Подслушивают ли они телефонные разговоры Теркилла?

— А как по-вашему? — сказал его бывший шеф.

— По-моему, да.

— Не мне говорить, что вы не правы.

— Так я прав?

— Конечно.

— Я только одного не понимаю, — сказал Хамфри. — Зачем вам это понадобилось? Где тут смысл?

В свое время они не раз из-за этого сталкивались. Хиггс был очень умен; он исполнял свой долг; он держал свои убеждения при себе. Но Хамфри знал, что по своим политическим инстинктам его бывший шеф мог бы побить наименее либеральных советников последнего русского царя. Всякий, кто не принадлежит к заведомо правым, уже левый. Всякий левый автоматически попадает под подозрение. Теркилл мог войти в правительство, а потому он особенно подозрителен.

Хамфри покачал головой. Говорить об этом теперь не имело смысла, как не имело смысла и раньше. Однако Хиггс улыбался с тихим удовлетворением, словно радовался тому, что вынудил Хамфри напрасно расходовать энергию.

— Ну и что вы из них извлекли?

— А не могли бы вы мне сказать, почему это вас так интересует, Хамф?

Сэр Эрик Хиггс был единственным в мире человеком, который еще называл Хамфри этим уменьшительным именем.

— Вы слышали про убийство в Белгрейвии? Про старую леди Эшбрук?

Сэр Эрик слышал почти про все убийства — хотя и не в своем профессиональном качестве. Он был любителем-криминалистом, умел сопоставлять, никогда ничего не забывал и знал о прежних связях Хамфри с полицией. Возможно, он даже при-

помнил фамилию Брайерса. И когда Хамфри сказал, что хотел бы узнать, какие сведения у них есть о том, где находился Теркилл в ночь с 24 на 25 июля, дальнейших объяснений не потребовалось. Хиггс улыбнулся сдобно и хитро:

— Тут вы на ложном следе, знаете ли. Мы получили сверху довольно любопытные инструкции. Содержание их я вам сообщить не могу. Но никакого отношения к тому, о чем вы сейчас думали, они не имеют. Теркилл в настоящее время очень нужен наверху.

— Ну так как же? Что он делал?

— Я склонен думать,— сказал сэр Эрик,— что в меру наших возможностей мы должны помочь. Но, полагаю, это вам почти ничего не даст.

Вступительный ритуал был бы примерно таким же, даже если бы Хамфри еще принадлежал к кругу избранных.

— Так что же вы извлекли из телефонных разговоров?— снова спросил Хамфри.

— Очень мало. Крайне мало.— И тотчас сэр Эрик стал точным и деловитым, демонстрируя память не хуже, чем у Брайерса, и лучше, чем у Хамфри, хотя и ему не приходилось жаловаться на свою память. Хамфри не сомневался, что он расскажет все подробно и верно.

Но ничего особенно интересного он не рассказал. Согласно телефонным записям Том Теркилл разговаривал с тремя-четырьмя промосковскими марксистами в парламенте — обычные добродушные пошучивания и просьба, чтобы они наносили ему удары в спину не чаще, чем того требует необходимость. Интересно, что с более многочисленной группой воинствующих левых троцкистского толка он в таком тоне не разговаривал. Слишком неорганизованны, заметил Хамфри. Теркилл не станет им доверять — на то он и опытный политик. Хамфри добавил:

— Конечно, он дерется за свою политическую карьеру.

Сэра Эрика парламентские фракции не заботили. И эти записи не вызвали у него тревоги. Да и, во всяком случае, Теркилл пользовался покровительством самых высоких сфер по причинам, о которых он вынужден умолчать. Самое любопытное заключалось в том, что Хиггс, как пришлось признать Хамфри, несколько не лицемерил. Если высшие власти сочли Теркилла полезным, Хиггс автоматически принял их мнение.

— Правда,— благодушно признал Хиггс,— мы имеем дело с человеком на редкость скрытным и увертливым.

Хамфри не выдержал и сказал:

— Я рад, что вам можно больше из-за него не тревожиться...

— Мы ведь уже и прежде так радовались, верно? А что из этого вышло?

Непроницаем и упрям, как всегда. Но Хамфри пришлось смириться с мыслью, что он видит зеркальное отражение самого себя и Фрэнка Брайерса. Вселенская подозрительность, которая возникает, когда живешь в самом центре паутины, чувствуешь все ее подергивания и утрачиваешь ощущение невозможного.

Сэр Эрик заметил с тайным удовольствием:

— Нет, он правда поразительно скрытен. У нас есть данные, что он в собственной гостиной ни о чем серьезном не говорит.

— Считает, что вы установили там микрофоны?

— По-видимому.

— Ну а вы установили?

Сэр Эрик улыбнулся снисходительно-начальственной улыбкой:

— Нет, так далеко мы все-таки не зашли.

О дочери Теркилла он ничего не знал, и в досье о ней тоже ничего не было. Но свое обещание он исполнил. Да, за Теркиллом велась слежка — и все еще ведется согласно с теми же неоглашаемыми инструкциями. Он даст Хамфри возможность ознакомиться с записями, относящимися к ночи 24 июля. Хамфри прочитал эти записи в мрачной комнатке без окон несколькими иерархическими ступенями ниже. Сэр Эрик проводил его туда, вежливо представил, дал вежливую инструкцию, облеченную в форму просьбы, и простился с ними.

Обитатель комнатки, которого звали Кэрби, когда-то служил в колониях, был печален, замкнут и, претендуя на сочувствие, сам его никому не предлагал. Никакого желания оказывать содействие Хамфри он не выразил, но подчинился распо-

ржению начальства. Да, они следили за мистером Теркилом (так Кэрби упорно называл его до самого конца).

— А почему, вы не знаете?

— Чистая формальность,— упрямо ответил Кэрби.

— А двадцать четвертого июля?

— Как всегда.

24 июля 1976 года Теркилл вышел из дома номер тридцать шесть на Итонской площади в 5 часов 39 минут. Сел в собственную машину, регистрационный номер WSK 589N, и поехал в сторону Белгрейвской площади и далее через Хобарт-Плейс, Гросвенор-Гарденс, Парк-Лейн. В рапортах агентов только самые доверчивые романтики способны усмотреть что-то, кроме опустошающе прозаичных фактов.

— Кто за ним следил? — спросил Хамфри.

Один из наших людей, ответил Кэрби. Хамфри спросил, как его фамилия. Кэрби покачал головой и поглядел на него с легким торжеством, потому что не имел права называть фамилии агентов.

Направление на север. Остановился у пивной «Лев» в Хенли. За Теркиллом как будто следовали две машины (номера). Ехавшие в них зашли в бары. В 6 часов 52 минуты мистер Теркилл отправился дальше. Остановился у частного дома (адрес), где проживает Герберт Грирсон, личность неизвестна. Вышел из дома в 7 часов 47 минут. Поехал в Хэтфилд. Не выходил из машины. Уехал из Хэтфилда в 8 часов 29 минут и со скоростью семьдесят миль в час поехал назад в Лондон. Вернулся к себе в дом номер тридцать шесть на Итонской площади.

— Довольно кружной путь до собственного дома,— заметил Хамфри.

Избитый прием. Сам Хамфри не раз колесил по разным столицам и с разочарованием возвращался туда, откуда выехал.

Затем долгое время — ничего. В рапорте добросовестно сообщалось, что до 11 часов 35 минут из дома номер тридцать шесть никто не выходил — ни мистер Теркилл, ни кто-либо другой. В указанное время какая-то компания, по-видимому из квартиры двумя этажами выше квартиры мистера Теркилла, спустилась на улицу, расселась по трем машинам с немецкими, а может быть, швейцарскими номерами и уехала. За ними никто не следовал. Согласно полученным сведениям в отель «Гайд-парк». Восемнадцать минут — опять ничего. Затем в 11 часов 53 минуты мистер Теркилл ушел из дома пешком. Направление — по боковым улицам к больнице святого Георгия. Вошел через парадный подъезд, вышел из боковой двери. Пошел пешком по Найтсбриджу, по южной стороне. Перешел через улицу и вошел в отель «Гайд-парк». Вышел из отеля «Гайд-парк» в 4 часа 32 минуты утра 25 июля. Поехал на такси в дом номер тридцать шесть на Итонской площади.

Когда Хамфри поблагодарил Кэрби, тот только посмотрел на него еще более кисло. А когда Хамфри добавил: «Но он же выпустил наиболее интересное, не правда ли?» — Кэрби сделал такое лицо, словно его обидели. И сказал:

— Он выполнил все, что ему было поручено. Для него только это и было интересно...

— С моей точки зрения наиболее интересным были эти разнообразные посетители. Кто они такие? Почему играли в эти игры?

— Главным образом американцы. За всех ручаются их посольства. На самом высоком уровне. Фамилии не указываются по официальным причинам.

— А у вас эти фамилии есть?

— Мы сделали то, что нам было поручено сделать. А в остальное не вмешивались.

Грусть Кэрби заметно поубавилась, когда Хамфри пригласил его в соседний бар. Когда они уже встали, Хамфри спросил его про Сьюзен, но снова ничего не узнал. В рапорте о ней не упоминалось вовсе. Всю эту ночь до тех пор, пока Теркилл не вернулся — почти в 5 утра в воскресенье,— окна его квартиры оставались темными.

По дороге в бар и в зале о делах больше не было сказано ни слова. За третьим двойным виски Кэрби заметил, что предпочел бы дослужиться до пенсии на Тихом океане. Невозможно привыкнуть к хмурому лондонскому небу. Не то чтобы оно было хмурым в это лето, добавил он с единственным за все время проблеском юмора.

Хамфри исполнил просьбу Фрэнка Брайерса. Но ничего сколько-нибудь интересного не выяснилось, подумал он. Правда, поскольку Моргаф и его сотрудники окончательно установили, что убийство не могло быть совершено позже половины

одинадцатого, одно теперь несомненно: Том Теркилл его не совершал. Однако Хамфри никогда его всерьез не подозревал и был уверен, что Брайерс — тоже. Правда, уже после половины одинадцатого были восемнадцать необъясненных минут, интересных для тех, кто вел следствие, но сам Хамфри их сразу отбросил.

Тем не менее поведение Тома Теркилла в эту ночь само по себе было весьма любопытно. Какое дело он проворачивал? Хамфри не сомневался, что Хигтсу это известно. Он вновь задумался над привычной проблемой прошлых дней: как устроить тайную встречу людей, которые всегда на виду. Однажды ему было поручено найти решение, и у него ничего не получилось. Решения вообще не существовало. Многие люди, никогда не пробовавшие менять свою внешность, трогательно верят в переодевание. Блестящий ход в какой-нибудь елизаветинской пьесе — персонаж надевает парик, и собственная жена его не узнает. Но вот можно ли рассчитывать на это в реальной жизни?

Хамфри позабавила мысль, что человек вроде Теркилла никак не смог бы исчезнуть на неделю-другую ни в одном большом городе западного мира. Тем не менее его уловки, пусть и на одну ночь, оказались успешными. Причем совершенно незаслуженно. Любой порядочный агент постыдился бы к ним прибегнуть. Но тем не менее в газетах ничего не появилось, а Теркилл, несомненно, прятался именно от репортеров. И Хамфри, пожалуй, догадывался почему. Все это попахивало тайными переговорами, в которых Теркилла использовали как подставное лицо. Возможно, инициатива исходила от англичан. Из того, что американцы прислали большую группу, выводов делать не стоило: американцы всегда присылают для переговоров большие группы. А были эти переговоры политическими или нет, честными или сомнительными, полуофициальными, псевдоофициальными или просто закулисной сделкой — Хамфри решить не мог. Он о многом догадывался и полагал, что кое-что знает твердо, но лишь малую часть, а отнюдь не все.

Вот почему он удивился не меньше остальных, когда несколько дней спустя после того, как навел справки о Томе Теркилле, он увидел фамилию на первой странице «Таймс». Результаты своего визита к Хигтсу, пусть и скудные, он сразу же сообщил Фрэнку Брайерсу и тут же забыл о Теркилле. Но теперь пришлось о нем вспомнить.

«Назначение мистера Теркилла. Официально объявлено, что мистер Т. Теркилл, лейборист, член парламента от Лестер-Иста, назначен финансовым секретарем министерства финансов. Он пока не получает портфеля, но будет иметь прямой доступ к премьер-министру и министру финансов. В его ведение поступают международные финансовые операции».

Этим исчерпывалось официальное сообщение. Но газета навела на него дополнительный глянец:

«Мистер Теркилл — признанный авторитет по международному валютному рынку еще укрепил свою репутацию недавними речами в палате общин и вне ее стен.

Мистер Теркилл известен как один из лидеров правого крыла лейбористской партии, и, судя по первым признакам, его назначение не найдет поддержки у левых. Ведущие представители группы «Трибьюн» отзывались о нем так: «Из этого следует, что правительство распродает страну» и «Теркилл приглядит, чтобы они нарушили пока еще не нарушенные предвыборные обещания»...»

Официальные объявления многое сообщают между строк. Так, упоминание о том, что Теркилл пока не получает портфеля, означало, что он его скоро получит. Он, несомненно, сумел выторговать свою цену. Следовательно, решил Хамфри, его позиция была очень сильна. Вероятно, его использовали как эмиссара во время летних переговоров с международными финансовыми организациями — и не только с Международным валютным фондом. А теперь выяснилось, что и не просто как эмиссара.

Нападки на Тома Теркилла давно уже прекратились: его адвокаты сделали все, что от них требовалось. Членам кабинета нужны гарантии.

И все-таки это был риск. Хамфри не любил поддаваться низменным чувствам, но тут он ничего с собой поделать не мог. До того несправедливо, что просто невыносимо, думал он, почти повторяя восклицание Кейт, когда она узнала о смерти леди Эшбрук. Только дурак ждет от жизни справедливости, констатировал бесстрастный наблюдатель в его мозгу. Из всех людей, каких он знает, большинство более приемлемо, чем Том Теркилл, большинство более честно оценивает себя, и подавляющее

большинство куда более уравновешено. Мания Теркилла, казалось бы, должна стать непреодолимым препятствием, но она как будто обернулась козырем. Многие из знакомых Хамфри были умнее Теркилла, а некоторые и гораздо способнее. Хотя никто, должен он был признать, не обладал таким чутьем на деньги.

Несправедливо, несправедливо! Теркилл выступил в тот же день с заявлением, что не принял бы такого поста, если бы не видел в этом долга перед своей страной и перед своей партией. У него нет других желаний, кроме желания помочь родной стране в трудную минуту. Нельзя допустить, чтобы фунт упал еще ниже. Он и так уже никогда столь низко не опускался. Потребуется много времени и усилий, чтобы восстановить доверие, но этого можно добиться. Мы должны оздоровить фунт. Надо сомкнуть ряды и всем дружно налечь. Только так. Мы должны построить трамплин для процветания.

Может быть, в нем есть что-то от кинозвезды, может быть, у него есть чутье на деньги, раздраженно думал Хамфри. Но пишет он левой ногой. Однако других этот недостаток тревожил меньше: в тот же день на бирже началось оживление, а фунт поднялся по отношению к доллару на двадцать центов.

27

К этому времени Брайерс уже рассказал Хамфри все, что полиции удалось узнать о финансовом положении леди Эшбрук. Они бросались по ложным следам, они делали ошибки, они не могли отыскать никакой связи с тем, в чем подозревались Лоузби и Сьюзен. Когда они убедились, что алиби Лоузби на ту ночь непроверяемо, их усилия сосредоточились на Сьюзен. Не исключалось, что она была его сообщницей, хотя никому еще не удалось придумать, какой у них мог быть мотив.

С самого начала, а особенно после ознакомления с завещанием, Брайерс и его сотрудники старались выяснить, как леди Эшбрук умудрялась сводить концы с концами. Завещание сбило их с толку, но потом Флэмсон, которого поддерживали молодые сотрудники, умевшие лучше формулировать свои мысли, заявил, что все это слишком уж подогнано одно к одному. Заслуги Брайерса тут не было никакой. Но теперь, уже ничего не скрывая от Хамфри, он с гордостью руководителя подчеркивал, какими проницательными показали себя его ребята. И с насмешливым удовольствием подчеркнул, каким тупым показал себя он сам. Разобрался во всем Джордж Флэмсон, хотя и не один. Джордж Флэмсон смахивает на простецкого краснолицего деревенского парня. Но на самом деле его отец служил в управлении угольной шахты где-то в центральных графствах. Многие считают Джорджа Флэмсона простоватым, и, безусловно, утонченность ему не свойственна, но он умеет разбираться в фактах.

Хамфри слушал, а сам думал, что тоже не блеснул сообразительностью — на какую тупость способен человек? Все факты показывали, что леди Эшбрук не могла жить так, как она жила. То же относилось и к ее внуку. У него были долги, но небольшие, очень небольшие. Его товарищи, офицеры вроде Дугласа Гимсона, были состоятельными людьми, и Лоузби вел ту же жизнь, что и они. Но одного его жалованья хватить на это не могло.

Объяснение загадки все еще не было полным, и постепенно всплывали все новые подробности. Хамфри выслушал его в уже относительно упорядоченной форме, и, возможно, поэтому оно показалось ему гораздо более стройным и очевидным, чем могло представиться на первых этапах. Источники дохода леди Эшбрук были теперь точно определены. Совсем незначительные дивиденды. Годовая рента в тысячу пятьсот фунтов. Пенсия по старости. Среди знатных и богатых кое-кто не снисходил до того, чтобы получать пенсию, но таких набралось бы мало. И леди Эшбрук к ним не принадлежала. Больше никаких доходов, с которых она платила бы налог, не было. Этих установленных Флэмсоном и его коллегами доходов примерно хватало на оплату коммунальных налогов и сборов, на отопление и освещение и, может быть, на жалование Марии, приходящей прислуге, которая получала пятнадцать фунтов в неделю. Счета на электричество и прочее она оплачивала чеками на банк Куттса, как и свой крохотный подоходный налог.

А дальше что? Ела и пила она очень умеренно, но и это чего-то стоило. Она по-прежнему покупала дорогую одежду, и для женщины ее возраста довольно часто. Раз в неделю к ней домой приходил дорогой парикмахер. При всей своей

скупоности она, по-видимому, не ограничивала себя в том, что привыкла считать необходимым с дней своей молодости. Такие счета оплачивались наличными, и свое жалованье Мария получала тоже наличными.

Откуда брались эти деньги? Время от времени она снимала деньги со счета в банке, но всегда очень понемногу. Определить, сколько она тратила на себя в год, было трудно, но, во всяком случае, не менее двух тысяч фунтов, а вероятно, и гораздо больше. Кроме того, судя по некоторым данным — пока еще довольно неопределенным, — она дарила порядочные суммы внуку.

Несколько недель им не удавалось найти ответ. Они занялись ее старыми знакомыми. Многие из них были богаты и могли бы ей помогать. Если не деньгами, то придумав для нее сложный способ избежать уплаты подоходного налога — эксперты Скотленд-Ярда, специализировавшиеся на финансовых уловках, уже занялись этим. Нигде ничего. Затем — успех. Могло показаться, что его принесла слепая удача или внезапное озарение. На самом же деле он увенчал неустанную работу машины. Они проверяли всех людей, каким-либо образом соприкасавшихся с ней. В ее последнем завещании был с благодарностью упомянут Десмонд О'Брайен и дан его уолл-стритовский адрес. Кто это? Узнать не составило никакого труда. Это был известный нью-йоркский юрист, глава респектабельной фирмы, выделявшейся среди других почтенных фирм только тем, что все ее совладельцы были католиками. Он умер почти восьмидесяти лет в 1974 году.

Он был не просто преуспевающим юристом, но и влиятельной фигурой в кулуарах демократической партии. В течение многих лет он оставался одним из руководителей партийной машины штата Нью-Джерси и доверенным лицом президентов. Его характеризовали как совершенно беспощадного политика. Но в частной жизни он, наоборот, пользовался репутацией доброго и глубоко порядочного человека. Он был холостяком, благочестивым, искренне верующим католиком. Ему принадлежала знаменитая коллекция керамики. Поскольку он был католиком ирландского происхождения и поддерживал хорошие отношения с английскими политическими деятелями, Белый дом во время войны использовал его для деликатных поручений в Лондоне и Дублине.

Эшбруки тогда жили в Вашингтоне, куда снова вернулись при втором правительстве Черчилля. Как всем там было известно, с Десмондом О'Брайеном их связывала тесная дружба. Он вел аскетическую жизнь, если не считать некоторого пристрастия к виски, но любил бывать на людях в обществе красивых женщин. Возможно, что он, кроме того, питал безобидную слабость к аристократическим титулам. После смерти лорда Эшбрука он сохранил близость с леди Эшбрук — вполне невинную, как утверждали люди искушенные, хотя для нее это было бы чем-то совершенно новым, а люди неискушенные обсуждали, не кончится ли все это браком. О'Брайен писал ей письма, звонил через океан и, пока еще мог путешествовать, навещал ее в Лондоне.

Эти обрывки информации получило от его служащих ФБР, к которому звывали нью-йоркские агенты Скотленд-Ярда. Но большего оно не добилося. Служащие О'Брайена были обучены хранить тайны. Однако из других источников удалось установить, что почти в самом начале их дружбы леди Эшбрук перевела все свои американские ценные бумаги на имя О'Брайена. Так мило с ее стороны, заметил умудренный годами и опытом высокопоставленный сотрудник ФБР, поспешить со своей лептой, чтобы спасти очень богатого человека от голодной смерти. Кроме того, как сообщила контора О'Брайена, одним из денежных дел, которые фирма вела по поручению частных лиц, он всегда занимался лично. По догадкам, капитал был не слишком большим — около двухсот тысяч долларов.

В сентябре твердо установленные факты тем и исчерпывались. В этой сделке бумаге не было доверено ни единого слова. Когда несколько позднее Брайерс рассказал Хамфри всю историю, как она представлялась полиции, Хамфри заметил, что старик О'Брайен, по-видимому, знал все правила соблюдения секретности. И было бы странно, если бы он их не знал, учитывая его кулуарную политическую деятельность. Исходя из этих известных фактов, полиция разработала несколько версий. Проверку выдержала простейшая. Пришлось предположить, что О'Брайен и леди Эшбрук полностью доверяли друг другу («Самая лучшая гарантия, — сказал Хамфри, — если правильно выбрать человека»). Она передала ему основную часть своего капитала — сумму, по меркам О'Брайена несомненно ничтожную, поскольку, по оцен-

ке Скотленд-Ярда, все свелось к пятидесяти — шестидесяти тысячам фунтов. Сумма эта заметно уступала ожиданиям любителей считать чужие деньги, но тем не менее выглядела гораздо более правдоподобно, чем почти полное отсутствие капитала, которое обнаружилось после смерти леди Эшбрук.

Они договорились, что О'Брайен будет через определенные сроки доставлять ей деньги в Англию. Ничего противозаконного или даже сомнительного О'Брайен не делал. Любой американский гражданин имел право приобрести любую сумму в английских деньгах, а затем передать ее кому угодно в Англии. Возможно, что дивиденды накапливались и их не объявляли ни в Америке, ни в Англии. Это так и осталось неясным. Люди, знавшие О'Брайена, считали более вероятным, что он сам уплачивал налог и даже пополнял капитал. Для него это были пустяки, а он любил оказывать услуги тайно.

Леди Эшбрук, бесспорно, уклонялась от уплаты подоходного налога. Без особого размаха, но, во всяком случае, настолько, насколько это было в ее возможностях. Кроме того — и, вероятно, это давало ей гораздо больше удовлетворения, — при таких условиях нельзя было взыскать налог на наследство. Как ни странно, людей очень заботит, что станет с их деньгами, когда их самих уже не будет в живых. Быть может, так они бросают еще один вызов собственной смертности.

Согласно этой версии все происходило крайне просто. О'Брайен привозил пачки банкнот сам или пересылал их в небольшом пакете. Чем проще, тем безопаснее — еще одно правило секретных операций. Леди Эшбрук регулярно получала что-то около трех тысяч фунтов в год — по оценке полиции, но, конечно, сумма могла быть и заметно больше. Слагалась она из доходов от капитала, но пополнялась и за счет самого капитала, который постепенно уменьшался.

Конечно, так ли это было на самом деле, знать могли только они двое, но передача денег происходила, по-видимому, вполне гладко — до тех пор, пока они сохраняли здоровье и силы.

Брайерс, который непосредственно эту версию не разрабатывал, — во всяком случае, не так, как версию Лоузби и Сьюзен, — один ход сделал сам. И довольно неожиданный. Он попросил Тома Теркилла встретиться с ним. Произошло это почти сразу же после назначения Теркилла на министерский пост. Брайерс хотел узнать мнение человека, который считался непревзойденным знатоком всяческих финансовых махинаций, хотя на самом деле он надеялся извлечь какие-нибудь сведения о Сьюзен, которой все еще занимался.

Но он вытянул пустой номер. Теркилл принял его со всей экспансивной сердечностью полтика, вознесенного на гребень волны. Не скупясь на громогласные шутки (полный подозрительности профессионал, зондирующий другого профессионала), Теркилл высказал предположение, что, может быть, на этот раз полиция его все-таки еще не заберет. Из-за убийства леди Эшбрук полиция грозит большие неприятности, если они в ближайшее время кого-нибудь не арестуют.

— Пресса взялась за вас, Фрэнк. Мы все знаем, что это такое. Они мне горло перервут, если я им сразу же не предъявлю каких-нибудь результатов. Но не беспокойтесь, это правительство продержится еще не один день!

В действительности же шуточки Теркилла, хвастовство, обращение по имени — все это было проникнуто вызывающей самоуверенностью, и мания преследования была заметно приглушена. Однако от разговора об убийстве, а также о своей дочери и ее замужестве он полностью уклонился.

Это, возможно, объяснялось его инстинктивной осторожностью, но и от денежных дел леди Эшбрук, хотя тут ему незачем было осторожничать, он тоже отмахнулся с полным к ним презрением. Он выслушал рассказ Брайерса, предупредившего, что многое не доказано и строится на одних предположениях. Брайерс знал, когда надо быть откровенным, оставаясь начеку.

— Я это денежными делами не называю! — Теркилл скрипуче хохотнул. — Семечки для канареек. Мелочная лавочка. Послушайте, Фрэнк! Люди, имеющие дело с настоящими деньгами, не разгуливают с пачками фунтовых бумажек. С тех пор как я сам кое-что заработал — а этому уже тридцать лет, — я и пяти фунтов в бумажнике не ношу.

— В этом есть свои преимущества, верно?

Брайерс не собирался отступать, и губы Теркилла растянулись в жесткой, по своему обаятельной усмешке.

— Не спорю.— Усмешка перешла в смех.— Пусть будет по-вашему. Не ты платишь по счету, а за тебя платят.

Брайерс тоже засмеялся, словно оба признали это верхом остроумия. Потом он спросил:

— Но все-таки мне хотелось бы узнать ваше мнение. По-видимому, этот план оказался успешным. Или какой-то сходный. Вы думаете, так могло быть?

Теркилл внезапно посеребрился. Он ненадолго задумался.

— Пожалуй, могло. Если обе стороны соблюдали абсолютную осторожность. И третьим лицам доверяли только самый необходимый минимум.

— Вы действительно так считаете?

— Если они действовали в очень ограниченных масштабах, то да, у них, я полагаю, все могло пройти гладко.

Брайерс поблагодарил его и сказал, что ради этого он и приходил. И сказал неправду. А Теркилл тем временем на несколько минут вернулся к своей роли министра, объясняя, что, разумеется, старина О'Брайен был его давним и близким другом, из чего, возможно, следовало, что он видел его в жизни не один раз, а два или три.

Вскоре после этого разговора Брайерс получил от Скотленд-Ярда разрешение командировать в Америку оперативную бригаду. Это произошло уже на исходе октября, и Хамфри, который был теперь полностью в курсе, узнал об этом на день позже самого Брайерса. Бригада была самой скромной — только Бейл и Флэмсон. А почему именно они? — спросил Хамфри. Ну... (Брайерс был в самой энергичной своей форме) у Скотленд-Ярда есть уже представители в Нью-Йорке, и они знают, что им требуется. Флэмсон... да, он слишком уж простоват на вид и вряд ли найдет общий язык с молодчиками из ФБР. Лен Бейл, с другой стороны, солиден и может произвести впечатление. Кроме того, Фрэнк решил использовать эту командировку как предлог, чтобы добиться для Бейла повышения — другого способа не было. Его прежний чин был для этого недостаточен. Фрэнк Брайерс был по-мальчишески доволен, словно для того и затеял всю командировку.

Как бы то ни было, Бейл и Флэмсон вернулись с новыми фактами. Бейл сообщил, что в конторе О'Брайена выяснить что-либо оказалось невозможным: либо его прежним служащим нечего было сказать, либо они не хотели говорить. Секретарши были преданы старику и оберегали его память. Они, правда, знали, что на каждое рождество он сам запечатывал какие-то пакеты и отсылал их кому-то в Лондон — так же, как делал всем трем своим секретаршам по дорожному подарку. Бейл не сомневался, что они знают еще что-то — и уж конечно, что он регулярно покупал в значительном количестве фунтовые банкноты. Но он также не сомневался, что они ничего не скажут: все три были незамужние, все три католички, все три приучены к секретности. Бейл провел в конторе несколько дней и беседовал с партнерами О'Брайена. Только один как будто знал больше, чем секретарши, но — согласно де-визу службы безопасности — не больше, чем ему необходимо было знать.

К такому заключению пришел Бейл — теперь уже суперинтендент Бейл, — и Брайерс с ним согласился. Как и Хамфри, когда услышал об этом от Брайерса. Хотя почти все, особенно молодые сотрудники, смотрели на Бейла сверху вниз, со снисходительной симпатией, словно на старого добродушного эрдельтерьера, Хамфри научился с уважением относиться к его суждениям о людях, а на такого рода уважение он был скуп.

Как заключил Бейл, О'Брайен что-то открыл только одному из своих партнеров, однако лишь самое необходимое. Это был молодой человек по фамилии Прхлик. Фамилия звучала не слишком по-ирландски, но она принадлежала семье столь же истово католической, как и семья самого О'Брайена. Он был одним из младших партнеров — потому-то О'Брайен и сделал его своим помощником и отчасти доверенным. Пока О'Брайен и леди Эшбрук оба были здоровы, все делалось точно по плану. Так продолжалось, пока им обом не перевалило за семьдесят пять. Затем О'Брайен перенес инсульт и хотя частично оправился, ездить в Англию уже не мог. Он говорил с трудом, но сохранил полную ясность сознания. Тогда-то он и обратился за помощью к Прхлику. О'Брайен стойчески решил, что пора готовиться к смерти, и со всем тщанием приготовился не только к своей, но и к смерти леди Эшбрук. Он намекнул Прхлику, что у него есть обязательства по отношению к лицу примерно его возраста. И он хочет все тут привести в порядок.

Прхлик, конечно, мог бы ездить в Лондон и передавать деньги, как прежде делал сам О'Брайен, но старик считал, что это лишь временное решение вопроса. Остаются обязательства, которые надо будет выполнить после ее смерти. Необходима помощь еще одного человека, которому она доверяла бы, как самому О'Брайену. Он написал ей, с трудом двигая полупарализованной рукой. Нужно найти еще одного посредника — на этот раз в Англии. Может ли она предложить кого-нибудь? Он хотел бы узнать о ее выборе как можно скорее. Их проверенное временем взаимопонимание позволяет ему, как он полагает, просить права вето. Это было условие, поставленное искусственным юристом, и он рассказал о нем Прхлику с явной гордостью. Однако он это право не применил. Вновь ничего не было доверено бумаге, а письмо О'Брайена леди Эшбрук, несомненно, уничтожила. Она назвала своего посредника по телефону. По-видимому, О'Брайен его знал и дал согласие.

Прхлику этот посредник назван не был, хотя имя леди Эшбрук он со временем узнал. Они с О'Брайеном — а между собой и его секретарши — называли лондонского посредника контролером. Капитал, который до тех пор назывался просто фондом О'Брайена, превратился в фонд контролера. Этот контролер был посвящен во все детали, как О'Брайен и леди Эшбрук, — но только они трое, и никто больше.

В течение последнего года жизни О'Брайен разработал расписание. Прхлик сказал, что О'Брайен, подобно многим другим, в старости стал патологически скрытен — без особых причин, а нередко и без всякого смысла. Если бы Прхлика, как и контролера, посвятили во все, это заметно уменьшило бы сложности. Но О'Брайен предпочел разработать целую процедуру. Каждый сентябрь представитель фирмы будет посылаться в Лондон с небольшим, обычного вида пакетом, содержание которого останется ему неизвестным. В Лондоне, остановившись в гостинице, он передаст пакет администратору на хранение до востребования. Пакет будет с грифом фирмы О'Брайена. Контролер, позвонив в американское посольство, узнает, где остановился представитель фирмы, и пришлет кого-нибудь за пакетом.

Процедура эта, как и все, разрабатывавшиеся О'Брайеном, была относительно проста. Но, заметил Хамфри, слушая рассказ Фрэнка Брайерса, еще проще было бы подарить леди Эшбрук сто тысяч фунтов, такую для него мелочь, и дело с концом.

И наконец, после смерти леди Эшбрук — по-видимому, О'Брайен предполагал, что она переживет его ненадолго, — оставшиеся деньги следовало отправлять в Лондон более крупными, чем прежде, суммами, так, чтобы в течение трех лет изъять весь капитал.

Такой была предыстория, насколько им удалось восстановить ее по полученным сведениям. Брайерс и его сотрудники считали, что так все и происходило в действительности. Не было никаких данных о том, что деньги попадали куда-то еще, кроме леди Эшбрук. Возможно, некоторую часть получал Лоузби. Им не удалось проследить, как забирали деньги, а потому они все еще не знали, кто был контролером. У них были только предположения — несколько предположений. Возникали и новые предположения о мотиве убийства, но у Брайерса все время оставалось такое ощущение, как будто он никак не может вспомнить слово, которое вертится на кончике языка.

Брайерс продолжал рассказывать Хамфри все, что он знал или подозревал в связи с делом. Но он умолчал о том, что у него была еще одна причина командировать старину Бейла в Нью-Йорк. Надо было дать ему возможность выпутаться из истории, в которую он попал. Брайерс был крайне щепетилен по отношению к своим подчиненным и поэтому ничего не сказал Хамфри, хотя свою тайну такого рода он поверил бы ему без всяких колебаний. Он добродушно намекал на осложнения, вызванные появлением в полицейских силах бойких молодых женщин. У Хамфри осталось впечатление, что какой-то молодой инспектор, ловкий и проницательный, вроде Шинглера, связался с одной из своих сослуживиц.

Истина была более неожиданной. Такую связь завел Бейл — этот уважаемый столп общества с внешностью священника. Молодые сотрудники твердо считали Бейла нудным старикашкой. И ничего не замечали. А он умел лозко замечать следы. Но Брайерсу было известно, что Бейл, с тихим достоинством председательствовавший на совещании своей группы, затем возвращался в кабинет и вел телефонные разговоры, уже отнюдь не столь тихие, со своей женой. Беда была в том, что он как будто извлекал из всего этого массу удовольствия.

Порой, возвращаясь домой к больной жене, Брайерс не мог подавить вспышки зависти. Тем не менее он попытался исправить положение. Поездка в Америку могла образумить Бейла. Но, как скоро убедился Брайерс, из этого ничего не вышло. По возвращении Бейл, казалось, только еще больше вошел в азарт. Брайерс криво улыбнулся: мораль — не разыгрывай из себя бога. В результате Бейл, пожалуй, запутался еще больше. И еще больше наслаждался ситуацией, хотя никто об этом не догадывался. Добрые намерения Брайерса принесли только один положительный результат: теперь, если Бейлу придется уйти в отставку раньше времени, пенсию он получит немного побольше.

28

Утро снаружи было мутно-серым от дождя, и казалось, что морг залит пронзительно ярким светом. Но Хамфри не почувствовал себя легче. Запах (только ли дезинфицирующих средств) не способствовал повышению настроения. Ему еще никогда не приходилось бывать в морге. Странное место для встречи! Но пришел он не напрасно. Когда Фрэнк Брайерс что-нибудь обещал, он держал слово. И с самого начала он разговаривал с Оузном Морганом, патологоанатомом, так, словно Хамфри был своим.

О Моргане он слышал от Брайерса, но видел его впервые и почему-то не ожидал от него такой бьющей через край энергии. И уж конечно, он не ожидал взаимного подкалывания, которое для Моргана и Брайерса стало такой же частью привычного ритуала, как пожелание доброго утра.

У Брайерса была официальная причина побывать у Моргана, не связанная с делом об убийстве леди Эшбрук. На свои вопросы он получил исчерпывающие ответы менее чем за десять минут.

— Очень хорошо, — сказал Брайерс. — Значит, с этим покончено. — И тут же перешел на другую тему: — Да, кстати, Таффи, вам что-нибудь известно про медика по имени Перримен?

— А конкретнее?

— Он был врачом леди Эшбрук.

— То-то фамилия показалась мне знакомой. Наверное, я видел ее в деле. — Морган прекрасно улавливал подтекст. — А он тут замешан?

— Мы исключаем тех, кто не замешан. — Это было сказано не только Моргану, но и Хамфри. — Он пока еще не вычеркнут.

— А что-нибудь получше метода исключения вы не нашли?

— Если вы всерьез верите, будто господь наградил вас умом, так лучше бросьте эту работу. А мы подыщем прозектора поособразительнее.

Отпаривав, как положено, столь же дружеской подковыркой, Морган сказал:

— Я про него ничего не знаю. Но могу навести справки.

— Так наведите. Если без особых хлопот. Но специально времени не тратьте. Это ведь на всякий случай.

Хамфри не сомневался, что Брайерс никаких сведений получить не рассчитывал. И вопрос был задан только ради него. Брайерс хотел показать, что ничего не скрывает.

Новый обмен шутливыми оскорблениями — и они попрощались с Морганом. На улице все так же сеялся дождь. Фрэнк Брайерс указал на кафе напротив:

— Я там уже бывал. В общем, сойдет.

Будь он не при исполнении служебных обязанностей, кафе вряд ли сошло бы. Все освещение исчерпывалось неоновой трубкой над стойкой, не слишком приветливо отражавшейся в мокром асфальте. Одно из тех крохотных кафе, где все сведено к голому минимуму. Они отнесли чашки кофе с молоком (молока было заметно больше, чем кофе) на столик с цинковой крышкой. Фрэнк на работе забывал про еду, но пользовался случаем перекусить, если выпадала такая возможность, и теперь купил два завернутых в целлофан бутерброда с ветчиной.

Было уже около половины одиннадцатого, и он съел их оба. Спросив Хамфри, как ему показался Морган, он разразился похвалами уже без дружеских поношений — только похвалами.

Хамфри ждал. Утро пока было вступлением, типичным для Брайерса. Теперь вступление кончилось и предстояло услышать что-то новое.

— У меня есть для вас кое-что, — сказал Фрэнк, понизив голос, хотя в кафе, кроме них, никого не было.

— Ну?

— В тот вечер Лоузби и близко к дому леди Эшбрук не подходил.

— Это точно?

— Точнее некуда. Разве что мы с вами просидели бы с ним и Гимсоном всю эту проклятую ночь. Эта их история — чистая правда.

Брайерс говорил с некоторым раздражением, словно ему напрасно морочили голову. Но раздражение раздражением, а он был прирожденным рассказчиком. И описывал пусть мелкую, но победу их метода, полный гордости за них всех. Ребята копали и копали. Ничего не упуская. Как он уже говорил Хамфри, они перебирали все контакты в этом плане, а их хватает, сказал он с профессиональной усмешкой.

Одно, другое, третье. Массажные салоны. Танцклубы. Посредники. Нудная работа для ребят. Очень долго все было впустую. Потом кто-то начал нащупывать следы Дугласа Гимсона. Три-четыре года назад Гимсон был в обращении. Крейсировал, как сказали некоторые осведомители. Потом куда-то исчез. Может быть, перестал крейсировать. Один тип про него что-то трепал.

Личность этого типа установили. Лег около тридцати. Фамилия — Дарбли. Может быть, и не своя. Рабочий сцены, подрабатывал натурщиком. Истерики. Ребята на него нажали. Он брал у Дугласа Гимсона деньги. («В клубах!» — выкрикнул он.) Дарбли нравилось получать деньги. Рано или поздно Гимсону это должно было надоесть. Угрозы. В прежние времена, возможно, не обошлось бы без шантажа. Теперь этого так не опасаются. Да и вообще, по мнению Фрэнка, Дуглас Гимсон на шантаж не поддавался бы. А потому Дарбли стал телефонной язвой. Полиция с этим постоянно сталкивается. Таких случаев тысячи. Дарбли звонил в клубы Гимсона — respectable клубы — и театральным голосом спрашивал, здесь ли сейчас такой-сякой капитан Гимсон. Раза два являлся к Гимсону на квартиру, узнавал, что тот где-то обедает, выведывал где и по телефону декламировал тот же вопрос. Он, по-видимому, считал, что Дуглас Гимсон от него откупится, если он пообещает прекратить свои звонки.

Кроме того, слежка за Гимсоном превратилась у него почти в манию. Чуть ли не каждый вечер до начала спектакля он прятался где-нибудь у его подъезда. И то, что он оказался там в ту июльскую ночь, вовсе не было случайным совпадением. Как только ребята это выяснили, сказал Брайерс, они взялись за дело всерьез. Он закатывал истерики и очень им не нравился. Они нажали посильнее. Подключились руководители группы — один раз в допросе принял участие сам Фрэнк. («Но я, собственно, не требовался. Работала группа».) Довольно скоро они извлекли один факт. Дарбли видел, как Лоузби (которого он помнил с того времени, когда был с Гимсоном в мирных отношениях) вошел в тот вечер в подъезд. Около пяти часов, сказал он, что примерно совпадало со временем, которое назвали полиции Лоузби и Гимсон. Дарбли оставался на своем посту так долго, что чуть было не опоздал в театр. Лоузби еще не ушел.

Таким образом, его показания согласовывались с утверждением Лоузби, что он провел у Гимсона весь вечер и всю ночь. А также и все воскресенье, но это уже значения не имело.

Возможно, и по чистой случайности, заметил Фрэнк, но кто-то из ребят спросил Дарбли, а что он еще делал в тот вечер. Дарбли ответил, что это их совершенно не должно интересовать. Они сразу же проявили настойчивый интерес. Что он делал в тот вечер? Он потерял власть над собой и завизжал: «А что, по-вашему, делает рабочий сцены? Может, сами хотите попробовать?» Что еще он делал? Что еще? Что еще?

И Фрэнк и Хамфри знали технику такого допроса как свои пять пальцев. Один из допрашивающих повторял: «Звонили по телефону. Сколько раз?» Дарбли пришел в ярость. Сколько раз? Сколько раз он звонил о капитане Гимсоне? Понадобилось больше часа, чтобы Дарбли сознался, что он во время спектакля звонил из театра на квартиру Гимсона пять раз. Ему не понравилось, что туда заявился этот лорд Лоузби. Он спрашивал, дома ли капитан Гимсон. Какие слова он употреблял? «Какая раница! Они же знали, кто я! — визжал Дарбли. — Да, да, да!»

Кто брал трубку? Да, да! То один, то другой. Так друг у друга и вырывали? — сказали полицейские. А там два аппарата.

А после театра? Он опять звонил? Да, да, да! И не один раз? Да, да, да! До какого часа? Он не помнил. До полуночи? Кажется. После полуночи? Да, да, да! Пока они не отключили телефон.

— На их месте,— заметил Хамфри,— я бы сделал это гораздо раньше.

Брайерс сказал, что спросил у них, почему они этого не сделали. Оказывается, Гимсон ждал звонка матери.

— По правде сказать, довольно неожиданное подтверждение,— продолжал Хамфри.— Но достаточно убедительное, верно?

— Да. Абсолютно. Кстати, я спросил у них, почему они мне сами не сказали. Это сэкономило бы нам много человеко-часов. Они ответили, что упоминали о телефонных звонках. Но, безусловно, о содержании их и не заикнулись. Не то бы мы быстро разобрались.

— Но почему они предпочли молчать?

— Это уж вы мне скажите. Вам эти люди лучше известны.

Позже Хамфри пришло в голову, что Лоузби при всем своем бесстыдстве, возможно, стыдился попасть в смешное положение. О том, когда Дарбли начал свою слезку, они с Гимсоном знать не могли и не догадывались, что она может оказаться для них полезной. Но в любом случае попасть в более смешное положение им было бы трудно.

— Надеюсь, вы объяснили им, что они вели себя, как полные идиоты, пытаться что-то скрыть?

— Конечно.— Брайерс улыбнулся самой жесткой своей улыбкой.— И еще я сказал ему — Дугласу Гимсону,— что не стоит ему заводить приятелей вне своего круга. Больше шансов вляпаться в такую вот историю.— И снова в голосе Брайерса зазвучало раздражение.— Ну, с этим мы, во всяком случае, разобрались. Но кое в чем мы допустили промашку. И по моей вине, Хамфри. По моей вине.

Вот что угнетало его все утро, подумал Хамфри. Брайерс радовался успехам, но неудачи задевали его за живое, что, возможно, способствует эффективности, но не душевному покою.

— С этой, со Сьюзен. До чего-то мы, возможно, не докопались.

И тут Брайерс принялся сердито излагать ситуацию — сердито, но по-прежнему ясно и четко. На своей выдумке Сьюзен настаивать перестала: естественно, другого выбора у нее не было, сказал Брайерс. Теперь она заявляет, что просто перепутала даты. Брайерс, отнюдь не успокоившись, отвлекся, чтобы охарактеризовать поведение Сьюзен. Теперь, когда она надежно прибрала Лоузби к рукам, сказал он, ей в высшей степени наплевать, где он провел ту ночь. Ее это совершенно не трогает.

Затем Брайерс вернулся к теме. В общем, они знают, сказал он, когда Сьюзен встретилась с Лоузби и согласилась обеспечить ему алиби. Где-то во второй половине дня в понедельник. Но ее выдумка обеспечила алиби и ей самой. Теперь от этой истории камня на камне не осталось. Только суть не в этом, сказал Брайерс и продолжал еще более зло:

— А важно, где наша барышня на самом деле была в субботу вечером. Беда в том, что мы могли что-то упустить. Нет ошибки хуже, чем сложить руки и думать, будто тебе известно все что нужно. И тем не менее люди раз за разом на этом попадают. Мы продолжали копать с Лоузби, но ее басню, в сущности, проглотили. То есть считали, что, во всяком случае, часть вечера она провела с ним. До тех пор, пока не разобрались с Гимсоном. Вина только моя.

— Ну а где же она была?

— Сложность в том, что и тут получается какая-то чепуха. Возможно, мы упустили шанс, что ее опознали бы. Но все выглядело настолько неправдоподобным, что мы не стали разбираться дальше.— Хотя Фрэнк Брайерс и винил только себя, говорил он так резко, словно разноса заслужил Хамфри, который был тут вовсе ни при чем.

— И что дальше? — У Хамфри был большой опыт в обращении с начальством, которое допустило промах.

— Возможно, был шанс, что ее опознали бы. Но слишком маловероятный, чтобы отнестись к нему серьезно. Квартиры в проходном дворе за садом старухи — один жилец упомянул, что они с женой пошли поужинать в ресторан и видели во дворе какую-то девушку. В субботу вечером около восьми. Вернулись они что-то между половиной одиннадцатого и одиннадцатью — точно не помнили. Девушка — им показалось, что та же самая, — все еще там рассказывала. Особого внимания они на нее не обратили. Средний рост, одета модно, в брюках — по такому описанию только и искать! Со Сьюзен они незнакомы и даже не слышали о ее существовании. Нет,

почему в Лондоне никто никого не знает? Фотографии — да-да, может быть, и она, а может быть, и не она. Кстати, ребята ее об этом спрашивали. Но она только засмеялась. Тогда еще она повторяла свою первоначальную версию, только без Лоузби. Не могла же она спать в квартире, которой они с Лоузби иногда пользовались... Это, между прочим, правда, она всегда подкрепляет свои басенки фактами — не могла же она спать там и одновременно рассказывать по проходному двору, верно? Ну, тогда казалось, что этим заниматься не стоит. А теперь уже поздно. Если они тогда ничего не разглядели, то через два месяца и подавно.

— Это же не слишком правдоподобно.

— Спасибо за объяснение.

— Если она чего-то ждала там несколько часов, то в дом явно не входила...

— Мы и сами до этого додумались.

Хамфри ответил на эту шпильку легкой улыбкой:

— Следовательно, можно с достаточной уверенностью считать, что прямо она не замешана. Никто не станет после убийства часами прогуливаться рядом с домом. Разве что сумасшедший.

— Ну, она понормальнее вас. До этого мы тоже кое-как додумались.

— Да, не слишком правдоподобно. И уж конечно, маловероятно, чтобы эта девушка дождалась, пока не вернется мужчина, живущий в какой-то из квартир.

— Нам тоже так показалось.

— Если каким-то чудом, — задумчиво продолжал Хамфри, — это действительно была Сьюзен, не исключено, что она знала, кто был в доме. Или думала, что знает.

— Учите лягушку плавать?

Это было сказано уже почти добродушно. Потом Фрэнк спросил:

— Вы считаете, что это была она?

— Если это была она, — ответил Хамфри, — она должна была заметить кого-то или что-то.

Именно Фрэнк, более цепкий, чем Хамфри, распознал еще одну возможность, которую в то утро заслоняло многое другое. Он подхватил:

— Если она кого-то видела, мы сможем наверстать упущенное время. А упущенное его уже достаточно. Конечно, придется на нее нажать.

— А она станет говорить?

— Стать-то станет. Но вот будет ли она говорить правду — вопрос другой.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

(Окончание следует)

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

★

ТИБЕТСКИЕ ЦИКЛЫ

«**Т**огда Победоносный вытянул ногу, и все многочисленные окружающие совершенно ясно увидели на ступне Победоносного знак магического буддийского колеса», — говорит древняя «Сутра о мудрости и глупости».

Победоносным здесь называют Будду, повернувшего на благо живых существ «колесо учения»... Колесо на ступне божества и колесо на крыше пагоды. Настоящее — следствие прошлого и причина будущего. В буддизме эта тривиальная истина возведена в ранг абсолюта. Ее и олицетворяет простая эмблема, осеняющая буддийские храмы и монастыри.

Рождаются и гибнут империи, уходит род и приходит род, разливаются и высыхают реки. Цикл за циклом, оборот за оборотом круговращается колесо вечности, персонафицированное страшным демоном по имени Калачакра (Круг времен). И так же, соосно, говоря инженерным языком, обращается замкнутый обруч страданий, обрекающих человеческий дух на блуждание из одной телесной оболочки в другую.

Солнце и луна (непременные атрибуты тибетских икон) восходят над горизонтом и закатываются за горизонт, равнодушно взирая на то, как чудовищный Мангнус когтями и клыками смыкает причины и следствия.

Суровые горы — обелиски вечности — полахают снегами. Тибет, легендарная Лхаса, фантастическая недоступная Потала...

Дворец далай-лам — «живых богов», — вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Полное название его Ду-цзин-ньбий-побран Потала, или Потала, дворец второго кормчего. Построил дворец легендарный царь Сронцзангамбо, которого в средневековой Европе называли Карлом Великим страны лам.

В середине XVII столетия Потала сделалась резиденцией Нгавана Лобсан-чжамцо (1617—1682), Пятого далай-ламы, который сумел завоевать верховную власть в Тибете. Это в его время были возведены главные части дворца, а прежние, обветшавшие здания отделаны заново. В народе до сих пор помнят то страшное время, когда людей тысячами сгоняли на рабский труд. Постройка продолжалась десятилетия, подобно скорбной эпопее египетских пирамид.

Розовый камень и камень седой
Меж небом и нами поднялся стеной.
В Красные горы спустился дворец,
Скоро, ах скоро, скоро конец,
Вогу живому небесный венец —
Майтрея, великая Майтрея!
Камни сплавляются жаром сердец.

Рассказывают, что смерть застала Пятого далай-ламу, когда дворец еще не был достроен. Управитель Санчжяй-чжамцо шестнадцать лет скрывал от народа, что душа далай-ламы воплотилась в иное тело, и выставлял на празднествах заgrimированную статую. От имени мертвеца принуждал он тибетцев продолжать работу. Так и вырос на Южной горе целый квартал длиной в добрых двести метров. Потом его окружили высокой каменной стеной.

Главный дворец построили на самой вершине; он заполнил своим основанием все углубления и спуски. Он не похож ни на одно сооружение в мире. Жмущиеся

друг к другу низкоусеченные пирамиды во много этажей и типично тибетские плоские крыши создают неповторимый, резко асимметричный ансамбль.

Апартаменты далай-лам находились в центральной части, выкрашенной в красно-коричневый цвет. Поэтому и называется эта часть Поталы Побран-марпо, что означает Красный дворец. А может, красен он от крови строителей, коричнево красен от свернувшейся крови, давным-давно пролитой крови?

До недавнего времени перед дворцом стоял священный для каждого тибетца дорин — большая гранитная колонна на массивном пьедестале. Именно с этого места многие паломники начинали обходить Поталу посолонь, то есть всегда оставляя святыню по правую руку. Круговой, символически повторяющий вращение колеса путь приводит к большой башне — субургану Бар-чед-дэн, что в переводе с тибетского звучит как Промежуточная пирамида.

Субурган этот соединяет вершины Мрбо-ри и Чагбо-ри. Эту цепь скалистых холмов называют окаменевшим драконом, который не только является владыкой вод, но и служил гербом соседнего императорского Китая. Как и вероломная китайская власть, так и вода, угрожающая наводнением, породили в тибетцах опасения, что дракон может ожить и принести неисчислимые беды. Поэтому гору рассекли на две части и воздвигли на этом месте субурган — заклятие недобрых сил, жертву духам гор и камней... «Вода эта — слезы мои, а ты их замутила, — говорится в тибетской сказке «Волшебный мертвец», — трава эта — волосы мои, а ты их рвала, земля эта — мясо мое, твои кони его топтали...»

Чтобы чужие лошади не подняли пыль на дороге вокруг Поталы, чтобы не замутили священные источники и не сожгли посевы чужие войны, были врыты в землю вещие камни, обгаренные по «черношапочным» обрядам древнего тегрриянства кровью животных. Китайскими иероглифами и тибетскими буквами высекли на них тексты мирного договора с Китаем, заключенного еще в 822 году, когда Тибет пребывал на взлете могущества и славы. До самого последнего времени один из таких камней стоял у входа в главный храм Лхасы Чжукхан.

Тибетский текст — отрывки из него приводятся ниже — дает четкое представление о взаимоотношениях обоих государств в древности и столь же ясно отвечает на естественный вопрос, почему ныне у храма Чжукхан уже нет каменной стелы. Обратимся к тексту:

«Великий государь Тибета, Священный государь чудодейственных сил и Великий государь Китая, правитель Китая, хуанди (император), племянник и дядя совещались друг с другом с целью сблизить их государства, и они заключили великий договор и пришли к такому соглашению... Тибет и Китай остаются в границах тех территорий, которыми они в данный момент владеют... Между двумя государствами не должно быть видно ни клубов дыма, ни столбов пыли, не может быть никаких внезапных подъемов войск по тревоге, и даже само слово «враг» не должно произноситься... [Мы] положив начало тому великому времени, когда Тибет будет счастлив на земле Тибета, а Китай будет счастлив на земле Китая, для того, чтобы это клятвенное соглашение никогда не было нарушено, призвали в свидетели три сокровища [буддийской веры], все божества, солнце и луну, планеты и звезды».

Даже поверхностный анализ позволяет прийти к заключению, что обе стороны выступают на равных началах. И в этом смысле государь Тибета не уступает государю Китая как суверенный монарх. Правда, поскольку китайский владыка считается обладателем некой трансцендентальной силы «дэ», то он и претендует поэтому на известную божественность, что указано в его титуле. Но чисто юридически подобная декларация ничуть не ущемляет права Тибета. Тем более что через несколько веков тибетских царей сменяют «живые боги» и в этом отношении установится полный паритет. Иное дело императорский титул. В феодальной иерархии он пользуется безусловным предпочтением. Поэтому в договоре, не затрагивая юридического равенства сторон, больший пиетет воздается владыке Срединного государства. Всего лишь протокольная вежливость, не более. Отсюда и эвфемизмы: император, естественно, — солнце, а царь — луна, император — дядя, царь — племянник. В целом же древний, насчитывающий одиннадцать столетий документ характеризует обе державы равно могущественными и равно пренеполненными благих намерений.

Проследим, какие в течение этих долгих веков произошли исторические и, соответственно, юридические перемены. Разумеется, наиболее примечательные, наиболее судьбоносные. И прежде всего нам придется познакомиться с причудливым и проти-

воречивым комплексом понятий, стоящих за странным по здравом размышлении, расхожим термином «живой бог». Странным не только для нас, но и для ортодоксальных буддистов, не признающих богов.

Впервые я увидел «живого бога» два года назад в Улан-Баторе, в одном из храмов Гандантэчэнлина — большого религиозного комплекса, построенного в 1838 году по всем архитектурным канонам ламаизма. Проходившая здесь генеральная ассамблея АБКМ — движения буддистов Азии, выступающих за мир, — напоминала внешними особенностями о далеком прошлом. Причудливые одеяния делегатов, церемонные обряды, загадочные фигуры на обложках официальных изданий, равно как и благовонные палочки, курившиеся на столе президиума, — все это вызывало представления об иных, давно минувших эпохах. Даже речи, которые произносились с трибуны, большей частью строились по определенному канону и были пересыпаны обильными изречениями из «Дхаммапады», сутр и других буддийских источников.

Обращаясь к «трем драгоценностям»: к Будде, дхарме (вероучению) и сангхе (общине), — ораторы зачастую начинали свое выступление с отдаленного экскурса, перечисляя проповедников, прошедших некогда по горным тропам Непала, Индии, джунглям Таиланда, степям и пустыням Центральной Азии. Но в большинстве случаев это была лишь дань традиции или, если угодно, форме. Современность с ее животрепещущими проблемами властно вторгалась в расписанные драконами и лотосами укромные покои монастыря. Здесь, в тихой обители, где изо дня в день совершались моления о благополучии «всех живых существ», особенно чудовищно выглядели снимки, привезенные из Кампучии: холмы черепов, поразительно похожие на верещатинский «Апофеоз войны», груды обожженных костей, неотличимые от жутких отвалов Освенцима, обезображенные трупы со вспоротыми животами, не вызывающие в памяти уже никаких аналогий...

Пожилый лама по имени Лопон Надо, приехавший в Монголию из заоблачного Бутана, затерянного среди гималайских вершин, тихо плакал возле стенда.

— Неужели это возможно? — спросил он, сложив ладони.

Обитатель практически закрытого для мира высокогорного королевства, он очень мало знал о нацистских концлагерях, о трагедии Хиросимы. Вьетнам и Кампучия были для него, в сущности, первыми и совершенно ошеломительными впечатлениями о бескрайней вселенной, лежащей за гималайскими перевалами. Он пережил глубокое потрясение и долго не мог прийти в себя. Не знаю, слушал ли он меня, когда я попытался коротко рассказать ему об ужасах минувшей войны.

Рядом с нами, прикрыв глаза, творил в эту минуту молитву японский священнослужитель Гиоцу Сато.

— Весть об атомной бомбардировке застала меня в академии императорских ВВС, — сказал он, услышав упоминание о Хиросиме. — Я понял, что не могу быть летчиком и мне лучше умереть, чем бросать бомбы на беззащитные города.

Две короткие беседы, две встречи из многих, но и они позволяют составить впечатление о людях, собравшихся в те дни в столице социалистической Монголии. Они съехались сюда из 15 стран Азии, представители различных направлений и сект, в желтых, черных и фиолетовых тогах, одержимые общей идеей мира и безопасности для всех народов самого обширного и самого населенного континента земного шара, древнейшего материка, где зародились все мировые религии, где эпические сказания хранят память об истребительных походах Чингисхана и Тимура. В числе почетных гостей конференции был и далай-лама Четырнадцатый, живущий с 1959 года в индийском городе Дхармасала...

Я увидел первосвященника в том самом храме, где нашел прибежище его непосредственный предшественник, укрывшийся в Монголии от иноземных захватчиков. История и впрямь как будто бы повторилась. Четырнадцатый далай-лама даже сидел на том же «львином» троне, откуда раньше следил за чтением «Ганьчжура» его опальный «отец» — Тринадцатый. Слово «отец» приходится брать здесь в кавычки, ибо все далай-ламы, как мы увидим далее, восходят к единому божественному предку. Быть может, уместнее было сказать «отец — старший брат». Перед далай-ламой стояла украшенная кораллами мандала — средоточие вселенской мощи, сосуд с амритой, напиток бессмертия, заткнутый кропилом из павлиньих перьев. Сзади, освещенные лампадами, мерцали позолоченные фигурки богов, впереди выстроилась очередь лам с голубыми хадаками — шарфами — в руках. Желтые, красные, красно-желтые сангхати монахов казались при ярком электрическом свете языками пламени. Ухали

барабаны, звенели серебряные колокольчики, голоса лам, читавших священные тексты, сливались в однообразный рокочущий напев. Это был одновременно и молебен, где служил сам далай-лама, и аудиенция, которую высший иерарх ламаизма давал монгольскому духовенству, связанному с его покинутой родиной давними и сложными отношениями.

Я следил за плавными и очень точными жестами далай-ламы и невольно любовался искусством и быстротой, с которыми он касался склоненных голов. В прикосновениях ощущалась ласка и дружелюбие, улыбка всякий раз была неожиданной и глубоко личной, предназначенной именно для того человека, который вручал в данный момент голубой шелк приветов. Как и другие, он был очень коротко острижен, его красное с желтой каймой монашеское платье открывало по уставу правое плечо, как у Будды Шакьямуни на свитке, осенявшем «львиный», с пятью подушками трон. Смуглое, довольно красивое и очень живое лицо, простые, чуть притемненные очки, и всякий раз, как нежданная вспышка, подкупающая улыбка на точеном скуластом лице.

На церемонии присутствовали только ламы, немногочисленные паломники и местные журналисты. Ни один иностранный гость, прибывший на конференцию, а тем более корреспондент, несмотря на все ухищрения, не был сюда допущен. Мне не стыдно признаться, что я испытал суетную мирскую радость при мысли о том, что одно-единственное исключение все же было сделано...

О самой конференции и о встрече с далай-ламой я писал в очерке «Голубь и молния», опубликованном в «Литературной газете», и поэтому лишь коротко говорю о том, в какой атмосфере все происходило.

Я вынес убеждение, что далай-лама, познав войны и беды, понял, что из всех высоких истин самая высокая все же — мир. Я видел, как служки бережно расправляли желтую ленту, которой вместо ковра был выстлан монастырский двор. Она олицетворяла собой чистоту ламаизма и предназначалась только для высокого гостя. Старый, согбенный лама, поддерживаемый с двух сторон, не решился даже выйти на воздух присесть, потому что не имел сил перешагнуть эту неприкосновенную трассу, на которой не мог быть оставлен ничей посторонний след.

Как все же разнятся отвлеченная аллегория и реальность. В жизни Четырнадцатого далай-ламы нечасто выпадали прямые, безоблачные пути. Разве что в раннем детстве, если только было оно у человека, рожденного стать богом.

В синонимическом ряду «живой бог», «великий лама», «второй кормчий» последнее определение представляется наиболее точным. И вот почему. В священных текстах Тибета говорится:

«Хороший друг подобен проводнику при отправлении в неведомую страну, подобен проводнику при отправлении в страну ужасов, подобен рулевому при переправе в лодке через большую реку... Хотя бы ты был исполнен всех достоинств и вошел бы в лодку великого учения, но если не будет ламы, то ты не будешь в состоянии спастись от сансары (круговорота причин и следствий). Посему необходимо опираться на хорошего друга как на рулевого».

«Хорошие друзья» в ламаизме подразделяются на четыре степени: лама, бодхисаттва, Будда, воплощенный в человеческое тело, и, наконец, бестелесный, пребывающий в совершенном блаженстве Будда. Несмотря на то, что лама занимает в этой иерархии лишь начальную ступень, его именуют самым полезным и важным «другом», способным направить человеческий дух на пути к совершенству в мрачном лабиринте грубой материи. Первые среди лам — панчен и далай — «великие кормчие», хотя китайская пропаганда в недавнем прошлом присвоила сей предикат совсем другому лицу...

Название «лама» дословно означает «небесная мать» и толкуется как «выше нет». И действительно, ламы безраздельно главенствуют в сложной иерархии северного буддизма. Лишь где-то в самом низу под ними находятся божественные бодхисаттвы, ужасные стражи веры, могущественные боги соседних народов, духи рек и духи гор.

Столь же строгой последовательности подчиняется и закон перерождений. «Магическое тело» Будды или бодхисаттвы — это нить, на которую нанизываются жемчужины человеческих воплощений. Наиболее чтимым божеством из разряда бодхисаттв — существ, заслуживших нирвану, но оставшихся помогать людям, — является Авалокитешвара, перерожденцами которого и считаются все далай-ламы. Ава-

локитешвара, он же Арьябола, Львиноголосый и прочая,— духовный сын Владыки Западного рая Амитабхи, одного из пяти мистических Будд: Авалокитешвара сходит со священного лотоса на землю, чтобы уничтожить страдание. Он отказывается превратиться в Будду до тех пор, пока все люди земли не встанут на путь высшего познания. Священные книги говорят, что великий бодхисаттва, «обладая могущественным знанием, замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные многими печальми. Поэтому он является спасителем мира, включая богов». Дословно это имя переводится как Всмотривающийся хозяин, почему бодхисаттву часто именуют просто Авалокита — Всмотривающийся. Изображается он во множестве форм: и как обычный человек, и четырехруким (именно в этой форме он воплощается в далай-лам), и с тремя, пятью, шестью, девятью парами рук. Порой он предстает трехглавым, пятиглавым и даже одиннадцатиглавым. Авалокитешвара олицетворяет милость и несет улыбку сочувствия. Тибетцы зовут его Шенрезиг — Великий милосердец.

В старинной «Географии Тибета» мне встретилось такое описание: «Переправившись из Хлассы [Лхасы] на северный берег реки Уй и оттуда на восток, миновав один горный отрог, встречаем гору Чжаерва, на шее которой находится местопребывание несравненного и знаменитого Чжово-Адиши; тут есть его собственное жилище, пещера, в которой подвизался великий учитель Падма, называемая Ерва давапут, также пещера 80 волхов и прочие достопримечательные места. Также кумир Великого милосердца, у которого из пальца вытекает нектар». Нектар — это индийская амрита, напиток бессмертия. Аллегория буддийского спасения.

Если история собственно далай-лам насчитывает более пятисот лет, то культ божественных перерожденцев утвердился значительно ранее. Эту своеобразную эстафету вечной божественной эманации, воплощающейся со смертью бренной плоти в избранного младенца, толкуют обычно весьма примитивно, как последовательный переход души из одной оболочки в другую. Далай-ламы, ведущие свой легендарный род от Авалокитешвары, не являются, однако, прямыми восприемниками нетленной сущности бодхисаттвы. Каждый последующий далай-лама повторяет в себе только своего непосредственного предшественника, и лишь вся цепь подобных повторений восходит к самому Авалокитешваре.

Первым далай-ламой по традиции считается Гэндун-дуб (1391—1474). За ним непосредственно следовали Гедун-чжамцо (1476—1542) и приглашенный в Монголию победоносным Алтанханом Соднам-чжамцо (1543—1588). Когда последний прибыл в лагерь хана, могущественный завоеватель назвал его монгольским именем «далай-лама», ибо по-монгольски «далай» означает то же, что по-тибетски «чжамцо», — океан. Случайно это слово входило и в имя предшественника Соднама-чжамцо, и хан принял его за родовое, фамильное. С тех пор воплощенцев великого ламы стали называть далай-ламами, океанами мудрости. Лингвистическая ошибка, в сущности, породила титул церковного иерарха, окруженного впоследствии столь мистическим ореолом.

Но как бы там ни было, благодаря обмолвке хана Третий далай-лама Соднам-чжамцо сделался первым официальным носителем высшего ламского звания. В 1547 году он наследовал Второму далай-ламе на посту настоятеля монастыря Дрепунг, а летом 1578 года получил в Голубом городе из рук Алтанхана манифест, в котором законы и обычаи Лхасы распространялись на все подвластные ему земли.

Тогда-то и была вручена далай-ламе золотая печать с изображением пучка молний и надписью «Дордже-чанг» — «Носитель громового скипетра». Сей чисто политический акт не остался без ответа. Дух Соднама-чжамцо воплотился, видимо, в знак благодарности, в царственного внука самого Алтанхана, который стал Четвертым далай-ламой, чей пепел по сей день хранится в монастыре Дрепунг. Духовный же руководитель Четвертого ламы Лобсан-чайджи-чжалдан из монастыря Ташилунпо в Шигацзе, нареченный Великим учителем, стал основателем новой династии высоких перерожденцев — панчен-лам. Такова предыстория, без которой едва ли можно разобрататься в хитросплетениях современной политики, в непредсказуемых циклах флирта и конфронтации, которые характеризуют взаимоотношения Пекина с Тибетом и далай-ламой.

При Шестом далай-ламе Лобсане-ринчен-цангьян-чжамцо (1683—1707), видимо, в силу законов подобия и капризов случайностей институт лхасских первосвященников потрясли такие же катаклизмы, какие в свое время оставили неизгладимые трещины в фундаменте папской власти. Здесь был полный набор — от нарушения обета безбра-

чия до «параллельного» далай-ламы. (Лишь случай с папессой Иоанной так и остался недостижимым рекордом Ватикана.) Впрочем, чисто внешнее сходство лишь подчеркивало коренные различия.

Под одеялом со мной нежное создание,
 Это ты, любимая моя, не знающая притворства!
 Но не обманываешь ли ты меня,
 Чтобы завладеть моим богатством?..
 Любишь ли ты меня на самом деле?

Шестому суждено было стать одним из величайших поэтов своего народа. Божественный дар, быстро воспламеняющееся, вечно открытое для новой любви сердце и приверженность к переходящим прелестям этого мира перевесили на чаше незримых весов тяжесть священных книг и царских регалий. Несмотря на давление с самых разных сторон, молодой далай-лама остался верен себе. Он наотрез отказался принять обет гелонга — полный монашеский постриг — и продолжал шокировать буддийский мир веселыми похождениями. Он не угомонился даже после того, как маньчжурские правители объявили его неистинным перерожденцем Великого Пятого и возвели на престол «параллельного» далай-ламу Нгавана Ещя-чжамцо, смиренного монаха, не отмеченного ни особой добродетелью, ни явным пороком. Вызванный на имперский суд, опальный далай-лама внезапно захворал и умер в дороге. Скорее всего от медленного яда, рецепты которого с незапамятных времен знали медики Поднебесной.

«Параллельный» далай-лама, не признанный собственным народом, был впоследствии лишен власти и сослан в Китай, где умер в 1725 году в полной неизвестности.

Седьмой (для тибетцев), а для китайцев опять-таки Шестой далай-лама Лобсан Галсан-чжамцо (1708—1757) утвердился в Потале, как принято говорить, на штыках. Впервые Сыны неба непосредственно вмешались в надмирную карусель высоких перерождений. Пора было прибирать к рукам этих «тибетских варваров» с их вечными смутами и распрями, нарушающими имперский порядок умиротворения. Однако этого достигнуто не было. Авторитет ламской власти казался безнадежно подорванным, Лхасу сотрясало незатихающее брожение, и под предлогом безопасности богдыхан вынужден был переселить Седьмого на время в его родную провинцию Кхам. Возвратившись в столицу после пятилетнего отсутствия, Седьмой первосвященник целиком ушел в работу над магическими тантрийскими текстами и лишь незадолго до смерти вновь обрел хотя бы видимость светской власти. К этому времени мятеж был окончательно усмирён и Лхаса ценой несчетных жертв получила короткую передышку.

Восьмой перерожденец Лобсан-данби-вацхунг-чжамбал-чжамцо (1758—1804) был «найден» в провинции Цзан и четырехлетним ребенком привезен в Лхасу. Так было положено начало ритуалу «божественного младенца» и мандату власти состоящего при нем регента. Небезынтересен документ, благословивший четырехлетнего, едва начавшего говорить малыша на царство:

«Грамота Хуанди, имеющего по предопределению неба власть над обширной землей. Дана перерожденцу далай-ламы. Ныне управляющий делами Уй и Цзана, Мэй-ран-цзангин Пу согласно нашему повелению торжественно принял тебя, перерожденца. Вследствие его доклада, что ты, перерожденец, имеешь удивительные качества, отличные от других, моя мысль чрезвычайно радуется. Далай-лама в предыдущем образе, не ограничившись тем, что особенно усовершенствовался в религиозных познаниях, принял с почтением наши приказания и согласовал с нашей волей все предприятия для устройства в спокойствии всех уйских и цзанских подданных, вследствие чего мы сильно восхваляли [его] от своего радостного сердца. Когда он умер, я сильно сокрушался душой. Теперь выяснение в течение трех лет перерожденца [его], будучи приятным моей мысли, распространило обширную радость. Тебе, перерожденцу, весьма необходимы бдительные, беспрестанные упражнения в практических занятиях и др., усердно заботиться о выслушивании и размышлении для усиленного распространения законов желтой шапки, сердца учения Будды...

В 12-й день первой лунной луны 26-го года правления Цян-луна.

Какой резкий диссонанс с первыми императорскими посланиями, какая нарочито бюрократическая деформация кургузого прежде стиля! Не к сюзеру соседней страны обращается Сын неба, не к «племяннику» могущественный «дядя». Нет — так нисходит иногда властелин до наставления третьеразрядного мандарина, минуя проме-

жуточные инстанции. Не беда, что далай-лама еще несмышленкиш. Вырастет — будет знать свое место. К тому же не ему одному писано. Всем варварам-фаням.

Лишь в 1781 году Восьмой далай-лама, невольно потеснив регента, взял управление страной в свои руки. Это оказалось тем более легко, что китайцы, недовольные нескговорчивостью этого первого в исторической цепи лхасского регента, осмелившегося оспаривать повеления специально назначенных амбаней, в 1786 году вызвали его в Пекин, где и задержали на неопределенный срок.

В это время уже вовсю шла затяжная и несчастливая для Тибета война с Непалом. Предводительствуемые Притхви Нараяной, стяжавшие славу лучших солдат, гуркхи оккупировали к 1788 году большую часть страны. Введенные в Тибет императорские войска действовали крайне вяло, поскольку продолжение братоубийственной войны давало Китаю добавочный рычаг влияния на обе противоборствующие страны.

«Между гуркхами и китайцами мало разницы,— писал в то время тибетский министр-колон Дорин.— Первые грабят и убивают, потому что они пришли как враги, а китайцы делают то же самое, потому что они пришли как друзья...»

Вот еще несколько взятых в определенной последовательности исторических документов.

«Великодушный, гуманный и совершенно мудрый император Великой империи Цин,— обращался император Абахай к Пятому далай-ламе,— шлет письмо великому, держащему ваджру лама. В настоящее время узнал, что лама стремится помочь живым существам и хочет содействовать процветанию буддийского учения. Я, император, очень рад этому и [шлю тебе] пожелание мира и спокойствия».

На первый взгляд обращение равного с равным, приветственное послание одного суверена другому, пусть и не столь могущественному. Но посмотрим, как интерпретируется последовавший за обменом посланиями визит далай-ламы к императору в «Записке о войнах совершенномудрых императоров»:

«В начале царствования под девизом Шуньчжи Поднебесная была объединена. Далай-лама, панчен-лама и Гушпихан вновь прислали каждый по послу, поднесли статую Будды и четки и тем выразили восхищение силой и подвигами [нашей династии]».

Здесь уже сделан первый шаг к тому, чтобы превратить суверенного партнера в подчиненного вождя фаньских варваров. Едва уловимый, но тщательно взвешенный протокольный, «лингвистический» шаг. Далее шло по нарастающей. «Всеобщее географическое описание империи при династии Великая Цин» подводит этому вкрадчивому, последовательно протекающему процессу закономерный итог:

«Впоследствии там появились монахи с титулами далай-лама и панчен-лама. [Они] были выше, чем все фаньские князья. В 7-й год Чундэ при нашей династии [они] прислали посольство и перешли к искренности (разрядка моя.— Е. П.). В 9-м году Шуньчжи [далай-лама] приехал ко двору. Император Ши-дзу Чжан-хуанди даровал ему золотой диплом, золотую печать и титул «наиблагой самосуществующий Будда Западного края, управляющий делами учения во всей Поднебесной, всепроникающий, несущий громовой скипетр, подобный океану лама». После этого [далай-лама] присылал посольства и подносил дань без перерыва».

Употребленное здесь словосочетание «перешли к искренности» согласно официальной китайской терминологии означало не что иное, как «сыновнюю почтительность», то есть подчинение, преклонное положение. Одним словом, вассальную зависимость.

Отсюда оставался последний рывок к выбитым на каменной стеле иероглифам «О покорении Тибета»: «Все императоры были покровителями буддизма и довели мир и спокойствие в Тибете до высшей точки». Увы, «высшую точку» суждено было поставить уже в наше время маоистским наследникам «совершенномудрых сыновей неба». Подобный политический метод, основанный на своеобразном толковании дипломатического протокола или же географических карт, был почти без изменений включен в арсенал современного гегемонизма и экспансионизма. Индийский еженедельник «Демократик уорлд» дает ему, как мне кажется, исчерпывающую характеристику:

«Китай разработал свой собственный метод решения пограничных споров с соседними странами. Сначала китайцы на своих географических картах включают представляющую для них интерес территорию других государств в состав Китая, затем стараются захватить ее с помощью силы, а потом легализовать путем переговоров».

Разумеется, в рамках общей схемы может быть бесконечное число вариаций. Почти все они были продемонстрированы Пекином на протяжении долгой истории ти-

бето-китайских отношений. Любопытно проследить, как резко изменилась фразеология имперских документов после переломной для Тибета войны с гуркхами.

Согласно дворцовым источникам («По высочайшему соизволению напечатанное собрание документов о войне с Непалом») отмеченный мистическими силами Сын Неба распространяет в это время свой суверенитет на Тибет хотя бы уже потому, что это отвечает его титулу владыки вселенной:

«Наше государство управляет миром. Даже самые окраинные земли и самые чуждые правящие дома перешли [под нашу власть] и крепко связаны [с нами]. Тибет, находясь более чем за 10 тысяч ли, накрыт поучающим и славным [влиянием], и по дороге туда устроены станции и верстовые холмы. Так как [тибетцы] близки нам, то [император] назначил туда резидента — управляющего амбана [и приказал ему] осуществить командование над гарнизоном [своих] войск, с тем чтобы охранять монахов и мирян, принимать сверху благоую силу дэ и грозную силу вэй Сына Неба и прекращать раздоры среди дальних варваров. С глубокой древности не было еще столь благодетельной системы управления».

Хитросплетение эвфемизмов, терминологические выверты, изощренно-тяжеловесная титульная игра заканчиваются нехитрой логической фигурой (владыка целого является также владыкой любой его части). Весьма уязвимой, впрочем, ибо заведомая ложность посылки бросает порочную тень на достоверность следствия. Ведь если Поднебесное государство все же не правит и никогда не управляло всем миром, то и претензии его на Тибет оказываются более чем сомнительными. Равно как и казенно-восторженный кивок придворного панегириста в адрес «благодетельной системы управления».

Непальцам война принесла славу и контрибуцию, китайцам — истинные плоды победы. Их гарнизоны остались во многих тибетских крепостях — дзонгах, — амбани получили полномочия военных губернаторов. Более того, в их руках оказался и весь механизм передачи верховной власти. Отныне перерожденцы далай-лам и панчен-лам должны были выбираться по жребию с помощью золотой чаши («сэр-бума»), присланной в 1793 в Лхасу непосредственно из Пекина. Наконец-то «западные варвары» обрели предназначенное им место в упорядоченной, разграфленной, словно мистическая диаграмма, системе мира. Клетка захлопнулась. Оставалось лишь позаботиться о сохранении достигнутой гармонии на века. Стремясь поскорее изолировать завоеванную по сути чужими руками страну от постороннего влияния (поскольку не без основания подозревали в нападении гуркхов британские происки), китайцы в 1792 году закрыли границы Тибета. Оба этих события, разделенные какими-то месяцами, наложили неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую судьбу Тибета, равно как и на последующую процедуру воплощения его далай-лам.

Девятый перерожденец, Лобсан Лундог-чжамцо (1805—1815), и Десятый, Лобсан Цултим-чжамцо (1816—1837), были «отысканы» еще грудными младенцами и умерли юными.

Не составил труда благодаря недреманным очам амбана, надзиравшего за манипуляциями над золотой урной, и очередной переход. Одиннадцатый далай-лама, Лобсан Кайдуб-чжамцо (1838—1855), хотя имя его «не сразу вышло из урны, а появилось после долгих молитв», был успешно интронизован и умер, никому не доставив хлопот, семнадцать лет от роду.

Механизм постепенно отлаживался и приобретал освященную традицией респектабельность. Что же до подозрительных симптомов, предшествующих освобождению души бодхисаттвы, столь напоминающих смерть песенника и весельчака Шестого, то о них предпочитали не распространяться. Штат лекарей подбирался, как правило, регентом, а амбань пекся лишь об одном: о спокойствии в Поднебесной.

В свой черед появился в Лхасе и Двенадцатый богоравный младенец по имени Нгаван Лобсан Принлас-чжамцо. В 1858 году он с двумя сверстниками «баллотировался» посредством пекинской чаши. Как и предшественникам, счастливым жребий подарил ему призрачную власть и короткую жизнь. «По рассказам современников, — отмечает Г. Ц. Цыбиков в своем великолепном труде «Буддист паломник у святынь Тибета», — этот далай-лама умер уже явно насильственной смертью (отрава), о чем слышал и Н. М. Пржевальский».

Случилось это в двадцатых числах третьей луны года деревянной свиньи (1875). Задержимся на этой дате. По прошествии полного цикла, то есть ровно через шестьдесят лет (1935), в небогатой тибетской семье родится мальчик, которому суждено будет стать Четырнадцатым, ныне живущим. Ему предшествовал Тринадцатый по имени

Нгаван Лобсан-Тубдан-чжамцо (1876—1933). Я хочу привести текст, опубликованный в тибетском альманахе на роковой для этого иерарха год деревянного дракона (1904):

«...первая часть года покровительствует молодому властителю; потом надвигаются грабители, они враждебно наступают и дерутся; является очень много врагов; большие беды от оружия и тому подобное; властитель, отец и сын будут драться. В конце года примирительно говорящий человек победит войну».

Среди бесчисленного множества подобных, но не оправдавшихся предсказаний это запомнилось потому, что по крайней мере в основной своей части сбылось. Год деревянного дракона стал переломным в истории Тибета и роковым для правления далай-лам, а событиям, разыгравшимся в это время, суждено было (причем в масштабах куда более значительных) повториться спустя более чем полвека, при нынешнем далай-ламе, унаследовавшем не только посох, но и невзгоды предшественника.

Здесь нам придется сделать небольшое историческое отступление и сказать несколько слов о традиционных взаимоотношениях Тибета с его могущественным соседом.

Некогда тибетские племена составляли единое самостоятельное государство. Но к началу нашего века большая часть тибетских земель подпала под власть китайских императоров, а окраинные территории отошли к Бутану, Непалу, Ладакху, Сиккиму и Бирме. Небезынтересно отметить, что процесс этот начался со своего рода «географической войны», во многом подобной той, которую ведут современные пекинские гегемонисты против соседних стран, чередуя открытую агрессию с «невинной» публикацией карт и атласов, где чужие земли помечены ханьским клеймом.

Каждое государство общается с определенными странами, повинуюсь насущной потребности, и руководствуется при этом не только импульсами сикуминутной политики, но и традиционными представлениями, сложившимися в течение многих веков.

Начиная с династии Хань (209 до н. э.— 220 н. э.) и по крайней мере до второй половины прошлого века императорский Китай рассматривал мир в узких рамках принципа, получившего название «хуа и», то есть просвещенного Китая и окружающих его варваров.

«Известно,— утверждала многотомная «История династии Чжоу»,— что гусиные моря и драконовы холмы — это то, чем небо отделило варваров от Китая; жаркие страны юга и холодные пустыни севера — это то, чем земля отделила внутреннее от внешнего». Отсюда и предопределенность порочных качеств исчадий внешнего мира, которые согласно другой энциклопедии, «Истории династий Хань», «лицом люди, духом же звери. И нет у них ни чувства долга, ни правил поведения».

Нужно ли говорить, что в глазах китайских чиновников тибетский народ обладал всеми чертами, приписываемыми варварам?

В начале XVI века императорский министр церемоний Лю Чунь писал: «Тибет лежит на далеком западе. Нравы там в высшей степени дикие. Для умиротворения и приобщения к цивилизации там учреждены четыре должности «князей учения». Им [разрешен] приезд с данью ко двору».

С «князьями учения» Китай мирился не из благоговения к буддизму. Он принимал их как факт, как юридическое воплощение избранной Тибетом идеологии. Разумеется, лишь на первых порах, до первого удобного случая.

Для того чтобы наблюдать за землями, примыкающими к индийской границе, китайцы направили в Лхасу постоянных представителей — амбаней — с генеральскими шариками на шишаках. Неуклонно расширялись масштабы «освоения», «колонизации», словно речь шла о вновь открытых землях тибетских окраин. Так, в 1896 году китайские переселенцы начали прибираться к рукам провинцию Кхам, вытесняя номадов с привычных пастбищ. Одновременно боевые отряды стали активно вмешиваться и в феодальные распри тибетских аристократов, примыкая то к одной, то к другой стороне. Чем бы ни закончилась очередная схватка между князьями и военачальниками горцев, в выигрыше всегда оставалась Срединная империя. Так, используя вражду, вспыхнувшую между правителями Ньяронга и Чакла, амбань Тан Ли занял Дерче. Не прошло и нескольких лет, как новый китайский гарнизон разместился в Гартхаре. Когда же ламы забросали камнями очередного пекинского эмиссара, досаждавшего им высокомерной грубостью и мелочными придирками, в Кхам из Сычуани выступила уже целая армия. Это была откровенно карательная акция. Сотни монахов были арестованы по подозрению в убийстве амбаня, монастырь сровняли с землей, собственность конфисковали. Это событие, ужаснувшее весь Тибет, произошло в 1903 году и явилось закономерным финалом изощренной политики «давления и всасывания».

Почти одновременно словно по согласованию начался натиск и на южные границы Тибета, зажатого между китайским драконом и британским львом. Британская империя пребывала тогда в зените могущества, и ее настойчивые попытки взломать стены запретной страны тоже становились все более угрожающими. Поглощая одно гималайское государство за другим, она вплотную приблизилась к ее заповедным воротам. В 1865 году англичане силой оружия навязали кабальный договор Бутану, в 1890 году поставили под свой протекторат Сикким. Действуя из Индии, «Сикрет интеллидженс сервис» засылала в Тибет под видом буддистов-паломников одного разведчика за другим. Пряча в молитвенной «мельничке» кроки и компас, отсчитывая шаги по четкам, где вместо традиционных 108 зерен было лишь 100, они все глубже проникали в недоступную, овеянную легендами страну лам. Пандиты Нен-Сингх и А-К, лама Учженьчжяцо собрали скрупулезные сведения о дорогах и высоте перевалов, составили карты для последующей тщательно спланированной военной акции.

Чем слабее страна и чем неотвратимей угрожающая ей опасность, тем более смелой и неожиданной должна быть дипломатия. Эту простую истину понимали и в закрытой Ахасе. Правительство далай-ламы начало активно искать связи с Российской империей. В создавшемся треугольнике сил это представлялось спасительной идеей.

Начальные контакты между двумя государствами были установлены еще при Екатерине II, которую тибетцы — видимо, до них дошли полновесные серебряные монеты с изображением государыни — принимали за сострадательную Белую Тару, богиню, родившуюся из единой слезы Великого милосердия. Согласно тибетским хроникам в Ахасе и долгое время спустя было распространено мнение, что Россией правят воплощенные бодхисаттвы — богини.

Впрочем, к концу XIX — началу XX века, особенно после беспримерного путешествия выдающегося этнографа Г. Ц. Цыбикова, который под видом бурята-паломника проник в заповедную Ахасу, сентиментальные мифы постепенно сменились трезвыми политическими соображениями.

Наступательная колониальная политика Англии в сопредельных с Россией азиатских странах пробудила в Петербурге пристальный интерес к горной твердыне, практически осажденной к тому моменту британской армией. Теперь уже не одно географическое общество, но и русская дипломатия всерьез занялась расшифровкой загадочных особенностей закрытой страны. Интерес, как вскоре выяснилось, оказался обоюдным.

«Не просто любопытство увидеть «замкнутую страну» заставило вооруженную британскую миссию двинуться к Тибету в декабре 1903 года, — с характерным для солдата циничным простодушием отметил по этому поводу полковник Уодделл в книге «Ахаса и ее тайны», — а заносчивая враждебность тибетцев, которая казалась нам еще серьезней благодаря интригам России...»

Посмотрим же, о каких «интригах» шла речь.

Британское дипломатическое давление, недвусмысленно подкрепленное военной силой, вынудило Тринадцатого далай-ламу искать естественного союзника. Отсюда понятно его столь возмущившее Уайтхолл стремление завязать более тесные отношения с Россией, великой северной соседкой, издавна связанной с Тибетом доброй молвой. В тибетских храмах будды и бодхисаттвы размещались на северной стене. Тибетские пастухи и прочий задавленный нуждой бедный люд, возлагая надежды на «великую северную войну» между силами зла и добра, незолно ассоциировали мистическое царство всеобщего благоденствия с неизвестной для них страной, простирающейся до самого Ледовитого океана. Распространению слухов о северной Шамбале немало содействовали и живущие в Забайкалье буряты, а также калмыки и тувинцы, испокон веку совершавшие ежегодное паломничество к лхасским святыням.

Посредником между Ахасой и Санкт-Петербургом выступил близкий к далай-ламе высокоученый калмыцкий лама Дорджиев. Вот что сообщают о его посреднической миссии русские газеты. Официальная «Journal de Saint-Petersbourg» от 2 октября 1900 года ограничилась, по обыкновению, лишь констатацией без каких-либо комментариев: «Его величество Государь Император принял в субботу 30-го сентября во дворце Ливадии Ахарамба Агвана Дорджиева, первого тсанит-хамба [лейб-лекаря] при особе тибетского далай-ламы».

Сейчас, когда рассекречены тибетские архивы Великобритании, можно лишь удивляться той буре, которую вызвала эта крохотная заметка на берегах Темзы! Она породила лавину секретных инструкций, адресованных британским дипломатам в Рос-

сии, Китае, Индии и сопредельных с ними странах. Между тем абсолютно мирный и вполне естественный для близких соседей характер визита был достаточно ясен. Собственно, об этом с предельной откровенностью писали «Одесские новости» в номере от 12 июня 1901 года (соответствующая вырезка была тут же отправлена английским консулом в Форейн-оффис):

«Сегодня Одесса будет приветствовать чрезвычайную миссию от далай-ламы Тибета, которая направляется в С.-Петербург с важными дипломатическими инструкциями. Персонал миссии состоит из восьми важных государственных лиц с ламой Дорджиевым во главе. Главная цель чрезвычайного посольства — сближение с Россией и усиление хороших отношений с нею. В настоящее время Тибет, как всем хорошо известно, находится под покровительством Китая, однако условия этого протектората никогда не были ясно определены. Настоящее посольство снаряжено и отправлено к Его Императорскому Величеству далай-ламою; посланцы везут от него собственноручные письма и подарки. Эта чрезвычайная миссия в числе других дел поднимает вопрос об учреждении в Петербурге постоянной тибетской миссии для сохранения добрых отношений Тибета с Россией».

Цели визита, равно как и объявленный в «Правительственном вестнике» состав делегации, собранной из лам и официальных сутубо штатских лиц, никак не могли дать поводов для тревоги. Однако, как сообщает в присущем ему стиле полковник Уодделл, «эти подозрительные миссии, а также мрачная враждебность лам, их умышленная невежливость относительно нас и отказы, которые мы слышим от такого слабого и полуварварского (почти богдыханская терминология! — Е. П.) государства, как Тибет, послужили последними каплями в чаше терпения нашего правительства».

Говоря иначе, настала очередь для заключительного броска. «Тибетская экспедиция», как изволил выразиться один из участников вероломного вторжения, уже знакомый нам Уодделл, началась чуть ли не на следующий день после усмирения китайцами Кхама. 6 ноября оснащенные горной артиллерией отборные войска под командованием генерала Макдональда и полковника Янгхазбенда получили долгожданный приказ выступить. Вскоре они взяли под контроль всю долину Чумби, открыв себе путь в центральные районы, и спустя четырнадцать месяцев сломили упорное сопротивление тибетцев, вооруженных кремневыми ружьями да пушками, свернутыми из ячих шкур.

В знак протеста Тринадцатый далай-лама покинул страну и укрылся в соседней Монголии, в том самом монастыре Гандантэкчэнлин, где гостил теперь его преемник и перерожденец... Он не хотел мира любой ценой и не принимал унижительных условий, выдвинутых оккупантами.

Вскоре англичане оставили Лхасу и под дипломатическим давлением России вынуждены были дать заверения, что не преследуют целей аннексии. Вступив в переговоры с тибетским правительством, они подписали с ним двустороннее соглашение, согласно которому Тибет обязывался признать границу с Сиккимом, открыть рынки для торговли в нескольких городах и выплатить контрибуцию в полмиллиона фунтов стерлингов. Только после этого англичане должны были окончательно отвести войска из Чумби.

Но прежде чем все это осуществилось, китайский генерал Чжао Эрфэн предпочел повторить карательную экспедицию и вступил в Кхам. Рейд англичан серьезно обеспокоил Пекин, и цинское правительство поспешило застолбить вождельные области. На сей раз огню предали сразу несколько монастырей, свыше тысячи лам были порубаны саблями, а бронзовые статуи будд пошла на переплавку. Может быть, именно из этого металла, а были отчеканены монеты, предназначенные на выплату англичанам. Чжао-мясник, как прозвали генерала жители Кхама, кончил тем, что основал на «отвоеванных» территориях новую провинцию Сикан и пристегнул ее к Китаю.

Тринадцатый далай-лама, возвратившийся было в Лхасу после ухода британцев, вынужден был вновь покинуть свою резиденцию в Потале. На сей раз в столицу Тибета вошли из разоренного Кхама китайские войска.

Итак, властитель и «живой бог» Тибета бежал от китайских оккупантов. Запомним это событие, произошедшее в 1910 году. Отметим для себя и характерную, как увидим далее, подробность, что далай-лама нашел временное убежище сначала в Монголии, в монастыре Гандантэкчэнлин, затем в монастыре Калимпонг близ индийской границы. Примем во внимание также тот факт, что панчен-лама не покинул свою вотчину в Шигаце и даже согласился принять на себя исполнение ряда религиозных обязанностей мятежного иерарха ламаистов.

Заручившись, таким образом, поддержкой одного из двух высочайших авторитетов церкви, китайцы решились на беспрецедентный шаг и объявили о низложении далай-ламы. Вот выдержка из манифеста, отпечатанного от имени амбаня Лу 5 сентября 1910 года:

«Ранг далай-ламы на время уничтожается и на его место назначается лама Теши¹. Более 200 лет Тибет находился в феодальной зависимости от Китая, и далай-лама всегда пользовался благам со стороны этого великого государства, но в отплату он не остался охранять свое собственное государство. Из-за его нерадения к вопросам веры боги и духи охранители рассердились. Он потерпел поражение, породил много неприятностей, а потом... бежал далеко в неизвестную сторону. Во время войны были убиты тысячи и десятки тысяч тибетцев; тех же, которые бежали и не могли сражаться, он упрекал... Эти многочисленные преступления показывают, что он такой человек, которого следует наказать. Ввиду того, что у него дурной дух, что он угнетал всех своих подданных и грабил их, ясно, что министры не могут очень его уважать; он преступил законы буддийской веры и причинил беспокойство великим державам».

Последняя фраза словно заимствована из знаменитой басни «Волк и Ягненок». Оказав стойкое сопротивление империалистическим притязаниям Великобритании и цинского Китая, тибетцы, оказывается, причинили им беспокойство. Какая циничная терминология, какой поразительный на фоне общепринятых дипломатических условностей инфантильный лексикон. «Следует наказать», видите ли. Современное «преподать урок» явно заимствовано из того же арсенала. Равно как и постоянные предупреждения Пекина насчет того, что нынешний Четырнадцатый далай-лама будет последним. «На небе солнце и луна, а на земле царь-дядя и царь-племянник» — вспоминаются невольно слова тибетской летописи времен мирного договора 822 года...

Возвратимся, однако, к векам тибетской истории. Если пророчество на год деревянного дракона и оправдалось по части британской агрессии, то конца китайской оккупации не предвиделось ни в этом, ни в последующем году, ни даже в новом десятилетии. Лишь начавшаяся в 1911 году революция, в результате которой была низложена династия Цин, разрушила на время четко отработанные планы великоханьских гегемонистов и резко изменила ситуацию. Китайцы были вынуждены убраться восвояси, население Лхасы встретило возвратившегося далай-ламу как победителя.

На сем я заканчиваю исторические экскурсии и перехожу к событиям, непосредственно связанным с именем Четырнадцатого властителя.

Четырнадцатый далай-лама родился в 1935-м, что соответствует, как уже говорилось, году деревянной свиньи, близ озера Кукунор в Амдо, через восемнадцать месяцев после смерти непосредственного предшественника. В первоначальном списке возможных претендентов он стоял далеко не на первом месте, и лишь выбор тогдашнего (девятого) панчен-ламы, пребывавшего в добровольном изгнании в провинции Цинай, выдвинул его в число трех ведущих кандидатов. Далее сыграли свою роль чисто внешние предметы. Большие торчащие уши, похожие на уши усопшего далай-ламы, и два пятна по бокам грудной клетки, которые истолковали как следы добавочной пары рук, присущих четырехрукому бодхисаттве. Для проверки истинности перерождения был послан оракул, надевший для конспирации убогое платье мирянина. Но, по-видимому, все было должным образом подготовлено, ибо не успел он вступить во двор скромного крестьянского домика, как к нему навстречу кинулся голый малыш с криком: «Лама, лама!» Это явилось решающим обстоятельством для государственного оракула и верховных лам, а далее мальчик блестяще выдержал и публичный экзамен на узнавание. Безошибочно выбрав среди множества посохов и четок из священного дерева бодхи вещи, принадлежавшие Тринадцатому далай-ламе, он был признан официальным перерожденцем. Божественного младенца поручили опеке специально отобранных жрецов, а членам его семьи были пожалованы богатые наделы из государственных угодий и высокие титулы. В частности, брат далай-ламы Норбу стал впоследствии настоятелем одного из самых влиятельных тибетских монастырей.

С этого дня началось воспитание будущего правителя и первосвященника. Его обучали грамоте, искусству держаться на людях, науке слова и жеста, тренировали на бесстрашие и невозмутимость, приучали к лицемерию тантрических образов ламаизма: демонов, пожирающих трупы, скелетов, пляшущих на могилах, вырванных глаз, наполненных кровью черепов, огневолосых ведьм и чудовищ.

¹ Панчен-лама.

Едва перешагнув трехлетний рубеж намеченной ему удивительной жизни, маленький воплощенец был зачислен в качестве рядового послушника в монастырь. В течение года он должен был выучить наизусть без единой ошибки 125 листов священных текстов для сдачи первого экзамена, открывающего дорогу к заоблачным вершинам священной мудрости. В стране снежных гор, невообразимо далекой от любого из морей нашей планеты, ему был уготован «львиный» трон «живого бога» и титул «океан премудрости».

Трон он занял в год железного дракона (1940), когда ему минуло пять лет. Экзамен на третью, высшую степень ламской учености выдержал позднее, и выдержал с блеском. Духовное образование, полученное им в Лхасе, стало основой, на которую легли впоследствии знания, совсем непредусмотренные для воплощенных лам. Но таковы оказались природные задатки любознательного, быстрого разумом ребенка и так непредсказуемо даже для астрологов тайного факультета тантр сложились судьбы — личная и целой страны.

После образования 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики настала пора коренных, но еще не ясных до конца изменений. Первым отреагировал на перемены панчен-лама, в ту пору еще девятилетний мальчик, лишь несколько месяцев назад официально признанный перерожденцем Будды Амидахи. Вероятно, не без подсказки со стороны он обратился к правительству КНР с просьбой освободить Тибет. Это неожиданное, но симптоматическое заявление вызвало резкий протест в Лхасе. Кашаг (правительство) далай-ламы попытался вступить с Китаем в переговоры, однако 7 октября 1950 года началось военное наступление.

Немногочисленные, но очень активные английские агенты сделали все для того, чтобы организовать сопротивление местного населения китайской армии, которая 9 сентября 1951 года вступила в Лхасу. Незадолго до этого далай-лама перенес свою резиденцию в монастырь Донг-Кар на границе с Индией. С 1951 по 1955 год власть в Тибете совместно осуществляли центральное правительство Китая и главы ламаистской церкви — далай-лама и панчен-лама. Они вместе с колоном Нгаво-Нгаван-Джигмедом (бывшим живым Буддой), отпущенным из китайского плена, куда он попал после того, как НОАК сломила сопротивление непокорной провинции Кхам, были избраны членами Всекитайского комитета Народного Политического Консультативного Совета.

Играя на исконных противоречиях между китайцами и тибетцами, между далай-ламой и панчен-ламой, империалистическая агентура стремилась обострить и без того взрывоопасную обстановку в сердце Азии. В среде реакционного духовенства и феодалов не раз вспыхивали мятежи против новой администрации, составлялись различного рода петиции об отделении и т. д. Все это, однако, не получило широкой поддержки, поскольку наиболее активное население Кхама, еще не оправилось от шока поражения, а соглашение от 23 мая 1951 года, предусматривающее тибетскую автономию, пусть чисто формально, но все же учитывало традиции и социально-экономические особенности древней страны. В этом соглашении из 17 пунктов прямо говорилось о том, что центральные власти не будут изменять политическую систему Тибета и с уважением отнесутся к религиозным верованиям и обычаям тибетцев.

Правительство далай-ламы, видимо, отдавало себе отчет в том, что соглашение было лишь временным, компромиссным. Но если бы китайцам не было дано согласие разместить в Тибете войска, они бы сделали это силой. В Лхасе и без того находился уже внушительный гарнизон. Не прошло и года, как по приказу Пекина организовался Тибетский военный округ и началось спешное строительство стратегических дорог Янь—Лхаса и Сиккин—Лхаса. Была проложена и регулярная линия воздушных сообщений. Юрисдикцию далай-ламы ограничили центральной областью Уй, область Цзан полностью отошла к панчен-ламе, а район Чамдо управлялся непосредственно из Пекина. И вообще весь Тибет оказался разделенным на несколько самостоятельных автономных округов.

К 1956 году все было готово для образования Тибетского автономного района. В июне 1958 года в Лхасе открылись отделения Верховного суда и Прокуратуры КНР. Работы им хватало. Стихийные восстания вспыхивали одно за другим почти повсеместно. На сей раз агентам зарубежных спецслужб не приходилось разжигать недовольство.

Забегая вперед приведу одно из признаний далай-ламы, сделанное в частной беседе четверть века спустя: «Я верил в обновление жизни и не боялся перемен. Я даже подумывал о вступлении в коммунистическую партию, но жесткая и оскорбительно-грубая политика ассимиляции, которую начали очень скоро проводить китайцы, на-

строила меня отрицательно». Впрочем, его понимание социализма и по сей день отличается известной наивностью. Отождествляя порой идеалы буддизма с социалистическими принципами, он скорее следует Прудону, нежели Марксу. Не случайно в одном из недавних интервью ламаистский первосвященник причислил к первым социалистам царей Тибета, сделавших благую, но обреченную в конечном счете попытку выделить каждому равную долю богатств.

Свой побег Четырнадцатый задумал давно, но долго не мог решиться покинуть страну, где все было знакомо и дорого до боли: вещице камни с заклинаниями, бурные реки, вращающие молитвенные колеса, косматые яки, несущие через заснеженные перевалы вьюки опечатанных с древних досок священных книг. В Индии, куда он прибыл по религиозным делам в середине 50-х годов, он все же принял решение не возвращаться назад. Но Чжоу Эньлай, спешно прилетевший на специальном самолете, заверил его, что эксцессы и трения — явление временное и «поток скоро войдет в свои берега». Неискушенный, еще молодой человек, для которого сама мысль о долгой разлуке с родиной казалась нестерпимой, дал себя уговорить и вернулся. Существенных изменений, однако, не последовало. «Поток» же действительно вскоре обрел точно очерченное русло традиционной великоханьской политики. Об автономии, обещанной в соглашении 1951 года, более не упоминалось. Представитель центрального правительства в Хасе Чжан Цзину туманно высказывался насчет специфических условий Тибета, которые не благоприятствуют скорейшему введению демократических преобразований.

Положение ухудшалось с каждым днем. В Хасе, где по-прежнему пышно справлялись ламаистские праздники, далай-лама стал чувствовать себя пленником. В роскошной, но похожей ни на одно строение в мире Потале, в ее центральном Красном дворце, суровом и непреступном, как скалы, он почти физически ощущал, как затягивается ловко наброшенная петля. Душит страну снегов, сдавливает его собственное горло. С двух лет приучали будущего властителя не отделять себя от Тибета, от ламства, от всех живых существ, вовлеченных в круговорот буддийского колеса. Он так и мыслил, так и чувствовал. Когда ему было весело, он думал, что смех звучит в каждом тибетском доме; когда приходило страдание, то и оно мнилось всеохватным. Меркло невероятное, разрывающее душу закатное небо в узких окнах Поталы, вместе с черно-зеленой ночью на землю изливалась печаль.

Так его воспитали, так он привык думать и ощущать.

Лишь потом, на чужбине, пришло прозрение, и властитель судеб и душ понял, что он лишь лист, оторванный от родимого дерева, простой тибетец.

В начале марта 1959 года его пригласили посетить штаб-квартиру Тибетского военного округа. Одного, без свиты, без сопровождения дворцовой гвардии. Даже понаслышке знакомый с историей пекинских властителей человек и тот едва ли усомнился бы в истинном смысле подобного приглашения. Далай-лама был горд, и его воспитали в бестрашии. Он склонялся к тому, чтобы пойти. Разумеется, с подобающим положением эскорта. Не ради безопасности — ради чести. Поделившись соображениями с членами своего кошага, он натолкнулся на решительное «нет».

— Вам не следует идти туда, ваше святейшество,— выразил общее мнение один из колонов, министров.— Отнюдь. Всем нам необходимо как можно скорее бежать отсюда. Более не откладывая ни на минуту, мы должны привести в действие наш план.

План действительно был разработан и насколько возможно выверен. Успеху не благоприятствовало лишь время года. Перевалы на индо-тибетской границе еще были прочно забиты снегом, и яки — удивительные полудикие звери, способные идти по голому льду,— превращались по весне в озлобленных демонов упрямства и неповиновения. Но положение требовало мгновенных решений: либо одно, либо другое — третьего не дано.

И далай-лама решил. 17 марта он вместе с приближенными тайно оставил Хасу и предпринял свой беспрецедентный пятнадцатидневный переход через Гималаи.

Я бывал приблизительно в этих местах со стороны южной границы и видел заледенелую мертвую планету. Даже синие клубы тумана в ущельях казались оцепеневшими от стужи и безмолвия. Впрочем, безмолвие давило уши лишь днем, когда в разноцветном дыму поднималось над сверкающими вершинами разбухшее пунцовое солнце, окруженное венцом ложных двойников, бросающих на снег невероятные тени, порождающие фантастические миражи. Но стоило ему закатиться, упасть в лиловый провал за восьмьютысячниками Непала, как космическая, прорезанная немигающими звездами ночь оглашалась зубным скрежетом, стоном и воем. Казалось, все устра-

шающие демоны ламаизма, вырвавшись на свободу, витали над тускло синевшими кручами, похожими на лунные цирки. Это стонали терзаемые подвижкой льды, кореза устоявшийся наст, и выли заметавшие трещины вьюги.

Весть о бегстве далай-ламы придала новую силу вооруженному восстанию, которое подняли жители Ахасы. Оно было жестоко подавлено в ходе кровопролитных уличных боев. Следом за духовным руководителем двинулось к индийской границе около 100 тысяч тибетских беженцев. Почти все они и поныне живут на чужбине, мечтая когда-нибудь вернуться в родные долины, где птицы и те вскормлены плотью далеких предков.

Во время поездок по Гималаям мне удалось посетить лагеря и поселки, в которых жили тибетские беженцы. Из бесед с ними я многое узнал об упорном сопротивлении гордого, дорожащего своей самобытностью народа великодержавным шовинистическим устремлениям Пекина. Мне рассказывали о том, как хунвейбины крушили статуи, жгли древние летописи, срывали с людей прямо на улице национальное платье. Женщины, теперь уже пожилые, вспоминали, как проводились массовые кампании высылки, как отбирали детей, как силой выдавали девушек замуж за китайских солдат. В маленьком, возведенном на скорую руку монастыре я поинтересовался, где находится панчен-лама, и получил ответ, поразивший меня глухой безнадежностью:

— Этого не знает никто.

Ныне мы знаем, что Десятый панчен-лама Лобсан Ринласун-дуб-чойджи-чжалцан (родился в 1938 году) свыше десяти лет провел в специальной коммуне по перевоспитанию. В феврале 1978 года он был реабилитирован и вновь вышел на политическую арену. Собственно, с его заявления и начался новый раунд игры, которая велась все эти годы вокруг уединившегося в Дхармасале далай-ламы.

Панчен-лама пообещал, что все тибетцы будут приняты «надлежащим образом, если сойдут с неправильных позиций». Ему вторил «бывший Будда» Нгаво-Нгаван-Джигмед, подписавший памятное соглашение 1951 года. В интервью с агентством Синьхуа он призвал далай-ламу вернуться и покаяться. Представитель далай-ламы очень сдержанно отреагировал на подобные предложения: «Нам и раньше предлагали это. Недостаточно простого заявления о том, что возвращение далай-ламы будут приветствовать, и, если они не разъяснят точно условий возвращения, мы не сможем сказать ничего определенного».

Разъяснений не последовало. Вместо них панчен-лама в интервью корреспонденту Франс Пресс призвал «старого друга далай-ламу» прекратить сопротивление: «Я бы хотел сказать ему и другим тибетцам, находящимся за границей: отбросьте ваши сомнения и колебания, возвращайтесь на социалистическую родину».

Видимо, подобное увещание могло оказать большее действие, если бы самому панчен-ламе было позволено вернуться в родной Шигагце. Но даже его не пускают в Тибет, и он, подобно своему предшественнику, вещает с чужого голоса.

Что же происходит в Тибете в настоящее время? Попробуем чуть шире раздвинуть пресловутый «бамбуковый занавес».

Даже китайская пресса часто оказывается не в состоянии обойти молчанием вопиющие факты национальной дискриминации. Так, например, в статье «Прислушиваемся к призывам меньшинств», опубликованной не так давно в газете «Жэньминь жибао», прямо говорится о том, что для представителей национальных меньшинств практически закрыты дороги в высшие учебные заведения и на промышленные предприятия. Если отбросить в сторону высокопарные фразы о «реализации национальной политики партии» и пустопорожние обещания, то становится совершенно ясно, что никаких «благотворных перемен» в этом вопросе в Китае не произошло. Достаточно сказать, что за три года, истекшие после устранения сакраментальной «четверки», на которую привыкли сваливать ответственность за все беды и неурядицы, ни один представитель национальных меньшинств, населяющих уезды Цзиньнин, Пинбянь и Мэнци, так и не смог поступить в институт. Немногие же выпускники, чудом сумевшие получить высшее образование, тоже были вынуждены вернуться в свои деревни, так как не нашли работы по специальности.

Из Внутренней Монголии и из соседней с ней Синьцзяна, где спешно создаются новые китайские поселения на землях, с незапамятных пор принадлежавших монголам, казахам и уйгурам, просачиваются сообщения о жестоких репрессиях, которым подвергается местное население со стороны пекинских эмиссаров. Верные

традиционной великоханьской политике, нынешние пекинские лидеры и не помышляют об отказе от принудительной ассимиляции национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Не случайно само слово «Синьцзян» означает по-китайски не что иное, как «новая граница». Если в 1949 году в этом «новом», а точнее старом, районе откровенно колониальной экспансии китайское население едва составляло десятую часть, то ныне оно достигло половины. Причем большую часть промышленных рабочих составляют китайцы и, разумеется, на всех ключевых постах сидят пекинские ставленники.

Особенно массивному натиску китайских переселенцев самого разного рода подвергается Внутренняя Монголия. В разгар «культурной революции» эта обширнейшая территория, простирающаяся от Гоби до лесистых склонов Маньчжурии, была урезана чуть ли не втрое. Ее наиболее плодородная восточная часть отошла к провинциям Хэйлуньцзян, Гилин и Ляонин, а юго-запад подвергся разделу между Нинсяхуйским автономным районом и провинцией Ганьсу. С 1966 по 1969 год во Внутренней Монголии были убиты десятки тысяч человек. Сотни тысяч китайских крестьян переселили на земли монгольских аратов, отнесенных к бесплодным гобийским пескам. Теперь, как поспешила известить китайская пресса, провинция «восстановлена в размерах». Не потому ли, что процесс колонизации в основном уже закончен? Китайское население во Внутренней Монголии достигает ныне 90 процентов, и преподавание в школах ведется за ничтожным исключением лишь на китайском языке. Вот вам и «прислушиваемся к призывам меньшинств».

Усиленный приток китайских «кадровых работников» наблюдается и в Тибете, где никогда не утасало движение за национальную автономию, что вынуждает Пекин постоянно держать там большую военную силу. Только за последний год в Тибетский автономный район было откомандировано в общей сложности более 500 кадровых работников не ниже «уровня уезда-полка». Цель, по заявлению китайского радио, — «оборона границ». Завершено строительство нефтепровода Синьцзян — Лхаса, который позволит сосредоточить в Тибете крупные моторизованные силы и постоянные базы ВВС, спешно сооружается полигон ракет стратегического назначения. Наряду с этим китайская печать распространила сообщения об освобождении сначала 24 тибетских «преступников», затем еще 376 «мятежников». Делаются широкоэшелонные заявления об открытии Тибета для массового туризма, о строительстве отелей, восстановлении храмов и монастырей. Но из 2469 монастырей, существовавших в Тибете до 1959 года, ныне открыты лишь 10.

Недавно я вновь встречался в Дели с тибетскими беженцами и спросил, что они думают по этому поводу.

— По меньшей мере девять тысяч тибетцев томятся в тюрьмах по политическим обвинениям, — сказал Дордже П., просивший не называть его полного имени.

— Партизаны устраивают китайцам нелегкую жизнь, — заявил Лосанг Тимпа, президент Конгресса молодежи.

Как же реагировал на перемены в Китае, тибетские новости и примирительные авансы сам далай-лама? В первом же интервью корреспонденту журнала «Иллюстрированный уикли оф Индия» он дал, как мне кажется, исчерпывающий ответ:

«Все это похоже на сцену — новые артисты приходят, старые уходят. А бывает и так, что один артист появляется в различных сценах в новом костюме и новой роли... Небольшая перемена произошла. Однако с уверенностью об этом сказать трудно. Ведь вы знаете, что и в прошлом там происходило много непредсказуемых и невероятных перемен. Сейчас произошла, видимо, какая-то перемена, однако китайский народ ею не удовлетворен. Так пусть же сначала он добьется удовлетворения».

И как бы окончательно ставя точку, далай-лама ответил в журнале «Бунте» и на наиболее жгучий вопрос о возможном его возвращении: «Китайское правительство приглашает нас назад. Но взгляните, как оно поступило в отношении Вьетнама».

Накануне открытия конференции АБКМ китайское посольство в Улан-Баторе обновило стенд, вывесив подборку снимков под заглавием «Освобожденные рабы Тибета». Счастливые, смеющиеся лица, безупречные национальные одежды, словно только что взятые из костюмерной, и дети, склонившиеся над букварем.

Руководство АБКМ сразу после освобождения кампучийского народа от чудовищного режима Пол Пота направило в Кампучию и Вьетнам специальную делегацию, составленную из представителей 5 стран. Делегация привезла снимки иного рода: груды обожженных костей, вспоротые животы, руины на месте древних пагод в Лонг-

шоне и Каобанге. Рядом с трибуной, с которой далай-лама произнес взволнованную речь о мире и счастье для всех народов, сидел кампучийский монах Лонг Сим, единственный уцелевший из 8 тысяч. Изможденный, с затянувшимися шрамами на лице, он не мог говорить без отдыха более двух минут.

Геноцид, уничтожение тысячелетних памятников буддийской культуры, культуры вообще — вот почерк современного гегемонизма. Японские, индийские, монгольские делегаты, представители Шри Ланки и Лаоса единодушно заклеили преступления полпотовской клики, агрессию КНР против социалистического Вьетнама. Во многих выступлениях звучала тревога и за судьбу тибетской культуры, находящейся на грани уничтожения.

— Как вы расцениваете теперешнее положение в Тибете? — спросил я далай-ламу.

— Трудное. Долетающие оттуда вести свидетельствуют о том, что если и произошли какие-то перемены к лучшему, то незначительные. Нами движет тревога за судьбу нашей культуры, религии, самой нации.

— Как вам конкретно рисуется будущее вашего народа?

— Мы должны стать современной и динамичной нацией. Когда это произойдет, сказать трудно, но это произойдет.

— Короче говоря, вы взираете на будущее с оптимизмом?

— Безусловно.

Я подарил ему свою книгу «Бронзовая улыбка» — о старом Тибете и далай-ламах. Увидев на обложке яка, он буквально озарился:

— Это як! Мои несравненные горы!

— Теперь я знаю улыбку далай-ламы, — сказал я, когда он попросил перевести название. — Могу лишь сожалеть о неточном определении «бронзовая».

— Вспоминая о прошлом, не угадать будущее, но зная будущее, можно не вспоминать о прошлом. Не все далай-ламы были похожи на Шестого, поэта и весельчака.

— Читая теперь его любовные песни, я все-таки буду вспоминать улыбку Четырнадцатого... Напишите мне что-нибудь на память, если возможно.

Он взял красочную литографию с призывом о мире, на которой в традиционном буддийском стиле была изображена рука с чудесным цветком в удлиненных пальцах. «Пусть все, поднявшие мечи, побратаются с цветами в руках» — было написано на небесной голубизне.

— Не достигнешь цели, если не пройдешь до нее необходимого пространства, — то ли прокомментировал далай-лама, то ли просто привел народную поговорку.

Беглым тибетским шрифтом он написал короткое благопожелание.

На аэродроме его провожали верховные ламы Монголии, Ладакха, Бурятии, бутанцы, тибетцы. Ветер развевал алые тоги. Сомкнув пальцы рук, ламы шептали о благополучии в пути. Вдали, как та желтая лента, простиралась выжженная степь, а над ней синело безоблачное небо. Не хватало только руки с цветком. Но был самолет, который, оторвавшись от желтого, нырнул в голубое. Я следил за ним сколько мог, стараясь запомнить пословицу, которую услышал от старшего брата далай-ламы Тхубтена Джигме Норбу, в прошлом тибетского ламы, а ныне видного лингвиста из университета в Индиане: «Безроговому яку — самая жалкая веревка, беззащитному народу — задняя дверь».

С того дня прошло более года... Ожесточенное сопротивление тибетцев насильственной китаизации заставило «прагматическое» руководство Пекина вновь, уже в который раз, прибегнуть к косметической операции и чуточку модернизировать испытанные рычаги власти. Во всяком случае, заново отхромировать их, чтобы показным блеском привлечь сердца тибетского населения. Главой местного правительства впервые сделали коренного тибетца Тянь Бао, а крайне непопулярный первый секретарь комитета КПК Тибетского автономного района Жэн Жун был в спешном порядке заменен Инь Фатаном, занимавшим до того второй по значению пост в Цзяньаньском военном округе.

Не успело местное население переварить эти буквально с неба свалившиеся на него перемены, как было объявлено об «инспекционной поездке» в Тибет генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана и члена секретариата ЦК КПК Вань Ли. Как явствует из сообщения в «Жэньминь жибао», высокопоставленные эмиссары, ознакомившись с положением дел на месте, были вынуждены признать, что проводимая Пекином политика противоречит коренным интересам, правам и обычаям на-

селения и причиняет ему «огромные лишения и трудности». Вина за содеянное, разумеется, была приписана «банде четырех».

— Китайские руководители должны быть признательны «банде четырех»,— заявил в интервью Польскому агентству печати далай-лама,— так как благодаря ей теперь есть на кого сваливать ответственность за допущенные ошибки.

Обратим внимание на осторожную формулировку «ошибки». По-видимому, это сделано не случайно. Наряду с попытками подновить обанкротившуюся политику откровенного угнетения китайская дипломатия возобновила настойчивые авансы и в адрес самого далай-ламы.

Тибетским крестьянам объявили об упразднении на два года сельскохозяйственного и животноводческого налогов. На тот же срок были освобождены от непосильных платежей и городские ремесленники. По сообщению Синьхуа, партком Тибетского автономного района принял решение реабилитировать бывших крепостных крестьян, «ошибочно» причисленных к кулакам. Этим широковещательным акциям, по всей видимости, сопутствовали тайные посулы, данные лично далай-ламе. Судя по откликам зарубежной печати, в случае возвращения ему будут гарантированы безусловный приоритет в вопросах веры и «некоторая доля власти», равно как и уровень жизни, недоступной, по словам китайских функционеров, «простым смертным». Как сообщает агентство Франс Пресс, далай-лама отказался от прежних требований предоставления Тибету полной независимости и даже «проявил живой интерес к возвращению, если удастся найти приемлемый модус вивенди с китайцами». При этом отмечается, что определенную роль в изменении позиции тибетского первосвященника сыграли США. Точнее, пресловутая «китайская карта», «пекинский туз».

— Как сказывается новый китайско-американский альянс на тибетской проблеме? — спросил далай-ламу корреспондент Франс Пресс.

— Когда возникают новые проблемы, интерес к старым проблемам пропадает,— последовал ответ с ощутимой ноткой упрека.— Забота президента о соблюдении прав человека носит несколько выборочный характер...

Несмотря на усиленно муссируемые слухи, далай-лама все же не высказал пока определенных намерений возвратиться в Лхасу. Тем более что большинство тибетских эмигрантов, особенно молодежи, относятся к посулам Пекина с глубоким недоверием. Всего за несколько месяцев в Тибете побывало 5 делегаций, направленных далай-ламой для оценки происходящих на родине реальных или же мнимых перемен. Эти делегации возглавляли такие близкие к Четырнадцатому первосвященнику лица, как брат Лобсанг Самтен, младшая сестра Джезон Пема Гьялко или колон Джучен Тхуптен. Нет точных сведений о том, какие вопросы обсуждали высокие посланцы с пекинскими лидерами и местными властями в Лхасе, какие получили обещания. Но не видеть нищеты и отчаяния тибетского народа, истерзанного произволом маоистов, они, разумеется, не могли.

— То, что мы увидели, очень нас опечалило,— подвел своеобразный итог очередной ознакомительной поездки представитель далай-ламы Фунцог Вангнал.— В особенности исключительно плохие условия жизни.

С последней же делегацией, которую возглавлял представитель далай-ламы в Женеве, вообще произошел скандальный инцидент. После того как несколько тысяч оборванных, потерявших терпение тибетцев окружили резиденцию, где остановилась делегация, и начали скандировать здравницы в честь далай-ламы, пекинские власти поспешили прервать визит. Церину Дорджи, в частности, были поставлены в вину «действия, наносящие ущерб статусу Тибета как части Китая».

Разумеется, рано ставить точку в этой затянувшейся игре. Тем более что нынешние взаимоотношения живущего в эмиграции первосвященника с пекинской верхушкой являются лишь продолжением многовекового, знавшего падения и взлеты противоборства.

«В настоящее время в Поднебесной покой, ни одного инцидента,— отмечал Сын неба еще во времена Великого Пятого.— Ты, лама, с нашей династией поддерживаешь непрерывные отношения уже много лет, зачем подозревать [друг друга?]

Но в отличие от религиозных догматов историю, хоть и бытует выражение «колесо истории», нельзя замкнуть в круг. Ее поступательный ход отличен от повторяющихся друг друга буддийских циклов.

ПУБЛИЦИСТИКА

А. КАПТО,
секретарь ЦК Компартии Украины

★

СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕКА

1

О чем прежде всего думается, что прежде всего встает в памяти, когда мысленно возвращаешься сегодня к незабываемым дням работы XXVI съезда КПСС? Конечно же, яркий, удивительный по своей теоретической и практической глубине, точности политических оценок, аналитической всесторонности Отчетный доклад ЦК КПСС, представленный съезду товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. Мы еще не раз будем возвращаться к этому выдающемуся программному документу нашей эпохи, будем вчитываться в его мудрые, обращенные к сердцам миллионов, исполненные уверенной силы строки, сверять с ними свои дела, планы, помыслы. Но сегодня снова и снова встает тот памятный праздничный день 23 февраля, день открытия форума коммунистов нашей страны, когда были произнесены слова, ставшие уже частью истории нашей страны, партии, важной вехой истории всемирной.

Громадный торжественный зал московского Дворца съездов. Тысячи лиц таких разных и в то же время охваченных единым чувством, одним стремлением, общей радостью причастности к великому делу, объединенных, сплоченных вокруг этого дела. В такие минуты с особой силой воспринимаешь величие нашего общества, руководимого и направляемого мудрой коллективной волей партии коммунистов, величие подлинно революционных преобразований и свершений этого общества, его морально-политическое единство.

Удивительные, необыкновенные люди находились в тот день в зале Дворца съездов. Рабочие Москвы и Урала, горняки Донбасса, нефтяники Западной Сибири, труженики полей Украины, Казахстана, Средней Азии, ученые, строители, воины, космонавты, мастера культуры. А рядом с ними — закаленные в огнях классовых битв представители революционного движения всей земли. Сколько человеческих судеб, сколько ярких, неповторимых биографий! Если бы можно было каким-нибудь чудесным образом совместить их на громадном полиэкране или в грандиозной фреске, подобной тем, что созданы гением великих мексиканцев Сикейроса и Ороско, на этой фреске достойное место заняли бы представители трехмиллионного отряда коммунистов Украины.

В такие минуты начинаешь досадовать, что еще до обидного мало, с излишней сдержанностью наши литература и искусство, наша публицистика обращаются к судьбам, биографиям людей, которыми гордится страна, чья жизнь являет пример беззаветного служения великой идее коммунистического созидания. И в то же время понимаешь, как велика, благородна и ответственна эта задача, каких особых слов, красок, образных решений, какой глубины обобщений она требует, чтобы не раствориться в частностях, выявить главное, существенное, основополагающее. Ведь именно трудом, талантом, воистину титаническими усилиями тысяч, миллионов таких людей обеспечивается экономический, социально-политический и духовный прогресс нашего общества. Вот почему для всех нас, участников съезда, так по-особенному, с такой убедительной силой прозвучали слова Леонида Ильича, посвященные человеку труда: «Хорошо, по-ударному работали советские люди. Тесно сплоченные вокруг ленинской партии, воспринимая ее предначертания как свое личное, кровное дело, труженики города и села не жалели усилий, наращивая экономи-

ческий потенциал Родины. Честь и слава советскому человеку — человеку труда! Он — главное, бесценное богатство нашего общества».

Вчитайтесь, вдумайтесь хотя бы в перечень современных отраслей, получивших дальнейшее развитие или созданных заново в минувшее десятилетие: атомное машиностроение, космическая техника, электронная и микроэлектронная, микробиологическая промышленность, лазерная техника, производство искусственных алмазов и других новых синтетических материалов. Явление действительно удивительное и необыкновенное!

Сильное, неизгладимое впечатление произвело сообщение о том, что за последние две пятилетки получено сельскохозяйственной продукции на 272 миллиарда рублей больше, чем за две предыдущие. «Несмотря на то, что из пяти последних лет,— говорил Л. И. Брежнев,— три были неблагоприятными, среднегодовой сбор зерна достиг 205 миллионов тонн».

Три неблагоприятных года. Каким же драматизмом, каким напряжением были наполнены они.

Сдержанно, скупно сказано на съезде о «большей устойчивости сельского хозяйства», о миллионах тонн зерна, о победе, одержанной вопреки стихии. Много нерешенных проблем стоит еще перед тружениками сельского хозяйства. И все-таки этой победой советские люди могут гордиться! Она, может быть, одна из самых славных в их героической истории.

На съезде не раз звучали названия территориально-производственных комплексов: Саянский, Братско-Усть-Илимский, Южно-Якутский, Каратау-Джамбулский, Мангышлакский, Южно-Таджикский... Пытаешься представить себе громадные, необозримые просторы, на которых раскинулись эти комплексы, и воображение оказывается бессильным охватить вот так сразу все многообразие природных условий, тысячи и тысячи квадратных километров, сведения о неисчислимых, сказочных богатствах недр, о мужестве тех, кто прокладывает дороги к этим богатствам, строит города, современные заводы, электростанции в непроходимой тайге.

Там, в зале Дворца съездов, как бы широко открылось окно в будущее, которое создается сегодня волей партии, мужеством, энтузиазмом рабочих, инженеров, техников, ученых. Речь шла уже не только об изменении облика отдельных районов, регионов, а о глобальных переменных, охватывающих величайшую в мире державу, о создании ее новых экономических центров, о новых направлениях грузовых потоков, о новой энергетике и, конечно же, о новых производственных коллективах, утверждающих несомненно более высокую культуру труда и быта, человеческого общения, о духовных и материальных потребностях, о формировании нового человека.

2

Из всех задач, стоящих перед нашим обществом, формирование нового человека — наиболее ответственная, благородная и в то же время необыкновенно сложная. Собственно говоря, для культуры развитого социализма конечной целью всегда было и будет формирование нового человека, наиболее полное развитие личности, приумножение духовного потенциала советского народа. «Мы располагаем большими материальными и духовными возможностями для все более полного развития личности и будем наращивать их впредь,— говорил на съезде товарищ Л. И. Брежнев.— Но важно вместе с тем, чтобы каждый человек умел ими разумно пользоваться. А это, в конечном счете, зависит от того, каковы интересы, потребности личности. Вот почему в их активном, целенаправленном формировании наша партия видит одну из важных задач социальной политики».

Казалось бы, нет понятий более ясных и определенных, нежели слова «человек», «личность», «характер». И тем не менее, каждый раз обращаясь к ним, мы вступаем на континент неизведанного, заглядываем в глубины, по сравнению с которыми самые бездонные океанские впадины кажутся мелкими лужицами. Только талантливому художнику подвластны эти континенты и океаны. В наше же время лишь тот, кто стоит на четких партийных классовых позициях, кто вооружен теорией научного коммунизма, способен активно влиять на формирование духовной жизни общества, его моральных и нравственных принципов, исходя, конечно же, из того, что советское общество как никакое другое общество в истории человечества — это общество людей труда, а его моральные и нравственные принципы — это прежде всего принципы, выработанные рабочим человеком, рабочим коллективом. Именно поэтому

на XXVI съезде КПСС такое большое внимание было уделено вопросам культурного строительства, духовной жизни, развитию литературы и искусства. Высоко оценена деятельность советской художественной интеллигенции.

Но наряду с оценкой, которой вправе гордиться все деятели культуры нашей страны, съезд поставил перед ними и ряд сложных, а порой и принципиально новых задач. Такой подход обусловлен реальными и существенными изменениями, происходящими в духовной жизни советского общества, жизни, которая из года в год становится более многообразной и богатой. Этот процесс захватывает все классы, все социальные группы нашего общества, и что особенно важно — рабочий класс и колхозное крестьянство. Ярким свидетельством тому стал заметно возросший за последние годы интерес советских людей к литературе и искусству. Тут мы можем говорить и о подлинном книжном буме, и об остром дефиците билетов на лучшие спектакли и концерты, о неубывающем потоке людей на выставки коллекций классической и современной живописи.

Следует откровенно сказать, что далеко не все работники культуры оказались подготовленными к изменениям, происходящим в сфере духовных запросов и потребностей, к бурному — в геометрической прогрессии — их росту. И в этом плане точная оценка создавшегося положения, данная в докладе ЦК КПСС XXVI съезду, имеет громадное теоретическое и практическое значение. Она поможет многое оценить по-новому, наметить пути и способы решения многих задач, возникших в ходе культурного строительства, переориентировать деятельность наших творческих организаций.

Требует изучения и самого доскопального анализа и природа успеха у читателей, зрителей, слушателей тех или других произведений литературы и искусства, ставших заметными вехами в культурной жизни последних лет, оказавших непреходящее влияние на духовную жизнь наших современников.

Конечно, многое здесь объясняется заметно возросшим идейно-художественным уровнем, смелым выходом на острые, актуальные проблемы современности, новаторским художественным поиском в области человеческих взаимоотношений на производстве, в быту, пристальным вниманием к вопросам формирования личности, ее внутреннему миру, ее месту в историческом процессе. Но все это обязательно соотносится, сопрягается с духовными запросами советского человека, человека труда, активного участника коммунистического строительства, с его высокими нравственными принципами. Именно в этой теснейшей взаимосвязи залог подлинного успеха, подлинной партийности, подлинной народности. Именно это взаимодействие обеспечило «новую приливную волну», которая поднимается в советской многонациональной культуре.

Достаточно убедительным подтверждением этого вывода, прозвучавшего на съезде, может быть и нынешнее состояние художественно-творческого процесса на Украине.

Приливная волна — это прежде всего появление большого числа произведений, ставших событием культурной жизни республики и страны. Среди них поэтические книги «Знаки» («Карбы») и «Ночные раздумья старого мастера» Микола Бажана, романы «Твоя зоря» Олеся Гончара, «Четыре брода» Михайла Стельмаха, «Разгон» Павла Загребельного, «Позиция» Юрия Мушкетика, «Отчий дом» Василя Козаченко, «Утро гения» Владимира Канивца, сборники стихов Бориса Олейника, Ивана Драча, публицистика Виталия Коротича, ряд других произведений украинских писателей.

Большой популярностью пользуются отмеченные Государственной премией СССР спектакли «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова и «Дикий Ангел» по пьесе Олексы Коломийца в киевском Театре имени И. Я. Франко, а также такая работа киевского Театра имени Леси Украинки, как «Хозяйка» М. Гараевой.

Получили заслуженное признание многих миллионов зрителей фильмы украинских кинематографистов: документально-публицистические — «Возрождение», по книге Л. И. Брежнева, и лента о партии «Ум, честь и совесть эпохи»; художественные — «Аты-баты, шли солдаты», «Дума о Ковпаке», «Жнецы», «Овод». С успехом прошли республиканские художественные выставки «Мы строим коммунизм», «Трасса дружба», «Стан 3600», «Домна № 9», представившие лучшие работы художников и скульпторов Украины на темы современности. Плодотворно работали композиторы, музыкально-исполнительские коллективы республики.

Когда задумываешься о значительной высоте, широком размахе, направленности в современность этой новой приливной волны, просто не можешь вновь и вновь

не отметить огромного благоприятного влияния на развитие нашей литературы и искусства, которое исходит от жизненного и художественного документа большой вдохновляющей силы — трилогии Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Как своей партийной и государственной работой, так и своими книгами Леонид Ильич учит самоотверженно и творчески служить великому гуманистическому делу ленинскому делу.

3

Стратегия КПСС объемно и точно выражена лаконичной формулой: «Все во имя человека, все для блага человека».

Всему миру известно, что наша партия определяет свои стратегические цели и планы с предельной конкретностью, реальной обоснованностью. Это значит, что столь же конкретно партия видит и того человека, в образе жизни, облике и деяниях которого уже сегодня воплощаются духовные черты, как бы привнесенные из будущего, черты, утверждавшиеся лучшими умами всех веков и народов как высший идейно-нравственный идеал. Таким человеком, соединяющим в своем миропонимании и образе жизни утверждение сущности современного социалистического прогресса и страстное стремление к новому, к будущему, может быть только человек созидательного действия, созидательного труда.

Каким же встает рабочий человек, человек труда, со страниц книг? Какие его нравственные качества, особенности художественно исследуются мастерами театра и кино? Как новое его мироощущение отражается в произведениях изобразительного искусства и в музыке? На эти вопросы трудно, а может быть, и невозможно найти однозначные ответы. Все здесь многообразно, многогранно и разнолико, как сама жизнь. Обращусь к примерам из художественной практики нашей республики. Молодые рабочие крупного металлургического предприятия из романов Павла Загребельного — высокообразованные мечтатели и максималисты, легко ориентирующиеся и в сложнейших производственных ситуациях и в проблемах мировой политики. А рядом с ними представители новой рабочей формации — сельские механизаторы из фильма В. Денисенко «Жнецы», в социальном облике которых своеобразно переплетаются извечная тяга к земле и особенности, рожденные эпохой научно-технической революции. С особым пристрастием всматриваемся мы в лица рабочих, металлургов и шахтеров на картинах украинского художника Михаила Бельского, и прежде всего обращают на себя внимание чувства спокойной уверенности, радости созидательного труда, которыми живут его герои — создатели материальных, а в конечном итоге и непреходящих моральных ценностей. Ибо их уверенность, чувство рабочего локтя, их радость, их спокойствие и сила — гарантия морально-политического единства, силы всего советского общества.

Во многих театрах республики, да и за ее пределами, поставлена сегодня пьеса Олексы Коломыйца «Дикий Ангел». Не все и не сразу восприняли сложный образ главного героя пьесы, старого рабочего Платона Ангела. Не было в нем такого хрестоматийного благодушия, сусальности, успокоенности, всех тех качеств, которыми обычно щедро наделяются образы ушедших на покой ветеранов-пенсионеров, призванных все всем разобъяснить, растолковать. Писатель на первый план вынес острые, во многом полемические проблемы взаимодействия общественного и личного, взаимосвязи большого и малого, исследовал проблемы воспитания чувства ответственности, добросовестного отношения к труду, к ценностям, творимым руками человека. И самое важное, самое главное в том, что все это пропущено автором через призму моральных, нравственных принципов рабочего человека — Платона Ангела, принципов, которые герой активно и последовательно утверждает во всем, в большом и малом, в отношениях с каждым членом своей семьи.

В этой последовательности, целеустремленности, нравственном максимализме Платон кажется порой излишне жестким, пораженным эмоциональной глухотой, в чем-то даже несимпатичным человеком, как бывает неприятен человек, говорящий горькую правду. Драматург не торопится сгладить острые углы необычного характера своего героя. Исполдволь он приводит нас к мысли о более высокой шкале нравственных оценок, рожденных рабочим коллективом, о высоких чувствах солидарности, ответственности, которыми живет этот коллектив, о принципах социалистического гуманизма, которыми руководствуются такие люди, как Платон Ангел. Во многом то, что утверждает и чего не приемлет старый рабочий, нашло свое отражение

в выступлениях делегатов XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Украины. В моей памяти надолго останутся слова шахтеров с Ворошиловградщины А. Колесникова и Н. Скрипника и ткачихи черновицкого объединения «Восход» Г. Кузенко, которые взволнованно и остро говорили о нарушителях трудовой дисциплины, о тех, кто не хочет честно, добросовестно трудиться, о непринятии формального, равнодушного отношения к выполнению своих обязанностей. О тех лицах, «которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать от государства».

Если с Платоном Ангелом мы встречаемся на склоне его лет, как с личностью полностью сформировавшейся, то в спектакле киевского Театра имени Леси Украинки «Хозяйка» перед нами проходит длительный, нелегкий и в то же время волнующий путь становления характера его героини — от сельской девочки, заброшенной из деревенской глухомани в литейный цех, до знатного бригадира, депутата Верховного Совета страны, Героя Социалистического Труда. Отмечая эту театральную работу, я имею в виду ее конкретный творческий результат, к которому привели напряженные усилия коллектива. Ведь, прямо скажем, пьеса, по которой создавался спектакль, во многом несовершенна, как несовершенны, к сожалению, еще многие произведения, в которых авторы пытаются рассказывать о жизни производственных коллективов.

Самые добрые побуждения не могут заменить глубокого и проникновенного знания этой жизни. И тогда беглые, очерковые наблюдения накладываются на некие умозрительные, искусственно сконструированные схемы, рождая в конечном итоге недоверие читателя и зрителя, особенно рабочего читателя, рабочего зрителя. Так, несколько лет назад некоторые театры крупнейших промышленных центров юга Украины поставили популярную пьесу, действие которой разворачивалось на металлургическом предприятии. Было предостаточно постановочных средств, над спектаклями работали талантливые режиссеры, в них были заняты лучшие актерские силы. Местные управления культуры, министерские комиссии, критики высоко оценивали эти работы, некоторые из них были, кажется, даже отмечены премиями каких-то смотров. Только вот незадача — зрители, те самые металлурги, о которых рассказывалось в спектаклях, уходили из театральных залов неудовлетворенными. Не удовлетворяла же их надуманность нравственных и технологических проблем, вокруг которых строился конфликт.

Спектакль «Хозяйка» в Театре имени Леси Украинки своему успеху у зрителя обязан точной режиссуре постановщика Э. Митницкого, блестящей, прямо скажем, вдохновенной игре исполнительницы главной роли А. Роговцевой. Нельзя умалять и еще одно немаловажное обстоятельство: его создателей от первого до последнего шага, то есть до самой премьеры, консультировали знатная стерженщица завода «Большевик», депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда Н. Марченко и члены ее бригады. Это, конечно, не значит, что творцы спектакля пошли по пути этакой натуралистической документальности. Напротив — для воплощения важной ответственной темы была найдена яркая, может быть, даже чуточку излишне усложненная театральная форма. Тесное же содружество мастеров сцены и производственного коллектива позволило художественно убедительно передать глубинную сущность рабочего человека, характеров тех, кто является подлинным хозяином нашей страны.

4

Ныне рабочий класс, все трудящиеся нашей страны непосредственно и активно участвуют в формировании и осуществлении программы художественного развития, включая творческую программу литературы и искусства.

Читателям «Нового мира», видимо, известно о состоявшейся в мае 1980 года в Харькове всесоюзной творческой конференции писателей и критиков «Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого социализма, научно-технический прогресс и задачи литературы». Работа этой конференции получила широкий общественный резонанс. Но хотелось бы отметить, что активное участие в ней наряду с мастерами литературы приняла и большая группа передовых тружеников Харьковской области.

Нужно было видеть, с каким живым интересом писатели — участники творческого форума прислушивались не только к выступлениям коллег, но и к словам харьковских рабочих Героев Социалистического Труда В. Г. Тарасенко, К. С. Кислякова, их товарищей, звучавшим с трибуны конференции, на литературных вечерах и встре-

чах, в беседах во время перерывов. Нетрудно было заметить, как пополнялись записи во многих писательских блокнотах в результате живого общения с представителями трудящихся.

Поехала группа писателей — участников конференции в Запорожскую область и взяла там на вооружение, как говорили сами литераторы, глубокие мысли о жизни, труде, о художественной культуре ветерана «Запорожстали», сталевара, ныне мастера-наставника заводского профтехучилища, Героя Социалистического Труда И. И. Смишко. Группа, побывавшая в Донецкой области, имела запоминающиеся встречи и беседы с Героями Социалистического Труда шахтерами П. С. Негруцей, К. А. Севериновым, металлургом А. Н. Коняевым и другими замечательными труженниками. Большой и заинтересованный разговор писателей и рабочих состоялся в те дни и во львовском производственном объединении «Электрон».

О том, что рабочий класс и все советские труженики близко к сердцу принимают творческие заботы мастеров нашей литературы, свидетельствуют многочисленные деловые и конструктивные обращения представителей трудовых коллективов к участникам харьковской конференции через органы массовой информации. Накануне открытия этого большого творческого собрания в газете «Літературна Україна» выступил, например, бригадир токарей киевского завода «Арсенал», член ЦК Компартии Украины, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета республики В. П. Щербина. Рассказав о своей глубокой любви к художественному слову, особенно к талантливым произведениям о людях труда, к творчеству Олеса Гончара и Івана Шамякина, Павла Загребельного и Виля Липатова, передовой рабочий и государственный деятель высказал писателям свое принципиальное мнение:

«И все же, на мой взгляд, еще недостаточно произведений, которые бы мастерски, рельефно, достоверно, в ярких и пластичных образах, характерах изображали современного труженика во всем его нравственном величии, «сложной простоте», духовной красоте. Каждая книга должна вызывать размышления и даже споры с автором и самим собой.

Об этом нужно подумать и на конференции и после нее».

Характерен для нашего времени такой факт. Широко известны трудовые подвиги выдающегося шахтера, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, члена ЦК Компартии Украины, депутата Верховного Совета СССР И. И. Стрельченко. Менее известно, что этот скромный человек, много размышляющий об источниках человеческих дерзаний и душевной красоты, влюбленный в гриновские «Алые паруса», является автором двух замечательных публицистических книг — «Добытки солнечного камня» и «Зажги свою звезду». Он взялся за перо, глубоко осознавая необходимость показать молодежи, какое великое счастье зажечь среди людей свою звезду, свою зарю, какого это требует огромного и доблестного труда.

Примечательно, что по времени работа И. И. Стрельченко над его книгами примерно совпадает с работой над художественным воплощением той же высокой, благородной идеи в последнем романе О. Гончара или в стихах Б. Олейника. Думается, это еще один убедительный пример согласованности, гармонии духовных интересов и творческих исканий рабочего-гражданина и художника-гражданина.

Так обстоит дело сейчас. А так ли сложится оно в будущем? На Западе, например, многие социологи утверждают, что индустриально развитым обществам, включая, разумеется, и наше, грозит полная бездуховность. Во время второй советско-американской встречи писателей в Нью-Йорке весной 1978 года такой пессимистический взгляд выразил писатель Уильям Стайрон. Причину опасности он увидел в том, что люди все более становятся рабами цветных телевизоров и всяких прочих «ненужных» вещей, которых в Советском Союзе скоро будет столько же, сколько и в США.

Что можно на это ответить? В отличие от У. Стайрона мы привыкли давать пролетарски классовую оценку явлениям действительности и перспективам развития общества, включая развитие духовное. При таком подходе совершенно очевидно, что рабочий класс никогда в истории не был, не является и не может быть воплощением бездуховности, ее массовым носителем. Классовая природа рабочего класса всегда противится как социальному, так и духовному гнету, всяческой псевдокультуре.

Другое дело, что в условиях современного буржуазного общества с его мощным аппаратом социального и духовного маккартизма, при отсутствии возможностей при-

общения к подлинным культурным ценностям массы трудящихся искусственно, не по своей воле оказываются втянутыми в сферу воздействия бездуховности.

Совершив революцию социальную, рабочий класс и его союзники неизбежно совершают революцию культурную, открывающую широкие перспективы и реальные возможности всестороннего духовного развития общества и личности. Это проявление закономерностей классовой борьбы — сопротивления, наступления и победы пролетариата, его союзников. Против бездуховности у нас выступают рабочий класс и все трудящиеся массы, которые пользуются подлинными культурными ценностями и сами непосредственно участвуют в их создании.

Духовное развитие советского общества у нас обеспечивается практической политикой нашей партии и государства, непрерывно возрастающим размахом культурного строительства, успехами всей нашей художественной культуры, неизменными традициями которой являются отражение народной жизни, утверждение созидательных деяний человека-труженика, его высоких нравственных принципов. Советский человек труда твердо уверен как в своем социально-политическом будущем, так и в материальном и духовном достатке.

5

Неисчерпаемым источником художественного творчества является наша действительность, наш современник с его делами, заботами, устремлениями. Принципиальным руководством тут служит ленинское размышление еще в одной из первых его работ — «Экономическом содержании народничества»:

«...по каким признакам судить нам о реальных «помыслах и чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия этих личностей, — а так как речь идет только об общественных «помыслах и чувствах», то следует добавить еще: общественные действия личностей, т. е. социальные факты»¹.

Творческая практика свидетельствует, что только совершенное знание современных идейно-нравственных ценностей и ресурсов народа, современного, классово четкого представления о процессах нашего времени, событиях прошлого и о прогрессе будущего позволяет создавать произведения, достойные советского человека. «Настоящий художник силен, как легендарный Антей, прежде всего своей связью с родной землей, с жизнью народа», — говорил на XXVI съезде Компартии Украины товарищ В. В. Щербицкий.

В этом свете, видимо, не случаен творческий успех, который в последние годы выпадает на долю писателей и деятелей искусства, лично прошедших великолепную трудовую школу, всегда живущих атмосферой рабочего коллектива, отлично знающих народные характеры, мышление и быт.

Победителем прошлогоднего всесоюзного творческого конкурса на лучшие литературные произведения о людях труда стал в недавнем прошлом сибирский шахтер А. Плетнев с его романом «Шахта». А третья премия этого же конкурса присуждена писателю В. Мухину из Донецка за роман «Внезапный выброс».

Кто такой Владимир Евграфович Мухин? Писатель, не первый год работающий в литературе. По возрасту и социальному положению сейчас он уже пенсионер. А за плечами у него большая жизненная школа: рабочий московского Метростроя, инженер на шахтах Киргизии и Донецкого бассейна. Завершил трудовую деятельность В. Е. Мухин в «генеральской» должности заместителя начальника штаба военизированных горноспасательных частей Донбасса.

Успех таких книг, как «Шахта» А. Плетнева или «Внезапный выброс» В. Мухина, разумеется, не означает обязательной однотипности творческого пути: из многолетней школы трудового коллектива — в литературу. Но он наглядно утверждает обязательность глубинного писательского познания жизни трудового коллектива, политического, профессионального, духовного облика советского труженика.

Видимо, не всегда обязательно становиться «двадцать вторым членом бригады» Героя Социалистического Труда Н. Саулова, как это сделал харьковский писатель Борис Силаев. Но, несомненно, очень важно, а то и просто необходимо найти в большом многообразии связей художника с жизнью трудовых коллективов именно тот вариант, который наиболее благоприятствует творческим устремлениям, замыслу, стилю работы и человеческому характеру. Это сложная задача, требующая столь же творческого, аналитического подхода, как и само создание произведений.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 423—424.

Многие писатели, например Вадим Собко, Александр Левада, Александр Сизоненко, Павло Байдебуря, художники и скульпторы Александр Скобликов, Михаил Бельский, Василий Хитриков, кинорежиссеры Владимир Денисенко, Александр Косинов, Анатолий Федоров, творческие работники театра Ада Роговцева, Сергей Данченко, Александр Барсеян, Александр Утеганов и другие известные мастера культуры Украины умеют так построить свои связи с производственными коллективами города и села, что это плодотворно отражается в их произведениях, во всей творческой и общественно-политической работе.

Успешно развиваются, обретая новые формы, коллективные связи работников культуры и искусства с трудящимися предприятий,строек, транспорта, колхозов и совхозов. И наиболее плодотворными нам представляются договорные формы постоянных взаимоотношений, культурного шефства, работа филиалов учреждений искусства, писательских и журналистских корреспондентских постов. Например, доброй и взаимообогащающей традицией стало творческое содружество Киевской организации Союза писателей Украины с коллективом завода «Ленинская кузница», Одесской киностудии — с трудящимися треста Азовстальстрой, редакций журналов «Радуга» и «Прапор» — со строителями канала Днепр — Донбасс, художников Днепропетровщины — с тружениками заводов истроек Кривого Рога. Такое содружество характеризуется тенденцией дальнейшего расширения и качественного роста.

В Обуховском районе Киевской области накануне XXVI съезда состоялось совместное заседание бюро райкома партии, райисполкома, бюро райкома комсомола и правления Киевской писательской организации. Представители трудящихся и писатели повели содержательный разговор о проблемах растущего в районе большого промышленно-аграрного комплекса, о социальном и культурном развитии трудовых коллективов, о состоянии и задачах литературы, посвященной современнику, о перспективах сотрудничества между производственниками и литераторами. Был заключен договор о творческом содружестве. Дело, разумеется, не ограничивается механическим расширением зоны культурного шефства киевских писателей. В договоре зафиксировано новое — социальный заказ тружеников района и конкретные творческие обязательства мастеров слова столицы по созданию произведений на материале героической истории края, его сегодняшнего дня во всем многообразии перспектив, задач и проблем развития.

Свидетельством достаточной убежденности представителей района в том, что творческие обязательства писателей будут выполнены, явилось учреждение двух премий трудовых коллективов — профсоюзной и колхозной — за лучшие произведения литераторов-киевлян о труде рабочего класса и колхозного крестьянства. Кстати, подобные премии не единичное явление. Они учреждены и в ряде других областей нашей республики.

В союзе труда и искусства огромное значение имеют и давно проверенные, традиционные формы связей, формы пропаганды нашей культуры. Это и крупномасштабные Дни литературы и искусства братских республик, которые у нас регулярно проводятся с особой содержательностью и сердечностью. И массовые литературно-художественные праздники — такие, как Шевченковский праздник поэзии «В семье вольной, новой». Это и локальные (коллективные и индивидуальные) творческие встречи, отчеты, читательские и зрительские конференции, дни литературы, театра, кино на отдельных предприятиях.

В свое время наши кинематографисты решили провести в рабочем городе Жданове республиканские фестивали «Человек труда на экране». Три таких фестиваля состоялись. Казалось бы — разовые, хоть и повторяющиеся через два года мероприятия массово-пропагандистского, культурно-шефского характера. На самом деле не так. Очень содержательными для кинематографистов стали творческие дискуссии в рабочих коллективах во время фестивалей. И они же привели к установлению постоянных, творчески полезных для работников кино связей. Например, клуб «КИТЫ» («Кино и ты») в азовстальстроевском Дворце культуры стал своеобразной испытательной и творчески разведывательной площадкой для Одесской киностудии. Здесь регулярно проводятся премьеры и обсуждения фильмов. В Жданове кинематографисты часто знакомятся со своими будущими героями, формируют новые творческие замыслы. А строительные объекты треста стали привычной съемочной площадкой кинолента о людях труда. Последняя работа одесситов на эту тему — фильм «Крупный разговор» —

можно сказать, полностью создан в городе металлургов. В основу его положены конкретные факты трудовой биографии знатного азовсталестроителя Героя Социалистического Труда Михаила Бодашевского.

Говоря о значении коллективного творческого содружества, мы, конечно, понимаем, что тут не все как следует отлажено. Нередки излишние парадность и шумиха. Причем, как правило, в начале дела. И совсем тихо, скромно все происходит, когда нужно подводить итоги при невыполненных обязательствах и малоприметных результатах. Такое бывает. Еще немало встречается формализма. Прямо скажем, не любят порой наши художественные коллективы сотрудничества с отстающими предприятиями. Бывало подчас, когда выполнение договора, заключенного с преуспевающим трудовым коллективом, фактически прерывалось творческими работниками из-за того, что коллектив оказывался в полосе производственных неудач.

И все же партийные организации республики активно поддерживают развитие различных форм творческого содружества художественной интеллигенции и коллективов трудящихся, оказывают всестороннее содействие их углублению, считая их важным фактором в дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы.

6

Укрепляя связи литературы и искусства с жизнью трудовых коллективов во всем разнообразии этих форм, призывая художников к углубленному изучению конкретных аспектов производства, его реальных проблем, партийные организации не забывают, не могут забыть, что главная цель литературы и искусства — человековедческое исследование и отображение действительности, ценностей, проблем и задач современности. В центре литературы и искусства были и остаются человек, его мораль, его заботы и переживания. «...без «человеческих эмоций», — писал В. И. Ленин, — никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины»².

Исследование обширного мира «человеческих эмоций», внутреннего, идейно-нравственного, психологически активного мира советского человека-труженика — сложнейшая творческая задача. Эту задачу в свое время прекрасно сформулировал А. В. Луначарский: «Надо открыть восхищенным взором душу пролетария, открыть, как бесценное золото, для того, чтобы радостно ковать из него чудесные шедевры».

В литературе и искусстве Украины, как и во всей советской культуре, отзывалось, по справедливому утверждению товарища Л. И. Брежнева, «растущее внимание нашего общества к вопросам морали».

Русло творческих поисков художественной интеллигенции республики идет в том же направлении, которое обозначено лучшими явлениями литературы и искусства, наиболее значительными работами советских мастеров во всех других областях искусства.

Проблема нравственного воспитания, становления личности раскрывается в украинской литературе и искусстве на материале самых разнообразных ситуаций современной действительности и исторического прошлого, в которых оказывался и оказывается герой — человек труда. Это и требующая высокого духовного напряжения борьба кадрового рабочего за утверждение высокой моральной чистоты в решении сложных задач трудового коллектива и в испытаниях личной жизни, против всяческих проявлений потребительства («Лихобор» В. Собко). И высшая нравственно-психологическая мобилизованность, готовность заводского инженера сделать как можно больше полезного в самое короткое, оставшееся у него время («За неделю до пуска» В. Добровольского).

Интересной и содержательной попыткой отображения духовной полноты, стойкости в испытаниях и идейно-нравственного превосходства советского человека является политический роман К. Кудиевского «Легенда о Летучем голландце». Критика очень живо откликнулась на появление этой книги, в целом весьма положительно ее оценила. Прежде всего за аргументированное, убедительное, публицистически острое и контрпропагандистски активное утверждение духовного мира советского человека как высшей отметки общечеловеческого нравственного роста.

Высоко оценивая вклад творческой интеллигенции республики в исследование жизни и воспитание нового человека, мы не скрываем, что иногда продолжают по-

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 112

являться произведения художественно несовершенные, не волнующие людей, а порою страдающие примитивизмом и безвкусицей. Есть и такие писатели, работники культуры, которые, по характеристике В. В. Щербицкого, «если и вторгаются в жизнь, то, как говорится, „медленным шагом, робким зигзагом“».

Прошедшие после партийных форумов республиканские съезды писателей и кинематографистов, пленумы правлений творческих союзов, собрания художественных коллективов неопровержимо показали, что наша творческая интеллигенция очень правильно воспринимает и высокую оценку ее труда, и критические замечания, высказанные в ее адрес с трибуны XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Украины.

Не было ни одного выступления на VIII съезде писателей республики, в котором не прозвучали бы слова искренней заботы о путях и средствах проникновения в глубины нашей действительности, об укреплении связи литературы с жизнью во имя высшего смысла литературного творчества. Делегаты и гости писательского форума единодушным одобрением встретили мнение бригадира фрезеровщиков завода «Ленинская кузница», депутата Верховного Совета УССР И. И. Радзиевского о том, что стремление мастеров слова «быть на острие проблем, которые волнуют производственников», необходимо «еще более приумножать».

Большое внимание на съездах творческой интеллигенции Украины было уделено и проблемам, сущность которых так глубоко и четко сформулирована в выступлении члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС товарища Суслова М. А. на Всесоюзном семинаре-совещании идеологических работников: «...в условиях обострившейся идеологической борьбы творческие союзы, редакции должны быть предельно внимательны к мировоззренческим вопросам, идейной направленности искусства, его партийности и народности».

Решения съездов приняты всеми писателями и работниками культуры как новое проявление подлинной заботы партии о развитии нашей литературы и искусства, как надежный путеводный ориентир в больших творческих делах для каждого художника и как программа дальнейшего культурного расцвета страны. Это воодушевляет деятелей литературы и искусства на создание новых, отвечающих современным задачам произведений.

Партийные организации республики ныне направляют свои усилия на то, чтобы, последовательно осуществляя курс XXVI съезда КПСС в области культурного строительства, оказать эффективную помощь художественной интеллигенции в ее большом, необходимом обществу труде.

Предметное внимание вопросам развития литературы и искусства в республике было уделено на собрании партийного актива Украины, посвященном обсуждению итогов XXVI съезда КПСС, организации выполнения его решений. Одобрены на активе мероприятиями предусматривается, например, изучение и обобщение опыта работы парторганизаций по идейно-политическому воспитанию работников культуры, укреплению их связи с жизнью трудовых коллективов, совершенствование системы государственных заказов на новые произведения, улучшение использования памятников истории и культуры в воспитательной работе, проведение научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов и смотров, осуществление ряда других важных мер. Все это, несомненно, будет способствовать новым успехам украинской художественной культуры как активной составной части единой многонациональной советской культуры.

Провозглашенная партией неизменность ее стратегической линии на дальнейшее процветание и развитие «общества людей труда», на счастье человека-труженика, на всестороннее гармоническое развитие его личности, несомненно, отразится в нашей литературе и искусстве новым подъемом художественного исследования социалистического образа жизни, духовной сущности рабочего человека нового типа, его высоких нравственных принципов.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА А. ТВАРДОВСКОГО Б. ИРИНИНУ

Поэт-переводчик Борис Иренин (настоящая фамилия Бурштын, 1893—1964) в начале 20-х годов был одним из организаторов трудовой артели художников слова «Арена» в Смоленске. В газетах «Рабочий путь», «Большевицкий молодец», в журнале «Наступление» регулярно появлялись его рецензии на театральные спектакли. В 1929 году М. Исаковский, хорошо знавший Бурштына еще со времен «Арены», познакомил его с переехавшим в Смоленск молодым поэтом Александром Твардовским. По всей видимости, Бориса Сергеевича заинтересовали стихи Твардовского, талант которого он не мог не оценить. Постепенно знакомство переросло в дружбу, продолжавшуюся не одно десятилетие.

Александр Трифонович с большим уважением и искренней любовью относился к своему старшему другу, своему учителю, как назвал он Бориса Сергеевича в одном из очерков, ценил его знание литературы, вкус, прямоту, искренность, умение быть выше мелких житейских неурядиц. Твардовский дорожил мнением Бориса Сергеевича, охотно читал ему свои новые произведения.

В конце 30-х годов, после переезда в Москву, Борис Сергеевич посвятил себя переводам на русский язык произведений поэтов национальных республик. В ЦГАЛИ (ф. 2573, оп. 1, ед. хр. 23) хранится отзыв Твардовского о переводе поэмы классика чувашской литературы К. Иванова «Нарспи»: «Ознакомившись с переводом Бориса Иренина замечательной чувашской поэмы «Нарспи», должен, признать, что сделан он мастерски, добросовестно и очень ярко передает поэтическое очарование этого произведения. Перевод безусловно будет иметь успех у русского читателя. Издание его представляет собой значительное литературное событие. 15. IX. 1947. А. Твардовский».

В годы Великой Отечественной войны Борис Иренин обратился к переводам с литовского и марийского. На одном из подаренных Борису Сергеевичу изданий «Василия Теркина» участвовавший в конце лета 1944 года в освобождении Литвы от немецких захватчиков Твардовский после автографа «Борису Сергеевичу Бурштыну и Елисавете Яковлевне, моим штатным читателям, с признательностью — А. Твардовский» сделал в скобках шуточную приписку — «папулькапинкас», что значит по-русски «подполковник». В этом чине был тогда Александр Трифонович.

Твардовский охотно сотрудничает с Борисом Сергеевичем и как редактор его перевода «Нарспи» и как соредатор «Антологии белорусской поэзии» (1952), куда вошло более 30 переводов Бориса Иренина.

Письма Б. С. Бурштыну¹ интересны не только тем, что раскрывают нам некоторые черты внутреннего мира Твардовского и его взаимоотношения с адресатом. В них содержатся высказывания о литературе, о работе поэта-переводчика, дана высокая оценка переводческой работы С. Я. Маршака. В них, наконец, рассказано о начале работы над «Василием Теркиным».

¹ Публикация Е. Я. Бурштын и Р. М. Романовой. Вступительная заметка и примечания Р. М. Романовой.

² Письма Твардовского Бурштыну хранятся в ЦГАЛИ (ф. 2573, оп. 1, ед. хр. 83).

[Конец сентября 1941 г.]

Дорогой друг Боря!

У меня просил Деггиз книжку стихов, написанных на фронте¹. Это для меня важно [главным] образом с точки зрения денег для семьи, которая живет на тысячу рублей по аттестату. Прошу тебя, добрый мой друг, займись этим делом. Прости, что пишу тебе впервые; если ты человек разумный (а ты — «да», разумный!), ты поймешь, что дело здесь не в том, чтобы я не мог написать, а в иных причинах. Если нам еще придется встретиться, милый Борис, то все мы обговорим. Правда, я теряю прежнюю словоохотливость, все говорят сейчас много.

Чем я могу отдарить тебя за твою большую и нежную дружбу к себе? Ты прощал мне многое, чего не прощали мне всю жизнь люди (и справедливо), и был всегда чуток, даже к слабостям. Не утаю, что мне дорого и твое отношение к моему таланту (пусть преувеличенное).

Целую тебя крепко. В единственном письме, полученном от М[арии] Илларионовны, она пишет о твоей заботливости² и пр. Еще и еще раз спасибо, дорогой мой. Привет сердечный Елисавете Яковлевне и Ирине³.

¹ Имеются в виду стихи, написанные во время войны с Финляндией: А. Твардовский, «Фронтовые стихи» (М.—Л. «Детская литература», 1941).

² Летом 1941 года Твардовский с семьей жил на даче в деревне Грязи под Звенигородом, где и застало его известие о начале войны. Перед отправкой на фронт он не успел перевезти семью в Москву. Эту миссию взял на себя В. С. Бурштына... Мария Илларионовна Твардовская — жена поэта.

³ Жена и дочь В. С. Бурштына.

Москва, 8.VII.42.

Дорогой мой Борис Сергеевич! Письмо твое мне переслали в редакцию «Красноарм[ейской] правды», где я ныне работаю, а потом, вдруг, меня начальство отпустило в Москву до 1-го августа. Отпустило оно меня с наивной целью получить к означенному сроку целую поэму. Речь идет о той штуке, над которой я возобновил работу¹, когда находился в Москве. Конечно, я ее не напишу к 1-му августа, но поработать поработаю. И то счастье. Вот и все о нынешних обстоятельствах моей жизни. Написать тебе я давно собирался, но не знал адреса, мог даже спутать твою республику с другой. Правда, я говорил с Ковальчик² относительно вызова тебя в Москву, она пообещала [..].

Безнадежное дело, дорогой мой, пытаться изложить все, что прошло сквозь душу за этот год, и я не буду пытаться. Займемся тобой, поскольку о себе я общился в первом абзаце. Ты должен ехать в Москву (без семьи). С семьей ехать не стоит. Но сам ты будешь здесь работать и зарабатывать хорошо. Ковальчик очень хочет тебя иметь в редакции, очень ценит тебя. Ты полностью прищелся ко двору. Ехать же с Ел. Як. и Ириной — неразумно, да и не по чину роскошь. Этак ты еще долго будешь ждать. Взвесь все и реши. Я желаю тебе добра и пользы делу. Хорошо б тебе выбраться до конца м-ца, мы бы увиделись, поговорили, показал бы я тебе что-нибудь из нового.

Большое, большое тебе спасибо за помощь моим во всяческих посылочных и пр. делах. М[ария] Ил[ларионовна] очень нежно отзывалась о тебе, чему я и сам удивился, т. к. она относилась к тебе всегда с известной сдержанностью.

В Союз писателей вступай, иначе, насколько я понимаю, тебе не дадут обедать в клубе. Рекомендацию прилагаю. Думаю, что заверять в домоуправлении не нужно.

Крепко жму твою руку, пищи, едь в Москву.

Поклон мой Е. Як., Ирине.

Твой ст. бат. комиссар А. Твардовский.

¹ Имеется в виду поэма «Василий Теркин», которая начала печататься на страницах «Красноармейской правды» 4 сентября 1942 года.

² Ковальчик Евгения Ивановна (1907—1953) — русский советский литературный критик. В те годы заместитель редактора «Литературной газеты».

Москва, 30.XI.42.

Дорогой Борис Сергеевич! Получил твое письмо полевой почтой. Очень прошу не обижаться на прерывность и кажущуюся невнимательность в переписке — жизнь моя довольно хлопотная и нервная. От самого главного, что я должен бы

делать день и ночь — от моей начатой работы, — меня отвлекают и обстоятельства службы, и заботы о семье, и десятки звонков в день (я живу сейчас на своей квартире¹), и заботы о каждодневном быте и т. д. Не мудрено, что в этой суете, из которой я все же стараюсь лучшее время суток отвоевать для работы, я не всегда аккуратен. Это не есть хорошо, но это есть и это, боюсь, будет еще долго.

Ругал тебя, что ты не принял хорошее предложение, которое тебе организовал Маршак. Но жалеть теперь об этом не нужно. Окапывайся и занимай оборону. На днях уеду на фронт, затем обещают отпуск. Привет Е. Я., Ирине.

А. Твардовский.

¹ В те годы Твардовский жил на улице Горького, д. 15, кв. 33.

(Художественная открытка) 22.XII.44.

Дорогой Борис Сергеевич!

Поздравляю тебя с новым годом и желаю тебе всего, чего ты сам желаешь.

Адрес дом[ашний] не мог вспомнить, решил, что ты в клубе бываешь часто, влекомый соображениями ресторана и бильярдом.

Привет Елисавете Яковлевне и дочке.

Твой А. Твардовский.

Позвони М. Ил-не.

На лицевой стороне открытки — изображение играющего на гармонии Василия Теркина. Вдоль мехов гармонии строки из поэмы:

«Праздник близок, мать Россия,
Обрати на Запад взгляд:
Далеко ушел Василий,
Вася Теркин — твой солдат.

А. Твардовский».

Автор открытки — художественный редактор журнала «Фронтовой юмор», издававшегося политуправлением Западного фронта, ныне народный художник РСФСР В. Н. Горяев. Такая же открытка с новогодним поздравлением была послана и С. Я. Маршаку.

Москва. 4.IX.54.

Дорогой Борис Сергеевич!

Получил твое доброе послание — спасибо за память, за твои сердечные пожелания мне, только я должен сказать, что во всем том, о чем так или иначе идет речь в письме, суть — главная — не в моей личной литературной судьбе — она не такая уж в данном случае унылая. Меня все это, что произошло в литературной жизни в последний год¹, печалит, конечно, последствиями в общем нашем деле. Многие мои товарищи и даже друзья, желая поддержать во мне «бодрость духа», говорят обо мне, имеют в виду мое положение, не понимая, что все происшедшее и происходящее касается их не в меньшей мере и в тем большей для каждого степени, чем серьезнее и сознательнее он относится к своему призванию, профессии, долгу и т. п.

Вот такая картина, Борис Сергеевич, хотя и выраженная туманно. Впрочем, для меня уже проходит срок праздных размышлений на этот счет, утомительных своей непродуктивностью. Привыкаю понемногу «возделывать свой сад», что дальше будет — увидим. Есть же еще сколько-то пороку в пороховницах.

Хочу послать тебе новое издание моего двухтомника, но откладываю это по техническим причинам. Если бы ты как-нибудь собрался ко мне заглянуть, то унес бы на себе эти кирпичины, а я сберег бы 12 руб., которые нужно платить за пересылку по почте. Учти это.

Мой поклон Елисавете Яковлевне.

Твой А. Твардовский.

¹ Речь идет о рассмотрении на Президиуме Правления ЦП СССР вопроса об ошибках журнала «Новый мир» (11 августа 1954 года).

Ялта, 10.I.58.

Дорогой Борис Сергеевич!

Очень рад был получить от тебя письмо, хотя наполняющий его тон упрека ко мне, как мне кажется, не заслужен мною. Хочешь быть понятым другим — постарайся понять и этого другого. Да, когда-то мы чаще виделись, но это было в чиную пору твоего существования, я тебе больше был нужен — в этом нет ничего зазорного, это порядок вещей: когда ты стал более укрепившимся в своих литературных и бытовых делах, ты, естественно, отделился. Я не знаю за собой, чтобы я не ответил на твое письмо или что-нибудь в этом роде, но и с моей стороны не было такой уж горячей активности к удержанию тебя в орбите частых встреч и т. п., хотя, говоря эту правду, я скажу и ту, что мне всегда было и будет приятно с тобой встретиться, поговорить, поделиться самым чем-нибудь даже серьезным. И напрасно ты занимаешься самоуничижением, ты знаешь и должен знать, что я очень ценю твою литературную, т. е. переводческую работу, считаю, что это вообще незаурядное дело — в зрелом возрасте обратиться к ней и утвердиться в ней настолько, что у тебя просто есть репутация отличного переводчика-профессионала. Ты не Маршак, чтобы я умолчал перед тобой (он просто старше тебя) о том, что переводческий труд — труд несколько исполнительский, т. е. как бы в некотором смысле вторичный, его трудно равнять с трудом, где происходит высекание искры из мертвого камня, нетронутого до тебя, хотя и в переводе можно достигать очень высоких потолков (Маршак), сближающих почти это дело с самостоятельным творчеством. Но ты не имел по началу твоей деятельности выбора, ты должен был делать, что дадут — хорошо ли оно, по душе ли, — об этом не приходилось толковать. И в этом смысле ты — не Маршак. Но, повторяю, приbedнаться тебе нечего, слава богу.

Словом, я не могу принять твоих упреков в черствости и официальнойности тона, какой будто бы усмотрела, напр., Елисавета Яковлевна у меня, — такого рода вещи обо мне говорят нередко и другие люди. Все может быть, но сознательного напускания на себя «вида» у меня не было и нет. Но и моя жизнь, которая, м. б., со стороны кажется кому-нибудь даже благополучной, осложнена и узавлена тысячами разных тяжелых вещей — у меня просто довольно часто бывает не очень весело на душе. Здесь — вот — лучше: меня здесь никто не терзает, я могу «владеть днем моим», а когда есть это, то и настроение иное.

Всего тебе доброго, старина. Поклон мой и М. И. с Олей¹ Елисавете Яковлевне. Не поленись — напиши сюда, я еще здесь побуду, пожалуй, с м-ц, если не будет помех.

А. Твардовский.

¹ Младшая дочь А. Твардовского.

Ялта, 25.I.58.

Дорогой Борис Сергеевич!

Рад твоему отклику, и очень хорошо, что дело не пошло по линии «выяснения отношений», ибо правду говорят, что лошади, никогда не выясняющие отношений, редко доходят до самоубийства. А сегодня получил телеграмму¹, спасибо, но, право же, эта книжка только и была у меня под рукой, а для подарка она очень уж непрезентабельна.

Живу я по-прежнему, т. е. хорошо, тихо, без заседаний и пр. мероприятий, понемногу сочиняю, читаю, гуляю. Моя жена и дочь тоже ничего здесь, но хуже то, что Валя² там, в Москве, болеет[...]

На днях получил письмо от Мих. Вас-а³ — давно уж не слышал его, он что-то все хворает, жалуется на гипертонию. Я бы ему предложил выехать из Москвы, где он просто терпит недостаток воздуха, но знаю, как он решительно отклоняет такие предложения, боится расстаться со своей жарко натопленной квартирой. А зря, тем более что здесь и нужники теплые, и гор. вода, и тепло вообще. Не думаешь ли поразмять кости? Если тебя не удерживают какие-нибудь особенные дела, то ты бы очень умно сделал, приехав хотя бы сюда, где просто рай в смысле малолюдья и всяческого удобства. Мы здесь будем до 15 февраля. А 28 января — тут у меня семейный праздник: день рождения жены и дочери (Ольги) одновременно. Если вы с Е. Я. разоритесь на 3 рубля и поздравите их, я буду вам очень

признателен (на газетном языке это называется — «организовать отклики» — вот я и организую, правда, среди очень узкого круга, вернее даже сказать — полукруга).

Засим — мой поклон Елисавете Яковлевне и привет Ирине Борисовне, а тебя, песочницу, я обнимаю и желаю всем добра. Мои именинницы кланяются вам, не зная, конечно, о моих организационных затеях.

Ваш А. Твардовский.

Ольге — 17 исполняется, М. И. значительно больше, настолько, что я не считаю необходимым быть точным, — дамы есть дамы.

¹ Телеграмма, посланная Бурштыном в ответ на полученную от Твардовского книжку.

² Старшая дочь поэта.

³ Михаил Васильевич Исаковский.

Москва, 5. XI. 61.

Дорогой Борис Сергеевич!

Ты, конечно, совершенно напрасно говоришь, что будто бы твое мнение для меня не так уж важно, что это дань форме. Горе, если такая общественная акция, как выступление на съезде (да и всякая другая), не обусловлена тем, чтобы потом не стыдно было встретиться с добрыми друзьями. Ты это сам отлично понимаешь, и большое тебе спасибо за твое полное понимание задачи, стоявшей передо мной, и за дружески-благожелательную оценку ее выполнения.

Я далек от представления о совершенстве или безупречности моей речи¹, но я, по правде, испытываю чувство удовлетворения — и не могу представить себе, как бы я чувствовал себя, если бы не выступил.

Резонанс ее очень большой и серьезный, люди в ней услышали, м. б., гораздо больше того, чем было сказано мною. Почта — волнующая до слез. И, повторяю, мне приятно и дорого, что среди писем и телеграмм — много подписанных именами друзей.

Что ты переставил страницы письма «сзади наперед» — это еще не старость, а вот то, что ты зазнался и не растешь больше, почивая на лаврах, это, пожалуй, она и есть! Берегись!

Поздравляю тебя, Елисавету Яковлевну и всю фамилию с наступающим праздником. Желаю здоровья и по возможности счастья.

Обнимаю тебя.

А. Твардовский.

¹ Речь Твардовского на XXII съезде КПСС, произнесенная им 27 октября 1961 года.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РОМАН НАШИХ ДНЕЙ

В конце июня начинается свою работу Седьмой всесоюзный съезд писателей, призванный широко обсудить итоги и перспективы литературного развития, пути дальнейшего углубления метода социалистического реализма. Принимая участие в предсъездовском обмене мнениями, авторы «Нового мира» доктора филологических наук А. И. Овчаренко и М. Н. Пархоменко делают своими наблюдениями над современной прозой. Вполне естественно, что внимание и одного и другого прежде всего привлекают такие видные романы последнего времени, как «Твоя зоря» Олеся Гончара, «Выбор» Юрия Бондарева, «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. На их примере авторы стремятся выявить тенденции современного художественного процесса.

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

Романы последнего времени, один за другим появившиеся на страницах журналов, — «Выбор» Ю. Бондарева, «Твоя зоря» О. Гончара, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Возьму твою боль» И. Шамякина, «Победа» А. Чаковского, «Война» И. Стаднюка (к ним можно присоединить и «Разгон» П. Загребельного, ставший по-настоящему известным общесоюзному читателю в 1980 году из «Роман-газеты») — созданные писателями разной ярко выраженной творческой индивидуальности, поражают общностью многих своих особенностей. Прежде всего их авторы стремятся постичь современную действительность в единстве прошлого, настоящего и будущего, рассматривают ее, так сказать, планетарно, выявляя роль и значение опыта нашей страны в судьбах всей земли, всего человечества. Строитель нового мира предстает в удивительном многообразии его связей с нашей историей, народом, человечеством. В романах господствует эпическое начало — философский, мыслительный, интеллектуальный, духовный элемент не просто доминирует, а определяет все остальное. Героев волнует все, что происходит в мире, над всем они размышляют напряженно и, в общем, плодотворно. Это

не мешает авторам стремиться к углубленной психологической разработке характеров. Реализм их я определяю как суровый, несмотря на то, что он соединяется в некоторых произведениях с удивительной, пусть и скрываемой авторами нежностью и почти щемящим лиризмом. Добавлю: часто имеешь дело с трудными произведениями в том смысле, что они не поддаются однозначному истолкованию, как не поддается ему сама изображаемая в них действительность.

Остановлюсь на тех особенностях романов, которые считаю показательными для развития всей советской художественной прозы в конце 70-х — начале 80-х годов. Говоря по необходимости лишь о названных книгах, держу в уме и тот опыт, что закреплен в таких произведениях, как «Тяжелый песок» А. Рыбакова, «Картина» Д. Гранина, «Дом для внука» А. Жукова, «После бури» С. Залыгина, «Стальной монумент» С. Сартакова, «Каратели» А. Адамовича, в такой совершенно своеобразной книге, как «Память» В. Чивилихина.

В статьях «Цена выбора» Ф. Чапчачова и «Книга тревоги и надежды» М. Козьмина, появившихся в периодике в связи с выходом романа «Выбор» Ю. Бондарева,

обращает на себя внимание одно и то же слово в подзаголовках: «Размышления». Мне кажется, именно в этом, в серьезных и глубоких размышлениях, диктуемых сопоставлением литературы и жизни, сегодня больше всего нуждается наша литературная критика. На этот путь, означающий более высокий уровень развития критической мысли, подталкивают ее и читатели и писатели. Как я уже сказал, размышления о нашей жизни составляют существо многих романов, о которых идет речь. Над самыми острыми проблемами ее неотрывно думают герои, думают вместе с ними авторы, не опасаясь вводить в произведения публицистику (я бы сказал, целые философские и научно-технические трактаты, не будь последнее слово таким путающе сухим). И если бы надо было придумать заголовок для обобщающей статьи о новейшем романе, я предложил бы такой: «Наша литература — наша жизнь».

Привлекшие мое внимание романы написаны очень не похожими друг на друга писателями, написаны с разной степенью художественности. Больше того, некоторые в свою очередь внутренне неровны, кое в чем уязвимы композиционно, как мне кажется, страдают сюжетной гипотонией, затянутостью повествования. Не сомневаюсь, что одних авторов критики и читатели будут упрекать в недостаточной психологической свежести и уплотненности, даже в имитации ее, других — в неэкономности письма, третьих — в том, что военные сцены удаются им больше, чем описание нашей нынешней жизни. Предвижу замечания и о вторичности отдельных коллизий, некоторых образов. И при всем этом полагаю, что большинство критиков и читателей признают неординарность произведений, суровость их реализма, бесстрашие авторов перед самыми жестокими жизненными ситуациями (такими, например, в каких действуют герои третьей книги «Войны» И. Стаднюка, или теми, что привели к ошибочному выводу Илью Рамзина в романе Ю. Бондарева) и — самое главное — масштабность, с какой авторы подходят к жизни, к человеку, к миру.

Перед нами советские люди, занятые совершенно конкретными делами, и вместе с тем люди, от которых непосредственно зависят судьбы всей земли. Выбор, сделанный советским народом в 1917 году и такой невосполнимой ценой подтвержденный в годы Великой Отечественной войны, ныне имеет всеопределяющее значе-

ние! Противостояние двух миров, обуславливающее конфликты в романах Ч. Айтматова, А. Чаковского, О. Гончара, Ю. Бондарева, И. Стаднюка, перерастает в проблему позитивного будущего всего мира. Драматизм проблемы раскрывает Ч. Айтматов, утверждая, что социальные противоречия, все еще обременяющие землю, закрывают нам путь к общению с более совершенными, чем наша, внеземными цивилизациями. Вслед за Л. Леоновым автор романа «И дольше века длится день» смело пользуется элементами фантастического, легендами, мифом, притчей, заостряя, по его словам, «в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле». Тем самым социальные, экономические, экологические планетарные проблемы сразу поднимаются на новый уровень.

Ему, этому уровню, соответствует и разработка темы последней войны, как она преломляется в героях «Победы», «Выбора», «Войны». Заслуживает поддержки попытка писателей придать новое качество психологизму в советской литературе (романы «Выбор» Ю. Бондарева, «Возьму твою боль» И. Шамякина). И все это подчиняется глубокому художественно-философскому осмыслению судеб мира, раскрываемых через сопоставление двух социальных систем. Само же сопоставление все отчетливей освобождается от элементов упрощения, приобретает реальную наполненность.

Иначе говоря, советская литература выходит на новый уровень — тот, что был подготовлен для нее творчеством М. Шолохова, Л. Леонова. В самобытной форме он еще раз продемонстрирован публикацией отрывков из нового романа Л. Леонова. Увы, наша критика еще не осознала настоящего этого урока. Но, читая романы Ч. Айтматова и Ю. Бондарева, я обрадованно обнаружил, что сама проза не прошла мимо преподнесенного ей урока. Радуют и генетические связи, обнаруживаемые, скажем, между последними произведениями Л. Леонова и «Выбором» Ю. Бондарева, «Бегством мистера Мак-Кивли» Л. Леонова и романом Ч. Айтматова, и то, что романисты действительно, если пользоваться излюбленными выражениями Л. Леонова, стремятся осмыслить «самый трудный перелом из позавчера в послезавтра», не отворачиваясь от скрытых ям и завалов, что подстерегают человечество на этом переломе, стремятся «к трезвому осмыслению обстановки и к мужеству». И, как было

сказано, они смело соотносят наше время с будущим, стремясь, если опять-таки говорить излюбленными словами Л. Леонова, определить местонахождение современного человека на координатах большой истории.

В литературе этого уровня пристальное внимание к самым мелким подробностям быта соединяется с умением подниматься от них к главным составляющим человеческого бытия, а исторический оптимизм — с умением говорить читателю суровую правду о беспримерной сложности, даже трагичности движения человечества вперед, все-таки вперед и выше. В результате и волнующая человечество проблема научно-технического прогресса приобретает в нашей литературе все более «подчиненное» значение, оттесняется на подобающее ей место действительно куда более решающей проблемой судеб человека и человечности на земле.

Романы прочтены. Первая мысль: несомненно, это взлет. Но потом наступает период длительного и мучительного размышления над прочитанным. Многое открывается впервые при перечитывании глав, отдельных страниц. Эпизоды, взволновавшие при первом чтении, вдруг словно выпали из памяти, зато неотступно стали притягивать к себе фрагменты, сцены, сюжетные повороты, оцененные лишь после второго чтения как решающие, как новое слово в литературе.

Сколько раз уже в советской литературе описывалась Москва середины октября 1941-го. Я всегда с особенным интересом читаю такие описания, ибо собственными глазами видел московский октябрь. Но вот прочел седьмую главу романа Ю. Бондарева «Выбор» — и все повернулось еще одной стороной, предстало передо мной таким, каким было увидено глазами Ильи Рамзина и Владимира Васильева, ощущено кожей их. На меня повеяло «из тьмы улич шершавым ледяным пеплом и опасностью», «стало вдруг закрадываться и расти... давящее, беспокойное чувство», и я, как герои «Выбора», снова ощутил «острую сырость земли и асфальта». После чтения романа Ю. Бондарева мне показалось, что я тоже однажды ночью 1941-го видел «две крупные звезды, одна воспаленно-красная, другая пронзительно-белая, как два до предела раскаленных зрака Вселенной, глядящих из беспредельных пространств мрака на землю». И теперь мне тоже они представляются «роковым предзнаменованием, тем более что две огненные звезды рядом, сближение их, по древнему календарю...

обозначалось двумя смыслами: смерть Цезаря и гибель великой державы». И тот серый, пасмурный, недоброй памяти день тоже в бесчисленных деталях снова стоит перед моим взором. Горечь его я до сих пор ощущаю. Горечь, не развешую душу тогда только потому, что я, так же как молодые герои Ю. Бондарева, наблюдавшие события того сумрачного дня, не верил в то, что «угроза велика и смертельна», и не просто не мог представить себе эту часть нашей земли в подчинении враждебной чужой силы, но, как Илья и Владимир, еще не испытыв до конца гибельного страха, защищенный неутраченной верой, надеждой юности, едва терпел сомнение в других, презирал «слабость как трусливое малодушие». И я благодарен писателю за объяснение моей тогдашней горячности. «...в пору октября сорок первого года была та искренняя чистота, наивная вера юности в справедливость и честность человеческого мира, которая потом четыре года зажигала костры самосожжения». Это придавало нам беспримерную моральную силу.

Не артиллерист, не берусь судить, правильно ли действовали Илья Рамзин и Владимир Васильев в ту роковую ночь, когда Воротюк не прикрыл батарею ни взводом, ни отделением пехоты и ее обошли немцы, но хаос той ночи наваливается на меня при чтении романа, как он навалился тогда на Илью и Владимира, придавив их к земле визгом, раскаленностью осколков, и каждый ждал «впивающегося удара в голову и мгновенного обвала в черноту».

По реальности изображения этот фрагмент романа сравним только с его заключительными главами, в которых Илья Рамзин кончает самоубийством. Боекоризненно точно в психологическом плане написан разговор Ильи с матерью, в небольшой степени определяющий роковую развязку. Райса Михайловна заранее была предупреждена Марией о том, что Илья жив и посетит ее. Тем не менее мать есть мать, когда он появился, она едва поднялась, когда же он обнял ее, «стояла омертвело, только белые губы ее шевелились, произносила неуловимые, еле угадываемые слова:

— Почему же ты, Илюша... так мог... Так долго?

— Мама, — бережно выговорил Илья в склоненном положении, не выпуская ее из объятий, с забытой неловкостью еще держа шляпу за ее спиной, но брови его прыгали, как от задущенных рыданий. — Мама,

дорогая моя, вы простите меня за все... Я виноват перед вами, виноват...»

С такой же точностью написано продолжение всей этой сцены, решающие слова матери: «Мне нужна была только твоя любовь, Ильюша. А ты мог всю жизнь без меня,— повторила Раиса Михайловна безучастно.— Прости, я все сказала... чтобы мы не мучили друг друга фальшивыми обязанностями».

Беру только самые значительные удачи писателя в новом романе. Их много, больших и малых, начиная с острых сюжетных поворотов и кончая мельчайшими деталями (например, умением Марии «так больно молчать» или манерой Ильи после долгого пребывания за границей чеканить по-русски каждое слово, что скрывает его опасение за верность произношения).

Бесспорный перевес крупных и мелких удач в «Выборе» не помешает мне, однако, сказать о том, что характеристическая деталь «заложить ногу за ногу», сопровождающая образ Марии от начала до конца романа, не представляется оригинальной и выразительной; замечание, что прежние ссоры Васильева с Марией были «мимолетные, как летний косой дождь», заставляет вспомнить аналогичное уподобление у Маяковского по поводу куда более значительному; «царский завтрак» тоже не находка, как не находка и такое описание волнующегося Васильева: «Он стал зажигать спичку, чтобы она прикурила, но сломал ее». Все мое прошлое — прошлое человека, принадлежащего к поколению, описанному в «Выборе» Ю. Бондарева, — бунтует против взаимоотношений Рамзина, Васильева и Нади, особенно против унижающей «податливости» последней. Конечно, наша юность не безупречна, но стоит ли хоть часть ее приносить в угоду литературной моде или искусственному стремлению показать, что нам тоже ничто «человеческое, слишком человеческое» не было чуждо? Быть может, мне показалось, будто писатель чересчур пристрастен к слову «сквознячок»? И почему-то слух мой сопротивляется эпитету «непреспанный», прилагаемому к слову «голос».

Примеры, вероятно, свидетельствуют о моей придирчивости, тем более что роман я считаю достижением нашей литературы, а не только ее автора. Говорю здесь о «Выборе», не связывая его с предыдущим романом Ю. Бондарева. Между тем внутренне они неразрывно связаны, как сиамские близнецы, и поэтому должны рассматриваться в единстве и как единство, несомненно, пред-

ставляют крупное художественное явление.

В романе «Твоя заря» Олесь Гончар идет к той же цели, что и Ю. Бондарев. К той же цели и — близким путем. Близким, но не тем, что Ю. Бондарев. Здесь тоже описывается наш текущий день, наша сегодняшняя жизнь. Но если у Ю. Бондарева два мира представлены в конкретных художественных образах главных героев, то у О. Гончара наша советская жизнь, взятая на всю ее глубину — в вертикальном и горизонтальном срезах, — непосредственно сравнивается с тем, что рассказчик и его друг, советский дипломат Заболотный, видят собственными глазами, находясь за рубежом нашей родины. В романе О. Гончара неповторимо воссозданы нравы, обычаи, трудовые заботы простых советских людей начиная примерно с 1920 года. Поражаешься, с какой ясностью и конкретностью воспроизведен писателем мир нашего детства и нашей юности: он не забыл ни «логов конопяных с духом солнца», ни того, как жаворонки бросались когда-то в ноги жнице, спасаясь от кобчика. «Роса по балкам такая обильная, что, если нужно ноги помыть или утренний сон разогнать, беги скорее туда, где спорыш да лопухи, там она до того крупная, что в капле и себя заспанного увидишь... А в степи! Там роса будет уже теплая, там она сверкает в чашечках белого вьюнка и на стебельках ржи, красный горошек светится ею и разные полевые цветы, которые ликут каждым лепестком, разбросанные всюду по межам среди дозревающих нив... Никто из нас не должен был исчезнуть, мы были там неумирающи и непреходящи, казалось, всегда мы будем и никогда не познаем утрат и, счастливые своей детской дружбой, навсегда останемся такими, каковы есть». Правда ведь хорошо?

За это богатство деталей, отчетливость их изображения почти прощаешь автору и некоторую сюжетную вялость, и вторичность отдельных ситуаций, например той, что связана с образами Романа Винника, его дочери Надьки и Мины Омельковича (сразу вспоминается «На Иртыше» С. Зальгина).

Картина нашей жизни, которую О. Гончар пишет в романе «Твоя заря» со знанием всех мелочей и с влюбленностью в эти мелочи, создается в прямом противостоянии Другой — картине капиталистического мира. Нельзя сказать, будто писателю недостает конкретных наблюдений для этой второй картины. Он не раз бывал за

границей, много видел, умело отобрал из своих впечатлений особенно характерное. И все же в его описаниях «того мира» элемент информации оттесняет изобразительность на второй план или даже подавляет ее. Вот типичный пример:

«Комментатор между тем сообщает, что в городах этого континента все большую популярность приобретает «Служба надежды». Предназначена она для людей, которым не к кому обратиться за душевной поддержкой, советом, успокоением, кроме разве что телефонной трубки (взгляды наши невольно фиксируют красный телефонный аппарат, промелькнувший в этот момент на обочине). Духовный этот сервис, по мысли комментатора, имеет те преимущества, что утешитель не спрашивает ни вашего имени, ни положения, ни адреса, отзывается на голос каждого, кто звонит в пункт «Службы надежды» в минуту критическую, в минуту отчаяния.

— «Служба надежды», о, если бы она да была всесильной! — невесело замечает Заболотный. — Советов много, прогнозов еще больше, а тем не менее с миром что-то все же происходит. Меньше смеха слышит планета — какой ведь серьезный симптом! Перемены в климате, человеческих душ, взаимная их отчужденность, разве мы этого не ощущаем повсеместно? Там убийство из милосердия, а там из жестокости, тупой, необъясненной... Ошалевшие от собственной бесчеловечности «кожаные куртки», которые носят еженощно на мотоциклах по улицам Токио, вообразив себя новейшими камикадзе или кем там еще... Неслыханный разгул воздушного пиратства... Похищение людей, отвратительный терроризм, нападения среди бела дня... А в роли утешителей то и дело выступают торговцы наркотиками, или, как их еще называют, торговцы миражами. Различных вещей развелось, астрологов, пастырей, а толку? Нет, не такая нужна людям «Служба надежды»...»

Привожу обширную выписку из текста, ибо она типична для всей линии, связанной с изображением в романе противостоящего нам мира. К тому же вспоминается, что пересказ сообщения комментатора о «Службе надежды» уже разрабатывался в нашей литературе С. Михалковым и был реализован в известном кинофильме.

Прямое противопоставление в романе двух миров, двух образов жизни придает выразительность картинам, рисующим жизнь подлинных создателей, подлинных победителей. Они идут трудным путем, но это победоносный путь. В изображении

О. Гончара жизнь человека богата солнцем. Но не менее богата она ошеломляющими лишениями. В этом отношении его роман прямо смыкается, с одной стороны, с «Выбором» Ю. Бондарева, с другой — с романом «И дольше века длится день» Ч. Айтматова.

Первый роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день» — а это его первый роман, ибо предыдущие произведения при всей художественной емкости создавались в жанре рассказа и повести, — произведение с глубокой философской основой и подосновой. В нем много внутренних течений. Здесь трудная, сложная, к сожалению, более противоречивая, чем нам хотелось бы, жизнь тоже берется в самых разных сопоставлениях с далеким и недавним прошлым, с жизнью противостоящего нам мира, наконец, с возможной жизнью, с очень высокой цивилизацией, я бы сказал, идеальной цивилизацией инопланетян. В отличие от Ю. Бондарева и О. Гончара автор романа «И дольше века длится день» не довольствуется только созданием реальных картин современной действительности, но щедро трансформирует легенды, предания, притчи, мифы, умело включает их в общую реалистическую панораму мира, тем обогащая и утлубляя ее.

Можно полностью согласиться с характеристикой романа, данной Е. Сидоровым: «И дольше века длится день» — роман сложного состава, где сплетаются быт и предание, реальность и фантазия, день и век. Писатель по-прежнему опирается на народные легенды и мифы, проверяя современность моральным опытом предыдущих поколений. И впервые вводит фантастический сюжет, космическую историю, которая, по его словам, сказанным в предисловии к роману, вымышленна с одной лишь целью — «заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле».

Сильнейшее, что есть в произведении, — это суровое изображение нашей повседневной жизни за последние сорок лет, стремление художественно осмыслить ее во всей ее многозначности и глобальности, а самое лучшее ее воплощение — образ рядового нашего труженика Едигея Жангельдина, или, как его еще называют, Едигея Буранного. Образ Едигея — образ монументальный, словно высеченный из цельного огромного камня. Прежде всего через образ Едигея — фронтовика, а потом железнодорожного рабочего предстает перед нами вся наша волеяная и послевоен-

ная жизнь. Да, и военная, хотя в романе нет ни батальных сцен, ни даже подробных рассказов о борьбе с фашизмом. Но писатель нашел удивительное по емкости и столь же удивительное по лаконичности средство, доносящее до нас все напряжение военных лет и, если хотите, даже напряжение битв на полях сражений. Вот как он это сделал. Казангап, работающий на разъезде Боранлы, почувствовал, как много сразу прибавилось ему работы, когда началась война. «И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих... Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков... Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом».

Поэтичность, песенность, насквозь пронизывающие роман, удивительным образом сочетаются в нем с суровостью, жесткостью реализма. Кажется, ни одного драматического узла в нашем бытии не опустил писатель (драма Казангапа в годы коллективизации, трагедия Абуталипа Куттыбаева в 1952 году) и о каждом сказал с безоглядной откровенностью и по-своему, хотя до него некоторых из этих узлов касались многие писатели. Острым драматизмом, даже элементами трагизма насыщены у Ч. Айтматова и незабываемо яркие картины бесконечно тяжелого и героического труда военных и первых послевоенных лет, когда Едигей и Казангап были молодыми и им «приходилось, ни с чем не считаясь, делать по разъезду всю работу, в какой только возникла необходимость». Теперь, говорит сам себе Едигей, «вслух вспоминать об этом неловко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего».

Что вносят эти новейшие романы в современный литературный процесс?

На мой взгляд, самое ценное заключается в стремлении их авторов рассматривать и изображать мир, место и роль в нем человека на новых координатах, показывать мир и человека, как недавно выразился О. Гончар в интервью газете «Со-

ветская культура», в неразъединимой глобальности.

В статье «Все касается всех», опубликованной в «Вопросах литературы», Ч. Айтматов писал: «Развитие нашей литературы лежит на путях глубокого и честного постижения современности, и в лучших наших книгах действительность показана с максимальной художественной многозначностью. Первостепенной остается задача осмысления нашего собственного бытия. Мы сами, а не наши потомки должны ответить, кто мы такие — люди XX века, каково наше социалистическое сообщество, в чем у нас плюсы и минусы в соотношении личности и общества, государства и личности, какова динамика нашей целостности в условиях сосуществования двух противостоящих систем. Долг литературы — мыслить глобально, не выпуская из поля зрения центрального своего интереса, который я понимаю как исследование отдельной человеческой индивидуальности. А все это требует от писателя расширения философского диапазона, усложнения мировосприятия, детализации психологического изображения нашего современника».

В рассматриваемых романах современность выступает в ее настоящей многозначности, осмысляемой писателями с философской углубленностью, крупномасштабно. Советский человек берется здесь в соотношении не только с нашей сегодняшней действительностью, но с жизнью всей земли. Он сделал выбор в 1917 году. И этот выбор в романах определяется как единственно верный для всех живущих на земле.

Каждый из писателей по-своему решает эту главную проблему века. А. Чаковский в романе «Победа» показывает исторический поединок между Сталиным — Трумэнном — Черчиллем, новую идеологическую схватку на совещании в Хельсинки. Его интересует нерв политических страстей, что в значительной мере определяет жанровую специфику создаваемого произведения. И. Стаднюк разрабатывает ту же проблему на сугубо военном материале, когда выбор утверждается оружием. Создаваемое им произведение — военный роман в самом прямом смысле этого понятия. Ю. Бондарев, соединяя прошлое с настоящим, разрабатывает проблему века в философско-психологическом плане. Он рисует встречу двух бывших друзей, волею судеб тридцать пять лет назад разведенных по разным берегам. В критической ситуации Илья Рамзин изменил своему первоначально правильно сделанному выбору.

Не прожив тридцать лет в чужом доме, он вернулся на родину, чтобы смертью доказать, что в XX веке возможен только один путь, о чем прежде всего сочли необходимым сказать критики романа.

Знаменательно, что написали они об этом почти одними и теми же словами. «Нет,— заявил М. Козьмин,— сила Ильи была недоброй силой. Ей не хватало совести. Это и предопределило в решительный момент тот выбор, который он сделал. И никакие обстоятельства — ни подлый наговор Лазарева, ни бесчеловечная жестокость Вороптока — не могут оправдать его предательства. Выбор — это реализация моральных качеств человека. Это то, в чем человек проявляется как личность, а не как пешка в руках некоей высшей силы, на которую пытается сослаться Илья. И если выбор сделан без участия совести, вопреки совести, за ним следует расплата».

Столь же бескомпромиссен и Ф. Чапчиков: «Что бы ни говорил Илья, какими бы «теориями» ни тешил себя, его душевное смятение, все его терзания свидетельствуют о том, что выбор, сделанный им, обернулся «бездонной пустотой». И уже не как недостойная много прожившего человека ребяческая бравада, а как стон, как выплеск годами копившейся боли, звучат мучительные признания: «Как только человек заглянул в свою душу, он познал ад», «Правда, как и память, дается человеку в наказание». И фраза в предсмертном письме, как говорится, подводящая черту под этими признаниями: «Никакого следа я не оставил после себя на земле». Своим выбором Илья предал все, что в юности было дорого и свято: друзей, мать, Родину. Как возмездие за этот выбор пришло ясное осознание того, что он «чужой», чужой родной стране, родной Москве, бывшему другу, даже матери, не простившей его».

Разделяя бескомпромиссность решения самого этого вопроса, нельзя все же не сказать, что даже этим далеко не исчерпывается найденная Ю. Бондаревым центральная коллизия в романе «Выбор». Что же касается Ильи Рамзина, то в интерпретации критиков его образ все-таки не столь многозначен, как в романе. Между тем он не менее сложен, нежели образ Владимира Васильева. А сложные образы в литературе не терпят однозначных толкований. Просчеты литературоведов и литературных критиков в интерпретации Григория Мелехова должны нас научить если не проницательности, то неторопливости. Привнесенный Ю. Бондаревым в образ

Ильи Рамзина элемент трагедийности, к тому же не обнаженный полностью в его истоках, обладает взрывной силой. Сама же трагедия Ильи Рамзина говорит в пользу нашего общего, народного выбора не меньше, чем мучительные размышления Владимира Васильева.

Не будем бояться слов и назовем мучительным духовное смятение, переживаемое Владимиром Васильевым. Его мучения как художника, как мужа, как отца доказывают, что правильно сделанный выбор требует от человека ежедневного, ежеминутного подтверждения на основе проверки соответствия этому выбору каждого твоего поступка, каждой мысли, каждого слова, ибо сам выбор еще не гарантирует ни от ошибок, ни от бесхребетности, ни от утраты главной цели. В самом деле, разве правильный выбор помешал самому Владимиру Васильеву в погоне за высшим мастерством, за красотой, которая, как верилось, способна спасти мир, просмотреть что-то главное в жизни и убедиться, что «счастья нет» его душе?

Думаешь и об удельном весе истины в многочисленных речах Лопатина, в его рассказах о неполадках в жизни, даже в самых спорных его утверждениях. И так ли уж все опровержимо в циничных, но не лишенных конкретности наблюдениях respectableного наглеца Эдуарда Аркадьевича Щеглова?

В споре со Щегловым выходит победителем Лопатин. Он защищает наш мир страстно и убедительно. Но это отнюдь не означает, что в самой жизни все столь же сбалансировано, как в данном случае в романе. Если мы умные и рачительные хозяева своей страны, нас не может не встревожить всерьез и все негативное, что заметил, походив по Москве, Илья Рамзин, не говоря уж о явлениях, вызывающих горечь и боль в душе Владимира Васильева, например тех, на которые вслед за героем обращает наше внимание и критик, когда пишет: «Тревогой за современного человека, утрачивающего что-то очень существенное в своей жизни, проникнуты и те страницы, где описываются переживания Васильева, с болью созерцающего, как сносятся старые особняки, как на их месте вырастают стандартные, построенные по западным образцам дома и разрушаются веками создававшийся неповторимый облик русского города».

Роман «Выбор» можно уподобить многоэтажному дому. Это относится и к образам и к композиции в целом. И тот, кто хочет понять его глубоко, должен пройти

по всем этажам, заглянуть во все углы.

Еще точнее роман «Выбор» уподобить структуре океанской толщи. Недавно мне довелось прочесть в одной газетной заметке: «Давно уже известно: она (океанская толща.— А. О.) неоднородна, разделена на слои, которые не только различны по температуре и солености воды, но и движутся друг относительно друга. Но какова толщина этих слоев? Назывались цифры в диапазоне от 100 до 1000 метров. Такой вертикальный «разрез» стал как бы классическим. Однако сомнения были, и мы нашлось подтверждение на практике. Родилось открытие. Член-корреспондент АН СССР А. С. Монин, доктор физико-математических наук К. Н. Федоров и кандидат технических наук В. П. Швенов обнаружили, что с разной скоростью и в различных, порой противоположных направлениях движутся куда более тонкие слои воды. Их толщина колеблется между 10 и 30 метрами. Они отличаются друг от друга и температурой, и соленостью, и плотностью. Это тонкослойное движение становится как бы составляющей вихревого, крупномасштабного перемещения океанических масс».

Нечто подобное наблюдается и в строении романа «Выбор» Ю. Бондарева, где насчитываешь чуть ли не до десятка течений по мере того, как погружаешься в его глубину, испытывая тепло, озноб, холод, вплоть до непроницаемой тьмы. И не всегда здесь сразу улавливаешь, откуда идут положительные, а откуда отрицательные импульсы. Чаще всего, кажется, от столкновения тех и других.

Лет десять назад романисты особенно старались удивить читателя новизной отдельного художественного приема, принципом композиционного построения, неожиданностью сюжетного поворота. В рассматриваемых произведениях авторы сознательно повторяют многое из того, что мы уже встречали в их предыдущих произведениях, начиная с излюбленного пересечения настоящего с прошлым посредством многочисленных и очень обширных ретроспекций. В романе «Выбор» тоже повторяются некоторые ситуации, варьируются отдельные образы, знакомые нам по роману «Берег». В частности, повторяя композицию «Берега», Ю. Бондарев завершает «Выбор» тоже философской главой. Трудные мысли терзают в ней главного героя. Вот он, этот до предела насыщенный содрогавшейся мыслью внутренний монолог героя: «Только раз в степи я испытал чувство, равное бессмертию, вея-

ние пологого ветра, блеск солнца, трава, тысячелетние сухие запахи, безлюдье — и ты как трава вокруг, облаканная солнцем... И только блаженное ощущение, что именно ты травинка этой травы или одинокий теплый камень на холме, частичка прекрасного мира,— и вся философия. Да, вот оно, счастье: и мне тогда хотелось сделать этот выбор. Но был ли он по мне? Я искал другой смысл во всем. И зачем? Не искушение ли — моим человеческим бессилием познать тайну правды и красоты времени?.. И все-таки я хочу понять: есть ли единый смысл жизни? И есть ли единый смысл смерти? Неужели я хочу понять что-то запредельное, мистическое, непознаваемое? Нет, не волю придуманного бога, а высшую силу Вселенной, ее разумную энергию, что, может быть, проводит над нами опыты, как убежден был Илья. Неужели она обманывает нас и правдой, и ложью, глупой надеждой на вечное здоровье, на помилование смертью и испытывает даже умопомраченной любовью... И разбивает общность духа. Так ли это? Но если все так, то нет единого смысла жизни и нет единого смысла смерти. Значит, на земле тысячи смыслов и тысячи выборов — и что же тогда? Может быть, поэтому я замечал, как логична и красива ложь и как неуклюжа, нелогична правда. Но невозможно согласиться с этим и невозможно сделать выбор второй моей юности и второй моей судьбы, потому что это единственное и началось давно в другой сказочной жизни на другой счастливой планете, где был прекрасный смысл всего мира — в бессмертии фиолетовых студенов вечеров в Замоскворечье и юной бессмертной прелести Марии...»

Критики заметили в этом монологе просвет, который непременно выведет главного героя на твердый и верный путь. Нетрудно обнаружить здесь и другое: терзающие героя мысли в конце концов подводят все к той же проблеме — подлинного человеческого счастья. Что надо, что должно делать каждому из нас, как жить, чтобы нравственный выбор, совершаемый раз в жизни и подтверждаемый непрерывно, привел каждого из нас и всех вместе к подлинному счастью?

Нас не должны смущать повторы в произведениях, подобных роману Ю. Бондарева. Они неизбежны. Леонид Леонов однажды сказал: «Каждый большой художник сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он развязывает на протяжении всего

творческого пути. Недаром говорят, что существует проблема Гоголя, проблема Толстого, проблема Горького».

Ю. Бондарев настойчиво пытается решить проблему подлинного человеческого счастья в нашем расколотом мире, решить во всех ее преломлениях — духовном, психологическом, экономическом, нравственном, эстетическом, взятых как монолитное единство, а не как паллиатив. Делает это он, мобилизуя все новые аргументы и множество новых деталей, придающих новизну каждому его произведению.

Оправданы повторы и у Ч. Айтматова, начиная с «затерянного островка жизни», избираемого им для изображения, и кончая биографическим принципом построения характеров центральных героев. Оправданы богатством новых деталей, неожиданностью сюжетных поворотов и все укрупняющимся масштабом измерения жизни и человека, а также... внутренней полемичностью писателя по отношению к самому себе, к таким произведениям, как «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход».

Автор романа «И дольше века длится день», хотя в качестве эпиграфа избрал слова из «Книги скорби» Г. Нарекаци (X век), тоже весь в сегодняшнем дне, воспринимаемом во всей шире и глубине его. Говоря о шире, имею в виду не менее чем планету в целом. Говоря о глубине, имею в виду и недавнее и очень далекое прошлое со всем его драматизмом и беспримерными психологическими узлами, завязанными в особенности последней войной. Неспроста здесь, как и в «Выборе» Ю. Бондарева, как в «Твоей заре» О. Гончара, такое большое место отводится человеческой памяти.

Главный герой романа «И дольше века длится день» Едигей Жангельдин прошлой ночью потерял своего друга Казангапа, к рассвету успел поборовать покойного и вот сегодня уже возглавляет небольшую процессию, чтобы похоронить Казангапа по старинному обычаю. И пока эта страшная процессия движется к Ана-Бейиту, Едигей Жангельдин звено за звеном перебирает в памяти собственную жизнь, переплетающуюся с жизнью Казангапа. Цельный день движется процессия. И в этом романном дне писателю удается вместить всю нашу жизнь с ее радостями, горестями, трудом и лишениями почти за сорок лет.

Повествование исполнено внутреннего динамизма, суровости. Реалистическую часть повествования автор строит по за-

конам музыкального произведения, с многочисленными повторами, лейтмотивными формулами. Правильно отметил Е. Сидоров в «Литературной газете»: «Есть что-то завораживающее в стиле Чингиза Айтматова. Волны словесных повторов, лейтмотивов обращают сознание к музыкально-поэтической стихии». Удивительно искусно варьируется в романе лейтмотив: «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...» Лейтмотив этот вместе с другими, столь же часто повторяемыми в романе, придает повествованию эпичность, песенность и лиричность, в значительной мере помогая автору избежать монотонности и придать роману художественную завершенность. В своем же существе он, как многие другие в романе, представляет искусную трансформацию того, что впервые было опробовано народом в таких сказаниях, как «Манас», «Семетей», «Кобланды-батыр», но далеко не в них только.

Заявка на песенную интонацию сделана автором уже в заглавии романа, трудно запоминающемся, несколько претенциозном, но многозначном. Оно обещает читателю предельно спрессованный во времени рассказ о дне как целом веке, дне, которому нет конца.

Обратим внимание: этот же временной принцип лежит и в основе романа «Твоя заря» О. Гончара. Здесь два друга отправляются воскресным днем посмотреть широко разрекламированное прессой изображение Мадонны. И пока они добираются до города, где находится прославленная картина, перед нами встает ретроспективно из воспоминаний героев вся их жизнь, а через нее и жизнь Советской страны за полвека.

И другой композиционный принцип рассматриваемые произведения. Впервые с несомненным успехом в послевоенной литературе он был использован в романе «Сердце на ладони» И. Шамякина. Сущность его, как я уже мимоходом заметил выше, состоит в том, что с помощью ретроспекции наш нынешний день берется в единстве с днем минувшим, сцены из жизни нынешнего для органично соединяются с картинами военных лет. В романе же Ч. Айтматова он обогащается двумя дополнительными временными аспектами. Один из этих аспектов реализуется с помощью вводимого в роман мифа о прародительнице Найман-Ане и ее сыне, превращенном жуаньжуанами в манкурта — человека, не помнящего своего прошлого, — другим порождает фантасти-

ческую фреску, запечатлевающую «мировую драму в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции „Паритет“», как сказано в романе. И миф и фреска многозначны по заключенному в них смыслу. Однако умолчание о том, кто такие жуаньжуаны, откуда они пришли в сарозеки, может порождать недоумения, граничащие с кривотолками. К тому же и легенда и космическая фреска не очень органично спаяны с основной — строго реалистической — частью повествования. Символ же, который именуется в романе «Паритетом» и на котором основывается вся космическая линия, включает в себя слишком противоречащие друг другу, принципиально противоположные явления, чтобы можно было принять его безоговорочно. Вот почему полагаю, что и легенда и космическая фреска не только принесут автору много симпатий читателей, но и вызовут нарекания со стороны благожелательных поклонников таланта писателя. Будут говорить о неорганичности космической линии в романе, о том, что здесь почти начисто отсутствует изображение, будут не соглашаться с тем, что мы не готовы к межгалактическим встречам, и возмущаться решением не допустить возвращения на Землю космонавтов, самовольно отправившихся на далекую планету Лесная Грудь. Вызовут споры и многие страницы, посвященные описанию «безумств» верблюда Каранара, как бы олицетворяющих, по Фрейдю, подсознательные импульсы его хозяина.

Верится, однако, что это не помешает читателям в полную силу испытать наслаждение, приносимое знакомством с главными героями романа — Едигеем и Казангапом, близнецами-братьями по их внутреннему богатству, цельности, человечности. Это прежде всего настоящие труженики, как сказал сам автор, «из тех, на которых, как говорится, земля держится». Но мне лично в них особенно дорого то, что «труженики от природы и по роду занятий», самые рядовые рабочие, они не механические исполнители поручаемых им дел. Самоотверженно выполняя любую легшую на их плечи работу, они напряженно размышляют обо всем, что делается вокруг, далеко от них, на всей земле и даже за ее пределами. Думать об окружающих, обо всем, что происходит в стране, на земле, учил Едигей Казангап. И Едигей не может не думать о невинно страдающем учителе Абуталифе Кутгыбае-

ве и его семье, о неудачном сыне Казангапа — Сабитжане с его глупой верой: «...наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами».

В предисловии к роману Ч. Айтматов сказал о своем герое: «Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя». А в романе есть такое внутреннее размышление самого героя: «Работяга, степняк, каким несть числа на свете; ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться». Он думает и о том, правильно ли пострадал Абуталип и верно ли воспитываем мы свою смену. Провожая в последний путь друга, задумывается над вопросами жизни и смерти. Видя, как космические корабли уходят в космос, пытается занести мыслью в другие миры.

Чем глубже у дерева корни, тем безопаснее для него вихри, смерчи, ураганы-буреломы. Чем отчетливее человек, народ сознает свое прошлое, тем увереннее его шаги по земле. Вот почему в романе «И дольше века длится день», как и во всех других, такое огромное место занимают наше прошлое, споры о нем, осознание его. С помощью предания о прародительнице и ее сыне писатель заострил до предела и эту проблему, играющую все большую роль в судьбах человечества.

В статье «Все касается всех» Ч. Айтматов признавался: «Главный герой «Длинного дня» — человек с а м ы л ь ю, как у нас говорят, рядовой: простой путевой рабочий, живущий в пустыне и служащий на одном из разъездов. И тем не менее мне хотелось сквозь неприметную судьбу и скромное мирозерцание героя поведать о масштабах нашей современности. Не знаю, насколько это удалось, но я стремился написать своего героя в многосторонних связях со всей нашей страной, со всем миром, более того — с космосом».

Можно поздравить писателя с несомненным успехом: ему удалось убедительно показать богатейший духовный мир про-

стого человека, имеющего свое мнение о самых сложных проблемах человеческого бытия. В статье В. Коркина «Перед лицом памяти...» («Литературная Россия») в связи с новым романом Ч. Айтматова дважды употребляется эпитет «стихийный». Едигей назван «стихийным поэтом», и о нем сказано, что «стихийным сознанием своей причастности к всеобщей судьбе он воистину непобедим». Мне не представляется употребление критиком эпитета точным. Едигей Буранный не стихийно, а глубоко осознанно причастен всеобщей судьбе. В этом его сила и величие его человеческого достоинства. Умелое же использование Ч. Айтматовым в повествовании несобственно прямой речи и внутреннего монолога героя помогло писателю искусно избежать каких-либо неоправданных «улучшений», «углублений» в изображении интеллектуальных раздумий героя.

Признаем, что добиться этого куда труднее, рисуя интеллектуальный мир самого рядового человека, нежели, скажем, профессора или академика. Хотя в этом последнем случае писателей подстерегают другие, не меньшие опасности — мысли героев оказываются узкопрофессиональными, а речевые характеристики, насыщаемые научной терминологией или техницизмами, теряют выразительность. Не каждому удается добраться до «потенциала человечности», заключенного в науке и технике, и соразмерить его с коренными проблемами века. Тем радостнее удачи П. Загребельного в этом направлении.

Его роману «Разгон» тоже присуща масштабность, о которой говорилось в самом начале статьи как об отличительной особенности новейшего советского романа, хотя в нем нет развернутого сопоставления двух противоположных миров, как в «Выборе» Ю. Бондарева или романах Ч. Айтматова и О. Гончара. Духовный мир главного героя академика Карналя соразмеряется с многими жизненными проблемами, а во фрагменте, посвященном международному симпозиуму во Франции, мы наблюдаем героя в прямом противопоставлении силам, до предела осложняющим все эти проблемы.

Знаменателен диалог между Пронченко и Карналем. Первый, восторгаясь достижениями техники, заявляет, что «мы почти приблизились к осуществлению фаустовской мечты оставить мгновение, ибо оно прекрасно. «О прекрасный час, неповторный час!» Поэтическая формула Тычины осуществляется благодаря благословенной диктатуре твоей техники, Петр

Андреевич,— говорит он Карналю.— Я не соглашаюсь с теми, кто заявляет, что электронные машины неминуемо примитивизируют жизнь, обедняют ее; что они не ведут к воплощению марксистской идеи о гармоничном развитии человеческой личности.

— А что ты ответишь, Владимир Иванович,— откликнулся Карналь,— когда я тебе скажу, что действительно невозможно себе представить что-либо более враждебное духу, нежели электронно-вычислительная машина?

— Тогда как ты можешь отдавать всю силу своего ума, всю жизнь этой противодуховности?

— Только в надежде найти наивысшую духовность в противодуховном».

И еще он говорит: «Я все же не техник, а ученый прежде всего, поэтому с некоторым скепсисом отношусь, например, к упорным попыткам нашего Амосова сконструировать искусственный интеллект. Мир создал нас и будет жить и после нашей смерти, к лицу ли замачиваться на этот мир в дерзком намерении создать его заново, по искусственным моделям, которые, какими бы сложными и громоздкими ни были, неминуемо будут более убоги и примитивны, нежели естественные».

Привожу эти выдержки, чтобы продемонстрировать, с какой глубиной и сложностью отражаются нашей литературой большие философские проблемы.

Так же как в романах Ч. Айтматова и Ю. Бондарева, постановка их не мешает П. Загребельному оставаться совершенно конкретным в изображении нашей повседневности, не столь суровым, как они, порой даже немного смягчающим реальные конфликты, как в случае с распутиванием взаимоотношений Карналя, его дочери Людмилы, Совинского и Кучмиенко-младшего, порой почти неприкрыто полемичным по отношению к произведениям своих товарищей по оружию, как в трагическом воспоминании Карналя о своем пребывании в немецком плену и гибели Капитана и Профессора, написанном в остром споре с известной коллизией, легшей в основу романа «Берег» Ю. Бондарева. Не вдаваясь в подробности последнего спора, замечу лишь, что жестокая правда, раскрываемая П. Загребельным в сцене предательства Капитана Крестовой, неотразима при всей ее жестокости, неотразима до последней фразы: «Может, хотела спасти Капитана от побоев? И за это спасибо. Сначала выдать, потом пожалеть. Милосердие после предательства». И, как ни

покажется парадоксальным, это тоже сближает «Разгон» с рассмотренными выше романами.

Что касается психологической разработки характеров, то здесь П. Загребельный идет в русле украинской литературы, предпочитая всепроникающему анализу всепроникающий лиризм. Обещавшая несколько иную разработку первая встреча Карналя с Анастасией осталась лишь заявкой. Эта ситуация как бы отодвинута взаимоотношениями Карналя и Айгуль, разработанными в лучших традициях психологизма, как он определился в классических произведениях украинской литературы.

В романе «И дольше века длится день» Ч. Айтматов показал, что штурм космоса обещает человечеству ситуации и психологические петли, не уступающие в сложности самым страшным узлам, запутанным последней войной, а П. Загребельный в романе «Разгон» выявил дополнительные сложности, связанные с так называемой научно-технической революцией, исключающей однозначные решения. Сравнение коллизий, ситуаций, проблем, рожденных последней войной и научно-техническим прогрессом, с теми, что надвигаются на нас из космоса, позволяет еще острее почувствовать, что и многие узлы, завязанные войной и научно-технической революцией, тоже почти не поддаются развязыванию. Во всяком случае, после чтения романа Ч. Айтматова передо мной в несколько ином свете предстали книги «Возьму твою боль» И. Шамякина и «Разгон» П. Загребельного, отчетливее ощутилась «тяжелая вода» в их глубинах.

Тут я возвращаюсь к исходному утверждению, что отличительной чертой большинства рассматриваемых романов является также то, что в основе их сюжетов лежат очень трудно распутываемые жизненные коллизии, ставящие героев почти в безвыходное положение. Отсюда более или менее сильный элемент трагизма в романах. На это следует обратить внимание еще и потому, что он все ощутимее даже у таких видящих жизнь прежде всего в ее светлых тонах писателей, как О. Гончар или И. Шамякин.

Реалист по самой сути своего творчества, непосредственно идущий от жизни, обладающий редкостной способностью заинтриговать читателя рассказом о повседневных коллизиях, повестью о них всыскательно и заинтересованно, с откровенной любовью ко всему светлому, положительному в советской действительности и

непоколебимой верой в неизбежную победу этого светлого над всеми темными силами, Иван Шамякин написал один за другим романы «Снежные зимы» и «Возьму твою боль», окрашенные в трагические тона, которые тянутся, все ступаясь, оттуда, из бездонных глубин последней войны.

Порой становится даже не по себе оттого, что тени напалзают на такую интересную, полную острых забот и волнений, трудностей и побед сегодняшнюю жизнь. В романе «Возьму твою боль» мне как читателю хотелось бы ближе присмотреться к счастью совхозной акушерки Таиси и понять, почему все-таки вопреки почти полному счастью на нее «в последнее время, случалось, напала хандра, непонятная тоска наваливалась... Тоска по ушедшей молодости? Зависть к молодым?». С не меньшей силой притягивает к себе внимание умный, рачительный, но быстро стареющий директор совхоза Астапович, перегруженный бесчисленными заботами дня, однако успевающий поговорить с каждым, кто приходит к нему, неотрывно думающий «уже не только о тех, кто придет после него, но и о тех, кто сменит его преемников, из какого теста будут те люди». Астапович интересен как новый, но, к сожалению, более редкий, чем нужно нашей стране, тип руководителя, которого отличают настоящее знание людей, стремление никого не подменять в работе, мудрая рассудительность, подлинная любовь и к делу и, главное, к людям, наконец отсутствие чувства «возрастной солидарности», когда окружают себя только ровесниками, ревниво, подозрительно относясь к молодежи. Астапович настойчиво искал молодых. И каких — самых талантливых, энергичных.

Много и других явлений нашей текущей действительности художественно синтезируется в романе, выдвигается на первый план. Хорошо завязываются характеры парторга нового типа Забавского и Вали Батрак, с которыми в романе поднимается комплекс проблем, связанных с образом мыслей и образом жизни молодого поколения. Но, как сказано, густые тени из прошлого, неумолимо надвигаясь на главного героя, переключают внимание читателя в иные аспекты.

Отличный сельский механизатор — слесарь, шофер, комбайнер, автомеханик — неизменный передовик во всех работах совхоза, глава транспортно-уборочной бригады, создавший отличную семью и свой «семейный экипаж», Иван Батрак не про-

сто умеет и любит работать. Он доставляет своей работой радость окружающим, испытывает сам чувство удовлетворения, вызывает молчаливую гордость у собственных детей, у друзей, у подчиненных, хотя «не любит, не умеет командовать, приказы отдавать».

И вдруг твердо шагающий по земле Иван Батрак теряет равновесность, ведет себя так, словно в нем «ось сломалась». Садясь за руль автомобиля, боится совершить аварию — и совершает ее.

Еще недавно Ивану Батраку казалось: «У него же нет никакой беды. Все, что может пасть на долю человеческую, у него было уже. Больше не может, не должно быть». Но беда пришла. Вынырнула из прошлого. Нагрянула вместе с вернувшимся из небытия немецким приспешником Шишкой. Отбыв двадцатипятилетнее заключение и десятилетнюю ссылку, бывший немецкий полицай вернулся в родное село, уверенный, что в живых не осталось ни одного свидетеля его действительных преступлений. Роман «Возьму твою боль» (на мой взгляд, не очень хорошо озаглавленный) представляет по затронутой в нем проблеме явление поразительное. Удивляюсь, что наши критики не обратили на него должного внимания. Это чисто психологический роман-эксперимент, в котором разрабатывается почти неожиданная проблема — взаимоотношение человека, расстреливавшегося во время войны, с человеком, который расстреливал его и потом, отбыв наказание, вернулся и охраняется всеми советскими законами. На этой почве возникает почти не развязываемый психологический узел.

Иван Батрак с возвращением бывшего полицая Шишки теряет равновесие. Все его чувства требуют от него отомстить убийце. А разум диктует: нельзя. Нельзя потому, что Шишка отбыл наказание. Парадокс жизни неодолимый, лишаящий покоя, счастья семью Батрака, ибо нельзя уйти от воспоминаний.

Действие романа переключается в прошлое. Перед нами разворачиваются трагические конфликты: уничтожение зондеркомандой и полицаями беременной матери Ивана Батрака и его пятилетней сестрички Анечки, умолявшей полицая Шишку: «Дядечка, не стреляй, мне больно будет»; описание охоты немецких ищеек за командиром партизанского отряда Корнеем Батраком; страшная сцена, в которой Шишка строчит из автомата под пол, где затаялся

семилетний Иван Батрак. Наряду с рассказом-исповедью Ивана Батрака на партийном собрании о своем прошлом и переданным через сон воспоминанием о пятилетней Анечке, застреленной фашистами и с тех пор в белой сорочке приходящей каждую ночь на пепелище, — все это самые сильные страницы в романе. Они не позволяют рассматривать описанную в нем трагедию как оптимистическую.

Писатель, начиная с заявления Ивана Батрака: «Шишка получил свое, но черт не взял его. Вернулся через тридцать пять лет. Здоровый. С деньгами. Я знаю, за одно и то же второй раз не судят. И я свои руки не замараю. Но... дышать с ним одним воздухом... не могу!» — несколько облегчает для самого себя распутывание одного из жизненных узлов, чудовищно запутанных последней войной, настолько чудовищно, что, на мой взгляд, он вряд ли вообще поддается распутыванию. В первой публикации на белорусском языке, кажется, так же считал и автор, поскольку измученная страданиями мужа Таисия опускает на голову Шишки топор. В варианте, предложенном читателям журнала «Дружба народов», финал отредактирован так, будто Шишка то ли сам наткнулся на топор, то ли умер от разрыва сердца. Зрелость реализма, достигнутая ныне советской литературой, мне кажется, не должна бы допускать подобных рецидивов в издательской практике.

Много самых сложных, самых трудных вопросов волнует в последние годы советских писателей, что видно даже из этой статьи, хотя я не ставил перед собой задачи всестороннего исследования произведений под этим углом зрения.

Не раз мне в последние годы доводилось слышать от самых уважаемых советских писателей: задача литературы в том, чтобы ставить вопросы. Но ведь это только часть задачи. «Литература не может быть маленькой», — сказал М. Шолохов. Большая литература не просто изображает мир, человека, но и освещает путь вперед. Поспорить с Ч. Айтматовым, отказавшим нам при всем героизме наших деяний в творческих контактах с более высокой лесногрудской цивилизацией, между прочим, и из-за «нашего земного стереотипа мышления», сказать нам еще раз о том, что «человечество далеко еще не готово к мировой гармонии», — это полдела. Помочь людям преодолеть все несовершенство нашего земного бытия, преодолеть «стереотип мышления» — вот дело всякого подлинного художника.

МИХАИЛ ПАРХОМЕНКО



МАСШТАБНОСТЬ ВЗГЛЯДА

70-е годы были десятилетием великих исторических итогов строительства социализма в нашей стране.

70-е... Это столетие со дня рождения Ленина, пятидесятилетие образования СССР, шестидесятилетний юбилей Октября, XXIV и XXV съезды КПСС, всенародное одобрение новой Конституции... Фронтальный смотр исторического опыта революционных, социалистических преобразований на всех участках народной жизни, созидания новой экономики и культуры. Развитие современной советской литературы тоже стало в эти годы объектом пристального рассмотрения и анализа в ходе многочисленных дискуссий и обсуждений. По общему мнению, роман по достоинству оказался ведущим жанром нашей прозы, что называется, «фаворитом номер один» советского читателя.

Активное участие советской литературы в идеологической борьбе против буржуазных концепций истории XX века, ее большое раздумье о ближайших и отдаленных перспективах развития человеческого общества предполагают выход наших писателей к масштабному осмыслению как локальных, так и общечеловеческих проблем, выдвинутых временем.

В новых произведениях Ч. Айтматова и О. Гончара, как мне представляется, такой масштабный подход к нынешним проблемам особенно нагляден. Складывавшийся и утвердившийся в нашей романистике принцип раскрытия связи времен, отдельных этапов истории советского общества (Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления, нынешнего периода развития социализма) находит свое воплощение в художественном анализе конфликтов, от разрешения которых зависит и ближайшее и отдаленное будущее как социалистического общества, так и всего человечества. Тревоги мира, войдя в сердце писателя, определяют силу и напряженность драматизма новых произведений, стиль повествования, движение сюжета, развитие характеров.

Роман О. Гончара «Твоя зоря» образно определен как «художественная рентенограмма двух по-разному движущихся цивилизаций... противоположности двух жизненных укладов — социалистического и буржу-

азного — в их отношении и к природе, и к технике, и к человеку» (Л. Новиченко). В описание зарубежной поездки советского дипломата Кирилла Заболотного вмонтированы и глубоко драматические и возвышенно героические эпизоды из истории советского общества, и события частной жизни в их связи с большой историей. А сама дорога, безумная гонка неисчислимого скопища автомобилей, кромсающих воздух на бешеных скоростях и где-то вдруг замирающих, пока расчищают путь от изувеченных в катастрофе машин и трупов, — все предстает как символ современного технического прогресса и общего состояния капиталистического мира. Символ почти апокалиптический: кажется, поток машин, а вместе с ним весь этот мир мчится на сумасшедшей скорости к глобальной катастрофе, навстречу своей смерти...

И впечатляющей символикой этой картины, и всем содержанием размышлений советского дипломата о противоречиях социальной, нравственной и экологической ситуации современного человеческого общества роман участвует в расширении познавательных возможностей советской литературы, ее философских горизонтов.

Необходимо отметить значение и роль в структуре произведения одного существенного аспекта, позволяющего прочесть весь роман в особом ключе. Я имею в виду обращение писателя к теме искусства, проблеме его роли на современном этапе истории. Напомню сначала, что именно эта проблема организует сюжет романа: пассажиры лимузина едут к Мадонне («Путешествие к Мадонне» — так и озаглавлена первая часть романа. Мадонна — славянская, неведомыми путями попавшая в заокеанский «артмузей» после минувшей войны. Вторая часть открывается своеобразной интродукцией, в которой рассказано о жизни художника, создавшего картину «Мадонна под яблоней», — картина эта присутствует в сюжете не вставным эпизодом, она вошла в повествовательную структуру романа вместе с крестьянской девушкой Надей, изображенной на ней.

И сюжет, и интродукция, и картина в музее, и картина, над которой работает худож-

ник,— все это подсказывает особый ключ восприятия авторского замысла. Светом романтической мечты пронизана картина будущей «Океании» человечества, которую набрасывает главный герой романа в сценарии воображаемой киноленты. Соответственно и образный строй сценария органично вбирает романтически-многозначительные определения: «Служба надежды», «Верховная ассамблея грядущих», а еще «Нарастающее» и «Неотклонимое» (с большой буквы), как сказано о возможности столкновения Земли с гигантским астероидом.

Романтическим языком говорит автор и его герои не только о будущем с его могучей технической вооруженностью и почти безграничными возможностями человеческого разума, но и о тех недавних временах, когда скорости измерялись лошадиным бегом. И тем не менее всего важнее то, что возможности романтического стиля О. Гончар широко использует, осваивая новый жизненный материал, реалии века НТР. Романтически заострено изображение кромешного ада современной капиталистической цивилизации. «Если бы кто-нибудь задумал создать фильм-предостережение о том, что может ждать планету завтра, нарисовать картину, как задыхается она от собственной промышленной сверхмощи, от разных ядовитых испарений и нечистот,— то здесь для такого фильма природы было бы вдосталь». Лиричны странички, рассказывающие об увлечении художника творческой задачей «передать красоту материнства».

В романтическом ключе переданы детские воспоминания героя, отношение его сверстников — в те минувшие годы — к пчеловоду Роману Виннику (они считают его тайновидцем и волшебником) и его дочери Надьке, которая есть идеал совершенства для них, они мечтают о том, как вырастут и смогут предложить ей руку и сердце... И, наконец, светом романтической мечты пронизан и тот энтузиазм, с которым первое поколение ленинской пионерии относилось к идее социалистической перестройки мира.

Да, стиль О. Гончара и в новом романе помнит, как было сказано однажды по другому поводу, «свое высокое происхождение», не порывает ни с романтичностью, ни тем более с поэтичностью. Но при этом еще прочнее, чем прежде, его реалистическая основа.

Как и многих современных писателей, О. Гончара особенно занимает процесс морального самоопределения героя. И в этом отклик украинского прозаика на духовную потребность, «нравственный заказ» общества. Из-под пера наших художников один за

другим появляются романы, рассказы и повести, где остро поставлены моральные проблемы («Совесть» А. Якубова, «Картина» Д. Гранина, «Бессонница» А. Крона, «Бозьму твою боль» И. Шамякина, «Выбор» Ю. Бондарева). В том же ряду и роман О. Гончара.

Писатель выступает решительным противником бездумного прагматизма. Выведенный в романе прагматик считает, что в эпоху, «когда каждый поступок можно измерить от и до, когда так называемые добро и зло взвешены и перевзвешены с микроскопической точностью», нет никакой надобности апеллировать к таким «абстракциям», как совесть. Более того, он считает, что под псевдонимом совести скрывается «нечто надуманное, насквозь иллюзорное», «просто химера». В системе образов — персонажей романа прагматика Дударевичу противопоставлен не только Заболотный, человек совести, но и дочь Дударевича Лида, поддерживающая в нравственных коллизиях и спорах не отца, а его оппонента Заболотного. Да и Тамара, жена Дударевича, всеми симпатиями на стороне Заболотного.

По ходу сюжета герои не раз оказываются в ситуации морального выбора.

Так, однажды Заболотный подбирает на обочине дороги смертельно раненного человека, рискуя привезти в больницу мертвеца и оказаться в орбите следствия. Позиция Дударевича иная: «Здесь криминал! Он у нас умрет в дороге... Все упадет на нас! Мы будем виноваты, только мы! Никаких же свидетелей!.. Безумцем надо быть, чтобы впутываться в такое!»

Не буду передавать подробности... Скажу лишь, что совесть Заболотного сработала, «как инстинкт». У него он выработался еще на фронте, где «без раздумья бежали на крик, на стон, пренебрегая даже смертью». Надо ли говорить, как важно, чтобы следование нравственным принципам так вошло, что называется, в кровь, становилось таким же естественным, как инстинкт? Разумеется, и «инстинкт» человеколюбия. О приумножении таких «инстинктов» печется писатель. По его мысли, человечество, дабы избежать глобальной катастрофы, должно и в гонке скоростей, и в других, еще более рискованных гонках остановиться, опомниться. Пора ему, как подчеркнуто в романе, «перевести дух, проверить свои контакты со средой, дать гуманное направление возможностям человеческого гения».

Олесь Гончар впускает своим романом веру в спасительную миссию искусства, в его способность «всколыхнуть душу» и человека и человечества, «Самое необходимое сей-

час для человечества — встряска просветления». Свету искусства это под силу, утверждает О. Гончар.

Есть здесь доля идеализма? Да, есть. Но без такого идеализма человечество обойтись не может. И, несомненно, ждет его от романтического искусства. Такой идеализм не является издержкой в искусстве, потому что опирается на реальную основу.

Среди подлинных издержек нынешней лирической прозы больших жанровых форм я бы назвал бесфабульность, аморфность сюжетного развития, отсутствие или вялость конфликтных ситуаций. Известный украинский литературовед В. Фащенко с большой тревогой отмечает, что в работах его коллег-критиков «война против фабулы начала приобретать тотальный характер», а произведения бесфабульной прозы нередко поднимаются на щит.

Роман «Твоя зоря» не в пример такой прозе остроконфликтен, имеет сквозную проблему, в нем четко проступает единство биографии его героя и истории советского общества. И все же есть в этом произведении и издержки лирико-романтического стиля: красоты «образного» языка, избыточная патетичность. Вот как показан читателю «художник утренней зари», рисующий свою «Мадонну под яблоней»: «Стоит по колено в росах за рвом, протянувшимся вдоль садика, подхватывает с пламенеющего неба отблески зари и — на полотно их, на полотно! На щечки ребенка и матери, да на роскошные плоды, что, краснобокие, в росе, с листьями нависают над ней венком».

За радостью подобных словесных фонтанов пропадает реальное содержание картины. И можно только порадоваться, что господствует в романе более строгий отбор образных средств, отвечающий скорее стилям реалистического письма, нежели романтического. Можно с удовлетворением присоединиться к наблюдениям Л. Новиченко, автора первой в русской печати рецензии на украинское издание романа: «Помнится, одно время в прозе Гончара — эмоциональной, поэтической, полной идейного воодушевления — несколько поубавились свойственная ей точная, изобразительность, предметная пластика, характерность лаконичных, но выразительнейших деталей. Здесь, в этом романе-раздумье... все это снова заблестало в полную силу».

Уроки творческого опыта О. Гончара показывают, что не надо противопоставлять друг другу романтическое и реалистическое течения, следует видеть их взаимодействие, углубленные аналитических возможностей

романтического стиля благодаря его опоре на реалистическую основу.

Всей нравственной проблематикой, гражданским пафосом, пламенной верой авторов в великую миссию искусства в эпоху научно-технической революции, беспокойством за будущее человечества новые романы Олеса Гончара, Чингиза Айтматова и Юрия Бондарева, переключаясь друг с другом, продолжают важнейшие линии творческих исканий советских романистов и ведущие тенденции развития многонационального советского романа 70-х годов.

Роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» уже назван — и вполне справедливо — «романом-метафорой, романом-предупреждением» (Е. Сидоров).

Он написан иначе, чем роман О. Гончара, но аналогичными средствами достигается в нем широкая масштабность картины современного мира. Через биографию Буранного Едигея просматриваются миллионы судеб, а один день его жизни становится своеобразным окном, через которое видится и жизнь страны, и доля народная в труднейших испытаниях века.

Прошлое встает и через легенды (это то, чего нет в романе О. Гончара), органично врастающие в сюжет. Легенды же позволяют резче оттенить противостояние гуманизма и бесчеловечности. Такова легенда о манкурте, человеке, изверски насильственно лишенном памяти. В той же легенде возведена материнская любовь, безграничность материнского самоотречения. В сюжет романа эта легенда вносит трагедийно-возвышенную поэтичность и придает особую значительность той борьбе, в которую вступает Буранный Едигей за священные могилы предков.

Жизнь наших современников изображена в романе Ч. Айтматова с суровой и потрясающей душу правдивостью. В романе не обойдены молчанием тяжчайшие трудности, испытания, выпавшие на долю народа, а также случившиеся беззакония, жертвой которых становились неповинные люди (вспомним трагическую судьбу Абуталипа Куттыбаева и его семьи).

Подобно Ч. Айтматову О. Гончар, изображая суровое время коллективизации украинского села, показывает, сколь многое в людских судьбах зависело от нравственных достоинств местных активистов. Именно в этом видится смысл тех романтически контрастных, глубоко драматичных, а то и трагических противостояний, в которых раскрываются в «Твоей зоре» характеры активистов коллективизации Миколы Васильевича Духа и Минь Омельковича Куцолапа:

с одной стороны, энтузиаста, вдохновляемого идеалом, а с другой — разрушителя, движимого слепой ненавистью.

В наше время, отмеченное стремлением к полному восстановлению принципов гуманности, такой критический взгляд романистов в прошлое неизбежен и нравственно необходим.

И вместе с тем романы Ч. Айтматова и О. Гончара содержат мощный заряд оптимизма, они внушают веру в то, что люди способны создать и создают жизнь, основанную на принципах подлинного гуманизма. Писатели утверждают активный гуманизм своих главных героев и меряют их человеческое достоинство высокой, гражданской и нравственной мерой. Тем самым оба романа предстают как новое подтверждение ведущих нравственно-воспитательных устремлений и функций советской прозы.

Примечательна близость двух романов и в попытке заглянуть в будущее. Роман О. Гончара просветлен верой в благотворную силу могучей технической вооруженности и безграничные возможности человеческого разума. Перед мысленным взором автора и его героя встает картина будущей социалистической «Океании» человечества.

Ч. Айтматов не заглядывает так далеко. Он останавливает свое внимание на тех глубоко драматических, а по возможным последствиям и трагических конфликтах, через которые еще должно пройти человечество на пути к грядущей гармонии. И здесь он впервые в своем творчестве прибегает к использованию фантастического сюжета, так мотивируя (в авторском предисловии) его необходимость в художественной системе романа: «Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью — заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле».

Фантастическое он называет «метафорой жизни, позволяющей увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения». Согласно его фантастическому допущению взезная цивилизация стремится вступить в контакт с землянами. Вековая мечта человека обрести космических братьев близка к успешному осуществлению. Наши космические братья находятся на неизмеримо более высоком уровне цивилизации. Они не знают государства, не знают оружия, не знают войны, умеют добывать колоссальную энергию и использовать ее с невиданно высоким коэффициентом полезного действия, научились управлять климатом...

Открывшаяся возможность контактов сулит землянам блага и возможности неис-

числимые и не измеримые нынешними мерками. Но... земное человечество еще не готово к таким контактам...

Мифология, формирующая в романе ряд своеобразных сюжетных ответвлений от главной линии событий и так обогащающая произведение историко-культурными ассоциациями, еще раз подтверждает плодотворность стиливой линии мифологизма, зародившейся в советской прозе не без усилий именно Ч. Айтматова, утвердившейся, несомненно, успехом его повести «Белый пароход». Новый роман Ч. Айтматова как бы завершает споры по этой проблеме, показывая, как много неиспользованных возможностей таит в себе обращение к мифу, преданию не только для нынешнего, но и для завтрашнего дня художественной литературы. Включение мифа, предания в художественный контекст современного романа служит и будет служить расширению горизонтов реализма так, как помогает этому постоянный союзник социалистического реализма — романтизм. Я не случайно обращаюсь к этой параллели (миф и романтизм). Ведь стиливая природа легенды, я бы сказал, генетически родственна романтизму (хотя бы так, как вавилонский звездочет астроному XX века), и в этом смысле ее судьбы в истории и будущем искусства неотрывны от судеб романтизма.

В отличие от тех линий романа, где действительность узнается «непосредственно», фантастический сюжет не развернут в живых и образных подробностях. Его лаконизм сугубо информативен. Однако за всем этим в романе чувствуется, как бушуют страсти огромной взрывной силы. И захваченный ими читатель осмысляет противостояние двух социальных систем с высоты предложенной романистом метафоры.

Выходами к будущему, попытками заглянуть в завтрашний день человечества рассмотренные романы 1980-го дописывают одну из наиболее характерных тенденций романа 70-х, составляющую его отличие от романистики 60-х годов: воссоздание и постижение основных ценностей человеческого бытия обогащается в романе последнего десятилетия настойчивым поиском ценностного идеала.

Было бы неверно по этой линии противопоставлять друг другу литературу двух десятилетий. Но я говорю только о тенденции, которая более характерна для десятилетия 70-х годов, чем 60-х. И новые романы Ч. Айтматова и О. Гончара вместе с другими лучшими романами десятилетия о постреволюционной эпохе (даже если в них и нет столь прямых выходов к будущему) — «За-

коном вечности» Н. Думбадзе, «На исходе дня» М. Слуцкиса, «Берегом» Ю. Бондарева, «Циклоном» О. Гончара, «Комиссией» С. Залыгина — подчеркивают правомерность сделанного наблюдения.

В адрес романа «И дольше века длится день», в адрес его автора высказано много добрых слов. Некоторые из них прозвучали патетически. И тем не менее патетика не помешала рецензентам высказать и ряд критических замечаний.

Поддерживая высокие оценки, разделяя суть критических замечаний, присоединяю к последним и свое. Только начну издаലെка.

В высказываниях читателей, с которыми мне приходилось обсуждать роман, нередко слышались соображения, что две сюжетные линии — реальная и фантастическая — не вполне точно стыкуются в нем. Думается, в этих сетованиях есть резон. И не только потому, что оба пласта разностильны, но еще и потому, что автор чрезмерно отдаляет уровень обыденного сознания своих героев от почти фантастической реальности покорения космоса, нынешнего космоплавания. Автор романа настойчиво повторяет, что и полеты спутников, и невадалеке от полустанка (всего в нескольких часах езды на верблюде) расположенный космодром для Едитея, да и для всех жителей и гостей разезда — дело постороннее. Глубокой ночью Едитея провожает взглядом космическую ракету до полного ее исчезновения, «испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх».

Если самый умный, мудрейший из сарозекских аборигенов так воспринимает уже привычные приметы научно-технической революции, то и «фантастическая метафора» «заостряет в парадоксальной, гиперболизированной форме» не только социальную ситуацию, чреватую потенциальными опасностями. Она также заостряет и разрыв между уровнем мышления героев романа, каковы они есть, и тем, каким этот уровень на нынешнем этапе НТР должен и может быть (и, смеем утверждать, является).

А как участвует в художественных итогах десятилетия новый роман Ю. Бондарева?

О романе «Выбор» уже написаны рецензии, прокомментированы логика характеров и варианты выбора, определившего судьбы героев. Но, как мне представляется, по-настоящему понять автора мы сможем, лишь уловив в его произведении тему духовного беспокойства, которым охвачены сегодня многие миллионы людей... Не случайно в

романе нет ни одного счастливого человека.

Омрачено настроение даже благополучных и преуспевающих. Главный герой романа художник Васильев, удостоенный многих наград и отличий, а с ним и его жена тоже охвачены какой-то неясной и непроходящей тревогой. Васильев напряженно анализирует свое душевное состояние, тщетно пытаясь открыть его причины. Конечно, многое здесь можно объяснить трудностями творческого поиска, сомнениями в том, соответствует ли уровень его нынешних творений нынешним же (непрерывно возрастающим) его представлениям о художественном совершенстве. «Все это ни к черту... ни к черту по сравнению... с тем, что чувствую», — говорит он однажды о своих новых поисках и картинах.

Но нет, не только это. И уж, во всяком случае, не это главное в его тревогах.

«С нами происходит что-то нехорошее», — горько сокрушается он в разговоре с женой. «Маша, милая, почему нам стало так тяжело?» — хочется ему спросить у жены. Было бы ошибкой все сводить к семейной драме, хотя она тоже есть в романе. Подлинные причины смутения иные. «Я чувствую себя виноватым перед всеми...» — как-то признается Васильев. В другой раз он так исповедуется близкому другу (художнику Лопатину): «Кому служит искусство, кому? — повторил Васильев и, будто озяб, засунул руки в карманы. — Ты думаешь, кому-то сейчас очень нужна живопись? Одному чудачу из ста или пятисот тысяч? А-а, это все равно. Она бессильна, она ни на кого не воздействует, она не может ничего изменять, исправить...».

Но оборвем на полуслове цитату и вдуваемся в логику всей тирады: от сомнений в необходимости искусства современному человеку — к разочарованию в возможностях искусства, к отрицанию его воспитательной силы, а от этого внезапный и как будто даже не вполне логичный скачок к горьким, полным не столько гнева, сколько отчаяния инвективам в адрес всего человечества. Для художника достаточно и сомнений в искусстве, в силе красоты, чтобы впасть в отчаяние. А уж разочарование в человечестве означало бы для него глухой тупик. Но, к счастью, мрачные тирады Васильева не содержат его программы, рядом с приступами таких настроений живет в нем чувство вины перед всеми и во всем.

Васильева вообще временами заносит в такие дебри пессимизма, которые явно противоречат его жизненному таланту, да и его психологической конституции. И в ма-

менты таких «запасов» Васильев вдруг, неожиданно совпадает в отношении к человечеству с некоторыми другими героями романа, мировоззренчески ему чуждыми. Даже с Ильей, другом детства и молодости, а ныне человеком из другого мира, откуда он вынес негативистский комплекс отношения к жизни, человеку, человечеству и всем его нравственным ценностям. «Сейчас,— говорит Илья,— человеку плохо везде. Везде и всем. Ни у кого нет богов. И нет веры в себя. И в других... Все мы путешествуем в пустоте, не зная, куда и зачем».

Не удивительно, что к таким высказываниям охотно присоединяется старый режиссер Щеглов, обломок прошлого в нашей современности, носитель упадочнической философии буржуазно-интеллигентских кругов начала XX века. И не только присоединяется. Он с наслаждением «кушается в разъедающей кислоте чужой мысли». Он разрабатывает, развертывает основные мотивы высказываний Ильи Рамзина (то бишь господина Рамзэна) с большим увлечением. Негативистский комплекс Ильи, одобренный и раскрашенный ерничеством Щеглова, временами обретает как бы завораживающую силу и действует не только на Виху, юную дочь Васильева, но и на кое-кого из полемизирующих с Рамзиным и Щегловым в романе. Действует он и на Васильева. И, может быть, прежде всего потому, что в обильных словоизлияниях Щеглова попадают высказывания о подлинных сложностях современной действительности.

Да, в «разъедающей кислоте» рассуждений Ильи есть нечто, заставляющее задуматься даже убежденного оптимиста Лопатина. Он слушает слова Ильи «с чуткой серьезностью, как слушают бред душевнобольного, удивляясь одержимой его убежденности, по-видимому, соглашаясь и не соглашаясь (разрядка моя — М. П.) с выводами его разгоряченного ума».

Лейтмотив таких высказываний Ильи, разработанных и дополненных Щегловым,— обреченность человечества, или, как перепевает Щеглов, «сумасшедшего человечества», которое-де «утратило высший смысл своего существования и заблудилось... в бетонных лабиринтах больных и перенаселенных городов!.. Найдет и спасет ли себя само человечество? Оно дискредитировало себя» и т. д. и т. п.

«Не думаете ли вы,— спрашивает Илья,— что все человечество — подопытные кролики на земле и кто-то проводит с нами чудовищный эксперимент? Похожий на медленное приведение приговора в исполнение. Нет, не бог. Это сила выше бога... Не мы

делаем выбор, а господин эксперимент. Ложное, звездное, далекое... Проведен эксперимент, познано, на что способны люди,— и пустота. Лаборатория покинута. Удался опыт или не удался — не мы судим. На это разума не дано».

Для Ильи эта «апокалиптика» — не игра досужего ума. Для него она слишком серьезна, о чем свидетельствует повторение этого мотива в письме, написанном в последние минуты перед самоубийством: «Кончаю. Мне все ясно... Вот он, последний выбор, который я могу сделать. Не орудие ли человек в чьих-то руках? Кто производит над нами безумный эксперимент?..»

Когда подобные речи звучат из уст Щеглова, художник Лопатин еще высмеивает их «презрительным негодованием»: «Пустозвонство! Художественный свист! Звуковое сотрясение воздуха!..» Но Илью он слушает, «соглашаясь и не соглашаясь с выводами его разгоряченного ума», и признается: «У меня волосы шевелятся».

Васильев больше сосредоточен на своем внутреннем мире, на давшем опасную трещину оплоте его духовного равновесия — своей семье. Но когда его сознание прорывается за пределы семейного круга, в его обобщениях звучит та же «мука беспокойства» и неуверенность в том, чему служил он своим талантом художника: «А можем ли мы истинно знать, что для нас значит красота?» И еще: «Каждый из нас хочет жить придуманной жизнью, и мы потеряли естественность. Мы все виноваты друг перед другом. Асфальтом задушили землю... Неужели это выбор двадцатого века?..»

Однако было бы ошибкой не видеть, что при всех упомянутых «заносах» и некоторой переключке высказываний советского живописца Васильева и итальянского рантье Ильи Рамзэна логика развития двух этих характеров в романе совершенно разная, как это уже справедливо отметил в своей рецензии Ф. Чапхачов.

Напрасно художник Васильев вглядывается в лицо друга юности, тщетно пытается увидеть, вернуть прежнего, молодого Илью. Того лейтенанта уже нет. Все прежнее осталось за чертой однажды сделанного Ильей выбора, когда на поле боя была предана ради самосохранения родина.

Да, предательство совершено Рамзиным при обстоятельствах трагических. Но оправданию оно не подлежит. Автор романа и здесь верен принципу нравственного максимализма, как в своих прежних произведениях о минувшей войне и подвигах ее героев. Невозможность прощения, его несовместимость с нравственными понятиями со-

ветских людей переданы особенно глубоко в сцене свидания Ильи с матерью. Мать подавлена возвращением сына, которого она давно оплакала. Ей легче было бы так и не узнать, что он жив такой ценой...

Внешне respectable и юридически неувязимого невозвращенца с иностранным паспортом настигает слишком запоздалое раскаяние; он хватается за любую возможность свалить вину на роковую зависимость человека от каких-то неизвестных и необъяснимых внешних сил, всегда и ежедневно ставящих личность перед необходимостью выбора, заранее predeterminedо теми же силами. Отвержение перерожденца родиной, по существу, подчеркивает самооправдания последнего, а одновременно еще глубже показывает и ему самому полную несостоятельность сделанного им выбора.

Сюжетная линия Ильи, поистине трагические сложности ситуаций, из которых он не смог найти достойного выхода, история его выбора и логика развития этого характера напоминают о традициях Шолохова, о таких сложных и трагических характерах, как Григорий Мелехов. К сожалению, разработана эта сюжетная линия без достаточной полноты...

Художник Васильев после неожиданной встречи с Ильей в Венеции как бы вовлечен в магнитное поле настроений и взглядов Рамзина. Скажем точнее, снова вовлечен, как это было в годы юности. Однако нынешнее магнитное поле Ильи по существу чуждо Васильеву, его таланту. И потому теперь пребывание его в нем кратковременно.

Решающую роль в освобождении Васильева от настроений, навеянных этой встречей, должно сыграть направление таланта художника. Васильев — художник реалистического направления. Именно с таких эстетических позиций («Реализм — беспощадная штука...») резко осуждает он «пейзаж без мысли», «красивые завитушки», «придуманную изысканность» в картинах и взглядах художника Колицына. В его собственных картинах — своеобразной живописно-лирической панораме русской природы — явственно выступает верность реализму. Художнику Лопатину в картинах Васильева открывается «взгляд современного человека на природу вокруг себя: погибнет красота, уйдет она, погибнет и вместе с ней человек и жизнь. Не умиленье, а грусть, тревога, равная отчаянию века».

А в такой тревоге за человечество заложена и возможность преодоления кризисных состояний художника. В конце романа воз-

никает и ситуация, обещающая стать переломной в эволюции настроений и самосознания Васильева.

Возвращаясь в день похорон Ильи с кладбища, Васильев встретил похоронную процессию: шли по дороге человек десять, несли красную крышку гроба непривычно маленького, младенческого. И следом за крышкой шагала невысокий парень. «...и по тому, как шел он убитой, заведенной походкой потрясенного человека, Васильев ощутил все... Васильев вдруг испытал такую родственную, такую горькую близость с этим потрясенным светловолосым парнем, с этой некрасивой, дурно плачущей молодой женщиной, со всеми этими... людьми на дороге, как если бы он и они знали друг друга тысячи лет...»

Вот он — выход для художника из одиночества среди людей, вот оно — чувство и самосознание, перекликающееся с чувством родины, пронизывающим картины Васильева, с тревогой за землю и человечество, а в конечном счете со всей его творческой программой. Не заметить эту переключку — значит забыть, что Васильев — художник. Потому-то и удивительно, что в романе этот эпизод остался проходным. И после него Васильев опять стонет и мечется в заколованном круге каких-то безответных вопросов и угнетающих сновидений (причем и те и другие выглядят самоповторами в романе), не замечая, как необъятное богатство действительности, входившее в его художественный мир, все более сужается перед ним и в конечном счете замыкается в рамках признания: «Маша, я люблю тебя...» — и связанного только с этим признанием вопроса: «Что же мне делать, Маша?..»

А в ответ на его вопросы «глухое безмолвие в потемках мастерской». И все это в «три часа самого пустынного и безнадежного времени мартовской ночи», после чего и поставлена последняя точка в романе.

Можно только пожалеть, что, казалось бы, столь мотивированный выход из кризисного состояния не стал началом нового этапа в развитии центрального героя. Конец романа не обещает духовного выздоровления героя, победы воскресшего творческого вдохновения над сомнениями в возможностях искусства.

Нет, я не убежден, что оптимизм, душевное равновесие, утраченное художником Васильевым, легко вернуть. И все же, думается, именно возвращение утраченного больше соответствовало бы сущности характера и логике его развития в согласии с этой сущностью. Вместе с тем «ак-

тивное, духовно здоровое начало могло, — как верно заметил Ф. Чапчатов в рецензии на роман, — более полно выявиться в повествовании».

Сложную задачу поставил перед собою автор романа. Тревоги мира вошли в сердце писателя. Это они водили пером, запечатлевшим тоску и смятение художника Васильева, его тревогу за судьбу планеты и человечества. «Выбор» — книга о том, как трудно быть счастливым в то время, когда глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация чревата столь трагическим кризисом.

В странах капиталистического Запада многие впадают в отчаяние и, не будучи в силах справиться с ним, ищут забвения в наркотиках, кончают самоубийством... На почве таких настроений возникает искусство тревожных предупреждений, отчаяния; появляются и находят широкий спрос романы и кинофильмы ужасов... Было бы нелепо думать, что причины, порождающие в капиталистическом мире эти явления и такое искусство, нас абсолютно не касаются. Увы, касаются. И как комментарий к роману «Выбор» звучат слова его автора, сказанные на недавно состоявшемся съезде писателей Российской Федерации, что советские писатели «обнаженными нервами воспринимают чужую боль и подают человечеству сигналы о бедствии и помощи друг другу».

Символично для нашего времени заглавие книги В. Озерова «Тревоги мира и сердце писателя», где рассказано и о тревогах человечества, и о мужестве писателей — борцов за мир в капиталистических странах. Советские писатели — один из передовых отрядов в этой борьбе. Советская литература напоминает народам мира о незаживших ранах минувшей войны, о погибших и осиротевших, об искалеченных судьбах людей. Она рассказывает о беспримерном героизме советского народа, о знамени гуманизма, под которым шла Советская Армия, освобождая народы Европы от фашистского порабощения. В патриотических подвигах советских людей — солдат Великой Отечественной войны советские писатели черпают оптимизм и вдохновение для работы над новыми книгами. В этом смысле память войны — источник нравственного пафоса советской литературы; в нравственном максимализме героев войны она видит самый высокий, подтвержденный подвигами критерий выбора, перед которым стоят люди в нынешних условиях, когда над земным шаром вновь нависает призрак войны...

Вот чем определен тревожный эмоциональный тонус бондаревского романа, а вместе с тем нервный, подчас аритмичный слог и стиль его. Нельзя не заметить, что политика в спорах и конфликтных узлах романа впрямую почти не прописана (об этом тоже, пожалуй, можно пожалеть), но все же чувствуется настолько, что без ее учета роман нельзя понять.

Роман «Выбор» многих заставляет задуматься, пережить выраженную в нем боль, уточнить свой выбор как в ситуациях глобальных, международных, так и в конфликтных моментах собственной жизни, трудовой и бытовой повседневности. Логикой сюжета и характеров роман зовет к бескомпромиссности идейных, нравственных позиций.

Лучшие книги наших дней целеустремленно участвуют в нравственном обеспечении коммунизма. Под знаком такой нравственной стратегии развивалась в 70-х годах многонациональная советская романистика, столь крупно представленная в 1980 году романами писателей трех братских народов: киргизского, украинского и русского.

Вместе с тем эти романы вносят существенный вклад в многолетнюю полемику вокруг вопроса «искусство и НТР», прошедшую при активном участии художественной прозы и в особенности романа 60-х и 70-х годов. Уже к началу 70-х бурные споры «физиков» с «лириками» переключались с газетных страниц на страницы романов, повестей и рассказов и с тех пор стали одной из сквозных проблем. Сложилось целое тематическое направление романов, повестей, рассказов о людях искусства и науки, появились статьи и книги критиков и литературоведов под более чем красноречивыми заглавиями («Союз формул и метафор» Б. Яковлева, «Люди искусства и науки в современном романе» Ю. Суровцева). Конец 70-х отмечен появлением ряда видных романов об ученых — «Разгона» П. Загребельного, «Бессонницы» А. Крона, «Рая в шалаше» Г. Башкировой, «Белой тени» Ю. Мушкетика, «Эффекта положения» И. Герасимова, «Камня чистой воды» Г. Панджикидзе...

Роман Д. Гранина «Картина» интересен в этом ряду не только как художественное явление, но и как слово писателя в полемике о роли искусства в нашей жизни, на нынешнем этапе развития общественных связей и отношений. Роман дает достаточные основания для того, чтобы читать его как свидетельство изменивше-

гося соотношения сил и мнений в спорах по интересующей нас проблеме.

Точку зрения технократов, именовавшихся в 50—60-е годы «физиками», развивает в романе руководитель областного масштаба Уваров. Он, несомненно, умнее своих предшественников и не будет цинично насмехаться над любовью к музыке Баха и Моцарта, а как деловой человек даже привлекателен. Но к искусству он более чем равнодушен, оно ему, как выражается однажды Лосев, «до фени». По мнению Уварова, слишком много развелось у нас поэтов и художников, «а людей дела не хватает».

Думается, в работе над образом Уварова писатель, идя на обострение проблемы, и сам не избежал некоторой прямолинейности. Например, сомнительно, что в момент «саморазоблачительных» признаний Уварова надо было, чтобы в его руках «появилась маленькая коробочка — компьютера, пальцы побежали по кнопкам, загорелись цифры красного неона». В таких прямолинейных иллюстрациях подлинное искусство не нуждается. Но в целом образ Уварова колоритен и выразителен.

Авторская позиция в конфликтном противостоянии двух концепций отношения к искусству выражена образом Тани Тучковой. Об Уварове она отзывается со всей горячностью и максималистской решительностью: «Ваш Уваров — чудовище! Ну как вы с таким дуболомом... — Она не находила слов, наэлектризованная гневом, искры летели от нее. — Называется руководитель. Тот не может руководить, кто не понимает искусства».

Таковы точки зрения, резко противоположенные друг другу.

Кстати, именно благодаря искусству, картине Астахова в частности, центральному герою романа Лосеву становятся доступны и высоты человеческого духа. Искусство помогает Лосеву критически отнестись к духовной бедности узкого прагматизма и окончательно преодолеть его остатки в самом себе.

Конфликт романа, борьба, развернувшаяся вокруг произведения художника, — наглядное и впечатляющее свидетельство осуществления ленинской мечты об искусстве как духовном достоянии широких трудящихся масс, о его силе в нравственном и эстетическом воспитании народа.

Конечно, подобную роль могут выполнять только подлинно художественные произведения. Потому-то борьба за высокий художественный уровень искусства — неперемнная составная часть полити-

ки партии в этой области и постоянный предмет забот литературной критики. Наши рабочие и крестьяне, говорил В. И. Ленин, «получили право на настоящее великое искусство»¹. В борьбе за реальное осуществление такого права огромное значение имеют конкретные образцы настоящего искусства, становящиеся вехами, ориентирами движения к «действительно новому, великому коммунистическому искусству, которое создаст форму соответственно своему содержанию»².

Проблема таких ориентиров, критериев качества стала тоже одной из центральных в литературных дискуссиях 70-х годов. В связи с этим хочу напомнить об очень содержательной дискуссии «Черты литературы последних лет», развернувшейся в «Вопросах литературы». В открывшей ее статье Е. Сидоров заговорил о жгучей потребности «в масштабном, социально-философском романе» и выразил надежду, что на смену прозе довольно ровной, но не сулящей, к сожалению, серьезных открытий, придут «снежные вершины», появится и «главная книга» нашего времени.

Горечь констатаций (в нынешней прозе «ослабело романное мышление», нет синтеза даже в романе — самом синтетическом жанре), непривычная для дискуссий решительность претензий и требований — все это поначалу больно задело некоторых писателей и критиков. Первая их реакция была защитной и, скажем прямо, несколько близорукой.

Нет «главной книги»? И не нужно. «Главная книга» — это «иллюзия и предрасудок». Недостает синтеза, глобальной проблемности, эпичности? Есть! Только ищите ее не в романах, а в «малоформатной прозе». В рассказах В. Шукшина всего этого предостаточно, а в «Калине красной», в рассказе Е. Носова «Шумит луговая овсяница» и того больше. Радоваться пока нечему? Переходный период? Накопление сил? Нет, нет, переходных эпох не бывает, как не бывает и разрыва, перерыва в искусстве.

Чего же еще желать? Ах, «снежных вершин»? Имейте терпение: «...снежные вершины часто делаются вершинами для нашего сознания по мере удаления от них, ибо близкое всегда стесняет...»

Так сразу на первом же этапе обсужде-

¹ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. «Художественная литература». 1969, стр. 665—666.

² Там же, стр. 666.

ния главным предметом спора стали критерии анализа и оценки явлений литературного процесса. Оспаривая максимализм Е. Сидорова, оппоненты объявили его подход к литературе футурологическим и предложили в качестве сегодняшнего критерия «уровень, реально достигнутый нашей прозой», а более подходящей точкой обзора (альтернативой «снежным вершинам») были названы... «холмы». «Холмы,— пояснил И. Золотусский,— организаторы пространства и вместе с тем высоты, с которой видна нескудеющая даль его. В эту даль, наследуя простор, ее породивший, и уходит современная проза».

Полемический талант И. Золотусского (кажется, всегда тяготевшего тоже к максимализму) на этот раз весь был отдан защите умеренного «постепеновства». И. Дедков и Л. Антопольский в один голос высказывались за терпеливое ожидание саморазвития «идейных и нравственно-философских устремлений прозы 70-х годов» и советовали критике «не гнать лошадей»...

В обсуждении столкнулись два понимания роли критики: с одной стороны, концепция критики, активно вмешивающейся в литературный процесс, стремящейся корректировать складывающиеся в нем тенденции, направлять их развитие и прогнозировать хотя бы ближайшее будущее, а с другой — концепция критики, ограничивающей себя наблюдениями, терпеливым выжиданием и регистрацией результатов.

Я не склонен считать вторую из названных концепций постоянным «символом веры» ни у И. Золотусского, ни у двух его товарищей, согласно с ним пропевших «ямщик, не гони лошадей». Но в дискуссии, в программном споре о критериях их голоса прозвучали, как мне кажется, неожиданным диссонансом возрастающей требовательности.

Противостояние концепций не осталось кратковременным эпизодом в полемике. Оно прошло через все десятилетие 70-х и повторилось в 1980 году в дискуссии «Проза семидесятых годов» на страницах «Литературного обозрения» почти буквально. Да, повторилось, но скорее как карикатура, хотя и отнюдь не преднамеренная. В восьмой книжке журнала за прошлый год подал

голос ростовский писатель В. Сидоров. Ожидание нового Льва Толстого с новой «Войной и миром» он объявил неисторичным, да и вообще неосуществимым, эфемерным, потому что создана огромная блестящая литература, не оставляющая даже гению материала на эпопею типа «Войны и мира». Более того, новая «Война и мир» уже написана — это наша военная проза от «Звезды» и «Марта — апреля» до «В августе сорок четвертого...».

Но и независимо от вывода об исчерпанности военной тематики (его несостоятельность уже показана в том же журнале) В. Сидоров отрицает самую необходимость в великих творческих индивидуальностях и «снежных вершинах» творчества потому-де, что наше время — эпоха «коллективного гения»: «Не видно ни нового Горького, ни Алексея Толстого, ни Федина, зато вкупе, вся вместе, русская, русскоязычная проза так же, как поэзия, блестяща, кажется, как никогда раньше. Похоже, мы переживаем эпоху некоего странного, небывалого коллективизма в литературе. Это нечто совершенно невиданное. Нет великих, но литература — цветущая, великолепная, великая».

Выступление В. Сидорова, возрождая ту же концепцию замещения высоких ориентиров «холмами — организаторами пространства», а великих классиков — «коллективным гением», дышит чрезмерной беспечностью и сытым удовлетворением.

За «Войну и мир» уже заступились писатели В. Кондратьев и А. Адамович и серьезно и с насмешливой иронией, как того заслуживает столь карикатурное представление о литературном процессе.

Великие творения гениальных писателей остаются и для советской литературы постоянными эталонами оценки сделанного, достигнутого. «Снежные вершины» творческого гения всегда впереди, возвышаются за горизонтом сегодняшних наших трудов. Потому-то и придаем мы такое значение трем рассмотренным здесь романам, лучшим произведениям этого жанра в 1980 году. Они — вежи, ближайшие ориентиры движения нашей литературы к еще более высоким вершинам. Они много значат сами по себе — еще больше обещают.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Барлас. Летопись оживает. — **Н. Покровский.** В поисках истины.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Лев Давыдов. Нечерноземье — в дороге. — **Григорий Резниченко.** За чертой привычного. — **В. Ляшенко.** Неторными тропами.

Литература и искусство

ЛЕТОПИСЬ ОЖИВАЕТ

С. Лесневский. Путь, открытый взором. Московская земля в жизни Александра Блока. Биографическая хроника. Ч. 1. «Московский рабочий». 1980. 303 стр.

Жизнь Блока лишена внешнего драматизма и не отличалась разнообразием. Безоблачное детство, когда он рос баловнем просвещенных женщин в дружной работающей семье, возглавляемой дедом — крупнейшим ботаником своего времени. Летние месяцы — в тиши скромной подмосковной усадьбы; зимние — в петербургских казенных и наемных квартирах. К этим двум полюсам — Петербургу и подмосковному Шахматову — он тяготел и все свои зрелые годы, оставляя их ненадолго и довольно редко. По России поэт почти не ездил, и только в Москву, где состоялся его дебют и завязались многочисленные литературные связи, он заглядывал часто.

Но сопоставим внешне упорядоченное течение этой сравнительно обеспеченной жизни с непосредственным ощущением подспудного напряжения, как бы ожидания небывалых потрясений, на котором настояны почти все стихи поэта. Уж в семнадцать лет были написаны строки: «Пусть светит месяц — ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье, — в моей душе любви весна не сменил бурного ненастья», — поэт открыл ими собрание своих стихотворений. И когда видишь эту всеобъемлющую потребность проникнуть за пределы того, что способен вынести человек, и принимать

все как часть необходимого поэту мира, высвечивая его своим надмирным видением; когда замечаешь, как, постепенно освобождаясь от мистических отвлеченностей начальной поры, поэт бесстрашно, жестко и с высоты гармонии пушкинского «Пророка» обнажил перед обществом весь ужас омертвления живой жизни сытых, предвещая необходимое и неизбежное возмездие («На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза, пока великая гроза все не смела в твоей отчизне...»); когда пытаешься все это осмыслить, — то невольно намечаешь и некие глубинные связи между тем, что поэт пережил непосредственно, и трагическими откровениями его творчества. Всегда, видимо, хочется знать, как прожил человек, стихи которого нас трогают, и чем больше узнаешь о его жизни, тем ближе к истокам его вдохновения. А у Блока эти связи и знаменательно драматичны, и даже загадочны своим отклонением от привычного.

Целостному осмыслению личности и ее творчества — без традиционного подразделения на жизнеописание, обходящее внутренне противоречия героя (как у первого биографа поэта М. А. Бекетовой), и историю творчества в рамках чистого литературоведения — сейчас посвящается все больше работ. Рассматривая драму личной и твор-

ческой судьбы Блока, многие делали упор на его сложных отношениях с женою и на треугольнике мать — сын — невестка. Хроника и одновременно исследование Станислава Лесневского посвящена той же проблематике, но существенно отличается по своему подходу. Я хотел вначале дать хотя бы некоторое представление о трудностях задачи, стоявшей перед автором, потому что, читая его книгу, о них можно и не догадаться. Внешне она построена как обстоятельное жизнеописание без малейшей драматизации событий. Даже стилистика автора напоминает неторопливые и безыскусственные обороты почтенных литераторов первой четверти века. Пиетет С. Лесневского ко всему, что как-то затрагивает Блока, очевиден, и он намеренно избегает комментировать происходящее. Подобно летописи, события упорядочены по годам и выстроились вереницей поездок, знаменательных дат, деловых или дружеских свиданий и возникающих в этом окружении стихов. Но хотя С. Лесневский не пытается обобщать то, о чем он пишет, летопись эта не остается сухим перечислением фактов и постепенно оживает, когда в нее начинаешь вчитываться.

Дело в том, что автор почти все время предоставляет слово очевидцам — участникам происшедшего или тем, кто составлял их ближайшее окружение, а стихи поэта возникают как органическая часть событий и их естественное следствие. Это, безусловно, не занимательное чтение, не сводка данных, наводящих на однозначные выводы. Однако внимательного читателя, вероятно, увлечет возможность оказаться как бы непосредственным свидетелем происходящего. Открываются многообразнейшие связи, и вместе с автором следишь, как разворачивается свиток, где впечатления бытия, музыка родной земли и предвестники грядущей судьбы невольно приобщают нас к духу выраставшей из этого поэзии — кризисной и одновременно исполненной гармонии. Мы привыкли, что критик делает нужные выводы за нас, а здесь как бы предлагается идти к ним самостоятельно. И даже не к чему-либо точно формулируемому, а скорее к определенному ощущению складывающейся на наших глазах творческой судьбы.

Вот Ксения Садовская — первая любовь поэта. Ему еще нет семнадцати, ей — далеко за тридцать. Всего примерно на месяц скрестились тем летом их судьбы в курорте Бад-Наугейме, куда его взяла с собой мать и тетя. Ситуация до очевидности недвусмысленная, если исходить из прописей житейского опыта, которые отразились да-

же на интонациях М. А. Бекетовой («Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика»). С. Лесневский, как обычно, комментарий избегает. Ограничившись приведенными фактами, он отмечает лишь начало серьезных стихов (стихотворение «Ночь на землю сошла», которым Блок хотел открыть собрание своей лирики) и приводит поразительный отрывок из письма, отправленного к Садовской из Шахматова вскоре после возвращения в Россию: «Дорогая Оксана! Прости меня ради Бога, я не могу иначе называть Тебя. Я люблю Тебя, как не любил еще никого на свете и, наверно, не буду любить... Я живу одной надеждой еще раз хоть мельком увидеть Твой несравненный образ... Теперь я вижу, что вся моя жизнь была сном... Я пишу большую букву при обращении к Тебе не из каких-нибудь светских приличий. Я пишу так потому, что ты мое Божество и я поклоняюсь Тебе...»

Если подытожить этот материал, руководствуясь все той же житейской логикой, то, вероятно, к цитированному письму следовало бы подойти с достаточной осторожностью. Новых фактов оно не открывает, а о реальном содержании выраженного в нем чувства судить трудно ввиду явной импульсивности сказанного. Ну, а если не пытаться оценить весомость отдельных фактов? Если сопоставить написанное с предыдущими впечатлениями от безоблачной и тепличной атмосферы детства, которому так отчетливо недоставало мужского начала? Перечитать стихи 1898—1903 годов, которые отмечены инициалами К. М. С., и цикл «Через двенадцать лет», начатый в том же Бад-Наугейме, — и тогда, пожалуй, возникает не только целостный образ этой грустной истории, но и ощущение, я бы сказал, завязки предстоящей судьбы. И, читая у С. Лесневского, как вскоре зарождается другая любовь поэта, проходящая через всю жизнь и тоже глубоко драматичная, но развивавшаяся совсем иначе, — будто уже и ждешь этого как внутреннего необходимого противопоставления.

Как мы видим, подход С. Лесневского стимулирует активное прочтение книги, побуждая каждого идти к собственному пониманию событий. (Этому способствует и обширная библиография, упорядоченная по темам, но без конкретных ссылок.) Читателя, привыкшего просто усваивать сказанное, возможно, утомит медлительность изложения, свойственная автору. Однако именно благодаря отказу от приемов внешней занимательности С. Лесневскому уда-

ется передать ключевые коллизии судьбы Блока с особой силой и жизненностью. Он предоставляет слово главным действующим лицам, причем в диалогах этой документальной драмы сталкиваются не сами герои, а их осмысливание происходящего — иногда по горячим следам, иногда спустя годы, иногда накладываясь друг на друга.

Так построен весь роман поэта с Л. Д. Менделеевой — от июньского дня 1898 года до свадьбы в августе 1903-го. Все важное здесь дано его глазами — в основном по дневнику 1918 года. И те же события параллельно показаны и ее глазами — по запискам, начатым после его смерти, неупорядоченным и неоконченным. И все разворачивается на фоне повседневной жизни и вкраплений точно датированных стихов и дополнено отрывками из воспоминаний близких и переписки, завязавшейся после решающего объяснения осенью 1902 года. И благодаря скрещению сталкивающихся, дополняющих друг друга и просеянных памятью впечатлений текущего дня, а также ракурсам различных оценок того, каким он, этот день, представлялся очевидцам в разные годы, и, конечно же, благодаря свету неведомого им будущего, намного облегчившего автору его бережный поиск и отбор, — весь этот организованный поток пережитого оказывается для нас тем динамичным и наводящим на размышления сгущением жизненной правды, из-за которого сейчас так высоко и ценится искусство, не прибегающее к вымыслу.

Этот драматизм скрещивающихся оценок отличает и рассказ о начавшемся расхождении Блока с «аргонатами» (молодыми символистами) — еще подспудной неловкости летом 1904 года в Шахматове, куда приехали А. Белый и С. Соловьев, и уже очевидной трещине после их же наезда летом 1905-го. Автор широко использует переписку Блока с А. Белым и С. Соловьевым, а также их воспоминания. За этим расхождением стояли творческие разногласия, ознаменовавшие фактический отход Блока от символизма. Вместе с тем обнаружилась и сложность личных отношений Блока и Белого, достигших вскоре драматического накала, поскольку Белый влюбился в Любовь Дмитриевну. Завязавшийся узел выявил и наметившуюся двойственность чувства, соединившего Блока с женой (духовная необходимость друг в друге при полярности взаимных ожиданий и существенных черт личности). И хотя первая часть труда С. Лесневского (до 1906 г.) относится лишь к началу этой драмы, автор сразу же необходимыми указал, какие ограни-

чения накладывает на используемые данные: «Любовь Дмитриевна пытается внятно и откровенно рассказать о том, о чем Блок произнес только: «связала нас тайна и ночь»... Мы сейчас не чувствуем себя вправе последовать примеру Любови Дмитриевны и выйти за грани слов поэта».

И действительно, слова, процитированные С. Лесневским, взяты из стихотворения «Ангел-Хранитель», написанного поэтом к третьей годовщине свадьбы. Думаю, это не только стихи-заклинание, исполненные пафоса прозрения и размашисто, но и почти бесплотно намечающие контуры единой — его и любимой — судьбы. Это и очищенная от околичностей быта исповедь, обнажившая двойственную суть того, что их навеки соединило. И именно прямота сказанного, его высокий дух, отбрасывающий все второстепенное, мешает нам осознать эту исповедь в ее страшной простоте — без низведения ее к подробностям быта.

Так что, определив здесь границы своего анализа, С. Лесневский фактически следовал завету Пушкина: «Оставь любобытность толпе и будь заодно с гением». Исследователь сказал достаточно, чтобы сложилось целостное представление о творческой судьбе поэта. Если же, оправдывая себя необходимостью установить истину во всей полноте, приводить любые нескромные свидетельства, в достоверности которых все равно нельзя убедиться, то не на руку ли это страсти мещанина опоплять все высокое, на опасность чего так впечатляюще указал Пушкин в том же письме Вяземскому? («Голпа жадно читает исповеди, записки... потому что... радуется унижению высокого... она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!»)

Чего, по-моему, недостает книге С. Лесневского? Прежде всего хотелось бы большей четкости, более целенаправленной организации текста. Стремление избежать комментариев привело к тому, что, когда скрещение сталкивающихся оценок не цемментирует изложения, автор подчас сбивается на простую хронику. Хотя сведения по-прежнему разнообразны и любопытны, но после первых глав, осветивших нам семейные корни поэта и его юные годы, читатель иногда погружается в ворох событий, упорядоченных лишь во времени, и ему нелегко понять, чем значим отобраный С. Лесневским материал. Слово спохватившись, автор несколько раз вклинивает в изложение обобщающие куски. Но это не помогает. Они не только написаны

в ином ключе, но по сути не связаны и с теми обобщениями, на которые невольно наводит остальной текст. Ведь акцент на «московской земле», отмеченный подзаголовком книги, не случаен. Оттолкнувшись от слов Белого об окрестностях Шахматова («веял ландшафт строчкой Блока» и «поэзия эта воистину шахматовская»), С. Лесневский всей совокупностью сказанного фактически подводит нас к мысли, что если Петербург — Город Блока, то Шахматово — это Россия Блока. Ведь и «избы серые» нищей России, они — из соседних шахматовских деревень; и начало раздумий о путях России («На поле Куликовом»): «Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега», — несомненно, восходит к шахматовской Лутосне. И так без конца...

Особенно притягательны эти тревожные холмистые дали — второй полюс поэзии Блока — тем, что в них самих живое воплощение гармонии его поэзии и ее кровной связи с родною землей. И потому они неотступно напоминают каждому

и о нашем долге — сохранить эту землю для наших потомков.

С. Лесневский оказался в числе тех, кому немой призыв этой земли не просто запал в душу, но и определил его дальнейшую судьбу. Праздники поэзии в Шахматове, создание по соседству фотовыставки, готовой перерасти в музей, взятие памятных мест под охрану и их неотложные нужды — все это в течение многих последних лет составляло всепоглощающую заботу критика, и отпечаток его усилий лежит на всем, что с этим было связано. Эта книга — дань тому же призыву. Автор выступил здесь как исследователь, а не публицист, и потому его пафос — выявить подлинное место шахматовского «полюса» в жизни и творчестве Блока — как бы растворился в использованном материале. Но это, в сущности, не меняет дела — вышла книга, и важнее всего то, что она сама может сообщить о себе.

В. БАРААС.



В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. («Литературные памятники») М. «Наука». 1980. 456 стр.

Судьба литературного шедевра всегда необычна. Сама исключительность такого произведения окружает личность автора, историю создания книги ореолом легендарности. Знаменитый ныне «Уолден», написанный в середине прошлого столетия малоизвестным при жизни американским писателем, философом и натуралистом Генри Дэвидом Торо, стал явлением легендарным. На рубеже 60—70-х годов нашего столетия Торо был признан самым читаемым и наиболее часто переводимым на иностранные языки американским писателем XIX века.

Впрочем, сам Торо, резко не одобрявший принципов американского уклада жизни, не мечтал о славе. И публика отвечала ему взаимностью, в течение почти века храня его память в полном небрежении. Но были и исключения. Так, одним из первых идейную и художественную оригинальность Торо увидел Л. Н. Толстой, способствовавший полному изданию «Уолдена» на русском языке.

Всю свою недолгую жизнь Торо без остатка посвятил самоутружденным поискам истин нравственной чистоты, простоты человеческих отношений, гармонии

мира людей и мира природы. И поиски эти слагались в нелегкую «одиссею духа», которая порой возносила писателя на вершины экстатического ощущения полноты бытия или же ставила на грань безысходности. Внешне неторопливое и лишенное «роковых» изломов существование Торо в провинциальном городке Конкорд контрастировало с не прекращавшимся в сознании философа самозабвенным творческим конструированием своей собственной Вселенной, романтического микрокосма, в котором переплавлялись, сгорая, идеалы буржуазного мещанства и прагматизма, мрачного протестантского пиеизма и который наполнялся романтизированным культом девственной природы и верой в будущность подлинной демократии. Об этом повествует «Уолден» — исповедальная книга Генри Торо.

И по сей день в черте «большого Бостона» сохранилось сиротливое озеро Уолден, на берегу которого в 1845 году Генри Торо соорудил из деревянных ящиков примитивную хижину и прожил в ней уединенно два года. «Уолден, или Жизнь в лесу», написанный несколькими

годами позже и ставший художественным отчетом о долгих месяцах добровольного изгнания, — это и социально-этическая утопия, имеющая ныне в США немало сторонников, и американская версия философии романтизма, и особый жанр литературы, породивший многочисленных последователей в XX веке, и не лишенный научной ценности природоведческий трактат. Но прежде всего эта книга — страстный призыв взглянуть, еще и еще раз в череду обыденных дел, лиц, предметов и обнаружить в них черты необычного, возвышенного, живущего и развивающегося, призыв отринуть от себя все то, что недостойно этих высоких определений.

Мировоззрение Торо глубоко оптимистично, и это делает его «Уолден» особенно привлекательным и близким современному читателю. «...Я не намерен сочинять Оду к Уньюню, напротив, я буду горланить, как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей». Подчиняясь скрытому художественному ритму произведения, мы вслед за Торо проникаем в бесконечный мир нетронутой, первозданной природы, составляющей согласно романтической философии эстетический и этический антипод капиталистическому городу. Отнюдь не солидаризируясь с Торо в его чрезмерной эстетизации природного ландшафта, необходимо признать прозорливость многих идей писателя и философа, наметившего грядущее становление экологической науки, прежде всего в ее нравственном преломлении. «В жизни наших городов наступил бы застой, если бы не окружающие неисхоженные леса и луга... Дикая природа, — продолжал Торо, — нужна нам как источник бодрости... В нас живет стремление все познать и исследовать и одновременно — жажда тайны, желание, чтобы все оставалось непознаваемым, чтобы суша и море были дикими и неизмеренными, потому что они неизмеримы. Природой невозможно пресытиться. Нам не-

обходимы бодрящие зрелища ее неисчерпаемой силы, ее титанической мощи... Нам надо видеть силы, превосходящие наши собственные, и жизнь, цветущую там, куда не ступает наша нога».

Лишь по внешнему ходу событий противопоставление американским писателем человека и общества, общества и природы носило абсолютный характер. Торо в сущности своей не был ни разуверившимся в справедливости отшельником, ни нигилистическим эскейпистом. Его уход в леса был продиктован в конечном счете стремлением найти точку нравственной опоры и вернуться в общество, к людям обновленным, духовно окрепшим для борьбы за правду. Концепция Торо, бесспорно, противоречива, и не исключено, что противоречивость эта, ощущаемая и самим писателем, предопределила неизбежность его возвращения. Покидая Уолден, он писал: «Я ушел из леса по столь же важным причинам, что и поселился там. Быть может, мне казалось, что мне нужно прожить еще несколько жизней, и я не мог тратить больше времени на эту».

За порогом уолденской хижинки Торо ожидала сложная и бурная стремнина политических сражений за отмену рабства. Страна вступала в преддверие Гражданской войны между Севером и Югом. Торо встречали новые люди, новые идеи. И писатель оказался достойным преемником демократических идеалов американской революции, не задумываясь встав на сторону народных масс.

«Мой опыт, — заметил Торо, завершая «Уолден», — во всяком случае, научил меня следующему: если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, какого не дано будничному существованию». Торо смело шел к своей мечте, и хотя его путь не был прост, выстраданный оптимизм и человеколюбие всегда освещали ему дорогу.

Н. ПОКРОВСКИЙ.



Политика и наука

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ — В ДОРОГЕ

Дорогами России. М. «Советский писатель». 1980. 504 стр.

Всей кожей своей я чувствую и жаду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму ко-

ровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машины или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом... о том, когда по-

явятся первые проезжие дороги в моих родных местах и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

И еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?»

Этими строками из последнего рассказа Александра Яшина «Угощаю рябиной» писатель Сергей Макаров начинает свой очерк «Дни вологодского календаря», вошедший в сборник о Нечерноземье.

Яшинские строки, полные сердечной болью, забот и печали о родной земле, могли бы служить эпиграфом и ко всему сборнику. Его составитель А. Никитин объединил под одной обложкой десять художественно-документальных произведений. Все они родственны не только по теме, но и по своей остроте, манере изложения, накалу событий. В ткань каждого из них вросла неотторжимо судьба автора, жаждущего необходимых и безотлагательных мер, ищущего наилучшие, самые верные пути к переменам. Коренным, радикальным переменам, процесс которых уже начался и происходит с революционным, большевистским размахом, ибо стал существенной частью продовольственной программы нашей партии, утвержденной XXVI съездом КПСС.

Почти все очерки написаны широко известными литераторами-публицистами. Видно, что эти произведения попали сюда не случайно, не с борю по сосенке, удачно подвернувшись под руку, а умело и со вкусом подобраны из опубликованного в периодике. Каковы же вкусы составителя А. Никитина, читатели легко себе представят — они найдут его имя не только в выходных данных, но и среди авторов.

Умышленно останавлиюсь на организаторской и творческой роли составителя. Ведь нет же ни одной рецензии о концерте симфонического оркестра, в которой музыкальный критик позабыл бы о дирижере. Тем более о дирижере, который и сам играет на скрипке. А составитель, к глубокому сожалению, сплошь и рядом совершенно незаслуженно замалчивается литературной критикой, игнорируется ею. Да и в писательской среде не всегда в должном почете. Не потому ли выходили и по сию пору продолжают выходить серые, безликие сборники, быстро вянущие скороспелки, порождающие полярный холод равнодушия у читающей публики, ее недоверие к такого рода литературе?

Но между тем уже есть немало коллективных художественно-документальных книг, нашедших широкое признание книголюбов всех возрастов. Эти сборники переиздаются по нескольку раз массовыми тиражами, успешно соперничая с творениями иных одиночек даже из столь ходких жанров, как фантастика и детектив.

Это необычное и весьма отрадное, на мой взгляд, явление обнаружили библиотекари, подтвердила статистика и объяснил чуткий к новому литературовед Феликс Кузнецов. Особый интерес, утверждает он, вызывает не каждый сборник, а тот, в котором все авторы становятся одновременно и соавторами, объединяются в монолитный творческий коллектив, в своеобразную комплексную бригаду. Впервые по отношению к литераторам применено это сугубо производственное понятие — комплексная бригада, где торжествует правило — один за всех, все за одного. Пожалуй, только ей и под силу коренным образом изменить привычный, традиционно-юбилейный характер коллективного тематического сборника. Превратить его в «долгоиграющую» книгу, где каждое произведение вполне самостоятельно, сюжетно завершено и вместе с тем органически связано с предыдущим и последующим. Сообща они образуют единое целое подобно главам большой многоплановой повести.

Не беру на себя смелость утверждать, что в сборнике о Нечерноземье желанное единство, цельность полностью достигнуты. Но несомненно: многое в нем затронет за живое читателей, вызовет у них и гнев, и обиду, и тревогу, и радость, и возмущение — наплыв человеческих чувств, естественный при чтении художественной литературы. И в добавление ко всему — растущее исподволь, от страницы к странице желание вмешаться, действовать, не быть самому пассивным, инертным, безучастным к чрезвычайно важному делу, ставшему всенародным.

А что оно действительно всенародное, напомнил в Отчетном докладе, заострив на этом внимание делегатов XXVI съезда КПСС, Леонид Ильич Брежнев: «Особо хотелось бы сказать о Нечерноземной зоне РСФСР. В силу ряда причин этот район оказался в более трудных условиях по сравнению с некоторыми другими. ЦК КПСС и Советское правительство наметили и осуществляют широкие мероприятия по развитию Нечерноземья». И подчеркнул: «Задача эта столь сложна и неотлож-

на, что решать ее следует совместными усилиями всех республик и по возможности в короткие сроки». Тут докладчик в подтверждение того, что поставленная задача нам по плечу, посчитал уместным сослаться на поразившие в свое время весь мир примеры: «Такой опыт у нас есть, и опыт богатый. Вспомним хотя бы строительство Турксиба, Урало-Кузбасса, освоение целины, восстановление Ташкента. Вот так же дружно и энергично нужно поработать и в Нечерноземье».

«Нужно поработать» — таков основной пафос, самое существенное и в содержании рецензируемой книги.

Что же такое Нечерноземье? Что означает это слово, вошедшее в обиход совсем недавно как имя собственное, и потому пишется вопреки Далю и Ушакову не с маленькой, а с большой буквы? Все ли ясно себе представляют не только почвенную характеристику этого громадного края, его необозримые просторы — от Балтики до Урала и от Ледовитого океана до черноземных степей, — не только его исключительное экономическое и политическое значение, но и его историю, культуру, веками сложившиеся традиции? Ставит эти вопросы и отвечает на них в обширном обзорном очерке, открывающем сборник, Семен Шуртаков. Отвечает менее всего цифрами или социально-экономическими формулами. Предпочитает обращаться к фактам глубокого и совсем недавнего прошлого. Выборочно привлекает наше внимание к наиболее ярким страницам истории родины, вернее ее сердцевины, основного гнездовья, где живет около 60 миллионов человек, почти половина всего населения РСФСР.

Читатель попадает на обычное с виду поле. На нем колосится пшеница, наливаются рожь. Весело и своевольно набегает ветерок, шурша и колыша в разные стороны золотистые волны зреющих хлебов. «Обыкновенное поле среднерусской полосы. Поле, каких не счесть». Но стоит сказать, замечает автор, что «реки, полукольцом огибающие его с севера, называются одна Доном, а другая Непрядвой», и становится сразу понятно, что поле это единственное в своем роде, знаменитое, Куликово.

«Верстовые столбы» истории России приводят читателей и на другое столь же знаменитое поле — Бородинское. И, по сути, на такую же подмосковную землю у разъезда Дубосеково, где через сто с лишним лет после Бородина захлебнулась атака фашистской танковой армады, оста-

новленной и разгромленной двадцатью семью панфиловцами.

Раскрывая «тайну» ратного героизма советского народа — источник его беспредельной любви и верности отчизне, — автор ведет читателей и на другие поля — мирные, хлебные. Очерк приобретает лирическое и даже патетическое звучание.

В своем родном Сергачевском районе, где в молодости Шуртакову довелось пахать анучинские земли, поблизости от них, в селе Андросово, много лет спустя он повстречал тракториста с фамилией Ульянов. «Ульянов — ну и что? Мало ли их по России, Ульяновых! Оно, может, и помене, чем, скажем, Ивановых и Сидоровых, но и Ульяновы — распространенная, и даже очень распространенная, русская фамилия. Когда я служил на Тихоокеанском флоте, у нас в дивизионе было сразу двое Ульяновых...»

Но, оказывается, именно отсюда, из коренного российского села Андросово, пошел славный род Ульяновых, который потом дал России великого Ленина. «И Александр Ульянов — тракторист не просто однофамилец с Владимиром Ильичем Ульяновым — он из того же рода, из того же корня».

Особенно взволнуют читателя страницы, проясняющие родословную Ленина по отцу. Мы узнаем о кропотливых изысканиях работников горьковского и астраханского архивов и журналиста Ивана Богданова. О найденных ими чрезвычайно важных документах, по исследованию которых признана неверной распространенная прежде версия, якобы дед Владимира Ильича происходил из обрусевших крещеных калмыков. Теперь становятся точно известны имена и даты рождения не только деда, на котором до сих пор обрывалась биография вождя, но и прадеда и прапрадеда Ленина, коренных русских крестьян — крепостных помещика Брехова, впоследствии приписанных к Астраханскому посаду. Безусловно, прав Шуртаков, полагая, что «придет еще какое-то время, учение Ленина не только распространится, но и утвердится по всей земле. Но и тогда, когда «по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть», когда люди, «распри позабыв, в единую семью соединятся», — и тогда они будут знать и помнить страну, откуда пошел по земле свет ленинской мысли; они будут знать и помнить... русское село Андросово, откуда есть-пошел род Ульяновых». Прав Шуртаков и в том, что Нечерноземье славно и своими зодчими, и

поэтами, и мастерами-умельцами, и изобретателями.

В интересных воспоминаниях и путевых записках Бориса Можжаева «По дороге в Мещеру» показано величие, чарующая красота природы и людей, которые более всего близки к ней,—крестьян Нечерноземья. Автор много раз колесил по тракту, именуемому то Касимовским, то Крымкой, то Владимиркой или Муромской, исходил пешком окрестные населенные пункты вдоль этой дороги от Москвы до самой Мещеры. Близко знаком он с сельскими партийными работниками, руководителями колхозов. Знает о нуждах края по собственным пытливым наблюдениям. Он раскрывает, скажем, и пороки мелиорации, проводимой бездумно, и восторгается ею там, где она хороша, чуток ко всему новому, что улучшает и преображает колхозную жизнь.

«Я видел прекрасные поля и луга Макеевского мыса. Мы ехали туда по отличной асфальтированной дороге — слева тянулся высокий вал, отделявший реку Пру, справа — ровный канал, широкая водная межа, отвоєванные у болотных полей. В самом углу этих искусно созданных полей стояла внушительная кирпичная башня... насосная станция... Внизу, в подвале насосной станции, стояло три мощных насоса, черным лаком блестели их круглые спины, подрагивали стрелки манометров, гудело и урчало в трубах серебристых труб. А наверху, за столиком, у светлого пульта управления, сидела в мини-юбочке очаровательная девушка и читала книгу. Мы познакомились. Девушка, Рита Сухова, оказалась студенткой из московского института, проходила здесь двухмесячную практику... Потом мы долго ездили по обширным полям. Вся карта была разбита каналами на большие квадраты. В каждом канале стояли стальные шлюзы. Несмотря на проливные дожди нынешнего года, поля и луга на Макеевском мысу стояли сухие. При засушливой погоде шлюзы закрываются, уровень грунтовых вод сохраняется прежним... Травы здесь были скошены за исключением семенных участков, а на полях торчали таблички с диковинными надписями: «Неполегаемая пшеница Верд-сидз — США», «Овес Марино — Голландия», «Леанда — голландский овес». И куда ни пойдешь — в овсы ли, в пшеницу,— все тебе по пояс и густоты непрорезной... Да полно! В Мещере ли я? — думалось недольно. Значит, может родить эта земля не хуже иных-прочих? Может!»

О том, что Нечерноземье может давать

высокие урожаи, развивать многостороннее хозяйство, обеспечивать себя полностью и хлебом, и молоком, и мясом, и овощами, и фруктами, убедительно, доказуемо и наглядно показано в очерках Юрия Черниченко, Дмитрия Жукова, Анатолия Турова, Вячеслава Пальмана.

Темы очерков сборника разнообразны, и каждый достоин подробного разбора. Читатели совершат путешествие и на берега реки Жиздры, наведаются в Калугу, где Алексей Константинович Толстой встретился с Гоголем и услышал от него старинную песню «Пантелей-государь ходит по двору», вошедшую потом в роман «Князь Серебряный». Узнают много любопытного про Оптину пустынь, где бывали Гоголь, Жуковский, Достоевский, Апухтин, Жемчужниковы, А. К. и Л. Н. Толстые. И наверняка разделит горечь Дмитрия Жукова по поводу того, что Оптина, взятая под государственную охрану как памятник истории, продолжает разрушаться, а опущенные на реставрацию средства остаются неизрасходованными.

Перед читателями как бы оживут и другие исторические памятники Нечерноземья, и, что не менее значительно, судьбы многих рабочих, колхозников, интеллигентов, всех тех, кто ныне решает грандиозную задачу перестройки экономики и культуры российского села.

В материалах В. Пальмана и Ю. Черниченко раскрывается и подвиг наших ученых-селекционеров, создавших высокоурожайные сорта зерновых и картофеля. Это очерки-исследования, силен их бойцовский публицистический накал. Да и впрямь никак нельзя — никто не в праве — мириться с тем, что мешает, тормозит работу по увеличению урожаев, своевременному завершению уборки, сохранению зерна и овощей, их доставке в хорошем состоянии потребителю. А пока еще, увы, мешает многое, и об этом с большевистской прямотой говорилась на XXVI съезде нашей партии.

Понятна забота, беспокойство писателей А. Турова, А. Стреляного и директора совхоза А. Чубарука, удачно «завербованного» в авторский коллектив, о сельских кадрах, о том, как привить молодежи вкус к земле, вернуть на землю тех, кто, получив звание агронома, механизатора, бросил деревню ради городской, более удобной и благоустроенной жизни. А, вернуть можно при одном условии — благоустривая сельскую жизнь, прокладывая асфальтированные шоссе и дороги, создавая очаги высокой культуры, прививая с детства, с первого класса в школе, а еще

лучше и до школы, любовь к труду на земле, к родной природе, к великому культурному наследию, которым мы так богаты, но еще не умеем как следует оберегать его и использовать в воспитании.

Нечерноземье — в дороге, невиданно

крутой, с резким подъемом к вершинам, которые еще совсем недавно казались недосягаемыми. Но они будут взяты. В этой мысли утверждаешься, читая сборник «Дорогами России».

Лев ДАВЫДОВ.



ЗА ЧЕРТОЙ ПРИВЫЧНОГО

Александр Левиков. Калужский вариант. М. Политиздат. 1980. 391 стр.

До недавнего времени, сравнительно, конечно, лет семь — десять назад, считалось, что бригадный подряд в промышленности, особенно мелкосерийном производстве, невозможен. Но вот калужане, первыми начавшие вводить его, на практике доказали, какие огромные преимущества таит в себе этот далеко еще не изученный и не освоенный широко новый, прогрессивный метод организации труда. Конечно, успех на Калужский турбинный завод пришел не сразу. На первых порах у него оказалось противников куда больше, нежели сторонников. Борьба между ними разворачивалась и проходила не только в Калуге. Поэтому писатель, занявшись публицистическим исследованием и осмыслением чрезвычайно важной для народного хозяйства проблемы, сменил немало городов, скрупулезно исследуя все за и против калужского варианта, он рассказывал о нем везде где только мог, собирал об этом методе мнения, соображения ученых, специалистов, рабочих и привозил все в мешке, то есть в блокноте, калужанам. Левиков побывал в трудовых коллективах Сибири и Дальнего Востока, Ленинграда, Риги, Минска, Днепропетровска, выезжал в ГДР. Его книга, публицистически острая, темпераментная, посвящена новым социально-экономическим экспериментам в промышленности.

Калужский вариант... В чем же его суть? Если коротко, то в том, что машиностроители турбинного завода за две прошедшие пятилетки преодолели стихию индивидуальной сдельщины и теперь на заводе 96 процентов рабочих объединены в бригады, труд которых оплачивается по конечному результату. Что такое индивидуальная сдельщина? Люди в механических цехах точат детали, получая за каждую из них оплату по расценкам. Точат их сотнями, тысячами, не заботясь о том, что одних деталей не хватает, а другими завалены склады. Механические цехи — самодержавное царство индивидуальной сдельщины, пи-

шет автор. Царство, где каждый действует сам по себе, где властвуют понятия выгодной и невыгодной работы. Со своей установкой на количество (порой в ущерб качеству), с родной сестрой своей — штурмовщиной, со своей главной бедой — неуправляемостью, из-за которой и сбой, и текучка, и снующий в мыле мастер, и конфликты.

В сборочных цехах бригады прижились, к ним привыкли, там, собственно, без них и невозможно. А вот станочники? Что с ними делать? Сначала нелегко было даже представить, на какой основе из них создавать бригады, как из одиночек-сдельщиков организовать коллектив, который кровно заинтересовался бы результатами своего конечного труда. Начинать это дело тогдашний директор Калужского турбинного завода (КТЗ) Леонид Васильевич Прусс. Левиков рассказывает: директор, прежде чем замахнуться на такое, обсудил идею буквально с каждым станочником на заводе. Еще до КТЗ Леонид Васильевич, работая начальником цеха одного из судостроительных заводов, пробовал создавать там бригады на подряде. Первое, что все увидели в них, — некоторые экономические преимущества. Но будущего, настоящего будущего, в новом методе организации работы тогда никто не усмотрел, и дело заглохло, движения в машиностроении не получило.

Прошли годы. В Калуге Прусс стал, что называется, другим человеком — многознающим, опытным. Турбина состоит из 5—6 тысяч деталей, размышляли калужане, каждая деталь подвергается множеству операций. А если по-другому подойти к той же турбине? Она имеет корпус, ротор и так далее. Взять и распределить отдельные конструктивные узлы машины между группами (бригадами) рабочих. А если узел слишком велик, громоздок? Тогда некоторые рабочие (отдельные бригады) будут делать часть узла. И платить соответственно: за часть узла или целый узел. Отсюда путь вел к станочникам. Людей, выполнявших

сверловочные, фрезерные, токарные работы, необходимые для строго определенного узла или части его, на заводе объединили в бригады. И получилось, что токари, скажем человек 20, стали не впрок заготавливать детали, а вырабатывать свой комплект, свой узел. Если кто-то недодал хотя бы одну деталь — обнаруживалось сразу, потому что без нее комплект не сдать. Оплата — за конечный результат работы, притом сразу на всю бригаду. А кому сколько? Вот что на этот счет говорит заместитель директора завода Н. Т. Филиппенко: «В идеале надо, чтобы бригада имела входной и выходной каналы: ты, бригадир, сделаешь столько-то комплектов, за них считаешься и получишь на свою артель столько-то денег. Все остальные вопросы решай внутри бригады. У нас практически так и есть».

Да, верно. Все вопросы жизни и работы коллектива решаются в бригаде, а точнее на ее совете. В том числе и кому сколько. Кроме бригадных советов, на заводе созданы советы бригадиров при начальнике цеха, совет бригадиров на уровне генерального директора предприятия. Возглавляет его токарь-расточник Виктор Яковлевич Чернов. Решение совета — закон для всех: от главного инженера и заместителя генерального директора до снабженца в последнем колене. «Любой администратор у нас считается с советом, включая и меня, генерального директора», — говорит Валерий Владимирович Прякин. Конечно, «совет бригадиров не указывает руководителям служб и начальникам цехов, как им выполнять их профессиональную работу. Однако он откровенно говорит этим же руководителям служб и начальникам цехов, при каких условиях могли бы лучше выполнять свою профессиональную работу слесари, фрезеровщики, зуборезчики, электрики, токари, штамповщики и прочие специалисты, объединенные в группы, ориентированные на конечный результат». Такова суть перемен, происшедших на КТЗ. Несложных, кажется. Но это лишь на первый взгляд.

Процесс, пережитый таким крупным коллективом, как КТЗ, процесс, заостренно поданный на страницах книги, в действительности очень сложен. Речь идет не о чисто технической перестройке, а о коренных преобразованиях, и не только экономического порядка, а затрагивающих сферу нравственных взаимоотношений, психологию. Морально здоровый климат в бригаде, цехе, на заводе, за который боролись и не устают бороться на КТЗ, положительно влияет на все и, разумеется, подни-

мает производительность труда, ведет не только к увеличению материальных благ общества и его членов, но и к улучшению культуры жизни и быта людей. А культура, в свою очередь, сказывается на производственных отношениях и производительности труда... и так до бесконечности, до идеала, до такого идеала во взаимоотношениях людей и в отношении к труду, который видим мы в завтрашнем дне нашего общества.

Новые производственные отношения, выявившиеся, если говорить языком экономиста, при бригадном подряде, как показывает А. Левиков, порождают у людей и некое новое понятие самого бригадного коллектива, способного решать теперь не только вопросы производства, хорошего заработка, но и проблемы социального плана, устройства жизни членов бригады. Прежде чем повести разговор о нравственно спяном коллективе, каким увидит его читатель в лице бригад КТЗ, работающих по принципу конечного результата, следует, на мой взгляд, внимательно вчитаться в слова Анатолия Гавриловича Солипатрова, рабочего из Ленинграда, приводимые автором на страницах книги. «Давно надо публично обсудить», — пишет Солипатров Александру Левикову, — если уже не поздно, что же такое коллектив. Обсудить открыто и откровенно. Мы затерли слово «коллектив». Когда его произносят, частенько уже никто не имеет в виду подлинный смысл. Что ни группа людей — коллектив!..» К нашему разговору, к тем проблемам, которые разбирает автор на страницах «Калужского варианта», мысли Солипатрова имеют самое непосредственное отношение, потому что если браться за обсуждение этого вопроса, то наряду с другими коллективами необходимо внимательно изучить и бригаду с КТЗ, в которой хорошо видны новые коллективистские грани.

Бригадная организация труда высветила и такую немаловажную сторону жизни завода, как участие рабочих в управлении производством, что ведет к дальнейшей демократизации этой сферы. По этому поводу мы немало иной раз говорим и пишем, приводим такие формы этого участия, как производственные совещания, народный контроль, собрания, печать, соревнования. Бригадный метод позволяет значительно расширить эту сферу. И это видно из уже утвердившейся практики на КТЗ: на работу нового человека принимает бригада и в вопросе об увольнении важен голос бригады, заработок, премии распределяет опять же бригада. Коллектив ее

ежемесячно участвует в планировании, при этом месячный план доводится до каждого рабочего и каждый рабочий знает свое задание по дням месяца. Короче, бригада решает три четверти всех проблем, которые раньше решал мастер. Мастер же теперь занят более глобальными проблемами, связанными с расширением производства, его обновлением, он перестал выписывать наряды, и, значит, исчезли выгодные и невыгодные работы.

О калужском варианте в стране уже знают довольно многие, и кое-кто настойчиво предлагает доверить бригаде выборы не только совета, но и самого бригадира. Калужане почти соглашались, но считают все же: пусть пока у администрации останется право назначать бригадиров, тем более что назначенные бригадиры, как показывают исследования, в большей части являются и неформальными лидерами.

На ряде предприятий обсуждаются также предложения по выборам мастера, начальника участка. Надо думать, что дальнейшая демократизация управления промышленностью, отмеченная и в документах XXVI съезда КПСС, позволит перейти к таким формам в недалеком будущем, особенно когда в индустрии и сельском хозяйстве закрепится метод бригадного подряда. Кстати, в решении ЦК КПСС и Совета Министров СССР, посвященном совершенствованию планирования и хозяйственного механизма, записано: «Министерствам, ведомствам, объединениям, предприятиям и организациям предложено разработать и осуществить мероприятия по широкому развитию бригадной формы организации и стимулирования труда, имея в виду, что в одиннадцатой пятилетке эта форма должна стать основной».

Обстоятельность изложения проблемы в книге, широта взгляда на нее и хорошо переданная атмосфера заводской жизни, управления производством приводят к заключению, что А. Левиков, прежде чем взяться за перо, пережил вместе с коллективом завода весь нелегкий процесс перехода калужских турбинистов на новую, прогрессивную форму организации труда, был его участником и свидетелем в течение многих лет.

Надо здесь заметить, что успехи к турбинистам пришли без расширения производственных площадей, без дополнительных капиталовложений, без привлечения новой рабочей силы. Далее — на заводе сократилась текучесть кадров: число заявлений об уходе по собственному желанию уменьшилось вчетверо. Молодой станочник в бригаде через шесть месяцев показывает резуль-

тат производственника с шестилетним стажем. Покончено на заводе с пьянкой, прогулами, штурмовщиной и другими явлениями, которые тянет за собой индивидуальная сдельщина. В настоящее время на Калужском турбинном заводе не хватает почти четырехсот рабочих. И все же, если кто-то провинился и попал за ворота, назад его уже не возьмут. Строго? Жестко? Может быть, но зато, на мой взгляд, справедливо, верно. Не хочешь работать, как все, не можешь расстаться с бутылкой, мешаешь другим — освободи место. Бригадная форма организации труда не терпит никаких безобразий и нарушений трудовой дисциплины.

Как результат многолетних поисков калужан приводит автор данные о том, что дал подряд заводу, его рабочим. Производительность труда, к примеру. Она ежегодно растет на 12—13 процентов, а это в два с лишним раза больше, чем средний рост по машиностроению страны. Прирост продукции в десятой пятилетке планировалось довести до 48 процентов. Фактически же завод выпустил изделий к концу восьмидесятого года на 75 процентов больше.

Калужский вариант, конечно, вырос не на пустом месте, пишет А. Левиков. Он органически впитал в себя достижения многих трудовых коллективов страны, в том числе и ВАЗа, передовых предприятий Львова, — опыт, одобренный ЦК КПСС. Но в нем есть и своя, вполне самобытная и плодотворная концепция. Она заключается в доверии к человеку, инициативе, идущей снизу, в реальном участии рабочих в управлении производством.

На КТЗ за последние пять лет приезжали тысячи специалистов, сотни разных делегаций, и калужский вариант постепенно расходится по всей стране. Он внедряется на многих предприятиях.

Форма бригадной организации труда, о которой так увлеченно, с любовью и подробно рассказывается на страницах книги, повлекла уже за собой и повлечет еще самые разные новшества, связанные с улучшением методов работы, совершенствованием производственных отношений, улучшением жизни людей. А Левиков пишет о таких, например, новшествах: можно ли планировать карьеру, деловой рост специалиста от мастера до главного инженера завода? Оказывается, можно. Такой опыт накоплен и широко распространен в ГДР. А могут ли работники приходить на завод, в учреждении в разное время — в пределах отведенных двух-трех часов? Тоже могут. Скользящий график работы (СГР) успешно внедряется на ряде предприятий города

Кохтла-Ярве. Рассказано в книге и о других новшествах из производственной жизни коллективов. Они бесспорно найдут свое место, и особенно, как мне кажется, при бригадной форме труда.

Калужский вариант, метод калужан-турбинистов, набирает темп. На страницах центральных газет все чаще появляются сообщения о его внедрении. Так, он активно внедряется на 178 промышленных предприятиях отрасли. В бригады перешли почти 60 процентов рабочих. Бригадный подряд внедряется на Калужских машиностроительном, радиоламповом, Людиновском тепловозостроительном заводах, в объединении «Калужанка». Постоянно проявляет

заботу о развитии этого метода Калужский обком КПСС.

Рассказывая о калужском варианте в книге одноименного названия (кстати, на эту же тему оперативно откликнулось Центральное телевидение, показав фильм об опыте турбинистов), Александр Левинов предпринял, на мой взгляд, важный шаг не только в деле публицистического исследования серьезной, интересной со всех точек зрения проблемы, но и для ее широкой пропаганды. Он просто и увлекательно рассказал читателю о людях, перешагнувших черту привычного.

Григорий РЕЗНИЧЕНКО.



НЕТОРНЫМИ ТРОПАМИ

Петр Ребрин. Это гудит время. Очерк. М. «Современник». 287 стр.

Когда Петр Ребрин шел однажды таежной тропой вдоль выгоревшего брусничника, ему показалось, будто кто-то издали глядит на него пусто синими глазами лешего. С этого примечательного факта, в общем-то, и начинается необычный очерк. Странный это очерк, не правда ли, если, будучи в единственном числе, составил весьма солидный том, разбитый на 27 весьма объемистых глав... Солидный том, объемистые главы, и тем не менее на титульном листе своей книги автор уверенно и, надо полагать, не без умысла определил ее жанр именно так: очерк. Единый и неделимый.

Наверное, тут есть кое-что от авторского хитроумия, но и своя логика, безусловно, есть. Потому что едина и неделима главная мысль этой книги, в которой действительно время, наше сегодняшнее время гудит, как туго натянутая струна. С долей определенной условности я определил бы эту главную мысль так: и все-таки почему, почему, почему же есть на этом свете люди плохие и хорошие, как получается, что одни вбирают в себя нравственные заряды высочайшей чистоты и силы, а другие наперекор всему хорошему, что их окружает, прозябают в нравственном невежестве; что формирует в нас человеческое и как вообще человек «выделяется» в человека?

Вопросы, как видите, далеко не школярские, и ответы на них автор ищет отнюдь не на уровне прописных истин. Его поиск нетороплив, потому что этот поиск ох как нелегок; автор не идет протоптанными тропами, а, как видим, с первой же строки сворачивает на тропу нехоженую, на которой вот даже лешего можно встретить.

А если серьезно, то и на самом деле идет он глухотанной таежной и полугаежной стороной. Идет от деревни к деревне, от села к селу, заходит в избы, присаживается и ведет с хозяевами неторопливые разговоры. Вот так, разговаривая разговоры, пытается он дойти до самых главных истин. Не всегда, разумеется, доходит, но всякий раз его поиск интересен и неповторим.

Да, и в городе, и в селе, и на самом глухотанном хуторе советские люди, конечно же, живут по нашим общим советским законам. Да, автор понимает определяющую роль социальных факторов в формировании личности и, разумеется, отдает им предпочтение перед фактором, скажем, географическим. И тем не менее смело ставит вопрос: а все-таки влияет ли на формирование нравственности в том числе и окружающая человека природа? И если влияет, то каким образом? Какие именно грани души каким богатством наполняет?

И проходит перед читателем вереница самобытнейших людей этой прекрасной стороны: учитель, тракторист, доярка, колхозный голова, секретарь райкома партии... Оторви их от этих мест — и что-то померкнет, хотя, несомненно, они всегда и при всех обстоятельствах останутся хорошими советскими людьми. И автор говорит, не смущаясь переходом от поэтического языка к прямой публицистике: «Общество должно быть заинтересовано, чтобы люди развивались как личности самобытные, то есть имеющие самостоятельность в развитии, личности своеобразные, ибо богатство об-

щества — это богатство совокупной личности».

Теперь вы понимаете, куда, кроме всего прочего, клонит автор? С какой неожиданной стороны подходит к проблемам экологии? Ни самые большие стройки, ни новые города и ничто другое, сопутствующее цивилизации, не должно разрушать гармонии человека и природы. Борясь за чистоту рек, за зелень лесов, за кристальность воздуха, за зверей и птиц, мы сохраняем не только собственно реки, леса, воздух и зверей — мы сохраняем нечто большее, сохраняем очень важное в самих себе. У природы, кроме прочего, есть, оказывается, и вот эта обязанность — воздействовать на наши души, формировать в них то особое, что никаким другим способом, никакими другими средствами сформировать невозможно. И пусть такого прямого вывода у автора нет, пусть мы немного домыслили — весь строй его рассуждений неизбежно приводит к тому.

Это только одна из граней многогранной книги Петра Ребрин. А сколько в ней других — оттеняющих, углубляющих, развивающих. Автор любит ставить перед читателем нравственные задачи, однако не пытайтесь, как в учебнике арифметики, заглянуть в конец книги, сверить свое решение с авторским ответом. Ответа, как правило, нет.

Вот вам короткий пример подобной нравственной задачки. На окраине таежной деревни автор подошел к деревенским ребятам:

«Я приблизился и увидел два небольших свежих холмика...

— Что это у вас тут? — Я указал на маленький холмик.

— Птичка похоронена.

— А тут?

— А тут кошка похоронена. Она птичку поймала, мы ее палкой убили».

Вот так — коротко и тревожно.

Книга Петра Ребрин — это книга-путешествие. И хотя дорога пролегла по проселкам всего двух районов, книга могла бы быть написана и на материале других мест. В расширительном смысле она утверждает, что можно, скажем, великолепно знать историю своей страны, можно выучить наизусть биографии ее великих сынов — поэтов и полководцев, ученых и музыкантов, — это необходимо, без этого нельзя, но одного этого мало. Надо, наверное, и так — своими ногами — пройти по дорогам страны, не только летним, но и осенним, зимним. Надо услышать шум ветра в вершинах ее лесов, почтить молчанием Куликово, Бородинское и многие другие русские поля, на которых решалась судьба твоего народа, увидеть своими глазами нетленные краски рублевских фресок, надо вобрать в себя и прозрачный сумрак белых ночей, и мятущийся снежный дым степного бурана, надо, наконец, положить хотя бы один камень в фундамент циклопической плотины и подержать на ладонях пригоршню золотого зерна. Только тогда слово «родина» обретает цвет и запах, плоть и кровь.

В. ЛЯШЕНКО.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР РЫНКЕВИЧ. Семинар по философии. Рассказы и повести. М. «Современник». 1980. 222 стр.

Книга прочитана, и я радуюсь тому, что открыл для себя нового прозаика. Лучшие его произведения читаешь с обостренным чувством сострадания главным героям, как правило, благородным, хотя и подчас заблуждающимся, пытливым, поистине страстным в своих привязанностях устремлениях, житейских установлениях. Эти герои почти всегда обладают своеобразными характеристиками, их восприятие и сознанию свойственны оригинальность и значительность. Вершинным характером этого ряда является машинист Павел Гаврилович Озерников из повести «Розы старого сада». Должность и дело машиниста издавна были у нас в великой чести. Думается, что именно это обстоятельство наложило определенный отпечаток на характер героя, создало и сохранило прочную независимость Озерникова, что можно, пожалуй, назвать зоной обособленного существования: и мир «я» бронированный, и мир семьи отгороженный. Свою обособленность он поддерживал неустанным саморазвитием для чего и собрал редкую библиотеку, для чего каждую свободную минуту отдавал саду. То, чем гордился, подверглось сомнению во время войны с фашистами, в период оккупации. Народная трагедия впустила ему иной способ существования: он расстался со своим великолепным, отлично выращенным индивидуализмом и примкнул к партизанам. Но ненадолго удалось ему слить собственную волю с волей соотечественников, боровшихся с немецкими фашистами: он сам, дом с библиотекой, сад — все погибло. После войны пепелище родное нашел по старым розам майор — внук Озерникова. Внук останется приверженным ко всему лучшему, что было в натуре деда, в нем, продолжателе деда, найдут необходимую слитность и личная независимость, и чувство общности.

Владимир Рынкевич любит писать старые русские города. Его корневая система привязанностей, интересов, родственных взаимосвязей прочно заглублена в прошлое нашего отечества. Она же придала значительность и яркость образам героев, избраженных, например, в рассказе «Далекое голубое сияние». Удивительна в этом рассказе фигура бывшего князя, потомка великого полководца. В нем как бы персонифицировалась история военного дворянства за

столетие с лишним. Князь воспринимается нами двуедино: как осколок когда-то значительного слоя родовитого царского офицерства и как органичная частичка, нерасторжимая с жителями старорусского города. Нет в старике ни униженности, ни притворства. Он живет достойно, с высокими помыслами и прост, как любой из граждан города. В сорок первом он ушел на войну и не посрамил русской воинской славы, потом ему предлагали должность в столице, но он не захотел изменить этому городу и этим людям, которые поверили ему в тяжелое время, признали своим, дали кусок хлеба, угол, любовь.

Духовно-нравственной стойкостью старика поверяет автор поведение своего героя Юрия Водилова. В конечном счете мы увидим, что, обладая добрым сердцем, серьезным чувством армейского долга, способностью воспринять красоту временного для себя дома, до того воспринять, что нетнет и подумывать о том, чтобы навсегда поселиться здесь, Юрий не сможет подняться на подлинную человеческую высоту, его подведет моральное чистоплюйство, дешевая заносчивость столичного жителя, зыбкое представление о чести мужчины.

Отличительной особенностью сборника является и то, что Владимир Рынкевич пристрастен к героям, наделенным творческой жилкой. Занятые творчески: трудом, герои Рынкевича одновременно заняты и созданием самих себя, точнее — усовершенствованием самих себя. Таков Луканов из повести «Решение за рекой», таков Бывальщиков из рассказа «Любимые тревоги», Виктор из рассказа «Встреча Юпитера с Венерой».

Через тему творчества Рынкевичу удалось показать зависимость личного и социального, личного и производственного, даже их зачастую неразомкнутость.

Хочется подчеркнуть что вопросы, которые ставит и решает писатель, — коренные вопросы литературы: ведь они связаны с отношением к отечеству и его прошлому, с любовью, верностью, честью, с творчеством.

Многое удалось осуществить В. Рынкевичу. Даже фигуры не первого ряда он изобразил основательно, зримо. Старый художник из рассказа «Любимые тревоги» не просто ищет тишину, он не просто живет там, где еще можно видеть и ощущать первозданность природы, он страдает, когда научно-технический прогресс неся блага,

производит и разрушение личности человека. Он сразу уловил, что такому разрушению подвергнется Быгальщикова. Этого уже трудно вернуть к нормальному чувству и сознанию, свойственному человеку издревле. Он типичный урбанист, отчужденный от природы, он труженик-робот, почти утративший биологическую тягу к семье и свой социальный долг перед нею. В конце концов, думаю, он пробудится, и все же мы расстанемся с ним как с личностью, зачумленной, торпедированной, оравнодушенной технизацией. Из подтекста повести «Решение за рекой», рассказов «Любимые тревоги», «Встреча Юпитера с Венерой» выносятся мысль: осуждая случаи очковтирательства в научно-производственных коллективах, или безответственности начальственных решений, или зажима творчества, или разрушения природы, автор борется прежде всего против разрушения нравственных представлений, нравственного поведения.

Первая книга В. Рынкевича — это серьезная творческая удача.

Николай Воронов.



Е. А. КРАСНОЩЕКОВА. Художественный мир Всеволода Иванова. М. «Советский писатель». 1980. 351 стр.

Вс. Иванов принадлежит к плеяде зачинателей советской литературы. Автор знаменитого «Бронепоезда 14-69» он известен в первую очередь своими рассказами и повестями о Сибири эпохи Великой Октябрьской революции, созданными по горячим следам событий.

Однако эти произведения составили лишь начальный этап в творчестве писателя, который проработал в советской литературе без малого полвека. Художественный мир, им созданный, весьма многообразен и претерпел существенные изменения. Е. Краснощекова поставила перед собой труднейшую задачу понять цельность устремлений и пристрастий таланта и одновременно внутреннюю логику его движения.

В книге нет последовательного изложения всей творческой биографии Вс. Иванова, но его художественные искания показаны столь обстоятельно, так органично вписаны в картину движения советской литературы, особенно 20-х и 30-х годов, что возникает многогранный литературный портрет писателя, проявляются черты его неповторимой художественной индивидуальности.

За долгий срок своей работы в литературе Вс. Иванов не раз удивлял неожиданностью своих творческих поворотов, непредвиденными переменами манеры своего письма. Недаром Горький считал, что Вс. Иванов умеет «превосходно спориться с самим собой». В живом литературном процессе не все эти перемены и повороты встречали одобрение и понимание, не всегда оценивались объективно. Теперь открылась возможность уточнить многие традиционные представления о нем. Е. Краснощекова успешно пользуется этой возможностью, хотя и по-хозяйски бережно относится ко всему, что было написано о Вс. Иванове прежде.

Особенно интересно пишет Е. Краснощекова о произведениях с репутацией трудных, непонятных, загадочных. «Странная» повесть «Возвращение Будды», некоторые загадочные новеллы перисада «Тайного тайных», роман «Похождения факира», удивляющий дерзостью своей формой, рассказы и повести так называемого фантастического цикла. При анализе каждого из этих произведений автор находит ключ к жанрово-стилевому единству, понятому в общем контексте творчества писателя. Вс. Иванов принадлежит к той категории художников, у которых сознательное отношение к форме неизменно сопутствует акту творчества. Е. Краснощекова видит, где искания Иванова ведут к серьезным творческим открытиям, а где приобретают характер эксперимента, отчасти самоценного.

В итоге автору книги удалось показать новаторство Вс. Иванова-прозаика рельефней и диалектичней, чем это делалось многими критиками прежде. Е. Краснощекова постоянно помнит о той широкой традиционной основе, на которую опирается это новаторство, о действующих на художественный мир писателя силах притяжения. В огне творческого воображения писателя переплавлены и традиции Гоголя, умеющего видеть фантастику реальности, и традиции авантюрно-плутовского романа, и открытия великого создателя «Дон Кихота», и опыт Л. Стерна, весьма ценного Вс. Ивановым. Автор книги останавливается и на тех связях, какие протянулись к персонажам Вс. Иванова от героев Э. По, Жюль Верна и которые сам писатель считает важными. Исследователь обнаруживает, как плодотворно и широко преломился опыт мировой и отечественной литературы в творчестве Вс. Иванова.

Нельзя писать плохо в стране где работали Достоевский и Чехов. Напомним об этом признании Вс. Иванова. Е. Краснощекова пишет, что «плохо» для него было прежде всего то, что подражательно.

Свое понимание мира и человека писатель всегда стремился выразить по-своему. Книга Е. Краснощековой говорит об этом интересно и доказательно.

Л. Глазковская.

Ленинград.



ИОСИФ РЖАВСКИЙ. Азбука свинца. Книга стихов. М. «Современник». 1981. 111 стр.

Стихи о войне я читаю всегда с особенным пристрастием. Вот уж где проверяется чистота тона. Тут не сфальшивишь. Не спрячешься за пестрыми узорами. Стихи о войне — как удостоверение личности, предъявляемое при входе в Поэзию. По чужому не пройдешь. Необходимо только свое. Есть у тебя это святое право — значит, ты состоялся. Твои стихи о войне станут спутниками людей. Вскрестить подвиг по всей его простоте и величии — задача благородная и труднейшая. И уж если удается поэту высечь правдиво звенящее слово о войне, это останеся с нами. Надолго. Если не навсегда.

Поэт Иосиф Ржавский выпустил первую книгу «Азбука свинца». Известен он пока еще мало, но я уже давно и пристально слежу за его публикациями в нашей современной печати. Где бы ни появлялись его стихи — в «Юности» ли в «Москве», в «Дне поэзии», — это всегда стихи о войне. С одной стороны, это привлекало, с другой — настораживало: уж не собирается ли автор своей приверженностью к одной теме чем-то отвлечь нас от собственно стихов, от стихов как таковых, от их формальной фактуры? Нет ли здесь эдакой нарочитости, щегольства дескать, вот я какой особенный! Но как раз нарочитости и щегольства в стихах Иосифа Ржавского нет. Точные детали, фронтальные подробности. Придумать такое нельзя. Это надо было увидеть и выстрадать на войне. А воевать он начинал, будучи еще совсем молодым человеком.

Мы прощались сдержанно и просто,
Расставаясь в жизни первый раз.
Но винтовки почему-то ростом
Были в это время выше нас.

Мы старались, может даже слишком,
Быть взрослее на военный лад...
Уходили на войну мальчишки,
А теряла Родина — солдат.

А вот, по-моему, отличное стихотворение об окопах:

Как бы земля ни врачевала
Себя целебной травой,
Я вновь — хоть срок прошел немалый —
Нашел окоп глубокий свой.

Пусть заросли иные тропы
На теле выжженной земли.
Но наши бывшие окопы
Зарубцеваться не смогли.

Они живут, они упрямы,
Но, если сгинуть им дано.
Мы их, как собственные шрамы,
Отыщем в поле все равно.

Я бы мог цитировать книгу «Азбука свинца» пространно и долго. Но ведь читателю и так, вероятно, ясно уже по приведенным стихам, что в ладном случае речь идет не об умозрительных описаниях войны, а о живом проникновении поэта в материал изнутри. Все это перечувствовано солдатским сердцем. И это отозвалось в книге. В одних стихах ярче, в других бледнее, но всегда трепетно, всегда безыскусственно в лучшем смысле этого слова. И еще: книга «Азбука свинца» учит верить в человеческое счастье, в человека несмотря на кровь и страдания через которые идет по войне человек. И это тоже одна из ее примечательных особенностей.

Сергей Островой.



Ю. СМIRНОВ-НЕСВИЦКИЙ. Еще одна жизнь. М. «Искусство». 1979. 118 стр.

Достижения самодеятельного театра в последние годы бесспорны, и сегодня в театральных кругах все чаще вспоминают известный афоризм: «Театр спасут дилетанты». Тому есть немало причин, рассматривать которые в короткой рецензии невозможно, однако процесс эстетического роста

сегодняшней самодеятельности многократно уже констатировался. Но книга известного ленинградского критика Ю. Смирнова-Несвицкого повествует, так сказать, о другой самодеятельности и о другом ее назначении. Театр-клуб «Суббота», созданный и руководимый автором, пока не ставит своей целью немедленное производство художественных шедевров, «как у профессионалов» или «лучше, чем у профессионалов»; со временем, с ростом мастерства, возможно, придет и это. «Суббота» — театр-клуб, то есть в какой-то степени «театр для себя», самодеятельное учреждение, смысла существования которого еще и в удовлетворении духовных потребностей его участников, в той самой «еще одной жизни», вынесенной в заголовок книги. Ю. Смирнов-Несвицкий прав, когда пишет: «Нисколько не увидим мы прекрасное искусство тем, что приобщим к нему ребят из подворотни, пусть даже для них театр — пока только форма занятости. Только новое настроение в жизни. Только немного другая жизнь. Последнее очень серьезно».

Одухотворение жизни, приобщение к искусству в качестве не зрителя, но творца, участника (и до поры до времени не важно, есть у тебя выдающийся талант или нет) — это одна из первейших задач сегодняшней самодеятельности, нередко заслоняемая стремлением к призам и наградам на фестивалях, старанием сделать все, как в «настоящем театре». «Свободный труд свободно собравшихся людей», — определял социализм Маяковский. Формула, вполне приложимая и к сфере искусства. Жизнь «Субботы» одно из многих доказательств тому.

Правда, тут немедленно встает вопрос: а что дает такая самодеятельность другим, обществу? На него можно найти два ответа. Во-первых, самодеятельный театр, не связанный штатным расписанием, может включить в себя практически всех желающих. А во-вторых, та же «Суббота» — это все-таки театр, то есть художественный организм, и духовный потенциал его участников реализуется не только в их повседневной жизни, но и в спектаклях. Их немало за более чем десятилетнее существование «Субботы», театр выступал в Ленинграде и области, ездил на БАМ.

И все-таки главным остается самовоспитание участников этого необычного самодеятельного коллектива. И искусство, вырастающее из такого самовоспитания, становится весьма действенным средством общения людей — актеров с актерами и актеров со зрителями.

Рассказ о делах и днях «Субботы» перемежается в книге с наблюдениями из жизни других самодеятельных коллективов, с интересными, хотя и не всегда бесспорными мыслями о природе и специфике самодеятельного искусства: в авторе как бы соединяется практик с вдумчивым исследователем современного театра.

Сегодня много говорят о своеобразном дефиците общения современного горожанина, порой переходящем в дефицит чувств. Конечно, с помощью какого-то одного средства эту проблему не решить — необходим комплекс усилий в самых разных сферах. Одно из не самых, может быть, массовых,

но самых действенных средств — это организация коллективов, подобных «Субботе», естественно, не похожих, но имеющих общую цель — дать людям, главным образом молодым, тем самым «ребятам из подворотни», новый способ духовного общения, дать театральную игру, в которую интересно играть и в которой человек незаметно растет, становится чище и лучше. Дать «еще одну жизнь», которая для одних может стать главной, и они посвятят себя искусству, а для других может и не стать, но сделает их «главную» жизнь красивее и богаче.

Ю. Смелков.



В. К. ЛУКАШЕВ, К. И. ЛУКАШЕВ. Научные основы охраны окружающей среды. Минск. «Высшая школа». 1980. 255 стр.

Экологическую тему ныне осваивают многие издательства — и центральные, и республиканские, и областные; в частности, немало интересных работ опубликовано в издательстве «Высшая школа». Одна из них — рецензируемая книга Она сравнительно невелика по объему, а потому подчас конспективно, очень кратко излагает материал. Но это придает ей особую ценность и своеобразие: концентрированная информация позволяет читателю оценить сложность и многоплановость затронутых проблем теории и практики природопользования, окинуть мысленным взором обширнейшую область знания. Когда проблем затронто много, а количество связанных с ними гипотез и фактов поистине неисчислимо, легче написать объемистое сочинение, чем небольшую книгу. Умение концентрировать информацию — редкий дар.

Есть у книги еще одна отличительная черта. В подавляющем большинстве авторами работ о взаимодействии человека и окружающей среды — так сказать, о глобальной экологии — являются биологи, географы, философы. Авторы этой книги — геохимики. Один из них, известный ученый, заведует лабораторией геохимии техногенеза. Интересно отметить, что такая лаборатория впервые в мире создана в Белоруссии. А изучение техногенеза — геохимической деятельности человека — важная и во многом еще не решенная научная задача. Это направление исследований открыто в нашей стране благодаря усилиям В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана. Новаторские идеи великих советских ученых приобрели большую популярность не сразу, особенно они разрабатываются как раз в последние два десятилетия.

В сущности, рецензируемая монография посвящена преимущественно геохимии техногенеза, но только не в узком специальном геологическом смысле, а в самом широком, общечеловеческом. А потому книгу с интересом и пользой прочтут представители разных специальностей и учащиеся.

Авторы не ограничиваются ответами на поставленные вопросы, не стремятся вызвать у читателя иллюзию всезнания. Так, говоря о постоянном поступлении в биосферу — область жизни — всего спектра химических элементов (следствие техноге-

неза), они заключают: «К сожалению, наука пока не в состоянии ответить на вопрос — как все это может отразиться на многообразных биотехимических функциях биосферы...» Правда, в главе, посвященной роли науки и техники во взаимоотношении общества с природой, авторы, к сожалению, не раскрыли некоторых аспектов подобного незнания, связанных с такими факторами, как исторические особенности развития науки и техники.

До последних десятилетий в мировом общественном мнении ядро преобладали идеи «господства» человека над природой и «завоевательского» отношения к ее богатствам. Этот негласный общественный заказ и выполнялся научно-техническими средствами. Поэтому современный синтез знаний о природе и человеке, без которых невозможны рациональная эксплуатация и охрана окружающей среды, биосферы, осуществить очень непросто. Для этого требуется творческий подход, выработка новых научных концепций — не менее сложная задача — претворение их в жизнь. Потому что сохранять земную природу — не только наши прекрасные идеи и пожелания, но, главное, верные, продуманные и решительные действия.

Этой сверхзадаче и посвящена книга. И вполне закономерно заключает ее глава, посвященная мониторингу окружающей среды — пожалуй, самая емкая и интересная. Напомню суть этого понятия: «Мониторинг — это комплекс научных, технических, технологических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих систематический контроль за состоянием и тенденцией развития природных и техногенных процессов».

Р. Баладин.



СЕРГЕЙ ЛЬВОВ. Книга о книге. М. «Промсвещение». 1980. 207 стр.

Марсель Пруст некогда открыл удивительное свойство, каким обладает чтение детских лет: вместе с любимой книгой навеки запечатлено в памяти, словно в застывшем янтаре, давно миновавшее мгновение, его краски, запахи, звуки... Такому неповторимому чтению детства посвящены едва ли не самые проникновенные страницы новой книги Сергея Львова, автора прекрасных книг о Дюрере, Брейгеле, Кампанелле...

На сей раз перед нами своеобразная исповедь книголюба. Ему удалось передать магию книжного очарования: «...еще очень долго при имени Шекспира у меня в памяти вставали эти пять толстых томов с двухколонным набором на больших, просторных страницах, отдававших к краям коричневатым. Казалось, что бумага чуть подгорела, как пенка на толенном молоке... Мне казалось, Шекспир — это ощущение в кончиках пальцев от мягкого и гладкого кожного корешка и от пупырчатого серого переплета». Все книги прочитанные лет до двенадцати, объединены этой особенностью — словно неким боковым зрением навеки схвачены и облик самой книги и обстановка вокруг. Уже взрослым, толь-

ко увидишь название книги — и нахлынут яркие, объемные картины детства

Открыто, непринужденно автор распахивает перед читателем свои воспоминания. Главки — словно этапы становления страстного книжника. Важный день в жизни — в пять лет знакомство с буквами. Студия в Доме пионеров, где с ребятами занимался Михаил Светлов. Первое плавание студийцев по реке. С ними — Павловский и Фраерман. Но они не говорили с ребятами о литературе, а учили «ставить палатку на ветру, разводять костер под дождем... видеть лес, реку, огонь, называть по имени деревья и травы...».

И каждый раз после таких сценок автор внезапно перебрасывает нас на сотни и тысячи лет назад. К далеким предкам, которые только учились делать зарубки на камне или узелком, связкой раковин передавали другому свою мысль. В Шумер с его глиняными табличками. В разрушенные библиотеки древней Ассирии. К папирусным свиткам Древнего Египта. В прославленный александрийский Мусейон. В средневековые скриптории... Через всю книгу проходит словно бы независимый ряд — главки «Немного истории».

Кому-то, быть может, покажется странным этот контрапункт. Но как бы далеко в прошлое ни забросил нас автор, всюду мы встречаем то же горение человеческой мысли, преклонение перед книгой, одержимость книгой. Эта высокая страсть и объединяет прошлое и настоящее. Ради нее Ашшурбанипал рассылал писцов по всем подвластным землям копировать старинные книги. Ради нее величайший ученый и поэт древности Каллимах впервые в истории предпринял труд, требующий беспримерного терпения и образованности, — составил каталог всех книг, созданных его предшественниками и современниками, рассказал о каждой книге и ее авторе. Великий Пет-

рарка, жертвуя часами сна, переписывал книги — пока был слишком беден, чтоб их покупать...

Ступенька за ступенькой встает перед нами книжная, читательская история человечества. С Львов намечает ее лишь пунктиром. Но в его книге это не бесстрастная история, это переключка единомышленников. Со всей силой чувства отзывается наш современник и горестному вздоху из XIV века — это Ричарда де Бери ранят в самое сердце бедствия и тяготы, какие испытывает книга. Можно ли равнодушно читать рассказ о том, как потрясен был Боккаччо, найдя знаменитую библиотеку монастыря Монтекассино в совершенном запустении — без замков и дверей, книги покрыты пылью, окна заросли мхом. «Вышел он оттуда с сокрушенным сердцем, заливаясь слезами от горя», — пишет друг Боккаччо.

И дальше — целая вереница великих читателей. Декарт и Руссо, Фарадей и Эдисон, Галилей и Эйнштейн. Интереснейшие штрихи из их читательских биографий. И масса конкретных практических сведений, нужных читателю сегодняшнему. Как работать с книгой. Что такое МБА. Что такое аппарат книги. Как лучше запоминать стихи и как складывается своя собственная «звучащая антология» поэзии... Словно опытный книголюб берет за руку младшего собрата и проводит его по залам крупнейших библиотек (они складываются в величественный собирательный образ Большой Библиотеки), по наиболее интересным современным сериям...

Этот сплав — свободная живая исповедь истинного знатока книги и информационно насыщенная маленькая книжная энциклопедия — определяет своеобразие нового произведения С. Львова, его действенный, просветительский заряд.

Э. Кузьмина.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. 80 стр. Цена 10 к.

Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 71 стр. Цена 10 к.

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

В. И. Ленин. Империализм и раскол социализма. 22 стр. Цена 3 к.

Движущие силы мирового революционного процесса. 392 стр. Цена 1 р. 60 к.

С. Рубанов, Г. Усыкин. Под псевдонимом Дяденька. Документальная повесть о Лидии Книпович. 351 стр. Цена 80 к.

В. Успенский. На большом пути. Повесть о К. Воршилове («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Анатолий Алексин. Позавчера и послезавтра. Повести. («Библиотека произведений удостоенных Государственной премии СССР»). 224 стр. Цена 90 к.

Г. Асатяни. Крылья и корни. Статьи. 328 стр. Цена 1 р. 30 к.

В мире Блока. Сборник статей. Составители А. Михайлов и С. Лесневский. 535 стр. Цена 1 р. 30 к.

Время действия — наши дни. Сборник очерков. Составитель В. Поголев. Предисловие Г. Маркова. 463 стр. Цена 2 р. 60 к.

Н. Мацнев. Русские советские писатели. Материалы для биографического словаря (1917—1967). 254 стр. Цена 1 р. 40 к.

П. Проскурин. Имя твоё. Роман. 608 стр. Цена 4 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Я. Есенский. Стихи. Перевод со словацкого. 223 стр. Цена 45 к.

Э. Золя. Творчество. Роман. Перевод с французского. 400 стр. Цена 2 р. 20 к.

Избранные произведения писателей Южной Азии. Сборник переводов. («Библиотека избранных произведений писателей Азии и Африки») 686 стр. Цена 4 р. 20 к.

Ф. Кеведо. Избранное. Перевод с испанского. 543 стр. Цена 2 р. 60 к.

Н. Лесков. Левша. Повести и рассказы. («Классики и современники»). Русская классическая литература) 414 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. Светлая. Дом «У пяти колокольчиков». Роман. Черный Петричек. Повесть. Рассказы. 439 стр. Цена 2 р. 20 к.

С. Сяляренко. Владимир. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 543 стр. Цена 2 р. 20 к.

И. Эвёш. Сельский нотариус. Роман. Перевод с венгерского. 607 стр. Цена 3 р. 70 к.

Японские трехстишия: хокку. Перевод с японского. 343 стр. Цена 3 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ленинцы. Сборник стихотворений. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Окладников. Открытие Сибири. 2-е издание. («Эврика») 223 стр. Цена 55 к.

Песнь любви. Лирика зарубежных поэтов. 495 стр. Цена 2 р. 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Беркеш. Последний порог. Роман. Перевод с венгерского. 463 стр. Цена 3 р.

В. Закруткин. Повести и рассказы. 493 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Семернин. Вскосырка. Стихи. 127 стр. Цена 55 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Абрамян. Мастер Триоль. Сказки. 96 стр. Цена 35 к.

В. Белинский. Избранные статьи. 223 стр. Цена 55 к.

Л. Воронкова. Герой Саламина. Историческая повесть. 222 стр. Цена 50 к.

Ч. Динкенс. Лавна древностей. Роман. Перевод с английского. 624 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Думбадзе. Катина, отгадай! Стихи 24 стр. Цена 30 к.

А. И. Ульянова. Детские и школьные годы Ильича. 32 стр. Цена 40 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Баранская. Женщина с зонтиком. Повесть и рассказы. («Новинки «Современника») 271 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Васильев. В краю истоков. Размышления о русской деревне. («Новинки «Современника») 383 стр. Цена 90 к.

Л. Завальнюк. Первая любовь. Книга стихов. («Новинки «Современника») 95 стр. Цена 50 к.

А. Приставкин. Возделай поле свое. Повесть и рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

«НАУКА»

Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1911—1928 гг. 427 стр. Цена 4 р. 80 к.

Замечательные ученые. Под редакцией С. П. Капицы. (Библиотечка «Квант». Вып. 9-й) 192 стр. Цена 35 к.

Кретъен де Труа. Эрек и Энида.— Клижес. Романы. Переводы. Издание подготовили В. В. Микушевич, А. Д. Михайлов, Н. Я. Рыкова. 510 стр. Цена 3 р. 20 к.

Социализм и наука. 422 стр. Цена 3 р. 30 к.

«ПРОГРЕСС»

Из современной индийской поэзии. С. Д. Саксена, П. Митро, У. Джоши, Д. В. Тилак. Переводы с хинди, бенгали, гуджарати, телугу 264 стр. Цена 1 р. 10 к.

Т. Кайно. Горькое похмелье. Роман. Перевод с японского. 320 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Крайгер. Пока мы живы Майя. Повести. Перевод со словенского 323 стр. Цена 2 р. 10 к.

Э. Уринару. Антония. Повесть о любви. Перевод с румынского. («Современная зарубежная повесть») 118 стр. Цена 50 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»

Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 26/III 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 14/IV 1981 г.
Формат бумаги 70x108/16. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 10615. Тираж 350.000 экз. Зак. 1086.

Опечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл. 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01980.

Цена 70/коп. 60

70636